

Н О В Ы Й  
М И Р

88

Н О В Ы Й  
М И Р

1960

8

---

1960

# НОВОЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXXVI

№ 8

Август, 1960 г.

---

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

---

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
В. КАВЕРИН — Кусок стекла, рассказ	3
РИММА КАЗАКОВА — В лесу, стихотворение	21
ЯКОВ ХЕЛЕМСКИЙ — Белорусские реки, стихотворение	22
ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ — Люди, годы, жизнь	24
С. ЛИПКИН — Две легенды, стихи	61
М. ПОСТУПАЛЬСКАЯ — За окнами свет	65
БОРИС МУРТАЗОВ — В Дарьяльском ущелье, стихотворение. Перевел с осетинского Лев Озеров	113
ГИГО ЦАГАРАЕВ — Горный родник, стихотворение. Перевел с осетинского О. Зверев	114
<b>ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ</b>	
С. МАРШАК — Об одном стихотворении	116
Б. БУРСОВ, доктор филологических наук — Текстология и идеология	118
<b>НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ</b>	
ЛЕВ ЛЮБИМОВ — Двенадцать лет спустя	123
АЛЕКСЕЙ ЭЙСНЕР — Сестра моя Болгария. Окончание	141
<b>ПУБЛИЦИСТИКА</b>	
В. МОНАХОВ — Преступник и общество	178
С. ПАРТИГУЛ — Некоторые проблемы торговли (Размышления экономиста)	190
<b>В МИРЕ НАУКИ</b>	
Профессор С. БРАЙНЕС, инженер В. СВЕЧИНСКИЙ — Кибернетика в биологии и медицине	202
<b>ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА</b>	
<i>Обсуждаем проблемы современного романа</i>	
Г. БЕЛАЯ — В поисках «скромного новаторства»	211
В. НАЗАРЕНКО — Не забывать о главном!	218
И. СОЛОВЬЕВА — Герои и темы Виктора Розова	227

(См. на обороте)

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»  
Москва

## СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
<b>КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ</b>	
<i>Литература и искусство</i>	241
<b>А. Турков.</b> О времени и о себе...— <b>О. Михайлов.</b> Синее и голубое.— <b>И Андреева.</b> Земля, где ты живешь.— <b>С. Ларин.</b> «Волшебные очки» Януша Осенки.— <b>Лев Копелев.</b> Проблемы реализма.— <b>Г. Трефилова.</b> Одна серьезная помеха.— <b>Юрий Полетика.</b> Конец доктора Уинслоу.	
<i>Политика и наука</i>	268
<b>О. Войтинская.</b> кандидат философских наук. Полезное исследование.— <b>П. Ильин.</b> Массовая библиотека рабочего.— <b>Г. Мицьковский, М. Рагинский,</b> кандидаты юридических наук. Государство без права.— <b>В. Тулов.</b> Джунгли американского расизма	
<b>МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ</b>	
Последняя речь Джона Рида (Предисловие Е. Драбкиной).	279
КОРОТКО О КНИГАХ	283
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287

---

---

В. КАВЕРИН

★

## КУСОК СТЕКЛА

*Рассказ*

1

**П**етя Углов, молодой ученый, занимающийся сложными вопросами физиологии, в которых, кроме него, кое-что понимали только три человека в мире — негр и два австралийца, — влез на верхнюю полку, стараясь не задеть длинными ногами соседей, и заснул, едва поезд отошел от Перми. Он всегда спал без снов, но на этот раз ему приснился молочно-белый кувшин, сквозь который он старался рассмотреть идущих ему навстречу, беспечно посвистывающих людей. Там, за стеклом, был Ленинград. Петя радостно вздохнул, не просыпаясь.

Он никогда не был в Ленинграде, хотя знал и любил его давно. Он прочел о нем все, что можно было, — и не только по-русски. Он ходил на все картины «Ленфильма», потому что действие в них часто происходило на улицах Ленинграда. Время от времени он покупал (хотя у него не было лишних денег) старые гравюры и подолгу рассматривал темно-белые, цвета дыма, здания вдоль берегов Невы, вырезанные тонкими штрихами.

Наконец повезло: ему предложили командировку, и, согласившись с радостью, он в мыслях отдал делу полдня, а остальные два с половиной — Эрмитажу, Сенатской площади, Островам.

Он поедет в Пушкин, разумеется, с Валькой. А вечерами — театр Акимова и балет «Спартак». Также с Валькой. Ну и, пожалуй, с Тамарой.

Валька был самый близкий друг с третьего класса, а Тамара — его жена.

Петя немного огорчился, что номер, который он достал с трудом, выходил на узкий двор, в котором виднелись лишь крыши грязных сараев. Но даже в стенах, составлявших узкий колодец двора, было — так он решил — что-то ленинградское. И, полюбовавшись ими, он позвонил в Институт стекла и условился о встрече.

2

Дело, по которому он приехал, было простое: несколько лет тому назад академик Часовщиков изобрел стекло, без которого Петя не мог закончить свой аппарат. Никто не заинтересовался свойствами этого стекла, и Часовщиков бросил его, напечатав тридцать строк в специальном журнале. Потом он умер, и, хотя ему было уже за девяносто, все же этот поступок выглядел предательством по отношению к Пете. Насколько все было бы проще, если бы Часовщиков протянул еще хоть полгода!

Теперь Петя сидел у Круазе, научного руководителя института, и внимательно слушал, втянув в плечи голову с плоскими волосами, ко-



торых оставалось уже не много. Круазе был из обрусевших французов, высокий, сильного сложения, но, по-видимому, много болевший — на лице был заметен отпечаток страданий. Он был лыс, с венчиком седых волос вокруг красивой головы, в галстук бабочкой. Цветной платок висел из наружного кармана. В Круазе было что-то романтическое, театральное. «Однако дело знает», — подумал Петя, слушая Круазе, который, мигом подхватив его мысль, ловко развил ее в другом направлении.

Он не только одобрил намерения Пети, но даже предложил варианты — где и как еще стоило бы воспользоваться стеклом Часовщикова. Варианты, с Петиной точки зрения, были сомнительными, но все равно было приятно, что этот представительный мужчина и, по-видимому, знаток своего дела так охотно вошел в его интересы. Раза два что-то прошло по его лицу, точно надобность в этом стекле, о котором давно все забыли, попала в строй его прежних мыслей или возбудила новые, не относящиеся к Петиному приходу. Они перешли к практической стороне, и вот тут оказалось, что все далеко не так просто, как решил было обнадуженный Петя.

Стекло Часовщикова существовало только теоретически, если не считать единственного образца, хранившегося в кабинете Евлахова, ученика и близкого друга Часовщикова. Нужно было сделать это стекло, и он, Круазе, конечно, может распорядиться, чтобы оно было сделано, но без Евлахова это неудобно и даже по многим соображениям невозможно. Правда, он, Круазе, может просто позвонить Евлахову, но лучше, если Петя пойдет к нему, тем более что Евлахов участвовал в создании стекла. И новая оценка его действительно необыкновенных свойств будет ему только приятна.

— А вы вообще-то слышали о Евлахове?

— Нет.

— Стало быть, вам и невдомек, что история русского стекла вся лежит между Ломоносовым и Евлаховым?

Возможно, что это было сказано с оттенком иронии, относившейся, разумеется, не к Пете, а к Евлахову, который, по-видимому, именно так представлял себе эту историю.

— Признаться, да.

— Вот она, специализация! — сказал Круазе и с комическим отчаянием всплеснул руками.

Из стопки, лежавшей на столе, он вытянул лист бумаги и разделил его продольной чертой — на глаз, но удивительно ровно. «Евлахов», — четко написал он над левой стороной, а над правой — «Углов».

— Полезная вещь — план разговора. Начинает он: «Чем могу служить?» Не пугайтесь, это прозвучит сухо. Вы расскажете ему то, что я услышал от вас, но вдвое короче. Он спросит: «Прекрасно, но при чем же тут я?» Вы ответите, что не представляете себе этой работы без его участия или по меньшей мере согласия. Он пробурчит: «Ерунда» или что-нибудь в этом роде. Не сдавайтесь. Повторите: «Не представляю себе» — и сразу же к общим выводам, отнюдь не стараясь быть популярным.

Петя слушал, крепко засунув между коленями длинные руки. Он любил ясность, а в этом плане, вопреки полной определенности Круазе, было что-то неясное.

Приятно, конечно, что он этак с размаху вошел в Петины интересы, но как-то и неожиданно: с чего бы? Ведь дело-то было хотя и важное для Пети, но для Института стекла пустяковое. Если Круазе может приказать, чтобы стекло было сделано, зачем идти к Евлахову, будь

он хоть семи пядей во лбу? Нет, тут было что-то постороннее, ничем не связанное с Петей и его аппаратом. Что-то скользнувшее и скрывшееся — хотя бы в ту минуту, когда Круазе вдруг задумался: а может быть, не стоит упоминать, что, прежде чем зайти к Евлахову, Петя был у него, Круазе? Тут же он решил, что стоит, но тогда с тем, чтобы Петя тщательно (хотя опять-таки кратко) передал их разговор.

«А как насчет истории стекла от Ломоносова до Евлахова?» — с иронией подумал Петя.

Несмотря на эти загадки, до которых ему, впрочем, не было дела, Круазе очень понравился Пете. Видно было, что это человек оригинальный, умный, а может быть, даже блестящий.

И Петя понравился Круазе. «Экий штатив!» — добродушно подумал он, когда, простившись слишком решительно, как это бывает с застенчивыми людьми, Петя вышел из кабинета.

## 3

Все утро, сперва с вокзала, потом из гостиницы, теперь — выйдя от Круазе, он звонил Вальке. Никто не подходил. Наконец незнакомый женский голос отозвался сердито:

— Да? Колосковы? Нет дома, он в командировке, а она на работе.

— В командировке? — упавшим голосом переспросил Петя. — А когда вернется?

— Не знаю.

Черт возьми! Вот почему Валька его не встретил. Расстроенный, даже слегка побледневший от огорчения, Петя отправился к Евлахову.

«Как же так? Ведь мы списались. Ну да, уехал неожиданно, не успел предупредить. Какая досада!»

Евлахов был занят, и Петя долго ждал, не замечая времени и все думая о Вальке: «Может быть, еще вернется, пока я в Ленинграде? Вечером позвоню Тамаре».

Евлахов был выше среднего роста, с круглым, начинающим набрякать лицом, с торчащими по-мальчишески на макушке волосами, которые он время от времени начинал торопливо наглаживать, как будто только что снял шапку. Лицо было саркастическое, хотя это проглядывалось и не сразу. Он говорил хрипловатым голосом, без всякого выражения и встретил Петю тоже без выражения, как будто заранее совершенно не интересовался, зачем он пришел.

Нельзя сказать, что намеченный Круазе план разговора осуществился — разве что в единственном пункте. Евлахов действительно спросил: «Чем могу служить?» Дальнейшие предсказания не оправдались. Впрочем, Петя сразу же забыл этот план. Теперь он изложил свою мысль с большей энергией. Хотя Евлахов был далеко не так радужен, как Круазе, разговаривать с ним было почему-то интереснее. Сперва он молчал, только серые глаза иронически поблескивали, потом стал сбивать Петю неожиданными вопросами. «Как на экзамене», — с досадой подумал Петя и в свою очередь задал вопрос, на который Евлахов, помолчав, ответил неверно.

— Вот стекло Часовщикова, — сказал он, небрежно показав рукой на маленький, стоявший между окнами стенд.

— Можно посмотреть?

— Пожалуйста.

Стекло Часовщикова было такое же, как другие.

— Н-да. Ну что ж, как говорится, с богом, — сказал Евлахов, когда Петя вернулся. — Не вижу только, чем, собственно, я могу быть полезен.

Петя смутно чувствовал, что перед ним человек, которому не следует врать. Самое верное было бы откровенно сказать, что он и сам не знает, зачем пришел к Евлахову, и что это нужно, по-видимому, Круазе, а вовсе не ему, Пете Углову. Но вместо этого Петя, сильно покраснев, произнес подсказанную фальшивую фразу, которая даже и не вязалась с тоном их разговора.

— Трудно представить себе эту работу без вашего участия или по меньшей мере согласия.

Евлахов сморщился.

— Это что же, щепетильность? — спросил он с большим количеством шипящих, чем требовалось для этого слова.

Петя замолчал. Несмотря на всю видимость решительности, он действовал ощупью, почти наугад. «Ох, не сказать бы еще и насчет Ломоносова», — подумал он, чувствуя, что Евлахов на глазах, как Райкин, уходит куда-то, чтобы через несколько секунд вернуться совершенно другим. Так же, как это было с Круазе, что-то постороннее вошло в строй его мыслей, но не совпадавшее с прежними мыслями, а, напротив, мгновенно разрушившее этот строй.

— Игорь Лаврентьевич сказал, что без вашего согласия...

— Он ошибается, — сухо возразил другой Евлахов. От прежнего осталось только торопливое движение, которым он наглаживал топорщившуюся макушку. — Вполне достаточно его согласия. Состав опубликован. В чем же дело?

Теперь он следил за каждым словом, в то время как только что говорил с Петей совершенно свободно. Почти детская неумелость почудилась Пете в этой неожиданной перемене. Казалось, Евлахов нехотя заставлял себя становиться другим. «Они в ссоре, черт побери!» — подумал Петя.

Надо было как-то выходить из положения, а он как раз не отличался психологической ловкостью, которая одна, кажется, могла бы исправить дело. Выходы из подобных положений он придумывал потом, дымя папиросой на институтской лестнице или лежа дома, под одеялом.

Евлахов пожал плечами.

— Игорь Лаврентьевич полагает, что без меня нельзя изготовить стекло? Лестно, но не соответствует действительности. Так что извините...

Разговор, по-видимому, был кончен, но Петя не вставал. Насупившись, он раздумывал, как всегда в подобных случаях, особенно неторопливо. Найти выход он не мог, но еще менее мог заставить себя уйти от Евлахова, не добившись толку.

— Извините, — еще раз нетерпеливо повторил тот, быть может почувствовав железную хватку в этом молодом человеке, уставившемся на него упрямыми глазами. — Имею честь...

## 4

Евлахов был одним из счастливых, на всю жизнь сохраняющих ощущение молодости с ее энергией, неосторожностью, самонадеянностью, быстрыми решениями, не боязнью смерти. Между окружающим миром и его чувствами не лежали годы, которые прошли, почти не изменив остроты этих чувств. Неожиданные повороты мысли ставили в тупик собеседника, не сумевшего разглядеть насмешку в озорных, серых, немного навывкате, глазах. Он и был озорником, любившим оживить скучное заседание шуткой, анекдотом, которые он рассказывал мастерски, с неподвижным лицом.

Удивительные превращения, происходящие в наши дни со стеклом, почти все были предложены или подсказаны им и, разумеется, Часовщиковым, которого он, впрочем, обогнал еще в сороковых годах.

В течение многих лет дружбы с Круазе он не замечал или не думал о тех чертах его характера, которые встали теперь между ними. Им равно посчастливилось учиться, а потом работать у Часовщикова; оба ценили его школу, его традиции, с той только разницей, что Евлахов молчал о них, а Круазе говорил — и много. Они привыкли считаться с несходством друг друга. Круазе прощал Евлахову его себялюбие, его резкое, подчас пристрастное отношение к людям, его упрямство, хвастовство, особенно неприятное, когда он начинал хвастаться своей прямотой. В свою очередь Евлахов прощал Круазе его высокопарность, любовь к предствительству, фразе, его мелочность, преувеличенную осторожность, никогда, впрочем, не переходящую в трусость.

Отношения были старые — несколько сносившиеся, но дорогие хотя бы воспоминаниями о молодости, бросавшими теплый свет на жизнь, прошедшую бок о бок.

Теперь отношения рухнули, и, как рассказали Пете в Институте стекла, это была не просто ссора, а глубокий, болезненный разрыв, сделавший их чужими людьми.

История будто бы началась с того, что начальник главка, мечтавший об ученой степени, выпустил довольно бесцветную книгу, основанную на устаревших мыслях, но претендующую на глубину. Специальный журнал напечатал одобрительную статью. Всесоюзная аттестационная комиссия прислала книгу на отзыв в Институт стекла, и обойти ее, как рассчитывали Евлахов и Круазе, стало невозможным. Оба они были возмущены не столько самой книгой, сколько тем, что она была принята как руководство. В этом смысле она была уже далеко не безразлична, против нее необходимо было выступить, потому что возникающий спор касался вопроса о направлении, о том, куда должно пойти дело, состоявшее из сотен огромных самостоятельных дел — заводов, институтов, лабораторий, работавших вровень с техническим прогрессом страны.

Евлахов написал отрицательный отзыв, Круазе посоветовал смягчить резкие выражения и, когда это было сделано, одобрил, не подписав только потому, что это было не нужно. Готовилась конференция, оба намеревались выступить, и можно было не сомневаться в том, что их авторитетное мнение будет поддержано лучшими специалистами лучшего в Советском Союзе Института стекла.

Вечером накануне конференции оба ученых написали вчерне докладную записку правительству — по некоторым признакам это могло оказаться необходимым. Но необходимым — по меньшей мере для Круазе — оказалось другое: наутро он выступил против Евлахова, с горячей защитой книги. Больше того, в длинной, обдуманной речи, которую невозможно было подготовить и написать в одну ночь, он доказывал, что противники этой значительной книги фактически срывают перспективный план и, следовательно, мешают размаху семилетки. Конечно, они делают это невольно, сами того не желая, но это не меняет дела.

Ничего особенного не произошло в результате этого столкновения: прошло полгода, книга была признана плохой и забыта. Но отношения рухнули, и, по-видимому, надолго.

## 5

Петя не попал на балет «Спартак» — к счастью, потому что, вернувшись в гостиницу, он узнал, что ему звонили из Перми. У него был нетерпеливый шеф, любивший, чтобы то, что задумано, было сделано немедленно, и Петя ждал его звонка, хотя и не так скоро.

В Пермь можно было звонить только после полуночи, и он решил съездить к Гамаре. Надо было все-таки выяснить, куда же уехал Валь-



ка и когда он вернется. Добрый час он тащился на трамвае по скучным улицам Выборгской стороны, вдоль старых однообразных кирпичных зданий, вовсе не характерных, как ему показалось, для Ленинграда.

Тамара была дома. Да, Валя уехал в Москву. Надолго ли? Неизвестно. Зачем? Тоже неизвестно, что-нибудь насчет новой ракеты. Он ведь теперь связан с этим делом. Разве Петя не знал?

— Давно?

— Не очень.

Он слушал с восторгом. Все, что думал, делал и говорил Валька, было правильно, умно и в высшей степени интересно. По-видимому, правильно было и то, что он женился на этой худенькой, бледной, с короткими соломенными, зачесанными по-мальчишески волосами, незаметной девушке, говорившей с длинными паузами и только когда это было действительно необходимо.

В десятом часу он вернулся в гостиницу — вовремя, потому что беспокойный шеф позвонил снова. Петя рассказал, как обстоит дело. Шеф, покрячав на него для остротки, велел купить еще три осциллографа, хотя даже и один, как это успел узнать Петя, купить было невозможно. Причина, по которой шеф всегда сердился на Петю, заключалась в том, что он давно занимался другим вопросом и чувствовал себя неуверенно в кругу Петиних интересов.

Потом вдруг позвонили от Круазе: Игорь Лаврентьевич интересуется результатами переговоров с Евлаховым. Ах, отказался? Немного подробнее, если можно. Не видит необходимости? Пауза. Несколькo невнятных фраз, очевидно поверх трубки, закрытой ладонью. Снова пауза. Вы слушаете? Игорь Лаврентьевич просит вас заглянуть к нему завтра в половине двенадцатого. До свидания.

Это был странный звонок, несколько озадачивший Петю: снова неясность, из которой можно было, кажется, заключить, что не только Круазе нужен Пете, но зачем-то и он, Петя, нужен Круазе. Тем лучше!

## 6

На этот раз разговор состоял в том, что Петя настаивал на приказе, а Круазе, как будто не замечая, уходил от этого решения, ища более удобного, причем удобство по-прежнему определялось участием Евлахова или по меньшей мере его согласием.

— А вы не можете позвонить ему? — потеряв терпение, напрямик спросил Петя.

— Да, в самом деле, — просто сказал Круазе.

Возможно, что это был мираж, но Пете показалось, что рука Круазе, державшая трубку, немного дрожала.

— Не отвечает. Еще не пришел. Вот что я придумал, — весело сказал Круазе. — Отправлю-ка я вас к Оганезову. Во-первых, вы все равно должны познакомиться с ним, потому что стекло, как известно, делается руками, а он — наши руки. А во-вторых, Оганезов — это, так сказать, alter ego<sup>1</sup> Ивана Павловича. Уж ему-то он во всяком случае не откажет. Вы небось не знаете, что такое alter ego?

— Sapienti sat<sup>2</sup>, — отозвался Петя, всегда запоминавший множество никому не нужного вздора.

— Ого! А я-то думал, что латынь для нашей молодежи... Арам Ильич, — сказал Круазе, соединившись с Оганезовым, — у меня сейчас сидит Углов из Перми. Физиолог. Приехал он к нам по делу, которое можно и должно уладить. Просьба к вам: покажите-ка ему наш инсти-

<sup>1</sup> Другое я (лат.).

<sup>2</sup> Для умного достаточно (лат.).

гут.— Он помедлил.— А сегодня нельзя? Пожалуйста. Да, из Перми. Вот спасибо. Отлично... Нельзя доставить Араму Ильичу большего удовольствия,— положив трубку и улыбаясь, сказал он.

— Я могу сказать ему, что вы согласны?

— О, без сомнения!

Круазе потянул из ящика стола листок бумаги. «Снова план?»— подумал Петя.

Он был недоволен. Посмотреть институт — это, конечно, недурно, но по сегодняшнему Круазе, который был столь же обходителен, быстр и красноречив, все-таки было видно, что у него что-то не вышло относительно встречи Евлахова с Петей. Он как бы охладел, перешагнув какую-то возможность, ставшую теперь вчерашним днем — в буквальном и переносном смысле слова.

Оказалось, что Круазе действительно набросал план, но не разговора, а девятого этажа, на котором найти Оганезова было трудно или даже почти невозможно.

— Так вы сегодня отдадите приказ?

Круазе засмеялся по-прежнему весело, но с легким оттенком раздражения.

— Будет сделано.

Он отпустил Петю совершенно так же, как накануне, улыбаясь и доброжелательно пожав руку. Но улыбка уже была как бы для всех, а не только для Пети, и доброжелательство — тоже. Он отпустил Петю, давая понять, что в новой встрече нет необходимости и что он, Круазе, сделав для молодого человека все, что было в его силах, больше не может, к сожалению, уделить ему ни времени, ни внимания.

## 7

Как большинство молодых людей, Петя плохо знал себя и никогда не задумывался над этим. Узнавание себя — это обычно медленный, подчас растягивающийся на десятилетия процесс, связанный и даже в известной мере обусловленный узнаванием других, то есть жизненным опытом, который приходит не скоро. То, что должно было произойти само собой и на что Петя заранее отвел три-четыре часа, оказалось бесконечно сложнее, и он не знал, как вести себя в подобных обстоятельствах, с которыми встретился впервые. Тем не менее он знал, что все равно не уедет из Ленинграда без стекла,— в этом смысле собственный характер был ему достаточно известен. Поэтому, разыскивая Оганезова, он пытался найти хорошую сторону в создавшемся положении. Он глубоко мыслил в физиологии, но это не мешало ему любить и понимать прибор как таковой, как умное орудие, без которого нечего делать в науке. А в Институте стекла были приборы, только что построенные и еще никому во всем мире не известные.

По-видимому, Оганезов сразу почувствовал в Пете этот интерес, потому что, хмуро встретив его, вскоре оживился и стал с азартом показывать институт.

Он слишком быстро говорил — так и сыпал! — и Петя не сразу приспособился, а переспрашивать незнакомого человека стеснялся.

Оганезов был маленький, худой, даже какой-то вогнутый, с горбатым носом и торчащими серо-седыми волосами. Подобный цвет определяется обыкновенно как соль с перцем. Но соли было уже много больше, чем перцу. Вопреки своей внешности — у него были острые, торчащие из-под небрежно завернутых рукавов ковбойской рубашки локти, о которые можно было, кажется, уколоться,— Оганезов был добрый и отзывчивый человек. Быстрый ум, схватывающий с полуслова, чувствовался сразу.

Он был начитан, отнюдь не только в специальной литературе, так что Петя, который тоже много читал, несколько раз был поставлен в тупик — к полному добродушному удовольствию Оганезова. Казалось немного странным, что этот крошечный, худенький человек руководил работой множества сложных аппаратов и был, по-видимому, душой огромного института. Его маленькие цепкие руки не оставались в покое, едва он начинал объяснять, и по этим рукам, по серо-седому хохлу, встававшему над лбом, как у филина-пугача, по большому азартному носу видно было, что Оганезов не только дотошен, но и дьявольски, сверхъестественно терпелив — все почтенные качества, которые нравились Пете. Но в Оганезове чувствовалось и какое-то беспокойство: в каждой комнате он прежде всего искал телефонный аппарат. Можно было подумать, что ему до разреза нужно кому-то позвонить и он то решается, то вновь начинает колебаться. По своей экспансивности он не мог скрыть ни того, что он сердится на себя, ни того, что ему мешает эта тревога.

Петя не знал, что Оганезов, преодолевший и продолжающий преодолевать тысячи препятствий в своей жизни, прочно связанной с Институтом стекла, находился в полной растерянности перед новым препятствием, которое казалось ему действительно непреодолимым: его восемнадцатилетняя дочь, только что окончившая школу, влюбилась в пятидесятирехлетнего артиста и твердо решила выйти за него замуж. Артист был вполне порядочный человек, но при одной мысли, что его дочь, быстрая, гибкая, с большими нежными глазами, красавица, точно сошедшая с картин Гудиашвили, станет женой развязного, румяного, похожего на ящичка человека, который был уже трижды женат, — при одной этой мысли у Оганезова глаза наливались кровью.

Наконец он не выдержал, позвонил и вернулся расстроенный: дочери не было дома.

Он показал Пете свой прибор и немного утешился, когда Петя сказал: — Красиво.

Действительно, прибор был хорош. Петя вздохнул, подумав о скромных возможностях своего института. Но точность прибора, которой похвастался Оганезов, можно было, пожалуй, и увеличить, если попробовать... И Петя рассказал Оганезову об одной новости, которую шведы недавно удачно применили в медицинской аппаратуре.

Это было некстати, если вспомнить, что деловой разговор еще, в сущности, не начинался. Оганезов нахмурился и заговорил так быстро, что понять его стало уже решительно невозможно. Заметный армянский акцент прорезался в его речи, ручки пошли в ход с удвоенной быстротой. Он не знал этой новости и говорил вздор, так что Пете пришлось поправить его, хотя он чувствовал, что этого-то уже, во всяком случае, не стоило делать. Спор сразу же попал, что называется, не в фокус, и Петя пожалел, что затеял его, потому что Оганезов не то чтобы рассердился, но, кажется, стал менее радушен, чем в начале их разговора.

Зато получилось очень естественно, когда от его прибора Петя перешел к своему, сказав, что у него не только задуманная точность, но вообще ничего не вышло и что он приехал в Ленинград именно по этой причине. Оганезов знал о стекле Часовщикова, и Петина мысль показалась ему остроумной.

— Какой может быть вопрос? Сделаем, конечно! — быстро сказал он. — Вы видели Круазе?

На этот раз Петя решил быть откровенным, тем более что оттенок сдержанной неприязни скользнул по лицу Оганезова, когда он произнес эту фамилию.

— Был-то я был и даже, кажется, договорился. Да, видите ли, в чем дело...

И он напрямик сказал, что по совету Круазе был у Евлахова и что тот отказал. Правда, Круазе сказал, что практически согласие Евлахова никакого значения не имеет...

— Не понимаю,— немного покраснев, перебил Оганезов.— Как не имеет?

— Я хочу сказать, практически.

— Что значит — практически? — спросил Оганезов так громко, что обогнавшая их сотрудница испуганно обернулась.— Все, что делает Иван Павлович Евлахов, значение имеет!

— Извините,— сказал Петя, чувствуя, что он снова нечаянно попал на больное место.— Я здесь посторонний человек и, естественно, не знаю ваших отношений. Мне кажется, что они не должны касаться существа дела. Если вы, так же как товарищ Круазе, считаете, что без согласия Евлахова не обойтись, может быть, вы будете добры сами поговорить с ним об этом?

Возможно, что, если бы Петя, решив говорить откровенно, взял другой тон, Оганезов понял бы его и помог, потому что он чувствовал растерянность, в которой находился посторонний человек, попавший в совершенно чуждые ему отношения. Но ему показалось, что Петя упомянул о Евлахове без уважения. Этого было достаточно, чтобы Оганезов взорвался. Хохол его задрожал, и каждую фразу он стал начинать возмущенным «что значит».

Петя молча слушал его. Он был несколько флегматичен, но в редких случаях взрывался и он. Надо было постараться, чтобы этого не случилось.

— Вы меня не поняли,— тоже сердито, хотя и сдержанно сказал он.— Думаю, что мне лучше вернуться к Игорю Лаврентьевичу и узнать, распорядился ли он насчет приказа. Спасибо за то, что вы показали мне институт. До свидания.

Круазе не принял его. Он ждал чешскую делегацию. Искусно причесанная, вежливая секретарша была на этот раз не очень вежлива. Она вскочила на звонок, и за распахнувшейся дверью Петя увидел Круазе — улыбающегося, красивого, с белым сияющим венчиком вокруг головы. Он был, что называется, «в полете».

## 8

Петя поехал искать осциллографы, не нашел их и огорчился, хотя заранее был уверен, что не найдет. За обедом, который был одновременно и ужином, он обдумывал свой разговор с шефом. Объяснить путаницу, с которой Петя встретился в Институте стекла, да еще по телефону, было невозможно. И он решил сказать неопределенно: «Все в порядке». Он был почти уверен, что в конечном счете все действительно будет в порядке.

Он достал билет, но не на «Спартака» и не в Театр комедии, а в Большой драматический на пьесу, о которой он слышал что-то хорошее. Но Тамара, которой он позвонил, сказала, что, очевидно, что-то хорошее он слышал о другой пьесе, потому что эта очень плохая.

— От Вальки есть что-нибудь?

— Нет.

— Хоть бы позвонил, скотина!

— Да,— безропотно отозвалась Тамара.

Петя решил отдохнуть, а потом пройти по вечернему Невскому -- и, уснув, вскочил в два часа ночи. Расстроенный, он долго сидел у окна, глядя на залатанные крыши сараев. Как это с ним часто случалось, он думал во сне — на этот раз о приборе Оганезова. Теперь, проснувшись,



он продолжал думать: конечно, можно достигнуть бóльшей точности! Он сделал чертежик, потом смял его и, бросив в корзину для бумаг, снова завалился, на этот раз до утра.

## 9

Утром, еще голый, он достал чертежик и, разгладив его на колене, перебелил с поправками, которые пришли ему в голову неизвестно когда: во сне или когда он рассматривал свои голенастые, как у страуса, ужасно некрасивые ноги.

Ехать в институт ему не хотелось, как не хочется лезть в холодную воду, чтобы отцепить запутавшийся среди водорослей рыболовный крючок. Но делать было нечего. Он сел в трамвай и через полчаса поднимался в лифте на девятый этаж, разыскивая Оганезова.

— Здравствуйте, я на минуту. Дело в том, что вы все-таки...

Оганезов не сразу понял, что речь идет о его приборе. Он сожалел, что вчера накричал на Петю, у него был смущенный вид, и сперва он думал лишь о том, как бы наименее обидным для себя способом выйти из неловкого положения. Но когда он понял, что этот незнакомый человек, на которого он незаслуженно обрушился, уйдя от него, стал заниматься не своими, а его, Оганезова, делами, он радостно захохотал, открыв рот, как ребенок.

— Это смешно! — с восторгом сказал он. — Неважно: точность, неточность... Вы такой человек, да? Как ваша фамилия?

— Углов. Как это неважно? Вы меня не поняли.

Оганезов слушал, отогнув длинное морщинистое ухо.

— Феноменально! — сказал он. И через несколько минут: — Не выйдет.

Петя снова стал терпеливо объяснять.

Оганезов вдруг толкнул его и, сказав: «Молчи» — почему-то на «ты», взволнованно зашагал по лаборатории. «Дошло», — подумал с удовольствием Петя.

Они проговорили бы до вечера, если бы Оганезов, спохватившись, не вспомнил о Петинном деле.

— Вы были у Круазе? — спросил он, произнося эту фамилию так же легко, как любую другую, но одновременно как бы вспоминая, что именно так ее и надо произносить.

— Сегодня? Нет еще.

— И не ходите. Вот что мы сделаем: возьмем за бока Скачкова.

— Кто это?

— Я вчера не показал вам Скачкова?

— Нет.

— Скачков — это человек, который чувствует стекло, как музыку! Вы понимаете? Пошли!

Но Скачков, чувствовавший стекло, как музыку, не показал подобной тонкости в разговоре с Петей.

— Прикажут — сделаем, — вздохнув, сказал он. — Вообще-то Игорь Лаврентьевич мне звонил.

— Звонил?! — переспросили одновременно Оганезов и Петя.

— Да. Сколько вам нужно?

Скачков был квадратный пожилой человек в топорщившемся от чистоты халате. Седые волосы были начесаны на толстый низкий лоб. Он говорил с Петей скучным голосом, но не потому, что мало интересовался стеклом Часовщикова, а потому, что Круазе говорил с ним об этом деле неопределенно и, во всяком случае, без малейшего воодушевления.

— Сколько нужно? — Петя подумал. — Хорошо бы около килограмма.

Скачков засмеялся.

— Вы шутите,— сказал он.— Около килограмма? А как вы его купите?

— То есть?

— Такое количество вам бухгалтерия не выпишет.

— Мало?

— Разумеется. Арам Ильич, вы объясняли товарищу?

Пока Петя раздумывал, что делать с новой заботой, Оганезов налетел на Скачкова:

— Почему же не выпишет? Состав известен. Сегодня килограмм, завтра двадцать. Приказ есть приказ!..— И так далее.

— Приказа-то, собственно, еще нет,— почесавшись, сказал Скачков.— Да мне что, пожалуйста. Вот что, товарищ,— сказал он, оживившись и, по-видимому, искренне желая помочь Пете.— Поговорите-ка с Евлаховым. Может быть, он в своей лаборатории согласится сделать вам около килограмма.

## 10

Петя знал, что он плохо воспитан и что некоторые неудачи в его жизни произошли именно по этой причине. Стеснительность, постоянно тяготившая его, тоже произошла оттого, что никто не учил его держаться естественно и свободно. Он был вежлив, но инстинктивно, а иногда и невежлив, потому что свойственные ему скромность и душевная расположенность к людям не могли подсказать, должен ли он, например, первым протянуть руку человеку, который был старше его лет на тридцать и сделал в тридцать раз больше, чем он. Он даже научился пользоваться своей невоспитанностью, заметив, что этот недостаток подчас принимают за прямодушие, за неумение хитрить. Тогда-то он как раз и начинал хитрить. Подчас, когда мысль и чувства не совпадали, он видел себя со стороны и не обманывался, потому что по отношению к себе был, в сущности, беспощаден. Но это случалось редко. Семнадцатилетним юношей, уйдя с головой в науку, он достиг глубины, которая обещала многое, и многое действительно успел, хотя был еще очень молод. Он так тонко понимал науку, что и людей-то научился понимать главным образом по их отношению к науке. Так, для него, например, были ясны типы людей науки, их тактика и стратегия, их пристрастия и пороки. Но мир живых, обыкновенных, не связанных с профессией чувств был все-таки чужд Пете Углову, как большинству его сверстников, оставшихся элементарно неразвитыми в искусстве человеческих отношений, в любви, в способности ценить прекрасное, в умении восхищаться.

Плохо зная себя, он все-таки догадывался, что правда, пусть даже и неуместная, подчас оказывается волшебным ключом, открывающим в людях все лучшее, чем они обладают. Так было, например, с Оганезовым. Возможно, что так же было бы и с Евлаховым, если бы он, Петя, не стал притворяться.

В холодном настроении, овладевавшем Петей постоянно, когда его намерения упорно не осуществлялись, он постучал к Евлахову. Не ответили. Он приткнул дверь. В кабинете было пусто. Неужели уехал? Белый халат был небрежно брошен на кресло. Петя вздохнул. «Подожду»,— решил он. Впрочем, больше ничего и не оставалось. Он подошел к стенду и стал рассматривать стекло Часовщикова. Одна из ниточек, которыми матовый кружок был прикреплен к бархату стенда, оборвалась. Петя поднял крышку, осторожно достал стекло и подошел к окну. Стекло как стекло: матовый кружок, чуть отливавший перламутром.

«Неужели действительно эта поверхность, которая ничем, кажется, не отличается от поверхности любого стекла, действительно способна...»

Дверь скрипнула. Вошел Евлахов, и Петя, испуганно обернувшись, сунул стекло в карман. Движение было непроизвольное. Так в детстве, застигнутый строгим отцом, запрещавшим ему курить, он совал в карман горящий окурок. Евлахов вошел раздраженный, читая на ходу какое-то письмо.

— А, это вы? — спросил он, откровенно поморщившись, и бросил письмо на стол. — Здравствуйте. Чем могу быть полезен? Садитесь.

Если бы он заметил, как Петя сунул стекло в карман, дело было бы еще не так плохо. Но он не заметил. Петя застыл, вытаращив глаза, и мгновение, когда все еще могло разъясниться, прошло. Чувствуя в кармане стекло, что было физически невозможно, потому что оно весило не больше, чем стекло карманных часов, он подошел к столу, но не сел, а почему-то встал, крепко взявшись обеими руками за кресло.

Евлахов тоже не сел, должно быть рассчитывая, что Петя скорее уйдет, если они будут разговаривать стоя. Он еще косился на письмо, которое рассердило его, потому что оно касалось все той же геометрической бессмыслицы, вследствие которой в Институте стекла (если предположить его себе в виде окружности) было два центра: психологический и административный. Не зная этого, автор письма обратился к Евлахову по крайне важному вопросу, который мог решить только Круазе, — то есть не решить по существу, а приказать, чтобы решили другие.

— Если не ошибаюсь, мы уже выяснили, что я не имею отношения... — не дождавись, что Петя заговорит, начал Евлахов. — Или вы по другому делу? Тогда, может быть...

Петя покачал головой. Только в детстве находили на него подобные минуты оцепенения.

— Господи боже ты мой! — с тоской сказал Евлахов. — Зачем вы пришли? Если у вас есть дело — говорите, если нет — уходите. Черт знает что! — продолжал он. — Ну что вы молчите? Оганезов говорил мне о вас, и мне не понравилось то, что он говорил, хотя вы и оказали ему какую-то там услугу. И Скачков говорил. Все какие-то окольные пути, все со стороны. Услуга! Почему, скажите ради аллаха, должен я заниматься вашими, а не своими делами? Еще если бы было в вас хоть что-нибудь располагающее, то, что заставило бы прислушаться к вам, захотеть помочь. Так ведь нет! Только одно: взять за горло, зажать, добить своего. А свое — еще одна диссертация, которых написаны уже несметные сотни.

Он сильно потер лоб. Волосы смешно торчали на макушке. Наговорив неприятностей, он подобрел и тут же рассердился на себя за то, что подобрел.

— А знаете, что я сделал бы на вашем месте? — вдруг снова взорвался он, побагровев и уставившись на Петю бешеными глазами. — Не стал бы три дня подряд выпрашивать это стекло, надоедать занятым людям, а взял да и украл бы его, если на то пошло, — и концы в воду.

Возможно, что, если бы Петя, хотя и нечаянно, не поступил именно так, как советовал ему Евлахов, он нашел бы, что ответить на его страстную речь. Но вместо ответа он только вынул из кармана стекло и сам же уставился на него с растерянным выражением.

— Что там у вас? — сердито спросил Евлахов.

Он плохо видел и сильно двинулся вперед, чтобы разглядеть матовый кружок, лежавший на Петиной необъятной ладони. Петя тоже почему-то двинулся, и они чуть не столкнулись лбами.

— Да вот... стекло... — неопределенно ответил Петя.

Евлахов посмотрел на стекло, на Петю, опять на стекло и пискнул.

Петя испуганно втянул голову в плечи. Но Евлахов пискнул не от недогования, а, по-видимому, от восторга. Сорвавшись с места, он подбежал к стенду, заглянул и, хлопнув ладонями по коленям, закатился долгим, хриплым, заразительным смехом. Петя тоже робко засмеялся.

— Стащил?!

— Честное слово, нечаянно.

— Врете!

— Вы вошли неожиданно, а я рассматривал... ну и как-то сунул в карман. Честное слово, нечаянно.

— Ну да, как бы не так! Знаем мы...— говорил Евлахов.

И прежде в нем мелькало что-то мальчишеское, а теперь и вовсе легко стало представить себе, на какие отчаянные шалости пускался он в детстве. Глаза заблестели, брови высоко, смешливо поднялись, волосы в беспорядке, но с какой-то лихостью упали на лоб. В него можно было влюбиться.

— Так-с, теперь поговорим,— успокоившись, сказал он, точно это была единственная возможность — стащить со стенда стекло Часовщикова, чтобы серьезный разговор между ним и Петей наконец состоялся.— Ну-ка, еще раз: зачем вам нужно стекло?

Петя рассказал — на этот раз с вдохновением.

— Так. И сколько вам его нужно?

— Я просил около килограмма.

— Почему?

Петя осторожно положил стекло на стол. В самом деле — почему? Мысль, которая давно, сразу же после разговора со Скачковым, бродила невестя где, теперь высунулась краешком, как будто нарочно, чтобы его подразнить.

— Я не знаю технологии...— неуверенно сказал он.— Но если бы оказалось, что поверхность... То есть если бы можно было... ведь тогда даже и тончайшая пленка...

Это была мысль, ничуть не странная по отношению к живой природе, которой занимался Петя. Но по отношению к мертвой, то есть к стеклу, это была не только странная, но почти фантастическая мысль, и прийти в голову она могла лишь тому, кто с юных лет был поражен неразгаданными свойствами «живого». Евлахов слушал его, смешно моргая.

— А кристаллизация? — спросил он и стал слушать еще внимательнее, когда Петя с маху шагнул через кристаллизацию, которую можно было преодолеть, просидев в лаборатории не менее полугода и поставив две или три сотни сложнейших опытов.

— Ну-с, так,— сказал Евлахов, подводя итог не столько Петиным далеко размахнувшимся соображениям, сколько собственной недогадливости, заставившей его так сильно в нем ошибиться.— Любопытно. А теперь поехали.

— Куда?

— Ко мне.

— Зачем?

— Обедать.

## 11

Петя вернулся в гостиницу в том размягченном, нежном настроении, которое всегда овладевало им, когда ему случалось побывать в хорошей, дружной семье. Ему все понравились: хозяйка, маленькая, быстрая, сохранившая изящество, хотя и сверстница мужа, дети — сын лет тридцати пяти, океанолог, недавно вернувшийся из Антарктиды, и дочь с му-



жем, врачи. Несмотря на то, что это были взрослые люди, давно ушедшие из дома и далекие от интересов отца, между ними чувствовалась не только родственная, но и более глубокая связь. Это был дом, в котором умели радоваться всему хорошему — малому и большому. А хорошее на этот раз заключалось в том, что Евлахов привез к обеду Петю и рассказал, хохоча, о том, как было «украдено» стекло Часовщикова. О Петиной фантастической мысли он ничего не сказал, только заговорщически поднял брови. И Петя тоже поднял, совершенно так же, как он.

«А как видно, что они любят друг друга,— продолжал думать Петя.— И как серьезно этот парень из Антарктиды, похожий на молодого Амундсена, объяснил, что мать вообще не в силах понять чужую несправедливость и что подлость кажется ей бессмыслицей, потому что встать на точку зрения подлеца она не в состоянии. (Это было, когда разговор как бы наткнулся на историю с Круазе, и все стали тщательно обходить эту тему.) И как хорошо Евлахова подшутила над мужем, который обычно спал после обеда, а сегодня постеснялся оставить гостя ради этого сна, которому придавал особенное значение для здоровья».

Пете было так приятно думать об этом семействе, так весело и грустно, что он даже забыл о том, что, лишь заглянув в гостиницу, собиравшись сразу же отправиться на Сенатскую площадь. Он был холост, хотя и полагал, что жениться, по-видимому, необходимо. Но ему казалось, что жена изменит весь уклад его жизни. Уклада никакого не было, а была комната, хотя и очень хорошая, в новом доме, но полупустая, а в ней горы разного назначения и происхождения: горы окурков, горы книг на полу, на окне, на диване. Уклад фактически заключался в том, что, придя с работы, Петя укладывался на диван, курил и думал. Но как раз именно это-то и могло не понравиться супруге. Думая о женитьбе, он начинал жалеть себя, что, вообще говоря, случалось с ним очень редко.

...Секретарша Круазе позвонила, вернув его из коридора: Игорь Лаврентьевич очень сожалеет, что не мог принять товарища Углова. («Ясно. Уже доложили, что я был у Евлахова».) Что поделаешь, иностранная делегация. Как дела? (Она была очень любезна.) Игорь Лаврентьевич интересуется, помог ли товарищу Углову Оганезов. («Ах, интересуется? Небось беспокоится, сукин сын, что обошлись без него!») Помог? Прекрасно... Немного подробнее, если можно. Пауза. Игорь Лаврентьевич просит заглянуть к нему. Пауза. Ну, хотя бы завтра в двенадцать.

— К сожалению, я сегодня уезжаю,— сказал Петя.— Поблагодарите, пожалуйста, Игоря Лаврентьевича. Мой шеф, профессор Никитин, просил меня передать Игорю Лаврентьевичу сердечный привет. До свидания.— Он показал невидимому Круазе длинный, как у муравьеда, язык и весело прошелся по номеру.

— Что, взял?

Постучали. Он не расслышал, и Колосков вошел, когда Петя торжествовал победу над Круазе, выкидывая перед зеркалом длинные ноги.

— Пляшешь?

— Валька! Приехал все-таки!

Обниматься — это у них было не принято, и они, улыбаясь, только молча крепко пожали друг другу руки. В противоположность Пете, которого можно было нарисовать одной ломаной линией, Колосков был довольно толст, с большой головой, на которую трудно было найти подходящую шапку. У крупных людей с годами вырабатывается осторожность в движениях — он был еще стремителен, порывист и постоянно что-нибудь бил и ломал. Стулья разваливались под ним, посуда лете-

ла. У него было круглое спокойное лицо, одновременно грубое и тонкое, с лысым лбом и нервными губами. Он был похож на ребенка, но на ребенка из свифтовской страны великанов, не подозревающего, как он голет и высок.

Это был человек, еще в детстве испытавший множество несчастий — блокаду, смерть отца, голод, тяжелую болезнь, заставившую его почти пять лет провести в постели. Он рано оценил спокойствие, здоровье, возможность учиться и работать. Петя подсмеивался над его скупостью — у него очень долго не было денег. Несчастья научили его сдержанности, подчас отталкивающей тех, кто не видел за ней на редкость отзывчивого и нежного сердца.

Они работали в разных областях — Валя был физик — и по-разному. Петя — осторожно, неторопливо, но зато уж так, чтобы не приходилось возвращаться. Валя — с размахом, соответствующим, как он полагал, той «науке из наук», которой он занимался.

С тех пор как Колосков уехал из Перми, они редко встречались, но зато уж, встречаясь, могли проговорить всю ночь напролет — Тамара в этих случаях умела стусевываться до почти полного исчезновения. Впрочем, при ее физическом и духовном устройстве это было не так уж и сложно.

На этот раз, увы, у них было только несколько часов. Пермский поезд уходил в десять сорок.

— Такая жалость, черт побери! Так хотелось посмотреть Ленинград! Не успел.

— Почему? У тебя же было уйма времени.

— Было-то было!

И Петя рассказал, с каким трудом он добился толку, попав в сложные и неясные отношения между Круазе и Евлаховым.

— Мне кажется, отчасти я и сам в чем-то был виноват.

— Еще бы! Что ни случится, прежде всех, конечно, ты виноват. Старики, брат, девятнадцатый век! — сказал Колосков поучительно. — Сальеризм и прочее. Пошли.

— Куда?

— Смотреть Ленинград. Конечно, ты виноват, — сказал он, когда они спускались по лестнице. — Нельзя же вести себя так, как будто ты не знаешь, что будешь делать в следующую минуту.

## 12

Они пошли пешком, и то, о чем они говорили, несомненно принадлежало к двадцатому веку, и даже к его последней, еще не начавшейся трети. Шел несильный дождь, который они заметили, лишь остановившись на Петроградской набережной, там, где Нева сливалась с Большой Невкой. Напротив, по ту сторону реки, навечно пришвартовалась «Аврора». Колосков хотел показать Пете необыкновенный вид, открывавшийся с этого места. Но хотя вид был действительно необыкновенный, показать его не удалось, потому что даже «Аврора» едва проглядывалась в графитных линиях дождя, переходившего над Невой в морсящий туман.

Впрочем, Петя скоро забыл о своей досаде на дурную погоду. Почти невидимый, Ленинград был все-таки где-то близко, рядом. Он как будто проплывал в глубине сознания, всецело погруженного в то, что Петя слышал от друга. Колосков мог рассказать лишь немного о той работе, которой он занимался под руководством известного Винклера. Но и этого было достаточно, чтобы Петя понял, в каком охвате ново-

го посчастливилось участвовать его другу и насколько он, Петя, далек от этого счастья.

Фотографии невидимой стороны Луны, рассказывающие о том, что человечество стремилось узнать или хотя бы угадать в течение тысячелетий, только что появились в газетах. И Петя был удивлен, когда Колосков весьма спокойно оценил эти почти фантастические усилия по меньшей мере полусотни наук.

— Здóрово, конечно! — сказал он. — Но, в сущности, для нас это пути сообщения. На поезде мы не думаем о законе, согласно которому давление пара двигает поршень. Вот точно так же через несколько лет мы не будем думать о приложении законов, согласно которым наши станции полетят на Венеру и Марс. Космические полеты — это в конечном счете приложение старых законов. А мы откроем новые, и это будет скоро. Узнаешь? — спросил он указав на Зимний дворец, который разочаровал Петю, показавшись ему в тумане просто большим обыкновенным домом.

— Еще бы!

— На него надо с того берега смотреть, от Ростральных колонн.

Они шли по Дворцовому мосту.

— Вообще-то говоря, история характерная.

— Какая история?

— Да вот что ты рассказал. Насчет стариков. Тебе она представилась в виде пунктира. Соедини точки — и все станет так же ясно, как на карте звездного неба.

— Не понимаю.

— А это потому, что ты еще глуп, — поучительно сказал Колосков. — Смотри, дубина: Академия наук, университет. Он же — Двенадцать коллегий.

Все было как за толстым запотевшим стеклом — затушевано, стерто.

— Да, черт, не повезло, — вздохнув, сказал Петя. — Так что ты говоришь? Ах да! Старики!

— Я говорю, что эта история — отражение той борьбы, которая ни на один день не прекращается в науке. Формы, конечно, разные. Приобретатели и изобретатели, например. Твой случай.

— Сложнее.

— Может быть. Но, в сущности, не все ли равно, почему Круазе выпал из науки? Для нас с тобой эта форма интересна только в одном отношении: она показывает высокий класс происков и интриг — работенка, о которой мы не имеем понятия. Зато старики — мастера! Я знаю одного талантливейшего ученого, который и вовсе оставил свое дело, то есть поручил его ассистентам, а сам занимается исключительно отношениями между его институтом и другими, между академиком А. и академиком Б. И нельзя сказать, что с корыстной целью! Он просто не может без этого жить, как не могут жить без вина или курения. Вот так и твой Круазе, быть может? А вот и сфинксы!

Сфинксы, голые и мокрые, покорно лежали в бесчисленных сверкающих пылинках тумана.

— Пронски, подсиживание, интриги, — сказал Петя. — Игра!

— Да. Не хуже другой — на скачках, например.

— И очень хорошо, что мы не имеем о ней никакого понятия.

— Еще бы! Но она связана с умением вести себя, а вот этому нам с тобой не мешало бы поучиться.

— То есть?

— Да что! Ни ты, ни я не умеем ни войти в дом, ни выйти, ни поздороваться по-человечески, ни поддержать разговор.

— Ерунда.

— Нет, брат, не ерунда,— серьезно сказал Колосков.— На все хватает времени, а на вежливость — нет.

Теперь они были на мосту лейтенанта Шмидта — в этом, кажется, можно было не сомневаться. Зато все остальное было непрочно, неопределенно, шатко и появлялось, кажется, только для того, чтобы тут же растаять в тумане. Где-то близко — или далеко? — были — или не были? — Медный всадник, Адмиралтейство, Сенат.

— Между тем мы, в сущности, ничуть не менее культурны, чем старики. Мы много читаем, любим искусство, для нас не за семью печатями то, что происходит в живописи, в литературе.

— А происходит?

— Что?

— В живописи и литературе?

Колосков засмеялся.

— Ты тоже как этот инженер, напечатавший письмо в «Комсомолке»? Что пользы от поэзии в сравнении с ракетой или вычислительной машиной?

— Я — нет. Зато мой шеф, например, да. А ведь он окончил два факультета.

— Он ученый доктор Гусь, твой шеф, а этому спору скоро столетие. Еще Чехов писал, что искусство, конечно, может надоесть, как надоедает каждый день обедать, но обедать-то все-таки нужно! Кстати, он возражал Толстому.

Они повернули на набережную, и Медный всадник нашелся наконец. Под осторожным светом прожектора он блестел в разорванных ключьях тумана. У него был озабоченный вид человека, спешащего куда-то в дурную погоду по неотложному делу.

— Я ехал сюда в компании архитекторов,— сказал Петя.— Все молодые, вроде нас с тобой. Так и они в один голос: старики поперек дороги. Бонзы — слышал такое словечко?

— Еще бы!

— Так вот эти бонзы, по-видимому, имеют у них огромное, можно сказать, поглощающее влияние. А у вас?

— И у нас их хватает,— сказал Колосков.— Но у нас им труднее, потому что с них требуют, они должны выдавать на горю, и тут уж по большей части некуда податься.

Петя посмотрел на часы.

— Пора?

— Да.

Они взяли такси.

— А по-моему, дело не в бонзах,— сказал Петя.— И даже не в традиционной формуле «отцы и дети». Если говорить об этой формуле, так в другом разрезе, не горизонтальном — наверху отцы, внизу дети,— а вертикальном.

— То есть?

— Во времени. Одни живут интересами завтрашнего дня в науке, а другие никак не могут расстаться со вчерашним. Ты думаешь, среди молодежи нет таких, которые не заметили огромного — в том числе и психологического — сдвига в нашей науке за последние годы?

— Хватает. Еще бы диссертации отменить. Сразу стало бы ясно, кто чего стоит.

— Да.

— Легче было бы разобраться.

— Это Публичная библиотека?

— Да. Эх, брат! Перебрался бы ты в Ленинград! А?

— Не выйдет.



— А ты не можешь зимой взять в счет отпуска дней хоть шесть—восемь? Съездили бы в Выборг, прошлись бы на лыжах...

— Едва ли...

Они заговорили о том, что неизменно заботило их,— как устроить, чтобы встречаться почаще. Так бывало всегда: расставаясь, они с трогательной обстоятельностью обсуждали план будущей встречи. Друг для друга — так им казалось — они были одни, а для всего остального мира — другие. На деле этой воображаемой пропасти, разумеется, не было, мир судил о них довольно здраво. Но этот оттенок был необходим для их все еще юношеской дружбы. Они не только привыкли соотносить свои впечатления, они помогали друг другу думать. Отношения, как ни странно, были при этом сдержанные. Дела, которые решаются наедине с собой, лишь угадывались, подчас даже как бы совместно обдумывались, но никогда не обсуждались.

Они зашли в гостиницу за вещами и поехали на Московский вокзал.

Пете не хотелось сразу же после встречи с Колосковым долго разговаривать с соседями по вагону, и, обменяв свое удобное нижнее место, он полез на полку, едва поезд отошел от перрона. Ночью он проснулся и стал вспоминать не сон, а странное ощущение, которое только что испытал в длинном перепутанном сне. Это было ощущение пустоты. Что-то непременно должно было случиться, прежде чем кончится сон, и оборвалось, не случилось. Но эта пустота относилась не к Ленинграду, а к удалявшейся фигуре друга, стоящего с поднятой рукой на медленно уходящем перроне.

Петя зажег ночную лампочку и бережно вынул стекло Часовщикова из чемодана. Оно было холодное, с дрожавшей в глубине перламутровой точкой света. Три дня тому назад это был просто кусок стекла, обладавший свойствами, необходимыми для Петиного прибора. Теперь он был связан в его сознании с множеством впечатлений и размышлений. И это были новые для него впечатления и размышления. Так и не увидев Ленинграда, он все-таки увозил с собой город Евлахова и его детей с их скрытой нежностью друг к другу, город маленького прямодушного Оганезова, поднявшего на своих узких, как у мальчика, плечах громадное дело, город Вали Колоскова, глядевшего в будущее с тем выражением спокойной уверенности, которое было памятно Пете еще с третьего класса.

Но как будто и в себе самом Петя открыл что-то новое за эти три промелькнувших дня. Кто знает, что это было? Уж не догадка ли о том, что он и в самом деле плохо знает себя? А ведь для того, что задумано в жизни, недурно бы, пожалуй, узнать себя несколько лучше!

Впрочем, обо всем этом он думал недолго. Мысль, на которую он наткнулся в разговоре с Евлаховым, могла многое изменить в его аппарате. Это тоже была новинка. И, согнувшись в три погибели, поджав под себя жесткие, костлявые ноги, Петя на обороте папиросной коробки принялся прилаживать эту новинку к прежней схеме, настолько знакомой, что уже давно он обозначал ее понятной только ему одному закорючкой.



---

РИММА КАЗАКОВА

★

## В ЛЕСУ

Рычаньем сумерки дробя,  
суровы и нарядны,  
грузовики везут дрова,  
как будто бы снаряды...

Уйдем, ребята, на войну,  
туда, где гром и скрежет  
и где пила, озлясь в плену,  
под корень сосны режет.

Там пахнет мокрою корой  
и божьею коровкой.  
Там умирает дуб-король  
после борьбы короткой.

И сучья жгут — как замки жгут  
во имя мирных хижин.  
И молодых посадок жгут  
у поля неподвижен.

Гудки. Фонариков лучи.  
Буксующие шины.  
Ползут, ползут, как тягачи,  
тяжелые машины.

И дух мазута, и смола,  
и терпкий запах кедра...  
И смелость песни... Так смела  
сигнальная ракета.

На всю страну сигнал весну,  
зеленой битвы рота!  
Идут ребята на войну  
по имени работа.



---

ЯКОВ ХЕЛЕМСКИЙ

★

## БЕЛОРУССКИЕ РЕКИ

*Аркадию Кулешову*

Белорусские реки  
Звучат, как пастушьи жалейки.  
Зазвенит Вилия —  
Отзовется журчанье Вилейки.

Колоннады стволов  
Протянулись над Птичью и Случью.  
Милых рек имена,  
Словно русла лесные, певучи.

Ивы смотрятся в Друть,  
А березы бурливой весною  
Входят в воду по грудь  
И любуются Березиною.

Беловежская пуща,  
Полесские старые чащи  
В бочажках отразились,  
В затонах, спокойно журчащих.

Отразились в воде  
С первозданною зеленью вместе  
Городские предместья —  
Живые земные созвездья.

Журавлиные стаи,  
Летящие из-за туманов,  
Журавлиные шеи  
Стремительно поднятых кранов.

И пролеты мостов  
Словно радуг сиянье сквозное,  
И весенние радуги  
Словно мосты над волною.

Сож поет в лозняке,  
И, плеща, разливается Припять.  
Эту свежесть до дна  
Даже летнему зною не выпить.

Подголоски звенят  
Безымянных бесчисленных речек,  
Все кругом пронизав  
Белорусской сердечною речью.

За рекою река —  
В перекличке с подругами всеми.  
За строкою строка —  
В задушевно текущей поэме.



---

ИЛЬЯ ЭРЕНБУРГ

★

## ЛЮДИ, ГОДЫ, ЖИЗНЬ

1

**Д**авно мне хочется написать о некоторых людях, которых я встретил в жизни, о некоторых событиях, участником или свидетелем которых был; но не раз я откладывал работу: то мешали обстоятельства, то брало сомнение — удастся ли мне воссоздать образ человека, картину, с годами потускневшую, стоит ли довериться своей памяти. Теперь я все же сел за эту книгу — откладывать дольше нельзя.

Тридцать пять лет назад в одном из путевых очерков я писал: «Этим летом, в Абрамцеве, я глядел на клены сада и на покойные кресла. Вот у Аксакова было время, чтобы подумать обо всем. Его переписка с Гоголем — это неторопливая опись души и эпохи. Что оставим мы после себя? Расписки: «Получил сто рублей» (прописью). Нет у нас ни кленов, ни кресел, а отдыхаем мы от опустошающей суеты редакций и передних в купе вагона или на палубе. В этом, вероятно, своя правда. Время обзавелось теперь быстроходной машиной. А автомобилю нельзя крикнуть «остановись, я хочу разглядеть тебя поподробнее!» Можно только сказать про беглый свет его огней. Можно, — и это тоже исход, — очутиться под его колесами».

Многие из моих сверстников оказались под колесами времени. Я выжил — не потому, что был сильнее или прозорливее, а потому, что бывают времена, когда судьба человека напоминает не разыгранную по всем правилам шахматную партию, но лотерею.

Я был прав, сказав очень давно, что наша эпоха оставит мало живых показаний: редко кто вел дневник, письма были короткими, деловыми — «жив, здоров»; мало и мемуарной литературы. Есть на то много причин. Остановлюсь на одной, которая, может быть, не всеми осознана: мы слишком часто бывали в размолвке с нашим прошлым, чтобы о нем хорошенько подумать. За полвека множество раз менялись оценки и людей и событий; фразы обрывались на полуслове; мысли и чувства невольно поддавались влиянию обстоятельств. Путь всех и каждого шел по целине; люди падали с обрывов, скользили, цеплялись за колючие сучья мертвого леса. Забывчивость порой диктовалась инстинктом самосохранения: нельзя было идти дальше с памятью о прошлом, она вязала ноги. Ребенком я слышал поговорку: «Тому тяжело, кто помнит все» — и потом убедился, что век был слишком трудным для того, чтобы волочить груз воспоминаний. Даже такие потрясшие народы события, как две мировые войны, быстро становились историей. Издатели во всех странах теперь говорят: «Книги о войне не идут...» Одни уже не помнят, другие не хотят узнать о минувшем. Все смотрят вперед, это, конечно, хорошо; но древние римляне не зря обожествляли Януса. У Януса было два лица. не потому, что он был двуличным, как часто говорят, нет, он

был мудрым: одно его лицо было обращено к прошлому, другое — к будущему. Храм Януса закрывали только в годы мира, а за тысячу лет это случилось всего девять раз — мир в Риме был редчайшим событием. Мое поколение не походило на римлян, но мы тоже можем пересчитать на пальцах более или менее спокойные годы. Однако, в отличие от римлян, мы, кажется, считаем, что о прошлом следует думать только в эпоху глубокого мира...

Когда очевидцы молчат, рождаются легенды. Мы иногда говорим «штурмовать бастилии», хотя Бастилию никто не штурмовал — 14 июля 1789 года было одним из эпизодов Французской революции; парижане легко проникли в тюрьму, где оказалось очень мало заключенных. Однако именно взятие Бастилии стало национальным праздником республики.

Образы писателей, дошедшие до последующих поколений, условны, а порой находятся в прямом противоречии с действительностью. До недавнего времени Стендаль представлялся читателям как эгоист, то есть человек, поглощенный своими собственными переживаниями, хотя он был общительным и эгоизм ненавидел. Принято считать, что Тургенев любил Францию, ведь он там провел много времени, дружил с Флобером; на самом деле он не понимал и недолюбливал французов. Одни считают Золя человеком, познавшим различные соблазны, — автором «Нана»; другие, вспоминая его роль в защите Дрейфуса, видят в нем общественного деятеля, страстного трибуна; а тучный семьянин был на редкость целомудренным и, за исключением последних лет своей жизни, далеким от гражданских бурь, потрясавших Францию.

Проезжая по улице Горького, я вижу бронзового человека, очень заносчивого, и всякий раз искренне удивляюсь, что это памятник Маяковскому, настолько статуя не похожа на человека, которого я знал.

Прежде легендарные образы складывались десятилетиями, порой веками; теперь не только самолеты быстро пересекают океаны, люди мгновенно отрываются от земли и забывают о пестроте, о сложности ее рельефа. Иногда мне кажется, что некоторое потускнение литературы, которое во второй половине нашего века замечается почти повсеместно, связано с быстротой превращения вчерашнего дня в условность. Писатель очень редко изображает действительно существующих людей — такого-то Иванова, Дюрана или Смита; герои романа — сплав, в который входят и множество встреченных писателем людей, и его собственный душевный опыт, и его понимание мира. Может быть, история — романист? Может быть, живые люди для нее прототипы и она, переплавляя их, пишет романы — хорошие или плохие?..

Все знают, насколько разноречивы рассказы очевидцев о том или ином событии. В конечном счете, как бы ни были добросовестны свидетели, в большинстве случаев судьи должны положиться на свою собственную прозорливость. Мемуаристы, утверждая, что они беспристрастно описывают эпоху, почти всегда описывают самих себя. Если бы мы поверили в образ Стендаля, созданный его ближайшим другом Мери, мы бы никогда не поняли, как мог светский человек, остроумный и эгоцентричный, описать большие человеческие страсти, — к счастью, Стендаль оставил дневники. Политическая буря, разразившаяся в Париже 15 мая 1848 года, описана Гюго, Герценом и Тургеневым; когда я читаю их записи, мне кажется, что речь идет о различных событиях.

Иногда разноречивость показаний диктуется несходством мыслей, чувствований, иногда она связана с самой обычной забывчивостью. Десять лет спустя после смерти Чехова люди, хорошо знавшие Антона Павловича, спорили, какие у него были глаза — карие, серые или голубые.

Память сохраняет одно, опускает другое. Я помню в деталях некоторые картины моего детства, отрочества, отнюдь не самые существенные; помню одних людей и начисто забыл других. Память похожа на фары машины, которые освещают ночью то дерево, то сторожку, то человека. Люди (особенно писатели), рассказывающие стройно и подробно свою жизнь, обычно заполняют пробелы догадками; трудно отличить, где кончаются подлинные воспоминания, где начинается роман.

Я не собираюсь связно рассказать о прошлом — мне претит мешать бывшее в действительности с вымыслом; притом я написал много романов, в которых личные воспоминания были материалом для различных домыслов. Я буду рассказывать об отдельных людях, о различных годах, перемежая запомнившееся моими мыслями о прошлом. Видимо, это будет скорее книга о себе, чем об эпохе. Конечно, я расскажу о многих людях, которых знал, — о политических деятелях, о писателях, о художниках, о мечтателях, об авантюристах; имена некоторых из них известны всем; но я не беспристрастный летописец, и это будут только попытки портретов. Да и события я попытаюсь описать не в их исторической последовательности, а в их связи с моей маленькой судьбой, с моими сегодняшними мыслями.

Я никогда не вел дневников. Жизнь была скорее беспокойной, и мне не удалось сохранить письма друзей — сотни писем пришлось сжечь, когда фашисты оккупировали Париж; да и потом письма скорее уничтожались, чем хранились. В 1936 году я написал роман «Книга для взрослых»; он отличается от других моих романов тем, что в него вставлены главы мемуарного характера. Кое-что я возьму из этой давней книги.

Некоторые главы я считаю преждевременным печатать, поскольку в них речь идет о живых людях или о событиях, которые еще не стали достоянием истории; постараюсь ничего сознательно не исказить — забыть про ремесло романиста.

Камень всегда холоден, он по своей природе отличен от человеческого тела, но с древнейших времен скульпторы брали мрамор, гранит или же металл — бронзу — для изображения человека. Только когда перед ними вставляли декоративные замыслы, они прибегали к дереву, хотя, конечно, дерево куда ближе к плоти. Камень прельщал потому, что он труден для работы, притом он долговечен. В различных музеях стоят вереницы каменных статуй; многие из них прекрасны, все они холодны. Но порой статуя теплеет, оживает от глаз посетителя музея. Мне хотелось бы любящими глазами оживить несколько окаменелостей былого; да и приблизить себя к читателю: любая книга — исповедь, а книга воспоминаний — это исповедь без попыток прикрыть себя тенями вымышленных героев.

## 2

Я родился в Киеве 14 января 1891 года. 1891-й — эта цифра хорошо памятна русским людям, да еще французским виноделам. В России был голод; двадцать девять губерний поразил недород. Лев Толстой, Чехов, Короленко пытались помочь голодающим, собирали деньги, устраивали столовые; все это было каплей в море, и долго спустя девяносто первый называли «голодным годом». Французские виноделы разбогатели на вине того года: засуха сжигает хлеба и повышает качество винограда; черные даты для крестьян Поволжья неизменно совпадают с радостными датами для бургундских и гасконских виноделов; еще в двадцатых годах нашего века знатоки разыскивали вина, помеченные цифрой «1891». В 1943 году из Ленинграда вывезли в Москву по «ледяной дороге» вагон со старым «Сент-Эмильон» 1891 года. Самтрест попросил А. Н. Толстого и меня проверить качество спасенного вина. В бутылках



оказалась кисловатая водица — вино умерло (вопреки распространенной легенде, вино, даже самое лучшее, умирает в возрасте сорока—пятидесяти лет).

1891 год... Какой далекой кажется теперь эта дата! Россией правил Александр III. На троне Великобритании сидела императрица Виктория, хорошо помнившая осаду Севастополя, речи Гладстона, усмирение Индии. В Вене благополучно царствовал Франц-Иосиф, взшедший на престол в памятном 1848 году. Еще жили герои драм и фарсов прошлого столетия — Бисмарк, генерал Галифе, известный дипломат царской России Игнатьев, маршал Мак-Магон, Фогт, известный нашим студентам благодаря памфлету Карла Маркса. Еще жил Энгельс. Еще работали Пастер и Сеченов, Мопассан и Верлен, Чайковский и Верди, Уитмен и Луиза Мишель. В 1891 году умер Гончаров.

Внешне, если представить себе сейчас 1891 год, мир настолько изменился, что кажется, прошла не одна человеческая жизнь, а несколько столетий. Париж обходился без световых реклам и без автомобилей. О Москве говорили «большая деревня». В Германии доживали свой век романтики, влюбленные в липы и в Шуберта. Америка была далеко, за тридевять земель.

Не было еще на свете ни Жолио-Кюри, ни Ферми, ни Маяковского, ни Элюара. Гитлеру было два года. Мир внешне казался успокоенным: никто не воевал; Италия только присматривалась к Эфиопии, Франция готовилась захватить Мадагаскар. Газеты рассуждали о визите французского флота в Кронштадт: очевидно, Тройственному союзу будет противопоставлен франко-русский союз; любители потолковать о высокой политике говорили, что «мир спасет европейское равновесие».

Россия была еще неподвижной. Александр III, разгромив «Народную волю», несколько успокоился. Правда, первого мая в Петербурге была маленькая маевка. Правда, в Самаре Ленин читал Маркса. Но могло ли это смутить всемогущего царя? Он преспокойно приложил руку к козырьку, когда во время визита французских кораблей оркестр исполнил «Марсельезу». Он удовлетворенно говорил: зот уже заложена Великая сибирская магистраль, скоро можно будет в поезде доехать из Иркутска до Москвы...

Первое мая было внове. В рабочем поселке Фурми на севере Франции в 1891 году полиция расстреляла первомайскую демонстрацию. Газеты писали: «Зловещие тени коммунаров оживают».

В Германии был торжественно учрежден «Пангерманский союз». Там много говорили о жизненном пространстве, о миссии Германии, о грядущих походах, и отцы будущих эсэсовцев кричали «гох».

Жорес писал, что победят не палачи Фурми, а рабочие, интернационалисты, защитники прав человека.

Нет, уж не так далек 1891 год: заваривалась та каша, которую наше поколение долго, старательно расхлебывало. Жизнь каждого человека извилиста и сложна, но, когда глядишь на нее с высоты, видишь, что есть в ней своя скрытая прямая линия. Люди, которые родились в тишайшем 1891 году, когда был голод в России и замечательное вино во Франции, должны были увидеть много революций, много войн, Октябрь, спутников Земли, Верден, Сталинград, Освенцим, Хиросиму, Эйнштейна, Пикассо, Чаплина.

Четырнадцатого января 1891 года, в тот самый день, когда в Киеве на крутой Институтской улице, идущей от Крещатика вверх к Липкам, мне суждено было увидеть свет, Антон Павлович, находившийся в Петербурге, писал своей сестре: «Меня окружает густая атмосфера злого чувства, крайне неопределенного и для меня непонятного. Меня кормят обедами и поют мне пошлые дифирамбы и в то же время готовы меня

съесть. За что? Черт их знает. Если бы я застрелился, то доставил бы этим большое удовольствие девяти десятым своих друзей и почитателей. И как мелко выражают свое мелкое чувство! Буренин ругает меня в фельетоне, хотя нигде не принято ругать в газетах своих же сотрудников...» Что говорил Буренин о Чехове: «Подобные средние таланты разучаются прямо смотреть на окружающую их жизнь и бегут, куда глаза глядят...» Антон Павлович в январе 1891 года начал писать повесть «Дуэль». Я часто перечитываю Чехова и вот недавно снова перечитал «Дуэль». Конечно, на ней есть печать времени. Герой Лаевский, томясь в захолустье, мечтает, как он вернется в Петербург: «Пассажиры в поезде говорят о торговле, новых певцах, о франко-русских симпатиях; всюду чувствуется живая, культурная, интеллигентная, бодрая жизнь...» Но о франко-русском сближении или о развитии торговли я знаю и без «Дуэли». Перечитывая повесть, я задумался о другом — о своей жизни.

Лаевский — слабый человек, запутавшийся и доведенный до отчаяния: «Он столкнул с неба свою тусклую звезду, она закатилась, и след ее смешался с ночной тьмой; она уже не вернется на небо, потому что жизнь дается только один раз и не повторяется. Если бы можно было вернуть прошлые дни и годы, он ложь в них заменил бы правдой, праздность — трудом, скуку — радостью...» Свихнувшегося Лаевского обличает фон Корен, человек точных знаний и очень неточной совести. «Так как он неисправим, то обезвредить его можно только одним способом... В интересах человечества и в своих собственных интересах такие люди должны быть уничтожаемы. Непременно... Я не настаиваю на смертной казни. Если доказано, что она вредна, то придумайте что-нибудь другое. Уничтожить Лаевского нельзя, ну так изолируйте его, обезличьте, отдайте в общественные работы... А если горд, станет противиться — в кандалы!.. Мы должны сами позаботиться об уничтожении хилых и негодных, иначе, когда Лаевские размножатся, цивилизация погибнет». А вот что думает о беспощадном стороннике прогресса и естественного отбора бедняга Лаевский: «И идеалы у него деспотические. Обыкновенные смертные, если работают на общую пользу, то имеют в виду своего ближнего: меня, тебя, одним словом человека. Для фон Корена же люди — щенки и ничтожества, слишком мелкие для того, чтобы быть целью его жизни. Он работает, пойдет в экспедицию и свернет себе там шею не во имя любви к ближнему, а во имя таких абстрактов, как человечество, будущие поколения, идеальная порода людей... А что такое человеческая порода? Иллюзия, мираж... Деспоты всегда были иллюзионистами».

В конце повести Лаевский, а с ним вместе Чехов думают, глядя на разбушевавшееся море: «Лодку бросает назад, делает она два шага вперед и шаг назад, но гребцы упрямы, машут неутомимо веслами и не боятся высоких волн. Лодка идет все вперед и вперед, вот уже ее и не видно, а пройдет с полчаса, и гребцы уже увидят парходные огни, а через час будут уже у парходного трапа. Так и в жизни... В поисках за правдой люди делают два шага вперед, шаг назад. Страдания, ошибки и скука жизни бросают их назад, но жажда правды и упрямая воля гонят вперед и вперед. И кто знает? Может быть, доплывут до настоящей правды».

«Дуэль» Чехов, как я уже говорил, начал писать в январе 1891 года. Оглядываясь на свою жизнь, я вижу, что есть связь между моими мыслями, надеждами, сомнениями и всем тем, что волновало Антона Павловича, когда меня еще не было на свете. Я в жизни встречал фон Коренов, я часто блуждал, ошибался и, как Лаевский, горевал о тусклой звезде, которую столкнул с неба, и, как тот же Лаевский, восхищался

гребцами, борющимися с высокими волнами. Теперь далекие континенты сделались пригородом. Луна и та стала как-то ближе. Но прошлое от этого не потеряло своей силы, и если человек за одну жизнь бесконечное количество раз меняет свою кожу, почти как костюмы, то сердца он все же не меняет — оно одно.

## 3

Говорят, что яблоко падает неподалеку от яблони. Бывает так, бывает и наоборот. Я жил в эпоху, когда о человеке часто судили по анкете; в газетах писали, что «сын не отвечает за отца», но порой приходилось отвечать и за бабушку.

Вряд ли и о деде можно судить по внукам. Несколько лет назад я прочитал в газете «Монд» статью о внуках и правнуках Л. Н. Толстого; их около восьмидесяти, и разбрелись они по всему свету: один — офицер американской армии, другой — итальянский тенор, третий — агент французской авиационной компании.

Поэт Фет, Афанасий Афанасьевич Шеншин, кроме хороших стихов, писал нехорошие статьи в журнале Каткова. Он обличал нигилистов и евреев, в которых видел первопричину зла. Племянник Фета, Н. П. Пузин, рассказывал мне, что поэт незадолго до смерти узнал из письма — завещания своей покойной матери, — что его отцом был гамбургский еврей. Мне рассказывали, будто Фет завещал похоронить письмо вместе с ним — видимо, хотел скрыть от потомства правду о своей яблоне. После революции кто-то вскрыл гроб и нашел письмо.

Иван Сергеевич Тургенев вспоминал: «Я родился и вырос в атмосфере, где царили подзатыльники, пинки, колотушки, пощечины и пр., но, по правде сказать, окружающая меня обстановка не привила мне вкуса к кулачной расправе. Я никогда никого не бил». Тургенев сделал из своей дочки Пелагеи Полину, выдал ее замуж за владельца стеклянной фабрики г-на Гастона Брюэра и написал Анненкову: «Хлопот было пропасть, но я вознагражден, вполне убежден тем, что дочь моя будет счастлива». (Вслед за этим Иван Сергеевич начал писать «Дым», в котором показывал страдания замужней женщины.)

О моих родителях я вспоминаю с любовью; но, оглядываясь назад, я вижу, как далеко откатилось яблоко от яблони.

Я родился в буржуазной еврейской семье. Мать моя дорожила многими традициями: она выросла в религиозной семье, где боялись и бога, которого нельзя было называть по имени, и тех «богов», которым следовало приносить обильные жертвоприношения, чтобы они не потребовали кровавых жертв. Она никогда не забывала ни о судном дне на небе, ни о погромах на земле. Отец мой принадлежал к первому поколению русских евреев, попытавшихся вырваться из гетто. Дед его проклял за то, что он пошел учиться в русскую школу. Впрочем, у деда был вообще крутой нрав, и он проклинал по очереди всех детей; к старости, однако, понял, что время против него, и с проклятыми помирился.

Если предположить, что яблоней был дед, то и от этой яблони яблоки разлетелись в самые разные стороны. Один из моих дядюшек разбогател; звали его Лазарем Григорьевичем, и жил он в Харькове. Его сын, мой двоюродный брат, стал социал-демократом, долго просидел в Лукьяновской тюрьме, эмигрировал в Париж, там занялся живописью, а во время гражданской войны пошел в Красную Армию и был убит белыми. Брат Лазаря, Борис Григорьевич, жил в Иркутске, служил на каком-то предприятии, принадлежавшем киевскому богачу Бродскому. Борис Григорьевич был человеком легкомысленным, растратил деньги Бродского и удрал в Америку, написав хозяину письмо скорее вызывающее, нежели виноватое. Бродский рассердился и напечатал в газе-

тах объявление, что уплатит вознаграждение тому, кто поможет разыскать растратчика. Я тогда жил в Париже, и ко мне несколько раз обратились люди, мечтавшие разбогатеть на следе беглого Эренбурга. Как-то Лазарь Григорьевич играл с Бродским в карты, выиграл крупную сумму и вместо денег потребовал, чтобы Бродский отказался от претензий к своему иркутскому служащему. Младший из дядюшек, Лев, писал стихи и содержал бродячий цирк. Если отнести теорию В. Шкловского о том, что наследниками являются не сыновья, а племянники, не к литературным жанрам, а к людям, то я могу сказать, что пошел по пути моего дядюшки Льва. Помню книгу, которую он сам издал, называлась она неоригинально — «Мечты и звуки»; в ней были и собственные стихи и переводы Гейне. Я в ту пору не чувствовал никакого влечения к поэзии, но дядя Лева мне нравился тем, что не походил на приличного родственника. Раз он стал показывать мне фотографии полуголых наездниц — набирал актеров для цирка; моя мать возмутилась: как можно развращать ребенка?.. Однажды в Харькове появились плакаты «Цирк Эренбурга», и Лазарю Григорьевичу пришлось дать своему брату отступные, чтобы цирк тотчас покинул город.

Когда мне было пять лет, мои родители переехали из Киева в Москву. Хамовнический пивоваренный завод номинально принадлежал акционерному обществу, а фактически тому же киевскому Бродскому, и мой отец получил место директора завода.

Это было в 1896 году, а в 1903 году Бродский решил прогнать отца. Мать, сглатывая слезы, слушала у закрытой двери кабинета, где происходило годичное собрание правления, как отец настойчиво просил освободить его от должности. Я тоже слушал и ничего не понимал — знал, что отца прогоняют, что дела теперь плохи, что Бродский упрям, и вдруг услышал, как отец уверял, что он больше не может работать на заводе. Это был первый урок дипломатии...

Днем отец работал, вечером редко бывал дома. Иногда к нему приходили приятели, помню одного — веселого инженера Лихачева. Как-то в кабинете отца я увидел книжку Гиляровского с надписью «Дорогому Гри Гри на память о многом». Мне показалось, что у отца интересная жизнь, в которую он меня не посвящает. Он уезжал в «Охотничий клуб», и это название мне представлялось таинственным: егеря, олени, борзые. Потом я понял, что в клубе играют в винт, и усомнился в том, что жизнь отца интересна. Мне было лет десять, когда он повел меня в ресторан на Неглинном; мы сидели в отдельном кабинете, но я то и дело убегал — смотрел, что происходит в зале; там сидели обыкновенные люди и жевали котлеты. Жизнь отца перестала меня интриговать.

Мать была доброй, болезненной, суеверной; она страдала легкими, куталась, редко выезжала из дому, возилась с сестрами, со мной, писала по-еврейски длинные письма многочисленной родне. В судный день она постилась. Меня пугала большая свеча, которую мать зажигала с утра в годовщину смерти своей свекрови. В спальне всегда пахло лекарствами; часто приходили врачи. Мать хотела, чтобы они выслушали и меня — у меня слабые легкие, но я прятался, убегал. Иногда к матери приезжала пышная дама Фамилиант со своими сыновьями Петей и Мишей; они чинно ели пирожные и по просьбе взрослых декламировали стихи Пушкина. Я их считал дураками, а мать говорила: «Вот погляди, Петя и Миша — хорошие дети. А ты?..»

Меня избаловали, и, кажется, только случайно я не стал малолетним преступником. Мне было девять лет, когда мать уехала лечиться в Эмс, а меня и сестер отправила в Киев к своему отцу.

Дед по матери был благочестивым стариком с окладистой серебряной бородой. В его доме строго соблюдались все религиозные правила.

В субботу нужно было отдыхать, и этот отдых не позволял взрослым курить, а детям проказничать. (Еврейская суббота столь же уныла, как английское, пуританское воскресенье.) В доме деда мне было всегда скучно, и я пакостил, как мог. В то лето мы жили на даче в Боярке. Я изводил всех; как-то меня решили наказать — заперли в чулан, где держали уголь. Я разделся догола и начал кататься по полу. Когда дверь открыли, кухарка в ужасе крикнула: «Ой же черт!..» Я решил отомстить, ночью принес бутылку с керосином и попробовал поджечь дачу.

На следующее лето мать взяла меня с собой в Эмс. Я изводил курортников: передразнивал дряхлого графа Орлова-Давыдова, звал его «Шамом», потому что он все время шамкал; мешал англичанке заниматься рыбной ловлей — камешками отгонял рыбу; уносил букеты незабудок, которые немцы клали у памятника «старого кайзера». Курортные власти попросили мать уехать, если она не в силах меня образумить.

Я блестяще выдержал экзамены в подготовительный класс, потом в первый; знал, что существует «процентная норма» и что меня примут только в том случае, если у меня будут одни пятерки. Я решил задачу, не сделал ни одной ошибки в диктante и с чувством продекламировал «Поздняя осень. Грачи улетели...»

Один приятель рассказывал мне — это было в начале тридцатых годов, — как его маленький сын, вернувшись из школы, куда только поступил, спросил отца: «Что такое еврей?» «Я еврей, — ответил отец, — мама еврейка». Это было настолько неожиданно, что малыш не поверил: «Вы е-врей?» Мы были лучше подготовлены; в восемь лет я хорошо знал, что есть черта оседлости, право жительство, процентная норма и погромы.

Рос я в Москве, играл с русскими детьми. Когда родители хотели что-либо скрыть от меня, они говорили друг с другом по-еврейски. Никакому богу — ни еврейскому, ни русскому — я не молился. Слово «еврей» я воспринимал по-особому: я принадлежу к тем, кого положено обижать; это казалось мне несправедливым и в то же время естественным. Отец мой, будучи неверующим, порицал евреев, которые для облегчения своей участи принимали православие, и я с малых лет понял, что нельзя стыдиться своего происхождения. Я где-то прочитал, что евреи распяли Христа; дядя Лева говорил, что Христос был евреем; няня Вера Платоновна мне рассказывала, что Христос поучал: когда тебя бьют по одной щеке, подставляй другую. Мне это было не по душе. Когда я пришел впервые в гимназию, какой-то пригостишка начал петь: «Сидит жидок на лавочке, посадим жида на булавочку». Не задумываясь, я ударил его по лицу. Вскоре мы с ним подружились. Никто больше меня не обижал.

В классе нас было три еврея — Зельдович, Пукерман и я; никогда мы не чувствовали себя чужаками. Вот только товарищи нам завидовали, когда во время уроков закона божьего мы шлялись по двору...

Мне не привелось в Москве моего детства и отрочества столкнуться с юдофобством. Наверно, среди преподавателей или родителей моих товарищей были люди, зараженные расовыми предрассудками, но они не выдавали себя: антисемитизма в те времена интеллигенты стыдились, как дурной болезни. Помню рассказы о кишиневском погроме — мне было двенадцать лет; я понимал, что произошло нечто ужасное, но я знал, что повинны в этом царь, губернатор, городовые; знал уже, что все порядочные люди против самодержавия; знал, что Толстой, Чехов, Короленко возмущены погромом. Когда я приезжал в Киев, я слышал, что «Киевлянин» призывает к расправам, что на Подоле неспокойно, что существует «проклятый еврейский вопрос».

Странное было время: множество мерзости и множество иллюзий! Судьба одного невинно осужденного французского офицера взволновала лучших людей Европы... «Если у тебя не будет высшего образования, ты не сможешь жить в Москве», — говорил мне отец, глядя на двойки в альбоме. Я усмехался: до того, как я кончу гимназию, все на свете переменится! Мне казалось, что статьи в «Киевлянине» или в «Московских ведомостях» — последние отголоски средневекового изуверства; менее всего я мог себе представить, что в книге о прожитой жизни мне придется посвятить немало горьких страниц тому вопросу, который в начале века мне казался пережитком, обреченным на смерть.

А отец возмущался двойками. Первые два года я учился хорошо, потом мне надоело решать задачи с бассейнами. Я тихонько выносил из дома сочинения классиков в роскошных переплетах, сбывал их букинистам на Волхонке, а на вырученные деньги в магазине «Новые изобретения», помещавшемся в Столешниковом переулке, покупал чихательный порошок, чесательную пудру, коробочки, из которых выскакивали резиновые мыши или змеи, шутихи, — изводил ими в гимназии учителей.

Еще до поступления в приготовительный класс я декламировал «Демона». Слава поэта меня не соблазняла, я хотел стать не Лермонтовым, а Демоном и кружить над Хамовниками; называл себя «духом изгнания», разумеется, не понимая, что это значит. Вскоре стихи мне надоели, я увлекся химией, ботаникой, зоологией, сидел над микроскопом, производил опыты с вонючими порошками, завел лягушек, ящериц, тритонов. Как-то гады разбежались по всей квартире; неизвестно откуда шло зловоние — это главный тритон сдох под шкафом матери.

Наслушавшись разговоров о героизме буров, я сначала написал письмо бородатому президенту Крюгеру, а потом, стасив у матери десять рублей, отправился на театр военных действий. Ночью меня поймали, и я не любил вспоминать о злополучном начинании.

Смена календарных дат всегда волнует, и вот менялась цифра не года, а столетия. (В действительности девятнадцатый век прожил больше положенного — он начался в 1789 году и кончился в 1914.) Все говорили о «конце века», загадывали, каким будет новый. Помню встречу 1901 года. К нам приехали ряженые в масках. Один был в костюме китайца, я узнал в нем весельчака инженера Гиля; я его схватил за косу. Ряженые изображали страны Европы, венгерец танцевал чардаш, испанка шелкала кастаньетами, и все кружились вокруг китайца — в Пекине в ту зиму шли бои. Все также пили «за новый век»; не думаю, чтобы кто-нибудь догадывался, каким будет этот век и за что именно они пьют среди сугробов Москвы.

Я был тогда учеником второго параллельного класса Первой гимназии. Помню, что я организовал небольшую группу «боксеров» — так называли восставших китайцев. Мы дрались ремнями и пускали в ход медные пряжки, хотя джентльменское соглашение этого не допускало: начинался двадцатый век.

Я совсем отбился от рук: мои проделки становились несносными. Отца дома не бывало, а мать и сестры не могли со мной справиться; на подмогу они звали дворника, моего тезку Илью, который топил у нас печи. Раз я бросился на Илью с ножиком, он меня побоялся.

Но вот нашлась и на меня управа в лице студента-юриста Михаила Яковлевича Имханицкого. Все удивлялись, почему я его слушаюсь, ведь он меня никогда не наказывал. Михаила Яковлевича поселили у нас в доме. Я при нем готовил уроки, и, когда я правильно решал задачу на проценты, он мне давал тянучки — я был сластолюбив. Бумажки я кидал на пол; он иногда спрашивал: «А где бумажки?» Я глядел на пол, бумажек не было. Михаил Яковлевич посмеивался. Никому я не рассказывал о

таинственных тянучках: Я боялся глаз Михаила Яковлевича; когда он глядел на меня, я быстро отворачивался. Родители считали, что он превосходный педагог.

Летом на даче в Сокольниках у нас гостила подруга одной из моих сестер — Леля Головинская. Она приглянулась Михаилу Яковлевичу. Тогда в моде были разговоры о гипнотизме. Студент объявил, что умеет гипнотизировать; он усыпил Лелю и сказал ей, что она должна через три дня поздно вечером приехать к нему на дачу. Домашние негодовали. Михаил Яковлевич спокойно уложил свои вещи в чемодан и рассказал, что он меня гипнотизировал, обеспечив этим общее спокойствие в течение полутора лет.

Меня повезли к профессору Рыбакову — кто-то сказал матери, что я могу навсегда лишиться воли. Несколько лет спустя, увидав на Пречистенском бульваре Михаила Яковлевича, я бросился от него бегом. Прошли годы. В 1917 году, возвращаясь из Парижа на родину, в Стокгольме, в русском консульстве, я увидел толстого, низкорослого человека, который сказал мне: «Не узнаете? Имханицкий». Я удивился: у него были самые обыкновенные, даже маловыразительные глаза.

Но о вымышленных тянучках я часто вспоминал. Думаю, что потом не раз меня заставляли решать трудные задачи и платили мне за это тянучками, которых в действительности не было. Только потом никто не поил меня соленым бромом и никто не боялся, что я потеряю волю. Воля, пожалуй, стала обременительным свойством.

Дома мне было скучно. Приходили гости, говорили, что у сестер Кристиан удивительная колоратура, что адвокат Лабори произнес потрясающую речь в защиту невинного Дрейфуса, что в Москве открылся ресторан с отдельными кабинетами в мавританском стиле, что некая мадам Мальбранш привезла из Парижа новые модели шляп. Говорили также о премьере комедии Зудермана, об открытии Художественного общедоступного театра, о погромах, о письме Толстого, о красноречии адвоката Плевако, который может добиться оправдания самого жестокого убийцы, о фельетонах Дорошевича, высмеивающего «отцов города», о каких-то сумасшедших декадентах, уверяющих, будто существуют «бледные ноги».

Заводской двор мне казался куда интереснее гостиной, где стояли пыльные пальмы в кадках, а на стене висела копия картины, изображавшая Ломоносова, который едет в Москву учиться. Можно было пойти в конюшню, там чудесно пахло, и я знал характер каждой лошади. Можно было прятаться в сорокаведерных бочках. В одном из цехов проверяли бутылки, ударяя по каждой металлической палочкой, и я считал, что эта музыка куда лучше той, которой порой нас потчевали гости, считавшиеся известными пианистами.

Рабочие спали в душных полутемных казармах на нарах, покрытые тулупами; они пили кислое, испорченное пиво, иногда играли в карты, пели, сквернословили. Среди них было мало грамотных, а грамотен читали по складам хронике происшествий в «Московском листке». Помню еще забаву: рабочие облили керосином крысу, и огненная крыса металась в кругу. Я видел жизнь нищую, темную, страшную, и меня потрясала несовместимость двух миров: вонючих казарм и гостиной, где умные люди говорили о колоратуре.

Неподалеку от завода, на Девичьем поле, на масляной устраивали гулянья с балаганами. Помню пожилого человека с лицом, обсыпанным мукой, который, кривляясь, кричал: «Уж я американец, станцюю всякий танец!..»

Я писал под диктовку рабочих письма в деревню, писал про харчи, про болезни, про свадьбы и похороны.



Одна стена завода граничила с сумасшедшим домом. Я взбирался на стену и глядел: истощенные люди в халатах шагали по дворику, где валялась всяческая рухлядь; иногда служитель вдруг кидался на больного, и тот истошно кричал.

На заводе работали специалисты — чешские пивовары. Рабочие их называли «немцами» — они, например, ели голубей, а это всеми порицалось. Сын пивовара Кары убил колуном мать и двух сестер — он хотел поднести дорогое кольцо московской львице, а родители не давали ему денег. Помню обрывки фраз: «плавают в крови... хотел взять пятьсот рублей... влюбился по уши...» Конечно, все носили убийцу, а я вспоминал молодого тщедушного сына пивовара и про себя думал, что взрослые тоже ничего не понимают в жизни.

Рядом с заводом был дом Л. Н. Толстого. Часто я видел, как Лев Николаевич гулял по Хамовническому переулку, по Божениновскому. Мне подарили «Детство и отрочество»; книга показалась мне скучной. Я вытащил из кладовки комплект «Нивы» с «Воскресением»; мать сказала: «Это тебе еще рано читать». Я прочел роман залпом и подумал, что Толстой знает всю правду. Отец мне дал переписать запрещенное цензурой обращение Толстого; я был горд, переписал аккуратно — печатными буквами.

Как-то Лев Николаевич пришел на завод и попросил отца показать ему, как варят пиво. Они обходили цехи, я не отставал ни на шаг. Мне казалось почему-то обидным, что великий писатель ростом ниже моего отца. Толстому подали горячее пиво в кружке, он, к моему изумлению, сказал: «Вкусно» — и вытер рукой бороду. Он объяснял отцу, что пиво может помочь в борьбе с водкой. Я долго потом думал о словах Толстого и начал сомневаться: может быть, и Толстой не все понимает? Я ведь был убежден, что он хочет заменить ложь правдой, а он говорил о том, как заменить водку пивом. (О водке я знал только со слов рабочих, они говорили о ней любовно, а пиво мне давали, и оно мне не нравилось.)

Иногда на заводе начиналась тревога: говорили, будто студенты идут к Толстому. Запирали наглухо ворота, ставили охрану. Я тихонько выбегал на улицу — поджидал таинственных студентов, но никого не было. К сестрам приходили в гости студенты, но, на мой взгляд, это были лже-студенты — они мирно пили чай, говорили о пьесах Ибсена, танцевали; настоящие студенты должны были сбрасывать казаков с лошадей, а потом сбросить царя с трона.

Настоящие студенты не приходили. Я страдал в детские годы бессонницей; однажды сорвал часы со стены: меня доконало их громкое тиканье. В памяти остались образы бессонных ночей: Толстой вытирает рукой бороду, молодой Кара с колуном в руке и его возлюбленная, «Лакме», сумасшедшие, балаганы и огромная огненная крыса.

## 4

Все изменилось, но как-то больше всего изменилась Москва. Когда я вспоминаю улицы моего детства, мне кажется, что я это видел в кино.

Может быть, самой загадочной картиной встает передо мной конка. (Я помню, как пустили первый трамвай — от Николаевского вокзала до Страстной площади; мы стояли ошеломленные перед чудом техники, искры на дуге нас потрясали не менее, чем потрясают теперь людей спутники Земли.)

Гимназия, где я учился, помещалась на Волхонке, напротив храма Христа-Спасителя. Из гимназии в Хамовники я ездил иногда на конке. Ее тащила кляча; на Пречистенке перед подъемом в конку впрыгивал мальчонка; он держал вожжи второй, добавочной клячи и отчаянно ги-

кал. На конке можно было проехать по всем Садовым, это был очень долгий путь. На разъездах конка останавливалась; пассажиры выходили и покорно смотрели вдаль — не покажется ли встречный вагончик.

Чаще я шел пешком по Пречистенке. На углу одного из переулков, кажется Штатного, была церквушка. На паперти богомаз изобразил Страшный суд: черти жарили грешников. Старушки испуганно крестились, а мне хотелось быть чертом.

Когда теперь на Кропоткинской я вижу глубокую старуху с мутными растерянными глазами, которая ковыляет с авоськой, я думаю: может быть, это одна из тех гимназисток, которые весело шепетали на Пречистенке и которые казались мне не просто хорошенькими девчонками, а воплощением Женщины, как Венера Милосская, как актрисы Лина Кавальери или Отеро, знаменитые в начале века своей красотой.

Летом Москва была очень зеленой, зимой очень белой. Снег не убирали, и к масляной нарастали огромные сугробы. Бесшумно скльзили сани. В мае узкие шербаты тротуары засыпал сиреневый снег: перед домами были палисадники. Золотели или голубели купола церквей. Торчали загадочные сооружения — пожарные каланчи; на верхушке вывешивали шары, помогавшие распознать, в какой части города происходит пожар. Районы города отличались также мастями лошадей пожарных: гнедые, белые, вороные. Когда мороз достигал двадцати пяти градусов по Реомюру, занятий в гимназии не было; я с вечера отогревал замерзшее стекло, глядел на термометр — вдруг мороз покрепчает; но утром на каланче флага не было — об отмене занятий также узнавали по каланче.

На Смоленском рынке летом продавали овощи, фрукты; лежали горами арбузы, их надрезали треугольником. Торговали всем, и все нещадно торговались. Охотный ряд, там, где теперь гостиница «Москва», был заполнен толпой: покупали в лавчонках живность. Огромные рыбы плавали в садках. Охотники ходили, обвязанные гирляндами рябчиков, — продавали дичь. Центром элегантной Москвы был Кузнецкий мост; на вывесках дорогих магазинов стояли иностранные фамилии: художественными изделиями торговали итальянцы Аванцо, Даццаро, модной одеждой — англичанин Шанкс, парфюмерией — французы, оптическими аппаратами — немцы. На окраинах было множество чайных «без права подачи крепких напитков». Там, где теперь стадион «Динамо», стояли крохотные дачи в садах: Москва быстро обрывалась. На Красной площади весной был вербный базар; там продавали «американских жителей» и «тещин язык». Возле Иверской часовни стояли на коленях женщины.

Появился телефон; он был только в богатых домах и в конторах крупных фирм; звонить было сложно — крутили рукоятку, в конце давали отбой. Появилось также электричество, но я долго жил среди черного снега коптивших керосиновых ламп. Голландские печи блестяли изразцами. Топили сильно. Между оконными рамами, покрытыми беспредметной живописью мороза, серела вата; иногда на нее ставили стаканчики с бумажными розами. Летом жужжали мухи. Блестели крашенные полы. Тишину изредка прерывал дискант маленьких собачонок — в моде были болонки и вымершие теперь мопсы. На комодах фарфоровые китайцы до одурения кивали головой. В эмалированных кружках с царским гербом (память о Ходынке) розовели гофрированные розы. К чаю подавали варенье, и варенье бывали разные: крыжовник, русская клубника, кизиль, райские яблочки, черная смородина.

Впервые меня повели в театр на «Спящую красавицу». Околдованные феей балерины искусно замирали на пуантах. В ложах впереди сидели гимназисты в мундирах с яркими пуговицами и гимназистки

в коричневых или синих платьях с нарядными передниками. Сзади томились взрослые. Отец мне протянул коробку с шоколадными конфетами, наверху лежал кусок ананаса и серебряные щипчики; щипчики я взял себе. В коридорах театра цепенели пышные капельдинеры. Горничные в вязаных платках держали шубы, и шубы казались зверями; сибирские леса подходили вплотную к бархату и бронзе Большого театра — выдры, еноты, лисицы, соболя.

На улице, перед театром, поджидая господ, дремали кучера. У них были неимоверно большие ватные груди и бороды, белые от инея. Лошади тоже сидели на морозе. Иногда кучера, чтобы согреться, начинали негибающимися руками бить себя по ватной груди.

На углах переулков спали извозчики; порой, просыпаясь, они глухо зазывали: «Барин, подвезу?...» Они бубнили «полтинник» и после долгих разговоров догоняли: «Извольте, двугривенный...» Начинался загадочный путь через Москву. Спали дворники в подворотнях. В церковных садах нарастали сугробы. Вдруг вскрикивал пьяница, но его быстро унимал городской в башлыке. Казалось, все спит: и седок, и извозчик, и лошадь, и Москва.

Извозчики везли седоков на Болото, на Трубу, в Мертвый переулок, в Штатный, в Николо-Песковский или в Николо-Воробьинский, на Зацепу, на Живодерку, на Разгуляй. Странные названия, будто это не улицы большого города, а вотчины удельных князей.

Когда ехали с Кузнецкого моста через Кремль в Хамовники, у Спасских ворот извозчик и седок снимали шапки. Мороз щипал уши. Потом извозчик поворачивался к седоку и начинал длинную повесть.

О чем говорили московские извозчики? Наверное, о многом: о бедности и о морозе, о барских затеях, о своих темных дворах, о том, что больна жена или что забрили сына. Чехов написал о беседе с извозчиком один из самых раздирающих рассказов — «Тоска». Но седоки не слушали, одно слово проступало — «овес». Да, разумеется, они говорили об овсе, надрываясь от горя, они пришепывали: «Прибавить бы гривенник — овес вздорожал». Они жаловались, вздыхали или сквернословили, но из всех слов, нежных или грубых, только одно доходило до ушей седока, простое и таинственное, лейтмотив длинного пути от Лефортова к Дорогомилову — «овес».

Весной выставляли двойные рамы, и Москва сразу становилась невыносимо шумной: пролетки громыхали. Возле некоторых особняков с колоннами мостовая была залита асфальтом, и колеса, как бы различая табель о рангах, переходили на почтительный шепот.

В мае начиналось переселение на дачи. По улицам двигались высокие возы с буфетами, пуфами, туалетными столиками, самоварами. Кухарка держала в руках клетку с канарейкой, а рядом бежала собака.

На даче были гамаки, колпаки на свечах, медные тазы для варки варенья и блестящие шары посередине клумб. Взрослые играли в карты, пили клюквенный морс и читали «Русское слово». Студенты и гимназисты старших классов шли на «площадку» — так назывались танцульки. Дети поджидали мороженщика. Иногда все отправлялись в лес — «полюбоваться природой» — и, подстелив под себя одеяла, ложились на траву. Утром разносчики и лудильщики кричали: «Куры-молодки!», «Смородина!», «Паять, лудить, запаивать!» В воскресенье приезжали гости, они ели кулебяку, говорили о красоте сельской жизни и засыпали.

Сокольники были лесом; на его опушке уже помещался «круг» — там устраивали концерты, спектакли. Баритон Шевелев сводил с ума барышень: «Люблю ли тебя — я не знаю...» Когда Шевелева сменяла потерявшая голос бывшая знаменитость, студенты уводили взволнованных барышень в боковые аллеи, и там выяснялось, что все хорошо знают,

кого кто любит. Потом шли спать. Потом просыпались. Гимназисты зубрили латынь «ут финале» или играли в крокет; хозяйки раздували самовары, торговались с разносчиками и снимали с варенья бледно-розовую пену.

Шел двадцатый век. Германия уже деловито готовилась к войне. Англичане договорились с французами о военном союзе, французы были союзниками России, и в то же время англичане заключили союз с японцами, которые готовились к нападению на Порт-Артур. Бастовали рабочие в Петербурге, в Ростове-на-Дону. В Брюсселе Ленин спорил с меньшевиками. Но в мире, где я жил, было невыносимо тихо. На Волхонке у букинистов я читал те книги, о которых взрослые при мне старались не разговаривать: Горького, Леонида Андреева, Куприна.

Каждый день я бегал в библиотеку — менял книги. Я читал залпом: мне хотелось понять жизнь. Читал Достоевского и Брема, Жюль Верна и Тургенева, Диккенса и «Живописное обозрение», и чем больше я читал, тем сильнее во всем сомневался. Ложь меня обступала со всех сторон, мне хотелось то удрать в джунгли Индии, то бросить бомбу в дом генерал-губернатора на Тверской, то повеситься.

Я бегал также в театр, выклянчивая у матери деньги. В Художественном театре играли Чехова, Ибсена, Гауптмана, у Корша — «Дети Ванюшина», в Малом — «Власть тьмы» со знаменитыми Садовскими. Гремел бас Шалапина. Помню, кто-то из гостей рассказал, что скоро откроется «биоскоп» и там будут показывать живые фотографии.

Потом нас собрали в актовом зале гимназии, и директор торжественно прочитал манифест: «Мы, Николай Второй, самодержец всероссийский...» Началась война с Японией. В гимназии отслужили молебен, и мы долго, до хрипоты, кричали «ура» — нам объявили, что занятий не будет. Война нам казалась бесконечно далекой, и я очень удивился, когда вскоре увидел моего двоюродного брата Володю Скловского в солдатской форме — он ехал из Киева в Маньчжурию.

Летом того же года я был с матерью и сестрами за границей — снова в Эмсе; там я заболел брюшным тифом. Помню, однако, два события, которые меня поразили: осаду Порт-Артура после битвы, проигранной русской армией, и смерть Чехова. Отец в тот год потерял место и, следовательно, квартиру. Он жил в номерах «Княжий двор» на Волхонке. У меня были переэкзаменовки по латыни и по математике; к началу учебного года меня отправили одного в Москву. В Берлине я должен был пойти в семейный пансион фрау Иенике, где останавливалась моя мать. У фрау Иенике на стенах красовались различные сентенции, вышитые гладью. Мне стало скучно, и вечером я направился на Фридрихштрассе, мне захотелось пирожных; я зашел в кафе, которое оказалось ночным кабаком. Кельнеры на меня косились, но пирожные все же дали, только взяли за них столько, что пришлось телеграммой выклянчить у матери добавочные деньги на дорогу в Москву.

Комната в «Княжьем дворе» была маленькой, с диваном и альковым, но гостиничная жизнь мне понравилась: я чувствовал себя свободно. Отец уходил с утра, говорил, что ищет работу. После уроков я приводил к себе товарищей, хвастал, что живу самостоятельно, заказывал самовар, плюшки, и мы развлекались, как могли.

(Осенью 1920 года, когда я пробрался из Крыма в Москву, у меня не было комнаты. Я приехал из Тбилиси как дикпурьер советского посольства, и меня поселили в общежитии Наркоминдела — в бывшем «Княжьем дворе». Внизу спрашивали пропуска. Дежурный кричал в телефон: «Откудова звук?..» В столовой давали ячневую кашу или ишенную — время было тяжелое. Но, как и в детстве, «Княжий двор» показался мне восхитительным.)

Собираясь в комнате «Княжьего двора», мы не только ели плюшки и развлекались: в ту осень политика впервые постучалась в мою жизнь. Я начал читать газеты. Японцы били наших, это было горько, но мы понимали, что вся беда в самодержавии. У одного из моих товарищей был дядя, связанный с эсерами; этот дядя сказал, что скоро произойдет революция, нужно будет разоружить казаков и городских, потом провозгласят республику...

Я прочитал «Преступление и наказание», судьба Сони меня мучила. Я снова думал о казармах Хамовнического завода. Нужно все перевернуть, решительно все!..

Правда, были передо мной другие соблазны, например гимназистка Муся; она играла на фортепьяно «Песнь без слов», а потом в передней я ее целовал. Но жил я предчувствием больших и загадочных событий. Еще недавно мальчишка в Берлине восхищался пирожными со взбитыми сливками; за два-три месяца я как-то сразу вырос.

В моем первом романе «Необычайные похождения Хулио Хуренито и его учеников» один из учеников носит мое имя. Это вымышленный персонаж: никогда я не служил кассиром в публичном доме мистера Куля и не возил пулемета римскому папе. Но герой, именуемый Ильей Эренбургом, подчас высказывал мои подлинные мысли. Есть в романе спор о том, что выше — утверждение или отрицание, и ученик Хуренито, Илья Эренбург, вспоминая слова Экклезиаста о том, что есть время собирать камни и время их бросать, говорит, что у него одно лицо, а не два, строить он не умеет и предпочитает бросать камни.

«Хуренито» я написал в тридцать лет, а рассказываю о той осени, когда мне было тринадцать. Я тогда не слышал об Экклезиасте, но мне смертельно хотелось расшвырять побольше камней. Кончалась пора детства — наступал Пятый год.

## 5

Во время последней переписи ко мне пришла молоденькая счетчица. Она удивленно поглядела на стены: Пикассо ее возмущил.

— Неужели это вам нравится?

— Очень.

— А я вам не верю, вы это говорите потому, что он ваш приятель. Потом я начал отвечать на вопросы.

— Образование?

— Незаконченное среднее.

Девушка обиделась:

— Я вас серьезно спрашиваю.

— А я вам серьезно отвечаю.

— Вы надо мной смеетесь. Я читала ваши книги... Перепись — важное государственное дело. Почему вы не хотите серьезно отвечать?

Она ушла обиженная. А между тем я ей сказала правду: в октябре 1907 года меня исключили из шестого класса.

О гимназии писали много — и Гарин-Михайловский, и Вересаев, и Паустовский, и Каверин. Мне кажется, что все гимназии походили одна на другую. Конечно, кое-чему я в школе научился — и от некоторых преподавателей и от товарищей, но уж не столь многому: куда лучшей школой были книги, да и те люди, с которыми я сталкивался вне стен гимназии.

Гимназисты входили в гимназию с переулка; в огромной сборной висели сотни шинелей. Там обычно дрались «греки» с «персами» и малыши «жали масло», притискивая друг друга к стенке. Приготовишкой я увидел, как в сборной били мальчонку, накидав на него шинели, били дружно, долго и пели при этом: «Фискал по Невскому кишки таскал...»

С того дня я твердо запомнил и пронес через всю жизнь отвращение к фискалам, или, говоря по-взрослому, к доносчикам. Гимназия воспитала во мне чувство товарищества; никогда мы не думали, прав или не прав провинившийся, мы его покрывали дружным ответом: «Все! Все!»

(В 1938 году одна преподавательница детдома, куда привезли испанских ребят, жаловалась мне, что «с ними трудно, они анархисты». Оказалось, дети, играя, разбили вазу и на вопрос, кто это сделал, ответили: «Все». Я долго убеждал преподавательницу, что в этом нет никакого анархизма, наоборот. Убеждал, но не убедил.)

В торжественные дни гимназистов собирали в большом актовом зале, на стенах висели портреты четырех императоров и мраморные доски с именами учеников, получивших медали. Директором гимназии был чех Иосиф Освальдович Гобза; показывая на доски, он нам говорил, что в стенах Первой гимназии воспитывался будущий министр народного просвещения Боголепов.

Я с нежностью вспоминаю гимназические уборные: это были наши клубы. В уборную первых четырех классов неожиданно заглядывал надзиратель и выгонял оттуда лентяев, но, перейдя в пятый класс, я увидел уборную, обладавшую конституционными гарантиями, там можно было даже курить. Стены были покрыты непристойными рисунками и стихами: «Подите прочь, теперь не ночь...» В уборной для малышей обменивались перышками или марками, второгодники (их называли «камчадалами») клялись, будто они запросто бывают в публичных домах. В уборной для старших классов говорили о рассказе Леонида Андреева «В тумане», о разоблачениях Амфитеатрова, о декадентах, о шансонетках в театре «Омона» и о многом другом.

Впрочем, в старших классах я пробыл недолго, и мои воспоминания относятся главным образом к третьему, четвертому классам. Во время большой перемены мы мчались в столовую; кто-нибудь наспех читал молитву; потом начиналась биржа: меняли пирог с морковью на голубец или котлету на пирог с рисом. Буфетчика мы звали «Артем — сопливый индюк».

Года два процветала азартная игра: какой учитель после перемены выйдет первым из учительской, можно было поставить на любого пятачок. Тотализатором ведали два «камчадала». Были фавориты, часто выходившие первыми, на них трудно было выиграть больше чем гривенник, а мне помнится, что кто-то выиграл на немце Сетингсоне, обычно выходявшем последним и вдруг выскочившем вперед, чуть ли не два рубля.

Из предметов мне больше других нравились русский язык, история; с математикой я был не в ладах, а латынь почему-то ненавидел. Словесность преподавал весельчак Владимир Александрович Соколов; вызывая меня к доске, он неизменно приговаривал: «Ну, Эрен-мерин...» Я не знал тогда, что такое мерин, и не обижался. Кажется, в четвертом классе мы перешли от изложений к сочинениям, и, хотя я был лентяем, сочинения меня увлекали. Владимир Александрович меня и хвалил и поругивал: «Не слушаешь в классе и все от себя пишешь, вот выгоняет тебя за такие рассуждения, будешь сапожником».

Обидно, что я не могу теперь проверить, за что меня ругал Владимир Александрович, что было в моих школьных сочинениях недозволенного. А в общем, когда я стал писателем, пятьдесят лет подряд критики повторяли и повторяют слова Владимира Александровича: «Не слушает на уроках, пишет все от себя...»

Отец, когда я приносил бальник с дурными отметками, говорил, что я оболтус, что меня выгонят, придется тогда идти в гимназию Креймана, которая славилась тем, что туда принимали исключенных. (Я тог-

да не знал, что в гимназии Креймана учился Брюсов.) Потом отец уже перестал грозить Крейманом, а просто предрекал, как Владимир Александрович: «Будешь сапожником». У меня в жизни были различные занятия, часто неприятные, но тачать обувь я не научился.

В младших классах я увлекался греческой мифологией. Потом преподаватель естественной истории А. А. Крубер (насколько я помню, толковый и живой человек) нашел во мне благодарного ученика. К истории я не охладел, только в четвертом классе меня занимали уже не греческие богини, а более близкое прошлое. Когда я написал сочинение о том, что освобождение крестьян произошло не сверху, а снизу, директор вызвал к себе отца.

В третьем классе я стал редактором рукописного журнала «Новый луч». Журнал мы скрывали от учителей, хотя ничего страшного там не было, кроме стихов о свободе и рассказиков с описанием нелепостей школьного быта.

Я шел в гимназию по Пречистенке. Меня рано начали занимать два дома: женская гимназия Арсеньевой и «Кавалерственной дамы Чертовой институт для благородных девиц». Перейдя в четвертый класс, я почувствовал себя взрослым и начал влюбляться в различных гимназисток, убегал до конца последнего урока, ждал девочку у выхода и нес ее книги, аккуратно завернутые в клеенку. Узнал я и другие женские гимназии, например Алферова на Арбате, Брюхоненко на Воздвиженке.

Напротив гимназии, возле собора, был чудесный сквер, там мы гуляли, назначали свидания гимназисткам, ревновали и прикидывались Печоринными.

Когда я перешел в пятый класс, я выломал на гербе фуражки цифру «I», обозначавшую, в какой гимназии я учусь, — так поступали все «сознательные». Куртку мы носили, как пиджак, — поверх косоворотки. Мы старались подражать студентам: одеваться небрежно, иметь непочтительный вид и, споря о прочитанных книжках, размахивали руками.

Некоторые гимназисты были эстетами, презирали стихи Надсона и Апухтина, которыми еще зачитывались девочки, и, к ужасу своих избранниц, писали в обязательные альбомы: «О да, вас, женщины, воззвал я сам». Были и франты, ранние прожигатели жизни, «стиляги» начала века; они носили очень широкие фуражки нежно-голубого цвета, говорили о скачках, о шансонетках, о балах, хвастались — вчера на балу они пили французский ликер, а потом... Что было потом, слышал только загадочный друг хвастуна.

Часто в Колонном зале я вспоминаю, как впервые в нем очутился. Он тогда назывался «Большой зал благородного собрания». Я пошел на вечер «в пользу недостаточных учеников московской Первой гимназии». Сначала Шаляпин пел про блоху. Гимназисты старших классов отнеслись к этому спокойно, говоря, что Шаляпин всегда поет про блоху, но я был второклассником и с восторгом повторял: «Ха-ха, блоха!» Потом пачались танцы. Меня пробовали учить танцевать, я знал, что существуют десятки сложнейших танцев: падепатинер, падеспань, венгерка, мазурка, миньон, шакон и другие; но я путал все па и, главное, неизменно наступал на ноги девочке, которую приглашал. В «благородном собрании» я не хотел осрамиться и поднялся на хоры. Там я неожиданно увидел помощника классного наставника, по привычке встал и очень громко его приветствовал. Помощник классного наставника любезничал с толстой барышней и рассердился на меня.

Когда я был в четвертом классе, я ездил с товарищами приглашать актеров участвовать в благотворительном концерте. Мы были у знаменитой певицы Неждановой. Я тискал в руке белые перчатки и страдал от своей несветскости. Мои товарищи были смелее.

В нашем классе был «лев» — князь Друцкой, прекрасный танцор, он умел разговаривать с девушками. Когда мне было тринадцать лет, я ему завидовал. Но уже год спустя он казался мне неинтересным. Я читал Чернышевского, брошюры о политической экономии, «Жерминаль», старался говорить басом и на Пречистенском бульваре доказывал дочке учителя пения Наде Зориной, что любовь помогает герою бороться и умереть за свободу.

Девочки, которых я провожал из гимназии до дома, часто менялись: постоянством в четырнадцать лет я не страдал. Иногда я приглашал их в кондитерскую Пелевина на Остоженке, пирожное там стоило три копейки. Девочки мне казались неземными, но аппетит у них был хороший, и однажды мне пришлось оставить кондитеру в залог фуражку.

Мы жили тогда на Остоженке, в Савеловском переулке. Квартира была поместительная, и у меня была отдельная комната. Я требовал от родителей, чтобы они не входили ко мне, не постучав. Мать подчинялась, но отец смеялся над моими выдумками.

На Остоженке в писчебумажном магазине я покупал открытки с фотографиями шансонеток, предпочтительно голых: я считал, что о женщинах нужно думать поменьше, но думал о них чересчур много. Помню фотографию известной красавицы Наташи Трухановой, она меня сводила с ума. Четверть века спустя в Париже я познакомился с А. А. Игнатьевым, бывшим военным аташе во Франции, сотрудником нашего торгпредства; его жена оказалась той самой Наташей, которая меня пленяла в отрочестве. Я ей рассказал о старой открытке, и мой рассказ ее рассмешил.

Моя первая любовь относится ко времени несколько более позднему — к осени 1907 года, когда меня уже прогнали из гимназии. Звали гимназистку Надя. Ее брат, Сергей Белобородов, был большевиком. Отец Нади читал «Московские ведомости» и зло косился на меня: я был революционером, да еще ко всему евреем, и покушался на невинность Нади. Приходил я к ней редко, и обычно мы встречались на улице, в Зачатьевском переулке. Почти каждый день мы писали друг другу длиннейшие письма, с психологическим анализом наших отношений, с упреками и клятвами, письма ревнивые, страстные и философические. Нам было по шестнадцати лет, и, вероятно, мы оба были поглощены не столько друг другом, сколько смутным предчувствием раскрывающейся жизни.

Вернусь к гимназии. Я познакомился с некоторыми учениками старших классов. От них я услышал впервые про исторический материализм, про прибавочную стоимость, про множество вещей, которые показались мне чрезвычайно важными и которые резко переломили мою жизнь.

Шел бурный Пятый год. Университет превратился в зал для митингов. Я часто туда убегал. В аудиториях рядом со студентами сидели рабочие. Мы пели «Марсельезу» и «Варшавянку». Курсистки раздавали прокламации. По рукам ходили огромные шапки с запиской «Жертвуйте на вооружение».

Я шел по Моховой. Студенческие фуражки вдруг закружились, как осенние листья. Кто-то крикнул: «Охотнорядцы!» Все бросилось во двор университета и начали готовиться к защите крепости. Нас разбили на десятки: я мелом проставил на гимназической шинели номер. Мы таскали камни наверх, в аудитории: если враг прорвется, мы его забрасаем камнями. Развели костры; мы жевали бутерброды с колбасой и до утра пели: «Смело, друзья, не теряйте бодрость в неравном бою!..» Мне тогда еще не было пятнадцати лет, и легко понять, что бодрости я не терял.



Помню похороны Баумана. Когда мы возвращались с кладбища, раздалась выстрелы. Помню казака с серьгой в ухе и с нагайкой. Помню декабрь: тогда впервые я увидел кровь на снегу. Я помогал строить баррикаду возле Кудринской площади. Никогда не забуду рождества — тяжелой, страшной тишины после песен, криков, выстрелов. Чернели развалины Пресни. Сапоги семеновцев и преображенцев шемили снег, и снег жалобно поскрипывал. Вернувшись в гимназию после рождественских каникул, я рассеянно глядел по сторонам; думал о своем: нужно найти подпольную организацию — главные бои впереди.

Год я провел в гимназии, как бы не замечая больше, что есть занятия, уроки, отметки: я был занят одним — сравнивал программы эсдеков и эсеров. За последних была романтика: боевые дружины, террор, роль личности. Но мне они казались чересчур романтичными: я помнил рабочих Хамовнического завода, и меня тянуло к большевикам, к романтике неромантического. Я уже читал статьи Ленина и понимал, что меньшевики умеренны, ближе к моему отцу. Я часто повторял про себя одно слово: «справедливость». Это очень жесткое слово, порой холодное, как металл на морозе, но мне оно тогда казалось горячим, милым, своим.

Как-то я поспорил с отцом; оказалось, что он и не слышал про меньшевиков, ему нравились кадеты. Я долго доказывал, что необходима революция. Он сказал: «Может быть, ты и прав... Но главное — это терпимость». Трудно соблазнить терпимостью мальчишку пятнадцати лет с жестким чубом на голове и с давним желанием раскидать тяжелые неподвижные камни. «Все или ничего!» — это восклицание одного из героев Ибсена я записал как девиз в свою записную книжку и, несмотря на пренебрежение к поэзии, повторял стихи А. К. Толстого: «Коль любить, так без рассудку, коль грозить, так не на шутку»...

Тысяча девятьсот шестой год определил мою судьбу. Это был шумный и трудный год: еще вскипали волны революции, но начинался отлив. Одни с печалью, другие с радостью говорили, что гроза позади: восстание матросов в Кронштадте и Свеаборге казалось последними раскатами грома. Гимназисты угомонились, вернулись к учебникам: больше не было ни митингов в университете, ни демонстраций, ни баррикад. В тот год я вошел в большевистскую организацию и вскоре распрощался с гимназией.

В 1958 году меня разыскал мой однокашник Вася Крашенинников, по профессии врач. В старости люди начинают тянуться к полузабытым друзьям детства, отрочества. Крашенинников решил собрать тех наших школьных товарищей, которые еще остались в живых и находятся в Москве. Мы ужинали в ресторане «Прага», пятеро граждан того возраста, который теперь называют «преклонным», вспоминали школьные проказы, учителей, девочек.

Зал ресторана постепенно заполнился; я сидел спиной к залу и не видел посетителей; вдруг я оглянулся и замер — кругом были «стиляги», неизмеримо нарумяненные, растрепанные девушки, мальчишки в клетчатых пиджаках, с перманентом, прямые наследники гимназистов, носивших лазурные фуражки, и студентов-«белоподкладочников». Они танцевали, а когда музыка замолкала, наступала тишина: оживленно беседовали только пять стариков за крайним столиком.

Не знаю, почему судьба сыграла над нами столь злую шутку: мы назначили свидание в том самом месте, где собираются «стиляги». Их, право же, немного. А мы были самыми обыкновенными гимназистами начала века, которые жили, как все, случайно выжили и которые говорили в тот вечер о молодежи нашего времени не с брюзжанием стариков, а с нежностью и доверием.

«Почему тебе не нравилась Валя Козлинская? — спросил меня Крашенинников, — в нее все были влюблены...» Не знаю почему — не помню. Может быть потому, что я был влюблен в Надю? Может быть потому, что я жил будущим: к величайшему ужасу матери, ко мне приходил студент-боевик Дмитрий, он показывал мне и моим товарищам, как нужно обращаться с револьвером.

## 6

Прошлое забывается; кое-что можно припомнить, другое ушло навсегда.

В томе «Литературного наследства», посвященном Маяковскому, я нашел рапорт начальника Московского охранного отделения, подполковника фон Котена, посвященный подпольной социал-демократической организации в средних учебных заведениях Москвы. Я долго думал над некоторыми именами: не могу вспомнить, о ком идет речь; рапорт охранника, однако, многое оживил в моей памяти. Фон Котен доносил:

«Более выдающуюся роль играли Брильянт, Файдыш, Эренбург и Анна Выдрина... Партия приобрела для себя из среды учеников новых работников: Файдыш — член военно-технического бюро; Эренбург, Сюколов, Сахарова, Бухарин и Брильянт — районные пропагандисты; Рокшанин — техник Замоскворецкого района и Антонов — техник Городского района».

Начальник охраны кое-что напутал. Что касается меня, то я сначала попал в общепартийную организацию, а потом, среди прочего, занялся школьными делами. Еще в 1906 году я познакомился с большевичкой Егоровой; у нее были очень светлые волосы, выпуклый лоб. Сначала я таскал «литературу», потом стал «организатором» в Замоскворецком районе. Пуще всего я боялся, что товарищи могут догадаться о моем возрасте, скажут, нельзя поручать пятнадцатилетнему мальчишке важные задания...

(Много лет спустя я узнал, что Маяковский занялся партийной работой, когда ему не было и пятнадцати лет; очевидно, таковы были нравы эпохи.)

Еще не настало время рассказать о всех моих товарищах по школьной организации. Расскажу сейчас о некоторых. Сеня Членов походил на добродушного котенка: лицо широкое, часто жмурился, флегматичный, с легкой усмешкой. Он нам объяснял роль иностранного капитала, англо-германский антагонизм, алчность и отсталость русской буржуазии, но после серьезных рефератов охотно беседовал о декадентах, о Художественном театре, о сатирических романах Анатоля Франса. Много лет спустя я с ним снова встретился в Париже — он был юрисконсультом советского посольства. Удивительно, до чего он мало изменился; очевидно, в восемнадцать лет он был уже вполне отструганным, отшлифованным.

В Париже мы с ним подружились. Он был человеком сложным, сибаритом и в то же время революционером. Видя недостатки, он оставался верным тому делу, с которым связал свою жизнь. Вероятно, среди просвещенных римлян III века, уверовавших в христианство, были люди, похожие на Семёна Борисовича Членова (мы звали его Эсбе), — они видели, как несовершенны статуи Доброго Пастыря по сравнению с Аполлоном, но вместе с другими христианами шли на пытки, на казнь. Помню, я ехал из Москвы в Париж; на пограничной станции Негорелое

стоял встречный поезд; в вагоне-ресторане лениво улыбался Эсбе — его вызывали в Москву. Больше мне не удалось с ним встретиться — это было в конце 1935 года...

Неуклюжий, близорукий, застенчивый мальчик Валя Неймарк был для меня образцом скромности и верности. Его арестовали в ту же ночь, что меня; выпустили; потом арестовали по другому делу и сослали в Сибирь. Он убежал за границу. Я поехал к нему в маленький французский городок Мурто, на границе Швейцарии. Валя работал на часовой фабрике. В 1909 году я уже писал стихи; во мне сказывался душевный разлад — то я мечтал вернуться в Россию и отдаться нелегальной работе, то бродил по Парижу, очарованный городом, и повторял про себя стихи о Прекрасной Даме. А Валя был прежним, участвовал в местной социалистической организации, следил за партийной литературой; ночью он с тихим жаром доказывал мне, что через год-два в России начнется революция. Мне рассказывали, что во время гражданской войны белые его повесили.

Львов был мелким почтовым служащим, жил на казенной квартире на Мясницкой; он думал, что его дочери спокойно выйдут замуж, а дочери предпочли подполье. Когда Надю Львову арестовали, ей еще не было семнадцати лет, и согласно закону ее выпустили до судебного разбирательства на поруки отца. Она ответила жандармскому полковнику: «Если вы меня выпустите, я буду продолжать мое дело». Надя любила стихи, пробовала читать мне Блока, Бальмонта, Брюсова. А я боялся всего, что может раздвоить человека: меня тянуло к искусству, и я его ненавидел. Я издевался над увлеченным Надю, говорил, что стихи — вздор, «нужно взять себя в руки». Несмотря на любовь к поэзии, она прекрасно выполняла все поручения подпольной организации. Это была милая девушка, скромная, с наивными глазами и с гладко зачесанными назад русыми волосами. Старшая сестра, Маруся, относилась к ней с уважением. Училась Надя в Елизаветинской гимназии, в шестнадцать лет перешла в восьмой класс и кончила гимназию с золотой медалью. Я часто думал: вот у кого сильный характер!..

Мы расстались в 1908 году (я видел ее перед моим отъездом за границу). Два года спустя она начала писать стихи. Не знаю, при каких обстоятельствах она познакомилась с В. Я. Брюсовым. Осенью 1913 года вышли две книги: «Старая сказка» Н. Львовой и «Стихи Нелли» без имени автора, посвященные Н. Львовой, со вступительным стихотворением Брюсова, который был в действительности автором анонимной книги.

Брюсов писал: «Пора сознаться: я — не молод; скоро — сорок...» Надя писала: «Но, когда я хотела одна уйти домой, — я внезапно заметила, что Вы уже не молоды, что правый висок у Вас почти седой, — и мне от раскаянья стало холодно...» Эти строчки написаны осенью 1913 года, а 24 ноября Надя покончила жизнь самоубийством. Она переводила стихи Жюлья Лафорга, который писал о невыносимой скуке воскресных дней; в одном из его стихотворений школьница неизвестно почему бросается с набережной в реку. Брюсов часто говорил о самоубийстве, над одним из своих стихотворений он поставил как эпиграф тютчевские слова: «И кто в избытке ощущений, когда кипит и стынет кровь, не ведал ваших искушений — Самоубийство и Любовь». А Надя застрелилась... В предисловии к посмертному изданию ее книги я прочитал: «В жизни Львовой не было значительных внешних событий». Бог ты мой, сколько же должно быть событий в жизни человека? В пятнадцать лет Надя стала подпольщицей, в шестнадцать ее арестовали, в девятнадцать она начала писать стихи, в двадцать два года поняла: «я — только поэтка» — и застрелилась. Кажется, хватит...

Я еще не был знаком с Валерием Яковлевицем, когда получил от него письмо, в котором он рассказывал о своих переживаниях после самоубийства Нади. Меня не удивило, что она ему говорила обо мне; но почему знаменитый поэт, к которому я относился, как к мэтру, вздумал объясняться со мной — это осталось для меня загадкой.

В подполье я делал все, что делали другие: писал прокламации и варил в противне желатин — листовки мы размножали на гектографе, — искал «связи» и записывал адреса на папиросной бумаге, чтобы при аресте успеть их проглотить, в рабочих кружках пересказывал статьи Ленина, спорил до хрипоты с меньшевиками и старался, как мог, соблюдать правила конспирации.

Отобранные у меня при аресте записные книжки помогают мне воссоздать мой тогдашний облик. В одной из записных книжек, по словам обвинительного акта, имелись «разные статистические сведения, касающиеся русских финансов, народного образования, промышленности, сельского хозяйства, а также стачек и локаутов в Германии»; в другой — «переговорить с Борисом», «квартира», «купить книги», «относительно легальных газет», «передать печать», «передать Тимофею связь и переговоры с ним о лекциях», «передать в Хамовники о шрифте», «позвонить Ткачу».

Зимой мы часто встречались в чайных и кидали медяки в пузо горластых органов, чтобы музыка заглушала разговоры. В чайных подавали колбасу, нарезанную кубиками, и вилки с обломанными зубьями; колбаса воняла, не помогала даже горчица. Чай пили вприкуску, откалывая кусочки сахара черными щипцами. В чайных было шумно, но не весело, люди заходили отогреться, и домашняя жесткая тоска не оставляла их.

Однажды я попал в ночную чайную для извозчиков. Перед этим я был на общегородском собрании в Марьиной роще; нас накрыли, но всем удалось разбежаться. Я зашел в чайную, чтобы спрятаться от шпиков. Кругом сидели сонные извозчики. Хотя я пил чай с блюдечка и даже пытался кряхтеть, наверно я в точности походил на классического «смутьяна», который снился всем околочным. Впрочем, извозчики не обращали на меня внимания; только один вдруг с шумом встал, посмотрел на меня хитрыми глазами и сказал: «Разве это жизнь?» Я тотчас выбежал на улицу.

В общем, мне везло. Как-то вечером меня задержали на набережной возле Бутиковской мануфактуры. На мне были прокламации. Меня повели в участок. Околочный шагал рядом. Когда мы переходили Остоженку, он остановился, чтобы пропустить лихача, я же убежал вперед, и мне удалось выбросить прокламации. В участке меня продержали несколько часов, потом пришел пристав, выругался, и меня отпустили. Раз на нас донесла жена рабочего, в квартире которого мы собирались. Она ревновала мужа и решила ему отомстить; но, видимо, она рассказала городовому что-то несусветное: он лазил под кровать, приподнимал половицы, щупал карманы — искал оружие и, ничего не найдя, ушел, даже не полюбопытствовав, кто мы такие.

Недавно в Государственном архиве на Пироговской я напал на выцветшую бумажку; она мне напомнила, что «в ночь на 1 ноября 1907 года в три часа утра в квартире гимназиста Ильи Григорьева Эренбурга, проживающего в доме Варварьинского общества в Савеловском переулке, был произведен обыск» и что «ничего предосудительного найдено не было», «отобраны ноты «Русской марсельезы» и различные открытки».

В подрайоне, который мне поручили, находилась обойная фабрика Сладкова. Я подружился с механиком Тимофеем Ивановичем Илюшиным, энергичным и необычайно живучим. На фабрике устроили заба-

ставку; я выступал на собраниях и завел подписные листы — собирал среди студентов деньги для забастовочного комитета.

Любил я и столяра-краснодеревца Василия Ивановича Чадушкина. Ни он, ни Илюшин никак не походили на угрюмых рабочих Хамовнического завода, которых я знал в годы детства. Пятый год не прошел бесследно, начал складываться рабочий авангард. У моих новых друзей я учился душевному веселью. Они жили плохо, работали тяжело и все же шутили. Для меня революционная работа была освобождением от лжи, для них она была кровным делом, сложным, но естественным.

Я хорошо помню некоторые пейзажи. Возле Шаболовки был большой пустырь, кое-где поросший жалкой травой; на ней лежали босые рабочие. Там мы собирались, говорили о статье в газете «Вперед», а также о том, что рабочие обойной фабрики Сладкова требуют хозяйского мыла. Кто-нибудь обязательно стоял на часах: мог подойти свирепый городской по прозвищу «Шило». Собирались мы также на Татарском кладбище, среди старых плит; весной там цвели одуванчики, курослепы. Излюбленным местом собраний были Воробьевы горы. Наверху владельцы чайных палаток зазывали честную публику. Дымили самовары, булькала водка. Жаловалась гармоника: «Ах, зачем эта ночь так была хороша...» Собирались мы ниже, в лесочке, говорили о «связях», о листовках, оттиснутых на гектографе, о том, что вчера один из организаторов провалился с адресами...

Помню выборы делегатов на Стокгольмский съезд. Большевики должны были приглашать на предвыборные собрания меньшевика, меньшевики — большевика. Ненавидишь всегда людей скорее близких, и кадеты мне были, кажется, милее меньшевиков. Я пошел на собрание меньшевиков-печатников, там мое красноречие оказалось бессильным. Потом было собрание десяти или пятнадцати рабочих кирпичного завода, где имелась меньшевистская организация. От меньшевиков выступала девушка, очень серьезная, стеснявшаяся всего и всех, а я дерзил, вышучивал меньшевиков и победил: рабочие проголосовали за большевистского делегата. Девушка чуть не плакала, мы ушли с нею вместе, мне ее было жалко, но я усмеялся — как-никак я разбил оппортунистов!

Говорят, что иногда человек не узнает себя в зеркале. Еще труднее узнать себя в мутном зеркале прошлого. Когда меня спрашивают о начале моей литературной работы, я называю стихи, которые написал весной 1909 года. На самом деле мои первые писания относятся к 1907 году, и они куда ближе к самостоятельной публицистике, нежели к поэзии. В архиве на Пироговской сохранилась передовая статья журнала «Звено», написанная мною. Она переполнена пафосом шестнадцатилетнего неопита. «В тяжелое время мы приступаем к изданию нашего журнала. Черная реакция охватила всю Россию. Передовой отряд революции — пролетариат — еще не оправился от поражений, не залечил своих ран. Радуются его враги, с криком «горе побежденным» обрушиваются они на революционную армию и прежде всего на ее вождя — российский социал-демократию. С твердым сознанием новой силы, со светлой верой в конечную победу загнанный в подполье пролетариат оттачивает свое оружие — строит свою рабочую партию. Мы разделяем его веру, глубоко ненавистен нам тот строй, где рядом с роскошью и развратом царит непроглядная нищета, власть рубля и нагайки. Мы твердо убеждены в его неизбежном падении, в приходе светлого царства свободы, равенства, братства. Залогом этого является великая международная борьба пролетариата в рядах социал-демократии. Под красное знамя зовет он всех униженных и оскорбленных, всех, кто искренне жаждет обновления человечества. Тернистой, но верной дорогой идет он к цели — к социализму. И нет и не должно быть зрителей в этой исторической борьбе: кто

не с ним, тот против него. К тем из учащихся, кто решил отдать свою жизнь делу освобождения труда, будет направлено наше слово. Мы хотим их подготовить к трудной роли быть барабанщиками и трубачами великого класса, хотим научить их науке борьбы, хотим спаять их крепким звеном с мессией будущего — пролетарием». Я привел полностью мое первое литературное упражнение, конечно, не потому, что оно мне кажется удачным; мне хочется показать, как происходит инфляция слов и как слова меняют свое значение. В 1907 году я жаждал стать барабанщиком и трубачом для того, чтобы в 1957 году написать «в оркестре существуют не только трубы или барабаны...»

Другое мое сочинение, озаглавленное «Два года единой партии», не сохранилось. Судя по резюме охранника, я говорил, что партия не должна пренебрегать всеми видами легальной работы и в то же время должна усилить свою нелегальную деятельность. Вопросы партийной тактики, споры различных фракций в те времена меня увлекали. Я любил говорить о примирении, но говорил о нем непримиримо.

На явках я встречал Варю, Тимофея, Таню, Егора-Моргуна: Егор был студентом, Таня — курсисткой. Иногда с Николаем Ивановичем вечером я приходил в гости к Тане или к Лидии Недоконевой; жили они на Владимиро-Долгоруковской; говорили мы о партийных делах, но и шутили, смеялись. Недавно мне привелось встретиться после пятидесятилетнего перерыва с Таней; она оказалась О. П. Ногойной. Мы вспоминали далекое прошлое: как мы, начинающие пропагандисты, собирались на электрической станции у П. Г. Смидовича, как хорошо шутил Николай Иванович, какой задорной и светлой была наша ранняя молодость.

Встречался я неоднократно с Макаром и только много лет спустя узнал, что «Макаром» звали В. П. Ногина.

Однажды на городское собрание пришел человек с усталыми и добрыми глазами. Я глядел на него с почтением: знал, что он член ЦК. Иннокентий (И. Ф. Дубровинский) внимательно разговаривал с каждым из нас; одному товарищу он сказал: «Плохо выглядите, нужно вам отдохнуть...» Я помню, как на меня действовали эти слова: они не вязались с моим представлением о революции; вернее сказать, мне очень хотелось простой человеческой ласковости, но я считал, что это слабость, пережитки, «интеллигентщина».

Осенью 1907 года мне поручили наладить связи с солдатами и создать организацию в казармах. Я был восхищен трудностью и ответственностью задания. Мне дали печать — все, что осталось после очередного провала; я проштемпелевал две талонные книжки для сбора средств, а печать по глупости хранил у себя, считал, что она хорошо спрятана. (В обвинительном акте говорится, что среди отобранных у меня предметов была «мастичная печать» «Военной организации при Московском комитете Российской социал-демократической партии».) Мне удалось познакомиться с писарем нестроевой роты Несвижского полка, он привел трех солдат пулеметной роты, потом к ним присоединился вольноопределяющийся, еще солдат, шесть человек — один из черновиков Красной гвардии...

Я продолжал читать романы, ходил в театры, иногда встречал знакомых, далеких от политики. Историки называют те времена «началом реакции». После яркого Пятого года наступила смутная эпоха: все чего-то искали, оживленно спорили, волновались, а за всем этим чувствовалась усталость, разуверенность, пустота.

Вместо миньона или шакона моих детских лет барышни разучивали перед испуганными мамами кекуок и матчиш: просвещенное человечество приближалось к фокстроту. Студенты спорили, является ли Санин Арцыбашева идеалом современного человека: здесь было и нищестанство

для невзыскательных, и эротика, более близкая к конюшне, чем к Уайльду, и откровенность нового века. Появился рассказ Анатолия Каменского, в котором подробно излагалось, как некий офицер успел соблазнить в один день четырех женщин. В Художественном театре ставили «Жизнь человека» Леонида Андреева, наивную попытку обобщить жизнь, о которой толковал в углу сцены Некто в сером. Польку из этой пьесы напевали или насвистывали московские интеллигенты. В том же театре шли «Слепые» Метерлинка, и от символического воя впечатлительные дамы заболели неврастенией. Никто из них не предвидел, что через десять лет появятся пшениная каша и анкеты; жизнь казалась чересчур спокойной, люди искали в искусстве несчастья, как дефицитного сырья. Начинаясь эпоха богоискательства, скандинавских альманахов, «Наввих чар».

Казалось, я был забронирован своей непримиримостью; но нет, искусство забиралось и в мое подполье. Ночами я читал Гамсуна — «Пана», «Викторию», «Мистерии», ругал себя за слабость, но восхищался: чувствовал, что есть другой мир — природа, образы, звуки, цвета. Чехов меня потрясал и тогда непонятной мне, но бесспорной правдой; я шептал: «Мисюсю, где ты?», я был влюблен в «даму с собачкой». Я увидел Айседору Дункан; она была в античной тунике и танцевала совсем не так, как Гельцер. Я говорил себе по-прежнему, что все это чепуха, но порой не мог от «чепухи» заслониться. Еще гимназистом я сказал девушке, в которую влюбился: «Короленко говорит, что человек создан для счастья, как птица для полета...» Влюблялся я часто, и мне очень хотелось счастья, но я посвящал все силы, все время другому. У нас часто употребляют как похвалу эпитет «монолитный»; а монолит — это каменная глыба. Человек куда сложнее. Даже в шестнадцать лет...

Газеты были бойкими и мрачными. Эсеры увлекались экспроприациями. Людей вешали. Охранники по ночам раздирали тюфяки и перетряхивали восемьдесят томов Брокгауза и Ефрона.

Блок тогда писал: «Узнаю тебя, жизнь! Принимаю! И приветствую звоном щита!» Но я не знал Блока. Я очень много не знал: я был маленьким монолитом с большой трещиной. Я ходил к гимназистке Асе Яковлевой; она была на два года старше меня и, наверно, лучше разбиралась в клубке человеческих чувств. Я рассказывал ей об итогах Лондонского съезда и старался побороть то многое, что теснилось в моей груди. Разговоры о пользе и вреде кооперации прерывались короткими признаниями. Мы ссорились и мирились. На рождественские каникулы Ася уехала в Бобров, обещала, во-первых, разгромить там эсеров, во-вторых, подумать хорошенько о наших отношениях. При аресте у меня отобрали ее письмо, которое начиналось словами: «Илья, мне хочется более спокойно поговорить с вами...» А в конце была справка: «Реферата не читала, так как почти все с. р. куда-то испарились, а может, и пыл пропал боевой...»

Трудно было спорить о статье Плеханова и одновременно мечтать о счастье. Я говорю об этом потому, что в отличие от многих писателей, моих сверстников, я очень рано увидел маленький макет того душевного мира, в котором прожил потом добрых пятьдесят лет. На дворе еще стоял — если не по календарю, то по быту — девятнадцатый век, с клятвами Герцена и Огарева, с «кружением сердца», с Полиной Виардо, с «Чайкой», со стихами Надсона, а я между явками и романами Гамсуна уже предчувствовал климат иной эпохи.

Я подтруниваю над самоуверенностью мальчишки; но именно в те годы решалось для меня многое. Конечно, я шел путаной дорогой: жизнь не шоссе, а искусство и приподымает человека и часто уводит его в сторону. И все же я вижу, что сейчас мне близок шестнадцатилетний

юноша, который писал наивные прокламации. Если что-либо помогло мне пережить годы сомнений, разуверений, то только сознание, что дело, которому я отдавал себя свыше пятидесяти лет тому назад, диктуется и разумом века и моей совестью.

Пришли за мной в два часа ночи; я крепко спал и проснулся от головов околоточного, шпиков, понятых. Я ничего не успел уничтожить. Обыск продолжался до утра. Мать плакала, и по квартире в ужасе носилась тетка, приехавшая погостить из Киева, она была в пышной нижней юбке. Помню, меня успокаивала, даже радовала мысль: как хорошо, что две недели назад мне исполнилось семнадцать лет! Значит, никто не посмеет усомниться в моей полной ответственности...

## 7

Я просидел в тюрьме всего пять месяцев, но я был мальчишкой, и мне казалось, что я сижу годы: часы в заключении другие, чем на воле, и дни могут быть необыкновенно длинными. Иногда становилось очень тоскливо, особенно под вечер, когда доносились шумы улицы, но я старался совладать с собой — тюрьма в моем представлении была экзаменом на аттестат зрелости.

За полгода я успел ознакомиться с различными тюрьмами: Мясницкой полицейской частью, Сушевской, Басманной, наконец, с Бутырьками. Повсюду были свои нравы.

Все тюрьмы были тогда переполнены, и неделю меня продержали в Пречистенском участке, ожидая, когда освободится место. В участке было шумно. Ночью приводили пьяниц, их нешадно лупили и сажали в пьянку — так называлась большая клетка, похожая на клетки зоопарка. Сторожили меня городовые, они часто сидя засыпали, а просыпаясь, зычно сморкались и бубнили что-то про беспокойную службу. Я думал о своем: как глупо, что я не припрятал получше печаль военной организации! Думал я также об Асе: обидно, мы так и не успели всего договорить!.. Меня возили в охранное отделение, там унылый зобастый фотограф приговаривал: «Голову повыше... теперь в профиль...» Я с детства увлекался фотографией, любил снимать, но не любил, когда меня фотографировали, а вот в охранке обрадовался — значит, меня берут всерьез.

Меня отвезли в Мясницкую часть. Режим там был сносный. В крохотных камерах стояло по две койки. Некоторые надзиратели были добродушными, позволяли походить по коридору, другие ругались. Помню одного — когда я просил меня выпустить в отхожее место, он неизменно отвечал: «Ничего, подождешь...» Смотритель был человеком малограмотным; когда заключенным приносили книги для передачи, он сердился — не мог отличить, какие из них крамольные. В государственном архиве я увидел его донесение, он сообщал в охранку, что отобрал принесенные мне книги — альманах «Земля» и сочинения Ибсена. Один раз он вышел из себя: «Черт знает что! Книгу для вас принесли про кнут. Не полагайтесь! Не получите!» (Как я потом узнал, книга, столь испугавшая смотрителя, была романом Кнута Гамсуна.)

В Мясницкой части сидел большевик В. Радус-Зенькович; мне он казался ветераном — ему было тридцать лет; сидел он впервые, побывал в эмиграции. Моим соседом был тоже «старик» — человек с проседью. Разговаривая с ним, я старался не выдать, что мне семнадцать лет. Однажды начальник принес мне литературный альманах; я его дал соседу, который час спустя сказал: «А здесь для вас письмо». Под некоторыми буквами стояли едва заметные точки: книгу передала Ася. Я покраснел от счастья и от позора; в течение нескольких дней я боялся



поглядеть соседу в глаза — чувства мне казались недопустимой слабостью.

Гуляли мы в крохотном дворике, среди огромных сугробов. Потом неожиданно снег посерел, стал оседать — близилась весна.

Иногда нас водили в баню, это были чудесные дни. Вели нас по мостовой; прохожие глядели на преступников — кто с удивлением, кто с жалостью. Одна старушка перекрестилась и сунула мне пятак: я шел крайним. В бане мы долго мылись, парились и чувствовали себя, как на воле.

Наружную охрану несли солдаты жандармского корпуса; они заговаривали с нами, говорили, что они нас уважают — мы ведь не воры, а «политики». Некоторые соглашались передавать письма на волю. Тридцатого марта я послал письмо Асе. Вероятно, перед этим я получил от нее записку, которая меня огорчила, потому что писал ей: «Только сознание, что для дела важно, чтобы я имел известия с воли, чтобы я не отстал от движения, заставило меня обратиться к вам с просьбой писать мне». Мое письмо было найдено у Аси при обыске и приобщено к делу. По нему я могу судить, что в тюрьме я продолжал жить тем же, чем жил на воле. «Приятно слышать, что дело, выдержав такие препятствия, все же идет вперед. Но то же ваше письмо говорит мне за мой план — новые члены клуба могут быть весьма симпатичными парнями, но в их социал-демократичности я весьма сомневаюсь, и их организационная работа сведется к игре деток». (Я перечитываю эти строки и улыбаюсь — семнадцатилетний мальчишка изобличает детские игры новых членов ученической организации!) Дальше я писал об общих политических вопросах: «Замоскворецкое общество самообразования не разрешено, «трудовой союз» закрыт; правительство, очевидно, решило запереть дверь из подполья. Мы должны ее взломать. Только одно не следует забывать — это только вспомогательное средство, а не центральное, которое должно лежать в работе в подполье».

После того как у Аси нашли это письмо, меня перевели из Мясницкой части в Сушевскую. Новая тюрьма показалась мне раем. В большой камере на нарах спало множество людей; нельзя было повернуться без того, чтобы не разбудить соседа. Все спорили, кричали, пели «Славное море, священный Байкал...» Смотритель был пьяницей, любил деньги, коньяк, шоколадные конфеты, одекolon Брокара; любил также общество интеллигентных людей, говорил: «Вы, политики, — умницы...» Разрешений на свидания не признавал, нужно было положить в бумагу три рубля. Передавать можно было все, но начальник брал себе то, что ему особенно нравилось. Иногда, изрядно выпив, он приходил в камеру, улыбаясь, слушал споры эсдеков с эсерами и приговаривал: «Вот вы ругаетесь, а я всех вас люблю — и эсеров, и большевиков, и меньшевиков. Люди вы умные, а что с Россией будет, это одному господа-богу известно...» У него был мясистый багровый нос в угрях, и от него всегда несло спиртом.

Некоторые заключенные возмущались: весь день крик, нельзя почитать. Выбрали старосту, очкастого меньшевика, он торжественно объявил, что с девяти часов утра до двенадцати шуметь запрещается. Ровно в девять три анархиста начали хрипло горланить: «Пусть черное знамя собой означает победу рабочего люда...» Они не признавали никакого регламента, даже смотритель перед ними робел: «Вы это того... преувеличиваете». (Когда в 1936 году мне привелось провести полгода с анархистами на Арагонском фронте, я вспоминал не раз камеру в Сушевской части.)

Беспорядок, впрочем, царил не только в нашей камере, но и в охранке: в одной камере сидели и люди, случайно арестованные, которые жда-

ли со дня на день освобождения, и террористы, обвиняемые в вооруженных налетах, — им грозила виселица. Неделю просидел церковный староста, его взяли по ошибке — разыскивали однофамильца; он каждому из нас обстоятельно доказывал, что он жертва случая, что он вполне благонадежен даже в помыслах, и он никак не мог понять, почему мы в ответ смеялись. А когда пришли и сказали, что он может идти домой, он перепугался, стал говорить, что теперь-то его наверняка приведут назад — столько он наслушался за неделю недозволенного. Один эсер, участник вооруженной экспроприации, ждал смертной казни. Звали его Иванов (не знаю, была ли это подлинная фамилия). Он симулировал сумасшествие. Вначале он ограничивался кратковременными буйными припадками, потом не то переменял тактику, не то действительно тронулся, но круглые сутки изводил нас криками, похожими на клекот птиц, беспричинным смехом, несвязными разговорами.

Следствие по моему делу вел жандармский полковник Васильев. Он старался расположить меня к себе, говорил о язвах режима, о том, что он в душе сторонник прогресса. Порой он льстил мне, порой изводил меня иронией пожилого и неглупого циника. Ему очень хотелось узнать, кто автор статьи «Два года единой партии», скоро ли произойдет новый раскол, какова позиция Ленина. На вопросы я отвечал односложно: различные документы мне переданы различными лицами, назвать которых я отказываюсь. Он заводил разговор на общие темы — о Горьком, о роли молодежи, о будущем России; говорил мне: «У меня сын вашего возраста, болван, ничем не интересуется — танцы, барышни, ликеры. А с вами приятно поговорить, вы юноша оригинальный, да и начитанный». Во время одного из допросов он начал читать вслух письмо от Аси, отбранное у меня при аресте. Я возмутился, кричал, что это не относится к допросу, что я не допущу издевательства. Он был очень доволен, называл меня «юношей с темпераментом», предлагал чай с печеньем, я отказывался. Он рассказал мне, что к нему пришла девушка, которая сказала, что она моя двоюродная сестра по матери и просит о свидании со мной. «Я спросил ее, а как зовут его матушку, а она даже отчества не знала. Зачем вы таких дур берете в свою организацию? Я ее не задержал. Вы, конечно, догадываетесь, о ком я говорю? Яковлева. Ася». Я еле сдержался, чтобы не выдать себя, и равнодушно ответил, что все это не относится к делу.

Полковник мне солгал. Вскоре после того, как Ася приходила к нему с просьбой о свидании, у нее был произведен обыск; на беду мое письмо из тюрьмы лежало у нее запечатанное на столе — она не успела его прочитать и уничтожить. Восьмого апреля Асю арестовали и привлекли к делу об ученической организации, а две недели спустя выпустили под залог в двести рублей.

Разумеется, я ненавидел полковника Васильева, но он казался мне интересной фигурой, хитрым следователем из романа — я ведь думал, что все жандармы глупые и невежественные держиморды.

Жандармское управление помещалось на Кудринской площади. Возили меня на извозчике; рядом сидел жандарм. Я жадно разглядывал прохожих — вдруг окажется знакомый?.. Шли мастеровые, франты, гимназистки, военные. В палисадниках цвела сирень. Ни одного знакомого...

На последнем допросе мне сказали, что будут привлечены к суду за участие в ученической организации РСДРП Эренбург, Осолков, Неймарк, Львова, Ивенсон, Соколов и Яковлева — первая часть 126 статьи. Помимо этого, я буду привлечен по первой части 102 статьи за участие в военной организации. Васильев, усмехаясь, пояснил: «Вам лично должны дать шесть лет, но треть скостят по несовершеннолетию. Потом — вечное поселение. Оттуда вы удерете — я вас знаю...»

Некоторые заключенные, воспользовавшись разгильдяйством начальства Сушевки, организовали побег; насколько я помню, удалось убежать четверым. Впервые я увидел зрителя мрачным. Не знаю, остался ли он на своем посту, но мы полатились: нас тотчас перевели в различные места заключения как «соучастников побега».

Увидев меня, зритель Басманной части гаркнул: «Снимай портки!» Начался личный обыск. Из рая я попал в ад. Увесистая оплеуха быстро меня познакомила с новым режимом. В Басманке мы объявили голодовку, требуя перевода в другую тюрьму. Помню, как я попросил товарища, чтобы он плюнул на хлеб, — боялся, что не выдержу и отшипну кусок...

Меня перевели в одиночную камеру Бутырской тюрьмы; для меня это было наказанием — дело, разумеется, в возрасте; если бы теперь мне предложили на выбор общую камеру в Сушевке или одиночку, я ни минуты не колебался бы; но в семнадцать лет коротать время с самим собой нелегко, да еще без свиданий, без писем, без бумаги.

Я пробовал перестукиваться, никто не ответил. На прогулку меня не пускали. В маленькое оконце врывался яркий свет летнего дня. Воняла параша. Я начал читать вслух стихи — надзиратель пригрозил, что посадит меня в карцер. Я погребовал бумагу для заявления и написал в жандармское управление, что «содержащийся в Московской пересыльной тюрьме Илья Эренбург» не хочет дольше сидеть за решеткой: «Прошу немедленно освободить меня из-под стражи. Если же меня хотят заморить или свести с ума до суда, то пусть мне заявят об этом». Я переписываю эти строки и смеюсь, а когда я их писал, мне было совсем не смешно. Заявление пронумеровали и приобшили к делу.

Тюремный врач нашел, что я болен острой формой неврастения. Он многого не знал: я продолжал думать о различных партийных делах, об использовании для партийной работы кооперации, о некоторых рабочих с завода Гужона, которых следовало выдвинуть вперед; сочинял без бумаги «ответ Плеханову». Думал я и о том, что Ася сдала экзамены, поступает на Высшие курсы — вряд ли наши пути в жизни сплетутся. Думал я в тюрьме и не только об этом: я начал думать о жизни, о тех больших и не вполне ясных вопросах, о которых не успел задуматься на воле. В общем, и тюрьма хорошая школа, если только тебя не секут, не пытаются и если ты знаешь, что посадили тебя враги и что о тебе дружки вспоминают единомышленники.

«С вещами!..» Я подумал, что меня переводят в новую тюрьму, но мне показали бумагу: «Распишитесь». Меня выпускали до судебного разбирательства под гласный надзор полиции; я должен был незамедлительно покинуть Москву и выехать в Киев.

Я вышел на Долгоруковскую и замер. Все можно забыть, а вот этого не забудешь! В спокойные времена в спокойной стране человек растет, учится, женится, работает, хворает, дряхлеет; он может прожить всю жизнь, так и не поняв, что такое свобода; вероятно, он всегда чувствует себя свободным в той мере, в которой положено быть свободным пристойному гражданину, обладающему средним воображением. Выйдя из тюремных ворот, я остолбенел. Извозчики, парень с гармошкой, лоток, молочная Чичкина, булочная Савостьянова, девушки, собаки, десять переулков, сто дворов. Можно пойти прямо, свернуть направо или налево... Вот тогда-то я понял, что такое свобода, понял на всю жизнь.

(Никогда я не мог разгадать пушкинских строк «На свете счастья нет, но есть покой и воля...» Много раз я думал над этими словами, но так их и не понял: жизнь изменилась. В 1949 году я сидел рядом с С. Я. Маршаком в партере Большого театра; на сцене произносили речи

о Пушкине — это был юбилейный вечер. Потом мы пошли в кафе на углу Кузнецкого моста. Я спросил Самуила Яковлевича, о каком счастье мечтал Пушкин, помимо покоя и воли; Маршак ничего не ответил.)

А на Долгоруковской я долго стоял и улыбался; потом пошел домой, на Остоженку, мимо Страстной площади, там я поздоровался с Пушкиным, по зеленым бульварам, шел и все время улыбался.

## 8

Из Киева меня скоро выслали и заодно почему-то запретили проживание в Киевской и Каменец-Подольской губерниях. Я получил проходное свидетельство в Полтаву: там жил брат моей матери, либеральный адвокат.

Город мне показался милым: тихие улицы, сады с золотыми деревьями, белые домики; но «гласный надзор полиции» мог отравить жизнь и в идиллической Полтаве. Конечно, дядюшка меня любезно принял, но я понял, что чем реже буду у него бывать, тем ему будет спокойнее. Я начал поиски комнаты; приходилось предупреждать квартировладельцев, что я состою под надзором полиции. После такого предупреждения мне неизменно отказывали — одни грубо, другие с виноватым видом, ссылаясь на тяжелые и без того условия. Наконец я попал к мужскому портному Браве, который, посоветовавшись с женой, решил сдать мне комнатушку. Я вынул книги, тетради и решил прочно обосноваться в Полтаве. Разумеется, я надеялся продолжать подпольную работу; у меня был адрес одного рабочего — мне его дали в Киеве. В течение недели я ходил с одного конца города в другой, желая убедиться, что за мной не ходит шпик.

Одиннадцатого ноября 1908 года начальник полтавского жандармского управления полковник Нестеров писал: «По организации РСДРП доношу, что вновь вошедшие лица в сферу наблюдения за октябрь» — следовал список, и в нем «Илья Григорьев Эренбург — студент». Жалко, что с его донесением я ознакомился полвека спустя: наверно, мне польстило бы, что он принял меня за студента.

Мне трудно было бы вспомнить некоторые подробности моей полтавской жизни; на помощь еще раз пришли архивы полиции: «Копия с полученного агентурным путем письма поднадзорного Илья Григорьевича Эренбурга. Полтава от 21 сентября 1908 г. к Симе в Киев. «Уважаемый товарищ! Сообщаю некоторые сведения о состоянии Полтавских организаций. Существуют 2—3 кружка, сил нет. Вообще положение плачевное. Говорить при таких условиях о конференции по меньшей мере смешно... Меня как «большевика» долго не пускали, да и теперь держат на «исключительном положении». Очень просил бы вас выслать несколько десятков «Южного пролетария», а также сообщить, что у вас нового».

Я не помню Симы, но вспоминаю, что в Полтаве была меньшевистская организация и, будучи большевиком, да еще к тому же чрезвычайно молодым и чрезвычайно дерзким, я напугал милого тщедушного меньшевика с чеховской бородкой, который приговаривал: «Нельзя же так — все сразу, право, нельзя...» Мне удалось, однако, связаться с тремя большевиками, работавшими в железнодорожном депо, и написать две прокламации.

Я должен был раз в неделю являться в участок, но «гласный надзор» этим не ограничивался: то и дело ко мне приходили городовые, будили на рассвете, стучали в окошко ночью. Как-то, возвратившись домой, я увидел на моей постели городского в башлыке; он укоризненно сказал «все ходите», взял со стола тетрадку — конспект «Истории философии» Куно Фишера, — аккуратно связал веревкой мои книги и уволок их.

Портной Браве, всхлипывая, попросил меня освободить комнату: в полиции ему сказали, что, если он меня не выдворит, у него будут крупные неприятности. Снова начались унижительные поиски жилья. На третий или четвертый день я нашел удобную комнату, и хозяин в ответ на мое предупреждение рассмеялся: «Я сам поднадзорный...» Он сочувствовал эсерам, и мы по ночам спорили о роли личности в истории; иногда нашу дискуссию прерывал очередной визит городского.

Дядя предложил мне пойти в окружной суд — он защищал горемыку, которого обвиняли в краже. Я начал каждый день ходить на судебные разбирательства — они мне показались куда интереснее романов. Я знал, что люди живут плохо, помнил казармы Хамовнического завода, видел ночлежки, ночные чайные, пьяниц, людей жестоких и темных, увидел тюрьму. Но все это было извне, а на суде передо мной раскрывались сердца людей. Почему тихая, скромная крестьянка зверски убила соседа? Почему старик зарезал падчерицу, с которой он жил? Почему люди верили рябому, уродливому чудотворцу? Почему они полны темноты, предрасудков, бурных и непонятных им самим страстей? Я и до того знал, что есть «база» и «надстройка», но в Полтаве я впервые серьезно задумался над уродливостью и вместе с тем прочностью «надстройки». Прежде мне казалось, что можно изменить людей в двадцать четыре часа — стоит только пролетариату взять в свои руки власть. Слушая признания подсудимых, показания свидетелей, я понял, что все не так просто. Я взял из библиотеки рассказы Чехова.

В Полтаве я продержался всего месяц. Меня вызвал полицмейстер и сказал, что мне придется покинуть город. «Куда вы намереваетесь отправиться?» Я ответил первое, что мне пришло в голову: «В Смоленск».

Я не знал, что причину хлопот властям в Смоленске. Недавно Р. Островская, научный сотрудник смоленского архива, прислала мне справку. Оказывается, полковник Нестеров сообщил своему коллеге в Смоленске, генералу Громыко, что «бывший студент Илья Григорьев Эренбург 10 ноября изъявил свое согласие перейти на жительство в гор. Смоленск, куда ему полтавским полицмейстером было выдано проходное свидетельство». Одновременно полковник Нестеров предупреждал генерала Громыко: «Означенный Эренбург, проживая в Полтаве, успел войти в сношение с лицами, принадлежащими к местной организации Российской социал-демократической рабочей партии». Двадцать четвертого ноября начальник смоленского жандармского управления приказал тотчас сообщить ему о моем приезде в Смоленск. Меня долго разыскивали.

Из Полтавы я поехал в Киев и неделю прожил там без прописки. Каждую ночь приходилось ночевать на новом месте. Как-то я пришел вечером по указанному адресу, звонил, стучался в дверь, но напрасно. Может быть, я неверно записал адрес, не знаю. Я шагал по Бибииковскому бульвару. Было холодно, падал мокрый снег. Навстречу шла молоденькая девушка, на ней были летние туфли. Она позвала меня: «Пойдем?» Я отказался. Час спустя мы снова встретились; она поняла, что у меня нет ночлега, отвела к себе в теплую комнату — «отогреешься», — дала пачку папирос (я не курил, но от папиросы никогда не отказывался), а сама пошла на бульвар — искать клиента.

(Среди проституток есть много женщин с нерастраченной нежностью. Это понял итальянский кинорежиссер Феллини, работая над «Ночами Кабирии». Я видел его последний фильм «Сладкая жизнь», фильм чрезвычайно жестокий, в нем, пожалуй, единственное теплое, человеческое — это римская проститутка, которая доброжелательно принимает у себя парочку богатых изломанных влюбленных.)

В Москве меня ждали те же трудности. Домой я не мог пойти и не знал, где мне приютиться. Пришлось разыскивать знакомых, не связан-

ных с подпольем, так называемых «сочувствующих». Один мой товарищ по гимназии, увидев меня, чрезвычайно испугался, стал говорить, что он сдаст выпускные экзамены, что я могу погубить всю его жизнь, предлагал деньги и выталкивал в переднюю. Ночевал я у одной акушерки; она так боялась, что не могла уснуть, да и мне не дала: все время ей казалось, что кто-то идет по лестнице, она плакала и жадно глотала эфирно-валериановые капли. Вскоре ночевки иссякли. Я провел ночь на улице. Я ходил и думал: вот мой город, вот дом, куда я приходил, и для меня нет места!.. Глупые мысли, их оправдывает только молодость.

Еще более глупым было дальнейшее: я направился в жандармское управление и заявил, что предпочитаю тюрьму «гласному надзору». Полковник Васильев долго надо мной смеялся, потом сказал: «Ваш батюшка подал заявление о том, чтобы вам разрешили кратковременный выезд за границу для лечения». Я решил, что полковник надо мной издевается, но он показал мне бумагу о том, что на юридическом языке называется «изменением меры пресечения». В бумаге говорилось, что надзор полиции признан недостаточным и что «для обеспечения явки на судебное разбирательство» мой отец должен внести за меня залог в размере пятисот рублей. (За Кору Ивенсон взяли четыреста, за Неймарка — триста, за Яковлеву — двести, за Осколкова — сто. Не знаю, кто устанавливал расценку и чем он руководствовался.)

Обвинительный акт был вручен обвиняемым полтора года спустя — 31 мая 1910 года. Я тогда жил в Париже и писал стихи о средневековых рыцарях: Меня официально уведомили, что мой отъезд за границу был произведен незаконно, ибо «закон исключает возможность разрешения обвиняемым пребывания за границей, то есть за пределами досягаемости». Отцу было объявлено, что внесенный им залог «на основании 427 статьи Устава уголовного уложения будет обращен в капитал на устройство мест заключения».

Судебная палата в сентябре 1911 года разбирала дело об ученической организации; дело об Эрэнбурге и Неймарке выделили. Защитники не без основания указывали, что зачинщики скрылись. Осколкова приговорили к восьми месяцам заключения, остальных оправдали.

Уезжать за границу мне не хотелось: все, чем я жил, было в России. Я разыскал одного из товарищей, он сказал: «Поезжайте. Вам нужно пополнить политическое образование. Ленин теперь не в Женеве, а в Париже. Поезжайте в Париж, там вы найдете Савченко, Людмилу...»

Я решил пробыть в Париже год, а потом нелегально вернуться в Россию. «Только в Париж», — сказал я родителям. Мать плакала: ей хотелось, чтобы я поехал в Германию и поступил в школу; в Париже много соблазнов, роковых женщин, там мальчик может свихнуться...

Я уезжал с тяжелым сердцем и с еще более тяжелым чемоданом: туда я положил любимые книги. На мне было зимнее пальто, меховая шапка, ботинки.

Седьмого декабря 1908 года генерал Громыко сообщал полтавскому полковнику Нестерову, что «Илья Григорьев Эрэнбург в гор. Смоленск до сего времени не прибывал». В тот самый день Илья Григорьев, высунившись из окна вагона третьего класса, недоверчиво глядел на зеленую траву и на маленькие домики парижских пригородов.

Я хорошо помню декабрьский день, когда я вышел из Северного вокзала на грязную шумную площадь. Меня удивил ветер — в нем чувствовалось дыхание моря; мне стало весело и тревожно. Чемоданы я оставил в камере хранения и почувствовал себя сразу свободно. Правда, одет

я был несуразно, но никто не обращал на меня внимания, в первые же часы я понял, что в этом городе можно прожить незаметно — никто тобой не интересуется.

Я зашел в бар. У цинковой стойки стояли краснолицые извозчики в цилиндрах; они пили загадочные напитки — багровые и зеленые. Я вспомнил московских извозчиков, и защемило сердце — эти ведь не станут говорить про овес... Я заказал кофе. Хозяйка меня о чем-то спросила, я не понял. (Я был убежден, что могу говорить по-французски — учился в гимназии, брал частные уроки; но выяснилось, что я знаю несколько сот слов, которые Расин вставлял в свои трагедии, а самых необходимых в жизни не знаю.) Мне дали черный кофе в бокале и рюмочку рома. Я испугался, но выпил.

Я знал, что русские эмигранты живут неподалеку от Латинского квартала, и спросил полицейского, как мне туда добраться. Он мне показал на омнибус: в Париже оказалась наша конка, только без рельсов и двухэтажная. Я взобрался на империал и сел рядом с кучером; в руке у него был длинный кнут. Он то и дело засыпал; на его нижней губе дрожжал погасший окурок сигареты. Просыпаясь, он начинал петь; так как он много раз просыпался, то в конце концов я понял первые слова песни «Сердце цыгана — это вулкан...» Ему было под шестьдесят. Мне он казался даже не старым, а древним, как пепельные дома Парижа.

Путь был длинным — с одного конца города на другой. Мы пересекли Большие бульвары; тогда это был центр города. Я вдруг догадался, что здесь не только другие нравы, но и другой календарь: сегодня двадцатое декабря, скоро рождество, вот почему всюду рекламы — подарки, праздничные ужины. На Бульварах было множество палаток: в одних продавали всяческую дребедень, в других были огромные, непонятные мне игры — рулетки.

На углах улиц стояли певцы с нотами; они пели что-то грустное; зевали, толпившиеся вокруг, подпевали. На тротуарах громоздились кровати, буфеты, шкафы — мебельные магазины. Вообще все товары были на улице — мясо, сыры, апельсины, шляпы, ботинки, кастрюли. Меня удивило количество писсуаров; на них было написано «Лучший шоколад Менье», внизу краснели штаны солдат. Ветер был холодный, но люди не торопились: они не шли куда-то, а прогуливались.

Кафе были с террасами, и на многих террасах чадили жаровни; возле них сидели почтенные старики. Мне захотелось написать Асе, сестрам, Наде Львовской, что в Париже топят улицу. Никто не поверит!..

На бульваре Себаstopоль я увидел паровой трамвай, он трагически свистел. Извозчики гикали и шелкали бичами. Пролеток не было, у извозчиков были кареты, как у московского генерал-губернатора. Я увидел, что в одной карете едет парочка, они целовались; я поспешно отвернулся, чтобы не помешать им. Иногда дорогу пересекали кареты без лошадей — автомобили; они гудели, грохотали, и лошади шарахались в ужасе.

Я дал кондуктору серебряную монету; он попробовал ее на зуб и, заметив мое изумление, весело улыбнулся. Никогда прежде я не видел на улице столько людей. Москва мне показалась милым, спокойным детством.

Отчаянно кричали газетчики: «Ля пресс!», «Ля патри!» Я думал, что приключилось важное событие. Может быть, Германия объявила войну? Или эсеры бросили бомбу в Столыпина? Конечно, индивидуальный террор ничего не может решить, но все-таки приятно... Газетчик на ходу вскочил в омнибус. Я купил газету. На первой странице был большой портрет неизвестного мне человека. Я долго изучал заголовки и понял, что этот человек убил свою любовницу, положил труп в сундук и отправил малой скоростью в Нанси.

Я не знал, где мне нужно слезть, чтобы попасть в Латинский квартал, и наконец спросил кучера. Он засмеялся и сказал: «Слезайте». Это было на площади Денфер-Рошерио. Посередине площади был памятник: сердитый лев глядел прямо на меня; я прочитал на цоколе, что он поставлен в память защиты Бельфора от пруссаков. Я с радостью подумал, что увижу Стену коммунаров. В Москве я устраивал лекцию В. П. Потемкина для студентов и гимназистов; он красиво говорил и кончил словами: «Коммуна умерла, да здравствует Коммуна!» Прохожие в моем представлении сливались с героями романа Анатоля Франса «Боги жаждут», со львиным мужеством защитников Бельфора и с коммунарами, о которых я знал по книжке Лиссагаре.

Но нужно найти комнату... Гостиниц было очень много; я выбрал одну, с самой маленькой вывеской — наверно, здесь дешевле. Хозяйка дала мне медный подсвечник, закапанный стеарином, большой ключ и крохотное полотенце, похожее на салфетку. Я протянул ей паспорт, но она ответила, что это ее не интересует. В номере стояла очень большая, высокая кровать, занимавшая почти всю комнату. Пол был каменный. Я принял окно за дверь на балкон, балкона, однако, не оказалось; я увидел, что во всех домах такие же окна — прямо от пола. А вот стола в номере не было. Удивительно, даже в комнатухе портного Браве стоял стол... В номере было холодно. Я спросил хозяйку, нельзя ли затопить камин. Она ответила, что это очень дорого, и обещала положить мне на ночь в кровать горячий кирпич. (На следующий день я все же решил разориться, и коридорный принес мне мешок с углем. Я не знал, как зажечь камин, — уголь был каменным; положил газеты, щепки, все быстро сгорело, а проклятый уголь не зажигался; я вымазала лицо и уснул снова в холодной комнате.)

Сидеть в номере было глупо. Я отложил поиски Савченко и Людмилы на следующий день и пошел бродить по Парижу. Мужчины были в котелках, женщины в огромных шляпах с перьями. На террасах кафе влюбленные преспокойно целовались; я даже перестал отворачиваться. По бульвару Сен-Мишель шли студенты, шли по мостовой, мешая движению, но никто их не разгонял. Сначала мне показалось, что это демонстрация, но нет, они просто развлекались. Продавали жареные каштаны. Стал накрапывать дождик. В Люксембургском саду трава была нежно-зеленая. В декабре!.. Мне было очень жарко в ватном пальто. (Ботинки и меховую шапку я оставил в гостинице.) Пестрели яркие афиши. Все время мне казалось, что я в театре.

Я долго прожил в Париже; различные события, лица, обрывки фраз смешались в моей памяти; но первый парижский день я хорошо запомнил: этот город меня поразил. Самое удивительное, что он остался прежним; Москвы не узнать, а Париж все тот же. Когда я теперь приезжаю в Париж, мне становится невыразимо грустно — город тот же, изменился я; мне трудно ходить по знакомым улицам — это улицы моей молодости. Конечно, давно нет ни фиакров, ни омнибусов, ни парового трамвая; неоновые вывески куда ярче прежних; редко можно увидеть кафе с красными бархатными или кожаными диванами; писсуаров осталось мало, они запрятались под землю. Но ведь это мелочи. По-прежнему люди живут на улице, влюбленные целуются, где им вздумается, никто ни на кого не обращает внимания. Старые дома не изменились — что им лишних полвека, в их возрасте это нечувствительно. Слов нет, изменился мир — следовательно, и парижане должны думать о многом, о чем они раньше не подозревали: об атомной бомбе, о скоростных методах производства, о коммунизме. Но с новыми мыслями они все же остаются парижанами, и я убежден, что, если теперь попадет в Париж восемна-



дцатилетний советский паренек, он разведет руками, как я в 1908 году: «Театр...»

На следующий день я отправился в Латинский квартал. На бульваре Сен-Мишель я стал прислушиваться к разговорам прохожих: как только услышу русскую речь, спрошу, где здесь эмигрантская библиотека; там-то, наверно, мне скажут адрес Савченко и Людмилы. Я потратил на поиски полдня. Библиотека помешалась на Авеню де Гобелен, в глубине грязного двора. Я поднялся по винтовой лестнице в помещение, походившее на длинный сарай. Там стояли полки с книгами, лежали русские газеты, там я познакомился с библиотекарем, товарищем Мироном (Имбертом). Он был меньшевиком, это меня огорчило; но вскоре я понял, что он озабочен одним: не хочет, чтобы читатели зачитывали библиотечные книги. Он мне прочел длинную лекцию о том, как обращаться с книгой, я обещал никогда не загибать страниц и не делать на полях заметок. (Он все же подпустил шпильку — сказал, что именно некоторые большевики любят писать на библиотечных книгах.) Это был близорукий, тихий и доброжелательный человек. Каждый вечер он отправлялся в маленькую пивную на улице Брока, там ел сосиски и работал — составлял словарь зарубежных изданий. Он не знал, где живут Савченко и Людмила, но сказал, что скоро придет кто-нибудь из большевистской группы содействия. Действительно, два часа спустя я уже был на квартире, где жили Савченко и Людмила. У них были две маленькие комнаты, кухня с газом; в комнатах стояли раскладушки. Все напоминало студенческую квартиру где-нибудь на Козихах. Вот только газовая плитка меня заинтересовала... Савченко была заботливой женщиной лет тридцати (мне она казалась старухой). Она сразу начала меня опекать, сказала, что жить в гостинице дорого и что завтра она пойдет со мной, мы найдем меблированную комнату, это нетрудно — у подъезда висит желтое объявление. А вот сегодня вечером они возьмут меня на собрание большевистской группы — там будет Ленин...

Мы обедали, я нервничал, глядел на часы — не опоздать бы! Конечно, Савченко и Людмила рассказывают удивительные вещи о Париже, но если я сюда приехал, то с одной целью — увидеть Ленина.

## 10

Большевистская группа собиралась в кафе на Авеню д'Орлеан, неподалеку от Бельфорского льва. На втором этаже имелась небольшая зала; как то принято в Париже, ее предоставляли безвозмездно — посетители должны были оплачивать только кофе или пиво. Мы пришли одними из первых. Я спросил Савченко, что мне заказать; она ответила: «Гренадин. Все наши пьют гренадин...» Действительно, всем приносили ярко-красный приторный сироп, к которому добавляли сельтерскую воду. Только Ленин заказал кружку пива. (Потом я неоднократно слышал, как официанты удивлялись: революционеры, а пьют гренадин!.. Сироп французы прибавляют к чересчур горьким крепким напиткам; а в воскресенье, когда посетители приводят в кафе всю семью, малышей бесплатно угощают гренадином.)

На собрании было человек тридцать; я глядел только на Ленина. Он был одет в темный костюм со стоячим крахмальным воротничком; выглядел очень корректно. Я не помню, о чем он говорил, но, будучи достаточно дерзким мальчишкой, я попросил слова и в чем-то возразил. Он ответил мне мягко, не обругал, а разъяснил — я того-то не понял... Людмила мне сразу сказала, что я поступил глупо. Когда собрание кончилось, Владимир Ильич подошел ко мне: «Вы из Москвы?..» Я ему объяснил, что в московской организации работал до января, потом был

арестован, попытался устроиться в Полтаве, там разыскал товарищей. Ленин сказал, чтобы я к нему зашел.

Я разыскал дом на улочке возле парка Монсури (теперь я проверил — это была улица Бонье). Я долго стоял у двери — не решался позвонить; от недавней дерзости не осталось следа. Дверь открыла Надежда Константиновна. Ленин работал; он сидел, задумавшись, над длинным листом бумаги; чуть щурил глаза.

Я рассказал ему о провале ученической организации, о статье «Два года единой партии», о положении в Полтаве. Он внимательно слушал, иногда едва заметно улыбался; мне казалось — он догадывается, что я еще мальчишка, и это пугало мои мысли. Я сказал, что помню на память адреса для рассылки газеты. Надежда Константиновна адреса записала. Я хотел уходить, но Владимир Ильич меня удержал; он стал расспрашивать: как настроена молодежь, кого из писателей больше читают, популярны ли сборники «Знания», на каких спектаклях я был в Москве — у Корша, в Художественном театре. Он ходил по комнате, а я сидел на табурете. Надежда Константиновна сказала, что время обедать; я решил, что засиделся, но меня оставили, накормили. Меня удивил порядок: книги стояли на полке, на рабочем столе Владимира Ильича ничего не было накидано — не похоже ни на комнаты моих московских товарищей, ни на квартиру, где жили Савченко и Людмила. Владимир Ильич несколько раз повторил Надежде Константиновне: «Вот прямо оттуда... Знает, чем живет молодежь...»

Меня поразила его голова. Я вспомнил об этом пятнадцать лет спустя, когда увидел Ленина в гробу. Я долго глядел на этот изумительный череп: он заставлял думать не об анатомии, но об архитектуре.

(Много лет спустя после смерти Ленина я взял воспоминания Н. К. Крупской. Надежда Константиновна рассказывала, что Ленин прочитал мой первый роман. «Это, знаешь, Илья Лохматый (кличка Эренбурга), — торжествующе рассказывал он. — Хорошо с него вышло». Я был у Владимира Ильича в самом начале 1909 года; я не знал, что снова с ним мысленно разговаривал — незадолго до его смерти — в 1922 или 1923 году, когда он читал мою книгу «Хулио Хуренито».)

Несколько раз я слышал Ленина на собраниях; говорил он спокойно, без пафоса, без красноречия; слегка картавил; иногда усмехался. Его речи выходили на спираль: боясь, что его не поймут, он возвращался к уже высказанной мысли, но никогда не повторял ее, а прибавлял нечто новое. (Некоторые из подражавших этой манере говорить, забывали, что спираль похожа на круг и не похожа — спираль идет дальше.)

Ленин внимательно следил за политической жизнью Франции, изучал ее историю, ее экономику, знал быт парижских рабочих. Он не только говорил по-французски, но и мог писать на этом языке статьи.

В мае 1909 года я был на демонстрации у Стены коммунаров. Впереди шли участники Коммуны; их было еще много, и они бодро шагали. Мне они показались глубокими стариками; я думал о Коммуне, как о странице древней истории, — ведь это было тридцать восемь лет назад! У Стены коммунаров я увидел Ленина; он стоял среди группы большевиков и глядел на стену — из камня выступали тени федератов.

Видел я Ленина и в библиотеке Сент-Женевьев, и на скамейке в парке Монсури, среди старух и детишек, и в рабочем театре на улице Гэтэ, где певец Монтегус пел революционные песенки.

В пылу полемики против эсеров, пренебрегавших законами развития общества, я, разумеется, отрицал всякую роль личности в истории. Несколько лет назад я задумался над фразой из письма Энгельса: «Маркс и я отчасти сами виноваты в том, что молодежь иногда придает больше

значения экономической стороне, чем это следует. Нам приходилось, возражая нашим противникам, подчеркивать главный принцип, который они отрицали, и не всегда находилось достаточно времени, места и повода отдавать должное и остальным моментам, участвующим во взаимодействии». Пример Ленина поставил многое на свое место.

Когда я пришел к Владимиру Ильичу, консьержка мне строго сказала: «Вытрите ноги». Разве она понимала, кто ее жилец? Разве понимал официант кафе на Авеню д'Орлеан, что о господине, который заказывает кружку пива, восемь лет спустя будет говорить весь мир? Разве догадывались посетители библиотеки, что человек, аккуратно выписывающий из книг цифры и имена, изменит ход истории, что о нем будут писать десятки тысяч авторов на всех языках мира? Да разве я, с благоговением глядевший тогда на Владимира Ильича, мог себе представить, что передо мной человек, с которым будет связано рождение новой эры человечества?

Никогда не забуду четыре ночи, предшествовавшие похоронам Ленина, когда Москва прощалась с Владимиром Ильичем. Стояли жестокие морозы; на площадях горели костры. Входя в Колонный зал, взрослые мужчины, вчерашние красногвардейцы, плакали, как дети. Случилось чудо: в эти четыре ночи перед всеми раскрылась история; то, что еще недавно казалось зыбкой газетной хроникой, сразу стало гранитом — все поняли, что создал Ленин.

Владимир Ильич был в жизни простым, демократичным, участливым к товарищам. Он не посмеялся даже над нахальным мальчишкой... Такая простота доступна только большим людям; и часто, думая о Ленине, я спрашивал себя: может быть, воистину великой личности чужд, даже неприятен, культ личности?

Ленин был человеком большим и сложным. В бурные годы гражданской войны после исполнения сонаты Бетховена Исаем Добровейном, Ленин сказал А. М. Горькому: «Ничего не знаю лучше «Аpassionata», готов слушать ее каждый день. Изумительная, нечеловеческая музыка. Я всегда с гордостью, может быть, наивной, думаю: вот какие чудеса могут делать люди!» И, прищурясь, он прибавил невесело: «Но часто слушать музыку не могу, действует на нервы, хочется милые глупости говорить и гладить по головкам людей, которые, живя в грязном аду, могут создавать такую красоту. А сегодня гладить по головке никого нельзя — руку откусят, и надобно бить по головкам, бить безжалостно, хотя мы, в идеале, против всякого насилия над людьми. Гм-гм, — должность адски трудная!»

Я выписал эту длинную цитату из воспоминаний Горького, потому что она слишком тесно связана с моей жизнью и с моими мыслями, нет, местоимение не то — с нашим веком, с нашей судьбой.

*(Продолжение следует)*



---

С. ЛИПКИН

★

## ДВЕ ЛЕГЕНДЫ

### 1. СТЕПНАЯ ПРИТЧА

Путешественник, автор ученых писаний,  
Побывавший в начале столетья в Синьцзяне,  
Эту притчу привел... Помогла бы умелость.—  
Мне стихами ее изложить захотелось:

«Две недели я прожил у верблюдопаса,  
Ел консервы, пока нам хватило запаса,

А потом перешел на болтушку мучную,  
Но питаться, увы, приходилось вручную.

Нищета приводила меня в содроганье:  
Ни куска полотна, только шкуры бараньи,

Ни стола, ни тарелки, ни нитки сученой,  
Только черный чугунный котел закопченный.

Мой хозяин был старец, сухой и беззубый.  
Мне внимая, сердечком он складывал губы

И выщипывал редкой бородки седины.  
Пальцы были грязны, но изящны и длинны...

Он сказал мне с досадою, но с виду бесстрастно:  
— Свысока на меня ты глядишь, а напрасно.

Я родился двенадцатым сыном зайсанга,  
Я в Тибете бывал, доходил и до Ганга,

Если хочешь ты знать, то по тетке-меркитке  
Из Чингизовой мы происходим кибитки!

Запинаясь, коверкая каждое слово,  
Я спросил у потомка владельца степного:

— Отчего ж темнота, нищета и упадок?  
Он сказал:— То одна из нетрудных загадок.

Я отвечу тебе, как велит наш обычай,  
Потускневшей в степи стародавнюю притчей.

Был однажды великий Чингиз на ловитве.  
Взял с собой он не только прославленных в битве —

Были те, кто и в книжной премудрости быстры,  
По теперешним званьям — большие министры.

Соизволил спросить побеждавший мечом:  
— Наслаждение жизни, по-вашему, в чем?

Поклонился властителю Бен Джугутдин,  
Из кавказских евреев был тот господин.

Свежий, стройный, курчавый, в камзоле атласном,  
Он промолвил своим языком сладкогласным:

— Наслаждение жизни — в познании жизни,  
А познание жизни — в желании жизни.

— Хорошо ты поешь,— отвечал Темучин,—  
Только пенье твое не для слуха мужчин.

Ты что скажешь,— спросил побеждавший мечом,—  
Наслаждение жизни, по-твоему, в чем?

Тут китаец оправил холеную косу  
И ответил, как будто он рад был вопросу:

— Наслаждение жизни — в стремлении к смерти,  
А в стремлении к смерти — презрение к смерти.

— Говоришь ты пустое! — воскликнул Чингиз.—  
Ты что скажешь, бухарец? Омар, отзовись!

И ответил увидевший свет в Бухаре  
Знатный бек,— был он в золоте и в серебре:

— Наслаждение жизни — в покое и неге,  
В беспокойной любви и в суровом набеге,

В том, чтоб на руку взять синецветную птицу  
И охотиться в снежных горах на лисицу.

Молвил властный:— И этих я слов не приму.  
Видно, слово сказать нужно мне самому.

Только тот, кто страны переходит рубеж,  
Подавляя свободу, отпор и мятеж,

Только тот, кто к победе ведет ненасытных,  
Заставляя стенать и вопить беззащитных,

Тот, кто губит ребенка, и птицу, и древо,  
Тот, кто любит беременным испарывать чрево,

Кто еще не родившихся режет ножом,  
Разрушает настойчивый труд грабежом,—

Ненавистный чужбине и страшный отчизне,  
Только он познает наслаждение жизни!

...Солнце медленно гасло над степью ковыльной.  
Мой хозяин добавил с усмешкой бессильной:

— Вот какой был порядок властителю сладок,  
Потому-то пришло его дело в упадок».

И подумал я, эти листы закрывая,  
Что начало предания — правда живая,  
Что цветение мира становится былью,  
А победа насилья становится пылью.

## 2. У РАЗВАЛИН ЛИВОНСКОГО ЗАМКА

Быстро по залу ливонского замка  
Старый епископ шагал.  
«Смерть божества — это смерть моей смерти»,—  
Он по привычке шептал.  
Звенели кольчуги.  
Борзые и слуги  
Наполнили сумрачный зал.

Рыцарей смяло славянское войско,  
Бросить заставив щиты.  
Всюду валялось оружие с гербами —  
Грифы, олени, кресты.  
Измучились кони.  
Под ветром погони  
Поникнув, дрожали кусты.

Крикнул епископ: «Не бойтесь осады,  
Наша твердыня крепка.  
Знаменем крестным ее осенила  
Архистратига рука.  
Гранитные своды,  
Подземные ходы  
Останутся здесь на века!»

Ядра вонзились в могучие стены,  
Блеском смертельным блестя.  
Рыцари в латах своих задыхались,  
Камни к бойницам катя,  
И падали с башен.  
И, кровью окрашен,  
Шиповник расцвел, не цветя.

Вот и остались от замка руины  
И ничего — от владык.

Плесень забила подземные ходы,  
В ямках — паук-крестовик,  
И только безвестный  
Шиповник прелестный  
Под гнетом веков не поник.

Вольно дышал за колючей оградой,  
В черной сушился избе,  
Рос и в селенье сожженном, где мирный  
Дым не всходил по трубе,  
Степным ли курганом  
Иль рижским органом  
Он миру твердил о себе:

«О, сколько прошло их,— ужасно их сходство,—  
Желавших богатства, искавших господства,  
Грозивших мечом и огнем!  
Невнятно им было,  
Что главная сила  
Сокрыта в цветенье моем.

Для многих я был незаметен вначале,  
Когда же меня свысока замечали,  
То выжечь пытались мой цвет,  
Копытом глушили,  
В газовой душили,  
Но вновь я рождался на свет.

Не в замках бесчисленных, не в тенях бесплотных,  
Не в пышных гербах главарей мимолетных  
Читаюся знаки судьбы.  
Челнок, и мотыга,  
И парус, и книга —  
Мои вековые гербы.

Колючками слабо дано уколоть мне,  
Но розами горе дано побороть мне,  
Свою раздарив красоту,  
И там я сильнее,  
Где розы нежнее,  
Где алыс розы в цвету».



---

---

М. ПОСТУПАЛЬСКАЯ

★

## ЗА ОКНАМИ СВЕТ

### Глава первая

— **Н**у, Валюша, поехали в смотровую!  
Над лицом Валентины проплывают круглые руки няни Капы. Круглые, крепкие, сильные... Валентине бы такие! Ее собственные разве руки — узкие, бледные... Смотреть противно!

Капа толкает кровать. Колесики пронзительно скрипят и легко катятся по навощенному паркету. И сейчас же высокие, с полукруглым верхом. окна косо клонятся в одну сторону, а зеленеющий, полный света, трепета, свиста мир, дрогнув, врывается в палату.

Он скрывается на миг за простенками и снова стремительно заглядывает в каждое окно. А окон много, громадная палата тянется далеко. За ней — другая, третья... Через все нужно проехать, чтобы попасть в смотровую.

Когда тебя далеко везут, голова легонько кружится. Валентина любит это ощущение и, чтобы не утратить его, молчит, хотя подруги кричат со своих мест:

— Узнай, как ребята решили сто двадцать вторую!

— Ты обещала мне по английскому помочь!

— Попроси Розалию Борисовну, чтобы поскорей!

Открылись большие, белые с золотом, двери. Кровать въехала в «Розовый зал», где лежат девочки седьмого и восьмого классов. Стены и колонны в этом зале из розового мрамора, а на потолке картина: пышные гирлянды роз, в цветах запутались пухлые кудрявые дошкольники, у некоторых в руках игрушки — луки со стрелами, какие-то красные вещицы, похожие на подушечки для булавок.

За девять лет, проведенных в санатории, Валентина часто давала себе слово как следует разглядеть картину, чтобы понять, что делают в цветах эти жирные ребятишки, но всякий раз забывала об этом. Она глядела в окна. Картина всегда здесь, на ней ничего не меняется, а мир за окнами всякий раз другой.

И как только люди, живущие в этом мире, среди такой красоты, выносят свое счастье?

Тот, законный мир бывает горячим, золотым... Тогда по широким листьям кленов бродят тени от верхней мелкой листвы. Тогда после долгого беспокойного дня настает короткий вечер с прохладой, тишиной, алыми и серебряными полосами в небе и мелкой водяной пылью, летящей из шланга, которым садовник водит над великолепными клумбами.



Еще этот мир бывает свежим и прозрачным, как виноградина в смуглых пальцах. Тогда в кустах перекликаются озабоченные синицы, багровые и желтые листья тихо кружатся в воздухе, а в темно-голубом небе проносятся треугольники журавлей. Картина такой ясной осени всегда возникает перед Валентиной при первых тактах «Сентиментального вальса» Чайковского. Для вальса нужен простор. Наверно, хорошо танцевать на большой террасе, когда оттуда унесут кровати... Да, вальс на большой террасе осенью, под желтыми и багровыми листьями... Так бывает? Во всяком случае, так может быть... Но Валентина и ее друзья лежат на террасах, опоясывающих все огромное здание санатория. С террасы многое видно и ничего нельзя потрогать...

А еще мир бывает притихшим, удивленным и белым. По этой белизне ходят люди, и она, мягкая, пуховая, становится твердой у них под ногами и чудесно скрипит. Земля, перила, клумбы, кусты спрятаны под снегом, а зиме все мало, и сверху сыплется еще столько, что кажется, дома утонут в сугробах. Но дома не тонут. В них горят огни и пахнет хвоей. Детям устраивают елки.

В палаты к больным детям, по многу лет неподвижно лежащим в гипсе, тоже приносят елки. Зажигают цветные лампочки, раздают подарки. Дети довольны. Лежа в кроватях, они читают стихи, разыгрывают сценки, поют. Им хорошо — о них так заботятся врачи, педагоги, родители... Но детям хочется надеть толстые валенки на здоровые ноги, притопнуть как следует и выбежать — да, не выйти, а выбежать на снег, что покрывает землю, под снег, что валится с неба...

А когда мир такой, как сейчас, чуть зеленеющий, — разве не хочется пройти по первой траве? Наверно, лучше всего идти по ней босиком. Она такая мягкая, так удивительно пахнет, так красиво зовут ее — «трава». Только земля, наверно, еще очень холодная. Ну что же, босиком можно ходить и позже, летом. А сейчас хорошо просто сесть на скамейку и смотреть, как бегут сквозные облака. И не забывать, что в первой траве скоро появятся фиалки. Их ведь можно собирать...

Можно... Можно... Ничего нельзя!

Если даже не думать о подвигах, путешествиях, научных открытиях, игре на сцене, прыжках с парашютом, если представить себе только, что ты собираешь фиалки, сидишь на скамейке под деревьями, бежишь в валенках по снегу... Нет, очень странно, что люди, действительно делающие все это, не сходят с ума от счастья!

Палата старших мальчиков. Не отводить глаз от окон! Пусть Марк не воображает, что она взглянет на него после вчерашней ссоры.

Но и не поворачивая головы, можно уголком глаза кое-что увидеть. Марк ждет ее! Зачем бы ему смотреть на дверь так тревожно и пристально? Правда, он сейчас же все понял, отвернулся и схватил гитару, что лежала у него на одеяле.

Валентина проехала коридор, потом украшенную флажками и картинками комнату «мемешек» — самых маленьких. И тут до ее слуха донеслось треньканье мандолины, перебор гитары и разливистое пение в два голоса.

— Э-эх, да э-эх, да не вечерн-ня-а-я...

Как он поет! Как он это выговаривает! Да что же он делает, Марк? Или правду говорят нянечки, что его мать была цыганка и детство провела в таборе? От песни тянет дымком костровым, и свежей травяной горечью, и вечерней прохладой.

Никогда Валентина не бывала ночью в поле, не сидела у костра. Не дрожали над ее головой звезды и не «спотухала» вдалеке, как пел Марк с товарищем, «заря-заревичка».

Но все это она знает. Откуда? Из книг, случайных рассказов отца. Но больше всего — из Марковых песен.

А мать у Марка, конечно, была цыганка. Иначе откуда же у него этот голос, тоскливый и бесшабашный? Откуда тревожные, совсем черные глаза и соединенные у переносья брови? Так на картинах изображают летящих вдаль птиц. Ребята часто рисуют такую птичку, а потом под ней пририсовывают лицо. И какое бы лицо ни вышло, все равно получается карикатура на Марка.

— Ну, стоп машина!

Няня Капа постучала в дверь смотровой.

— Подождите! — послышался недовольный голос Розалии Борисовны.

Теперь простишь тут на площадке неизвестно сколько! А задание по русскому не готово. Елизавета Андреевна журить не станет, только посмотрит огорченно. Она очень хорошо поймет, что Ракитина вчера вечером занималась не тем, чем нужно. Но ведь ученики и ученицы у Елизаветы Андреевны лежачие, больные, костно-туберкулезные. С ними нельзя говорить резко, нельзя быть требовательной, нельзя их трав-ми-ро-вать!

Из смотровой выкатилась кровать с Тоней Минеевой.

— Ну, как у тебя? — спросила Валентина.

— Розалия Борисовна говорит — все в порядке.

— Вот и хорошо!

А что тут хорошего? Валентине Розалия Борисовна все девять лет говорит, что все в порядке.

— Ну-с, кто там? Прошу, прошу!

В голосе Розалии Борисовны никакого недовольства.

— Та-ак! Значит, Валя Ракитина... Как же мы чувствуем себя?

Маленькая, круглая, серьезная Розалия Борисовна задает вопросы, почти не слушая ответов. Ответы она знает из «истории болезни», где дежурные сестры и врачи каждый день делают свои пометки. История Валентиной болезни сделалась с годами пухлой тетрадь. Много чернил ушло на эту болезнь!

— Чувствуем себя хорошо! — уверенно говорит Розалия Борисовна. — Учимся как? На четверки и пятерки учимся, — отвечает она самой себе. — Сон, аппетит? Прекрасный сон и аппетит недурной. Температура? Нормальная. Настроение? Ровное. Тазобедренный сустав? Так... так... так... Дай-ка, голубчик, я тебя посмотрю.

Шурша белейшим халатом, Розалия Борисовна подходит к Валентине. Ее крохотные полные ручки энергично стучат по груди и спине Валентины, ощупывают, нажимают.

— Так... Сердечко... Не дыши! Можешь дышать. На спинку повернемся... Дышать! Вдох! Еще! Покашляй... Теперь ножку посмотрим. Сгибается? Не больно? Гм...

Умные круглые глаза останавливаются на лице Валентины. Розалия Борисовна смотрит сосредоточенно, но, кажется, раздумывает о чем-то далеком. Валентине неловко и хочется что-нибудь сказать, чтобы прервать это раздумье. Но Розалия Борисовна очнулась сама.

— Давай поговорим, голубчик. Вспомним немножко старое. Ты ведь давно у нас, Валя.

— Давно. Девять лет...

— Совершенно верно: девять. Сколько тебе было, когда поступила? Семь? Как заболела, помнишь?

— Помню. В эвакуации. В Сибири мы с мамой жили...

— Красивая молодая женщина твоя мама была.

Валентина благодарно глядит на врача. Розалия Борисовна помнит не только ребят, что сейчас лечатся или когда-то лечились, но и всех родителей.

Розалия Борисовна еще долго расспрашивает Валентину, не трудно ли учиться, не покашливает ли по ночам... Обычно разговоры в смотровой были гораздо короче.

— Все? — осмелившись наконец, спрашивает Валентина. — Мне еще к уроку кое-что...

— Уроки с вечера нужно готовить! Сколько раз это вам повторять? — сердится Розалия Борисовна. — Сестра! Сестра!

В кабинет вошла и тихо прикрыла за собой дверь пожилая медицинская сестра.

— Ракитину на снимок? — спрашивает она.

— Конечно! Профессор придет на минутку, надо, чтобы все было готово. А эта умница еще с уроками не разделалась, полюбуйте на нее!

Сестра, не торопясь, отвечает:

— Не опоздаем, Розалия Борисовна. Профессор придет завтра с утра и останется на три дня.

— А-а! Выкроил наконец-то для нас время!

— Зачем профессору меня показывать? Мне разве хуже? — без волнения спрашивает Валентина.

Ей показалось, что Розалия Борисовна сейчас опять задумается, глянет на нее, словно не видя. Но та улыбнулась и ответила громко:

— Нисколько! Однако не забывай: впереди экзамены, усиленные занятия. Очередная проверка необходима. Поняла? Забирайте больную, няня Капа!

И когда няня начинает вывозить кровать на площадку, Розалия Борисовна неожиданно ерошит кудри Валентины.

— Не унывай, Ракитушка, все будет в порядке!

## Глава вторая

В рентгеновском кабинете — Стремяцкий. Услышав его сильный густой голос, Валентина радуется, все больные радуются каждой встрече с ним, хотя видят своего директора и главного врача постоянно. Уж таковой это человек!

Однако Валентина встревожилась. Андрей Кириллович сердился, и сердился не на шутку. Она подняла глаза и встретила взгляд суровой няни Капы. Капа покачала головой.

— На кого же это он?

А сестра Клавдия Владимировна ничего не сказала, только чуть-чуть поджала губы.

— Вы забыли, что носите звание врача! — гремит Андрей Кириллович. — И врача советского! Это высокое звание! Зачем вы шли в медицинский институт? Вам в продовольственный магазин надо было устроиться! Там тоже за это по головке не гладят, но возможностей больше!

— Батюшки! Как страмит! — не выдерживает Капа.

— Видно, знает, что говорит, — сухо замечает Клавдия Владимировна.

В кабинете слышится говорок рентгенолога. Александр Мартынович о чем-то спрашивает, и Андрей Кириллович отвечает ему, уже сдержанно.

Он возвышается посредине просторного кабинета, как белая колонна, как монумент.

— На Станиславского страшно похож,— вздыхая, сказала о нем как-то Мария Николаевна, учительница рисования.

— Величественная осанка...— обронила Елизавета Андреевна, учительница литературы.

— Представительный...— отзывались нянечки.

Заведовал санаторием Андрей Кириллович с незапамятных времен. «Он был, когда еще ничего не было»,— объясняли ребята новичкам.

И внешность директора, и непререкаемый авторитет его, и особый — серьезный и дружеский — тон при разговоре с больными действовали на ребят неотразимо. Стремяцкого любили все пациенты — от малышей до старших школьников.

— Валя Ракина, здравствуй! — отвечает Андрей Кириллович на приветствие Валентины, не отрываясь от большого снимка. Он рассматривает его на свет. — Сейчас тобой займемся.

Ноздри у него шевелятся, губы сжаты. Еще не остыл... На кого же он сердится? На Александра Мартыновича? Не похоже... Сегодня, пожалуй, и не улыбнется ни разу.

Стремяцкий улыбается не часто, и, может быть, поэтому улыбка его нравится людям. Сначала серьезное лицо проясняется, потом мягким светом наполняются глаза, и, наконец, медленная усмешка проходит по губам. Если судить по росту, осанке, голосу, Андрей Кириллович должен был совсем не так улыбаться. Что-то очень грустное в этой улыбке. Грустное, ласковое и, пожалуй, покорное.

Он прищуривается и быстро показывает рентгенологу что-то на снимке.

— Да, да... По-моему, сомнений нет,— говорит тот.

— Ясно как день,— почти весело отзывается Андрей Кириллович. — А коли ясно, значит и помочь можно. Ну-с...

Он глядит в угол, там кто-то шевелится, и Валентина видит молодого врача Раису Павловну. Так вот кого он пробирал! Лицо в красных пятнах, дышит прерывисто, кудряшки повисли, а губы сложены плаксиво и упрямо.

— Я думаю, вы меня поняли.— Андрей Кириллович старается говорить почти мягко.— Очень прошу не обижаться. Я вас, наверно, предупреждал, что говорю всегда в глаза то, что думаю. Я обычно предупреждаю.

Он очень хочет быть вежливым, но Раиса Павловна на него не смотрит. Лицо ее становится еще несчастнее и упрямее.

— Вы у нас работник новый,— продолжает директор,— и, возможно, я сам виноват, недостаточно четко объяснив, чего мы требуем от врача... Впрочем, чушь это! — Он едва не рассердился опять. — Почему только от врача? От каждого надо требовать...

— Я понимаю... Больше не повторится... Сама не знаю, как... — бормочет Раиса Павловна. — Мне можно идти?

— Пожалуйста.

— Зачем это вы на себя часть ее вины берете? — укоряюще спрашивает Александр Мартынович, когда Раиса Павловна вышла. — Что же, выходит, вы должны всем объяснять, что нужно быть порядочным человеком, что за подарки нельзя в неуточное время к больным посетителей пускать?

— Мне показалось, так она лучше поймет,— устало отвечает Андрей Кириллович. — Но не поняла. Чувствую — ни-че-го не поняла... После об этом, Александр Мартынович... Займемся Ракиной.

Андрей Кириллович поднимает Валентину и опускает ее на стол под рентгеновским аппаратом.

— Зачем же вы сами? Разве я не могу? — негодует рентгенолог.

— Значит, по-вашему, это я не могу? Впрочем, скоро, пожалуй, и не смогу. Стар становлюсь.

— Не нужно так! Вы старым не будете! — сердится Валентина.

Ей вдруг представилось, как сгорбятся его плечи, покроется морщинами лицо. Неужели Андрей Кириллович, сильный, красивый человек, превратится в жалкого старикашку?

— Глупенькая! — усмехается он. — Ты разве сама на себя не дивишься? Не замечаешь, какая стала за эти годы? А другие ведь тоже на месте не стоят.

Да, не раз за последнее время Валентина чувствует себя старшеклассницей, взрослой, девушкой — не девчонкой. Сознать это и радостно и почему-то неловко. Но сейчас поразмыслить об этом нет времени. Андрей Кириллович распоряжается:

— Спокойно! Не двигаться! Руки! Задержи дыхание! Включайте, Александр Мартынович!

В этом черном холодном столе, под верхней стеклянной доской, спрятан большой лист пленки. Сейчас на нем отпечатывается снимок Валентинных легких. Готово... Теперь лампу передвинут и будут снимать позвоночник, потом суставы.

Так и делают. Андрей Кириллович торопит Капу:

— Увозите, няня, отсюда эту бездельницу, она мечтает урок пропустить. Не выйдет! Ну, марш, марш!

Он еще договаривает последние шуточные слова, но уже что-то озбоченно ищет на столе среди снимков, карточек, историй болезней. И все-таки на секунду поднимает глаза и смотрит на Валентину задумчиво, словно оценивая, чего она сто́ит.

Что это они все сегодня рассматривают ее?..

— Ваши в классе уже, — предупреждает Капа.

— Вези скорее, нянечка! Может быть, не опоздаем!

Наконец. Валентина очутилась в классе, на своем привычном месте, между окном и кроватью Зины. Класс — высокая комната с большими окнами и мозаичным голубым потолком. Здесь по потолку тоже тянутся пестренькие цветочные гирлянды, а между ними изображены глобусы, книги, свернутые в трубку бумаги, геометрические фигуры. Во дворце, где помещается санаторий, эта комната была когда-то библиотекой или кабинетом хозяина — екатерининского вельможи.

— Нянечка! — зовет Марк из своего угла. — Вот, передайте, пожалуйста, Вале...

— Не передавай, Капа! — кричит Валентина. — Сейчас урок начнется, нечего записочки писать! Пусть вслух говорит, что ему надо!

Марк обижается, Капа ворчит:

— Не записка, а целая тетрадь... Получай.

— Что это?

— План. План сочинения, — шепчет Зина. — Он за тебя написал. Видел, что опаздываешь...

А, он думает, что все уже забыто? Так нет же!

Валентина берет со столика ручку и перечеркивает крест-накрест работу Марка. Ей кажется, что Марк побледнел.

— Сумасшедшая! Что делаешь? — возмущается Зина.

Валентина не успевает ответить. Входит Елизавета Андреевна.

Она невелика ростом, худа, с темными кудрявыми волосами; издали может показаться девочкой. Но лицо у нее немолодое, усталое, и в нем отражается кроткая, спокойная сила, которая лишь очень редко встречается у молодых людей.

Елизавета Андреевна тоже взглядывает на Валу пристальнее, чем всегда. Она поднимается на кафедру.

В санаторной школе кафедра не похожа на обычную. Здесь посередине классной комнаты стоит круглое открытое возвышение с тремя ступеньками. На нем вертящийся стул, чтобы учитель мог повернуться к любому из школьников: ведь кровати поставлены с трех сторон. Книги и тетради педагог кладет на легкий пюпитр, похожий на пюпитры музыкантов. Эту кафедру, как и все санаторное оборудование, придумал Андрей Кириллович. Валентина помнит, как он однажды не без горечи сказал какому-то обследователю:

— Министерство просвещения думает, что нашей школой должны заниматься органы здравоохранения, ведь мы им подчиняемся как учреждение лечебное. Ну, а министерство здравоохранения полагает, что обучение, хотя бы и больных детей, все-таки дело просвещенцев. Никто нашими делами по-настоящему не занимается. Вот и приходится до всего доходить самим.

Что же, до очень многого и дошли сами...

— Валя Ракитина, ты плохо слушаешь сегодня!

— Простите, я...

— Нехорошо! Ну, если не слушала объяснения, прочитай нам свою работу.

— Я не написала, не успела...

Но Елизавета Андреевна уже возле кровати, уже взяла в руки маленькую тетрадку.

— Почему же ты все зачеркнула?

— Мне не понравилось... Плохо получилось... — лепечет Валентина.

— Плохо? Сейчас посмотрим.

Елизавета Андреевна громко читает план, с удивлением глядя на Валентину.

— Тебе кажется, что это плохо? Ребята, а вы что скажете?

— Очень хороший план! — кричат со всех сторон.

— Мне тоже нравится. Работа заслуживает пятерки. Но к чистовой тетради ты относишься небрежно.

— Елизавета Андреевна, подождите! Не ставьте мне ничего. Я... Это не моя работа... — в смятении твердит Валентина.

— Не твоя? Ты с кем-нибудь переменялась тетрадкой? Да отвечай же, Валя!

Но Валентина молчит.

— Я скажу вам, Елизавета Андреевна, — вдруг подает голос Марк. — Валю увезли в смотровую рано утром. Она задержалась там, опаздывала. Я и написал за нее. А она не захотела принять... Может быть, принципиально. А может быть потому, что мы вчера поссорились.

Как не похож Марк на других ребят. Он способен при всех выпалить секреты, рассказать о ссорах, несогласиях... Почему он так доверчиво и спокойно допускает старших в их пусть уже не детскую, но и не взрослую ведь еще жизнь?

— Ах, вот что! — чуть улыбается Елизавета Андреевна. — Хорошо, Марк, что ты внес ясность в это дело. Но почему ты выполняешь за Ракитину ее работу?

— Наверно потому, что я очень хорошо отношусь к Валентине.

Товарищи Марка притихли. Те, кто мог видеть его со своего места, повернули к нему лица. Только Валентина смотрит в сторону: кому какое дело до его хорошего отношения? Но к негодованию примешивается невольное чувство восхищения: да, вот взял и объявил всем!

А Елизавету Андреевну, кажется, ответ не удивил.

— Это я знаю. Но из-за хорошего отношения к человеку нельзя плохо поступать. Если твой друг будет в чем-нибудь нуждаться, ты ведь не украдешь для него?

— Ну, н-не з-знаю.— Марк начал слегка заикаться.— К-ко-нечно, я отдам ему то, что сам буду иметь. Если у меня не будет — куплю, попрошу у кого-нибудь. А может быть, и украду, Елизавета Андреевна, если будет непременно нужно...

— Ты говоришь очень откровенно, Азаров.— Учительница с интересом глядит на Марка.

— Он никогда не врет! — раздается возглас Аллы Верховской.

— Добродетель сплошная! — хихикает Зина.

— Не добродетель это, а гордость! — отчеканивает Валентина.

Положительно Елизавете Андреевне интересно слушать их препирательства. Лицо ее оживилось, она помолодела.

— Ты слышишь, Марк? Твою откровенность толкуют по-разному.

— В-валентина, наверно, лучше знает...— теряется Марк.— Но, м-может быть, и не от гордости... Только врать — ведь значит бояться, прятаться, стыдиться чего-то, быть слабым, а я этого не хочу...

— Здесь ты прав. Но вообще путаница у тебя в голове большая!

— Еще какая большая! — снова выкрикивает Валентина.— Знали бы вы, Елизавета Андреевна, из-за чего мы вчера поссорились. Ведь он назвал Лизу из «Дворянского гнезда» мещанкой!

Губы Елизаветы Андреевны вздрогнули от сдержанной улыбки.

— Лиза чужда нам своей религиозностью, покорностью судьбе, но она не мещанка. Значит, ты, Валя, не сумела объяснить ему, какой это прекрасный женский образ.

— Разве он будет слушать? — рассудительно говорит Зина.— Такую философию развел... Заявил, что все девочки, в общем, мещанки: наряды и сплетни для них главное. Сказал, что чай пить — тоже мещанство.

Класс хохочет. Но Елизавета Андреевна вдруг становится серьезной.

— Ну, своим смехом товарищи показали, как они относятся к твоей глубокой мысли, Марк. Ты и сам сейчас смеешься... О мещанстве мы как-нибудь еще поговорим. А теперь продолжим урок. Будет маленькая письменная работа.

Ученики пишут, положив тетради на дощечки, укрепленные в особых стойках. Такая стойка приделана к каждой кровати, ее опускают и поднимают по желанию.

Учительница переходит от одного школьника к другому, заглядывает в тетради, иногда задает тихий вопрос. Может быть, в эти минуты Елизавете Андреевне кажется, что она в обычной школе. Может быть, забывает, что ребята не сидят за партами, а лежат в кроватях. В самом деле, чем они отличаются от всех других школьников? Они даже начитаннее, знают больше. Это понятно. «Футбол не мешает»,— сказал Андрей Кириллович. Но они, как их здоровые товарищи, также норовят схитрить при случае, спорят ожесточенно и бездоказательно о книгах, спорте, кинокартинах, ссорятся, дружат, и даже возникает у них другая дружба, особенная, как у Валентины с Марком...

Елизавета Андреевна, обходя кровати, думает о своих учениках.

Марк... Андрей Кириллович говорит про него: «Это существо мыслящее, одушевленный предмет». Марк ничего не хочет принимать на веру. Он должен заново открыть все америки. Открывает он их с огромной затратой сил, но то, что уже им открыто, несет, как стяг. У Марка болезненное стремление к правде. И при своей прямоте и некоторой резкости он застенчив, замкнут...

Но когда Марк увлекается, он совсем не помнит, что говорит. Вот и вчера: сказать девушкам, много лет лежащим в постелях под одинаковыми, серыми с синей полоской, одеялами, в рубашках с полудлинными рукавами и завязочками у горла, что они любят наряды! Да, наверно,

любили бы... Теперь они любят видеть наряды на других. Жадно рассматривают красивые платья посетительниц. Иногда просят разрешения потрогать материю; мягкость бархата, гладкость шелка...

А о склонности к сплетням что там Марк болтает! Тоже неправда! Сплетни — это шушуканье, пересуживание других втихомолку, а в санатории жизнь каждого на виду. И в то же время общение затруднено. Ведь когда лежишь неподвижно, а часто и без подушки, то видишь только ближайших соседей. Говорить с теми, кто дальше от тебя, приходится очень громко — здесь в свободные часы такой шум... Близкие друзья жалуются, что нельзя поболтать наедине. Поэтому в ходу записочки. Марк сам долго переписывался с одним мальчиком; они делали из этого страшный секрет, а в письмах разбирали особенности футбольных команд, о которых слышали по радио. Бывает в записках и такое, о чем почему-то нет охоты говорить вслух. Елизавета Андреевна однажды нашла записочку в книжке: «Соня, почему, когда я вижу портрет Ленина, мне всегда хочется сказать: «Здравствуйте, Владимир Ильич! У меня нет троек». Учительница подумала тогда, что чувство, выраженное так стыдливо и скромно, может быть и глубже и крепче чувства, высказанного во всеуслышание.

— Граша, возьми! У меня готово! — зовет Муся Головач.

— И мою прихвати!

Ходячая Граня Веселкина, постукивая костылем, обходит товарищей. Перед Елизаветой Андреевной лежит стопка тетрадей.

Повторив задание к следующему уроку, учительница встает с первой трелью звонка. Но взгляд ее снова задерживается на Валентине.

— Мы все, да и ты сама, Валя, отметили сегодня прямоту Марка. А вот от тебя так и не услышали, почему ты отказалась от помощи Азарова. Хочешь работать самостоятельно, как одна из лучших учениц, или дело только в вашей ссоре?

Ах, как хочется ответить небрежно и гордо: «Конечно, я отказалась принципиально... Работу признаю только самостоятельную».

Но Марк смотрит на нее, сдвинув брови. Этот правдолюбец еще скажет потом, что она струсила, не осмелилась показать себя такой, какая есть.

— Нет, Елизавета Андреевна... Я, наверно, воспользовалась бы помощью, если бы не ссора...

Тяжело иной раз выговорить самые простые слова.

Марк облегченно вздыхает. Как он в ней не уверен!..

Елизавета Андреевна уходит, бросив:

— Так же честно нужно относиться к занятиям, Валя!

Но учительница довольна, и класс это видит.

А Ракитину все, наверно, немножко осуждают за то, что не хочет мириться с Марком. Валентина чувствует осуждение товарищей. Но пусть думают, что хотят, на мировую она не пойдет!

### Глава третья

Удивительно длинным бывает иногда ясный день ранней весны. Он стоит и стоит за окном, время тянется и тянется, струясь потихоньку из «сегодня» в «завтра», точно некая жидкость в арифметической задаче переливается из сосуда в сосуд. Но задача никак не решается. Думать над ней становится все труднее и труднее. Чаще и чаще ловишь себя на каких-то неясных и путаных мыслях, не имеющих к задаче даже отдаленного отношения. Вот и эти мысли разлетелись прочь, тетрадка ото-



двинута в сторону, глаза рассеянно следят за неторопливым полетом крохотного облачка в чистом небе. Великая тишина и пустота в тебе, будто все исчезло, люди и вещи. Остается только бесконечный свет весеннего дня, что стоит и стоит за окном, и медленное изумление перед его огромностью, перед беззвучным струением времени.

Такое состояние приходит к Валентине не только в одиночестве, но порой среди шума и многолюдства. Однако сегодня к рассеянности при­мешивается непонятная тревога: что-то надо уразуметь, во что-то вду­маться, а во что — неизвестно.

Время идет, не торопясь, и жизнь идет, как обычно, по расписанию. Только преподаватели, каждый по-своему, обращают внимание на Валину задумчивость.

— Dreaming? — спрашивает Эдуард Михайлович на уроке английского языка. — Well, well, I understand. But look here, it is not only spring time now. It is examination time too, you know? <sup>1</sup>

Валентина краснеет. Слова эти показались ей обидными, хоть она и знала, что Эдуард Михайлович с его насмешливой улыбкой, безукоризненно спортивным видом и маленькими ехидными усиками — добродушнейшее существо.

Плотный круглолицый Николай Васильевич — математик — заставил Аллу Верховскую диктовать решение задачи, а сам выводил на доске красивые цифры и знаки. Алла говорила неуверенно, как всегда волнуясь и покусывая бледные губы. Потом Милочка Лебедева сыпала словами весело и дружелюбно, будто не урок учителю отвечала, а непри­нужденно болтала с добрым знакомым. Николай Васильевич с удовольствием смотрел на Милочкино тонкое лицо, слушал быстрый голосок и, когда она замолчала, сказал:

— Молодец, Милочка! Не думал я, что из тебя такой математик полу­чится. Помнишь, как плакала над алгеброй вместе с Вале́й Ракитиной?

Он подмигнул Лебедевой, качнув головой в сторону Валентины.

— Вале-то не до нас сегодня... Совсем не до нас. Не стоит ее, пожа­луй, и спрашивать. Вдруг троечку схватит хорошая ученица, а?

Последним уроком был труд. Валентина вздохнула облегченно. Нако­нец-то можно будет не напрягаться, не чувствовать, как все услышан­ное на уроках, мгновенно тает в свете весеннего дня.

Капа и вторая няня, Шура, укрыли ребят кожаными нагрудниками, чтобы не пачкалось белье, установили на кроватях легкие столики. На них можно поместить станочек, швейную машинку или электрический утюг.

Приятно сознавать, что из дерева или железа ты можешь сделать нужную вещь. Валентина любит часы ручного труда. Да и все ребята любят.

Инструктор Иван Павлович, прозванный «Дон-Кихотом» за худобу и длинные унылые усы, войдя в класс, поднимает руку.

— Внимание! — Голос у Ивана Павловича тонкий и резкий. — На прошлом уроке толковали мы, что хорошо бы показать наши работы родным...

— Вы говорили с Андреем Кирилловичем? Что он сказал? — кричат мальчики.

— Согласен Андрей Кириллович. В ближайший родительский день устраиваем...

— Ура! Выставку!

Шум. Даже самые тихие девочки что-то кричат, перебивая друг

<sup>1</sup> Мечтаете? Ну-ну, я понимаю. Но учтите, что сейчас не только весеннее, но и экза­менационное время.

дружку. Только Валентина сосредоточенно работает, молча взглядывая порою на товарищей. Мальчишкам хорошо — кто делает раздвижные секретные замки, кто измерительные инструменты. А у Сережи Ступина какие интересные модели! Правда, Сережа давно уже сидит в постели, ему работать удобно. Около него всегда пристраивается ходячий Петя Метельников, уже не первый электромотор и паровую турбину они делают вместе. Марк и друг его Коля Гаев, тоже ходячий, монтируют на большом листе фанеры все виды передач: ременную, фрикционную, зубчатую. И цепная и червячная тоже будут... Вот это интересно, это настоящее мастера! А она, хоть не в пример другим девочкам, занятым картонажными работами, выжиганием по дереву и плетением корзин, решила, что будет работать только с металлом, ничего не может делать, кроме простых гаечных ключей, молотков, угольников.

Подходит Иван Павлович.

— Что же я-то дам на выставку? — чувствуя, что инструктор ждет каких-то ее слов, спрашивает Валентина. — У меня простое все...

— И простое, коли хорошо сделано, люди оценят, — говорит инструктор. — Ты свысока к простым вещам не относись. Делала-то их с охотой!

Мертвый час подходит к концу. Девочки уже тихо переговариваются. Возле кровати стоит высокая загорелая женщина.

— Нина Донатовна! Вы? — радуется Валентина.

— Тише, Валя, тише! Ты очень резко двигаешься.

— Не буду, не буду! Я так вам рада! Вы к нам по делу?

— Без всякого дела. Просто решила заглянуть к тебе.

Валентина уже давно и не особенно долго была в группе Нины Донатовны, в группе малолеток, но сохранила привязанность к ней. И Нина Донатовна полюбила плаксивую, с очень запущенной болезнью девочку и продолжала навещать ее, когда Валя стала школьницей, все годы. Но постепенно их свидания становились реже.

— Я никак не ждала... Вы всегда на праздники приходите... — говорит Валентина.

— Ну, вот видишь, не дождалась, пришла сегодня. Как ты?

— По-моему, хорошо... А что у вас? Много ребятишек? Устаете?

— Ребятишек много. Устаю.

— Все так же огорчаетесь, если плохо едят?

— Ну конечно. Старшие, шестилетние, уже воображают себя взрослыми. Не хотят, видишь ли, рису. Это, говорят, «малышова каша». А я им сказала: «Китайский народ победил своих врагов. А в Китае очень любят рис».

— Ну и что же?

— Начали есть, представь себе, а самый капризный даже сказал: «Я тоже хочу быть крепким, чтобы меня враг не победил».

Нина Донатовна смеется.

— Ну, Валюша, я ведь зашла на секундочку, только взглянуть на тебя. Будь здорова. Батюшки, у Зины-то какая прическа роскошная!

Зина, готовясь к мертвому часу, старательно смочила волосы, выложила на лбу крутой завиток и туго повязалась косыночкой. Теперь она серьезно рассматривает себя в маленькое зеркало.

— До свидания, девочки!

Нина Донатовна идет к двери. Валентина загляделась на ее высокую прямую фигуру, решительную походку, гордую седую голову.

— Замечательная Нина Донатовна, правда, Зина?

— Ты что же, хочешь быть такой, как она?

— Конечно! Только не сейчас еще, — говорит Валентина, — а в пожилые годы...

Девочкам смерили температуру. Градусники передают друг через друга Милочке Лебедевой — дежурной. Она записывает температуру, а список и мешочек с градусниками отдает сестре Клавдии Владимировне.

После чая вся палата принимается за приготовление уроков.

— Софа! Ты опять ничего не делаешь? — упрекает Граня Веселкина румяную девочку с двумя толстыми косами.

Софа поступила в санаторий только полгода назад. Училась она плохо и как будто не хотела учиться лучше.

— Удивительное спокойствие! Родители, педагоги, товарищи огорчаются из-за ее двоек, а сама она с высокого дерева плюет, — нервно посмеиваясь, говорит Алла Верховская. Ей самой учение дается нелегко, но работает она много.

— Отстаньте вы! Как не надоест, честное слово?.. — вяло отмахивается Софа.

— Вы слышите, девочки? Староста! Муся! Почему молчишь?

Смуглая Муся Головач читает, запустив пальцы в черные вьющиеся волосы. Ей уже можно неподолгу лежать на животе, и она в этой позе всегда готовит уроки.

— А? Что случилось? — Муся с усилием отрывается от учебника. — Слушай, Роднова, ты что, больна? Отвечай, я тебя серьезно спрашиваю.

— Нет, не больна...

— А если здорова — изволь заниматься! Сию минуту берись за книги, иначе вызову дежурного педагога и попрошу, чтобы он тебе их подал. Понятно?

— Понятно, — неохотно бормочет Софа.

Она глядит в книгу, а строгая Муся снова читает, шевеля губами и что-то бормоча про себя.

Валентина думает, каким странным должен показаться разговор девочек человеку, далекому от санаторной жизни. Сама-то она не раз слышала: «Ты что, болен? А коли здоров, учись». Болезнь — это грипп, ангина — редкий гость в санатории; а та долгая, тяжелая болезнь, из-за которой все они попали сюда, в счет не идет, к ней давно привыкли, о ней почти никогда не говорят.

Уроки Валентина делает не спеша и, поставив последнюю точку, осторожно вкладывает промокашку между густо исписанными страницами тетради.

— Все? — спрашивает Зина. — У меня тоже. Что у нас будет сегодня, не забыла?

— Забыла... А что?

— Ты, Валька, ненормальная! Нынче ведь Мария Николаевна устраивает вечер русского пейзажа!

— Да, верно, верно!

Старшеклассниц свозят в большой зал. Мальчики уже там.

— Красавицы едут! — дурашливо верещит Федя Суворкин. — Рядом со мной не ставить! Я враг красоты!

— Няня Капа, Мусю Головач к нам! Муся, швартайся возле нас! — кричат дружки Сережа Ступин и Петя Метельников.

«А ведь Капа, как всегда, поставит меня рядом с Марком, — думает Валентина. — Ну и пусть!»

Он увидит, что Валентина и рядом с ним будет непреклонна. Не-преклон-на! Какое чудесное слово!

Вошла учительница рисования, очень опрятно одетая старая дама. К Марии Николаевне почему-то не подходили слова «старая женщина», или «старушка». Двое ходячих мальчиков несли за ней кипы репродукций.

Учительница негромко рассказала о мастерах русской живописи, и робкое лицо ее с часто мигающими бледными глазами становилось от рассказа тверже, спокойнее, в голосе исчезали неуверенные, просительные нотки.

Валентина не вслушивалась. Ей больше нравилось подолгу молча смотреть на картины.

«Март» Левитана... Только что вошел в дом приехавший человек. Наверно, еще не остыло его место на розвальнях. К вечеру похолодало, но пахнет подтаявшим за день снегом. Темнеет мокрая лошадиная спина...

Зеленоватое стеклянное волшебство лунных ночей Куинджи. А вот «Бабушкин сад» Поленова...

Задумавшись, Валентина неожиданно вошла в этот сад. Вошла и близко увидела лепку на облупившемся фронтоне дома, высокие качающиеся цветы... Как шуршит свежее платье девушки, скрипит песок под уверенным каблучком. И мягко обвисает печальная одежда старухи, ее шагов не слышно, только палка постукивает...

— Марк, посмотри! — чуть не сказала Валентина, забывшись.

Она успела спохватиться, слова не были произнесены, но голову она повернула и увидела: Марк внимательно смотрит на картину, а рука его свешивается с постели, она протянута к Валентине, и указательный палец согнут крючком. Это их условный знак, поддерживающий дружбу, приносящий успокоение, прогоняющий печаль. Значит, Марк не сердится и ждет, что сейчас к его пальцу прицепится согнутый таким же крючком тонкий палец Валентины.

Когда они устают от шума, когда им нездоровится, когда хотят поведать один другому внезапную, требующую отклика мысль, когда Валентина вспоминает о своем одиноком отце, а Марк о раннем сиротстве, они сцепляют пальцы и как бы остаются наедине, вдали от всех. Иногда и говорить не нужно. Загрустившая Валентина выставляет крючочек согнутого пальца. Увидя это, Марк меняется в лице, хватая Валину руку так поспешно, что ей иногда от этого больно. Он лежит, вытянувшись на спине, может шевелить только кистями рук и поворачивать голову, не поднимая ее с подушки. Но в размахе бровей, влажной черноте глаз, смуглой бледности — стремительная готовность помочь другу.

Однажды Марк сказал, что Валентинин палец выглядит очень жалобно и беспомощно. Увидя его, хочется немедленно защитить Валу от какой-то неведомой опасности. И если бы такая опасность пришла, он, Марк, смог бы встать, и драться, и победить.

«Но ты лежишь... Ты несколько лет лежишь, не двигаясь, Марк. Ты не смог бы ничего сделать», — хотела сказать Валентина, но посмотрела в лицо Марка и промолчала.

И вот сейчас Марк зовет ее. Протянутая рука говорит: «Не сердись, мне грустно, я скучаю. Полно, забудь эту чепуху! Разве мы можем поссориться серьезно?»

«Не можем, нет! Потому что я сейчас уступлю, — думает Валентина. — Я сама устала гордо молчать и обижаться. Как может длиться ссора, если после самых обидных слов — твоих, моих, все равно — ты не помнишь зла? Если считаешь, что важно одно — по-настоящему хорошо относиться друг к другу, а все прочее — ссоры, споры, несогласия, насмешки — чепуха?»

А может быть, это и в самом деле чепуха? Но когда-нибудь я поссорюсь с ним навсегда, и буду горько страдать, и не скажу ни слова, и мы «расстанемся навеки», и я подумаю: «Никто уже не сумеет так любить меня», и... и... Ах, горестно, страшно и увлекательно будет все

это! Но... сейчас я уступлю. В последний раз, в самый последний! Еще одна ссора, и я нипочем, никогда, ни за что... Как чудесно, что можно не быть больше не-пре-клон-ной!»

Они сцепили пальцы и посмотрели друг на друга. В глазах Валентины — робкая ласка, смущение, тень недавней обиды. В глазах Марка — доверие, радость... И покой? Да, покой. Валентина даже возмутилась на миг. Вот как? Он спокоен? Так был уверен, что помиряются? Но нет, это просто облегчение, он тоже устал. Все хорошо!

Мария Николаевна заканчивала беседу. Сейчас зазвонят к ужину.

— Ты, Валя, ничего не сказала нам сегодня. Какая картина понравилась тебе?

— «Бабушкин сад»...

— Что же ты скажешь о ней?

Но почему-то стало стыдно рассказывать вслух обо всем, что было увидено в «Бабушкином саду». Валентина медлила.

— Ну, Ракитина, раньше ты прекрасно разбиралась в картинах, любила и умела о них говорить. Неужели тебя это больше не интересует?

Мария Николаевна огорчена, Валентина тоже. Когда учительница ушла и няни начали увозить больных, Валя вдруг тихо заплакала. В общем шуме никто, кроме Марка, этого не заметил.

— Что? Что? Ну скажи мне, скажи, Валечка!

— Не знаю... Сама не знаю... Неприятно, что мы ссорились. И день какой-то большой-большой... И все смотрят, все что-то спрашивают. Я ведь вижу, чего-то мне не говорят.

Всхлипывания стали сильнее.

— Не надо, Валя, я прошу тебя! Ну хочешь, скажу? Розалия Борисовна считает, что говорить пока не следует, но ты все равно нервничаешь. Валя, Валя, ведь тебя и Милочку Лебедеву скоро будут ставить!

#### Глава четвертая

Ночь. Покой и сон в палате. Девочки давно затихли, только неугомонная Муся Головач все пытается читать при свете зеленоватого глазка радиоприемника.

«Ставить... Тебя скоро будут ставить...» — сказал Марк, и Валентина сразу поверила этим словам. Так пошутить Марк не мог. В санатории все понимали, что значит «ставить».

Тебя ставят... Ты стоишь на собственных ногах, и они выдерживают твою тяжесть. А потом ты понемножку начинаешь ходить. Ходить! Она сможет ходить, передвигать ноги, как все другие люди. «Шагать» — вот как! Она будет шагать! А бегать? Бежать по широкой аллее и чувствовать, как ветер холодит твои щеки!..

А ведь она бегала когда-то по московскому дворику, ей казалось, будто двор просторный, а дом большой и высокий. Он таким запомнился, но недавно отец сказал, что это был маленький, невзрачный домишко.

Может быть, и комната в этом доме была маленькая. Валентине она представляется большой. Там был низкий темно-красный диван, круглый стол... Что еще? Почему-то остальные вещи прячутся в тени. А что это было там самое приятное, любимое?.. Ну, конечно, вспомнила — картина!

Была большая картина — цветная гравюра, как сейчас кажется. Мягко уходила вдаль равнина, круглились невысокие холмы. От правого

нижнего угла змеилась речка. Круглые пушистые купы неизвестных деревьев склонились над ней. Почему так нравилось? Там было что-то милое, за сердце берущее. Простор, игра солнца на воде и глубокая прохладная тень под круглыми спокойными деревьями.

Помнится ночь, когда ее разбудил никогда раньше не слышанный, полный угрозы звук. Страшнее и противнее его ничего не могло быть на свете.

— Боюсь! Мама, боюсь! Пусть не кричит! Кто это?

— Тише, дочка! Это сирена. Ничего. Сейчас мы уйдем от нее.

Но мамыны руки дрожали, когда она одевала дочку,— одевала, хоть было совсем темно, ночь не прошла еще. И куда же мама унесла Валю? В подвал...

Валя со страхом озиралась и все ждала, что теперь будет. Но ничего не дождалась. Пахло сыростью. Тускло горели голые лампочки, а на скамейках сидели невеселые тети, уговаривая плачущих детей.

Дети понемногу успокоились: одни уснули, другие затеяли игру. А вот Валю мама так и не смогла успокоить. Сирена — ужасный голос беды и тревоги — так напугала ее в эту первую бомбежку, что девочка все время ждала ее.

— Не будет кричать? — спрашивала она перед сном.

— Нет, нет, спи, Валек!

Валя ложилась на бок и как будто затихала, но, подойдя к ней, мама успевала заметить, как быстро закрывался большой блестящий глаз.

— Почему не спишь?

— Боюсь, что закричит,— отвечала девочка шепотом.

А когда сирена действительно начинала кричать, Валентина вскакивала, дрожа и плача.

— Пусть замолчит! Скажи, чтобы не кричала! — твердила она.

Но не стоит вспоминать об этом.

Впрочем, потом было тоже невесело. Вокзал, дождь, небритое мокрое лицо отца... Потом городок на широкой сибирской реке... Мама постоянно ждет писем из Москвы, а они приходят редко: отец «на казарменном положении», типография работает днем и ночью, писать письма некогда. Еда плохая, совсем плохая... И болит нога. Постоянно, неотвязно болит. Трудно ходить, а бегать совсем нельзя. Наконец врач говорит, что девочке нужно лежать, и Валя целыми днями лежит в чужой, неудобной комнате. Мама плачет возле большой жесткой кровати.

Дальше? Все чаще Валентина остается одна. Мама уходит куда-то. Ее нет долго-долго... Меркнет день. Давно съедена овсяная каша. Лежать скучно и неудобно. А у хозяев за перегородкой зажигают яркую лампу, жарят что-то на сковороде. Сало трещит и пахнет так, что Валентина начинает всхлипывать, уткнувшись в подушку.

Стоит ей заплакать, как прибегает худая пестрая кошка — «дощечка на палочках». У хозяев еды много, но кошку не кормят. «Сама должна пропитание добывать», — сердито говорит хозяйка.

Валентина оставляет Муренке немного каши. Иной раз, проголодавшись, сама съедает эти остатки, а потом горько раскаивается, глядя, как Муренка вылизывает пустую миску.

С кошкой не страшно, хотя в комнате уже совсем темно. Валентина перебирает пальцы на худых лапах Муренки, гладит теплый живот, заговывает под кошку озябшие руки.

Однажды мама приходит веселая.

— Кажется, устрою я тебя, Валек! Санаторий прекрасный... Наш, московский. Сыта теперь будешь!

— И ты сыта будешь? — угрюмо спрашивает Валентина.

— Ну и я, наверно, буду. Работать вот пойду на военный завод.

— А разве ты не со мной?

— Нет, Валечка, туда только больных ребятишек берут.

— Не пойду без тебя!

И началось, как с сиреной: «Не пойду без тебя! И не говори, не пойду! Не пойду, и все!»

Много времени спустя Валентина поняла, как ей посчастливилось и как нелегко было маме добиться этого счастья.

Когда Вера Петровна услышала, что здесь, в маленьком сибирском городке, находится московский костно-туберкулезный санаторий, она решила, что там будет лечиться ее девочка. Но как этого достичь?

Участковый врач, бегло осмотрев Валю и спеша к другим больным, говорил:

— Конечно, это было бы идеально. Только едва ли у вас что-нибудь получится.

В райздраве деловая женщина объясняла:

— В санаторий сейчас приема нет. Понятно, гражданка? Мы с большим трудом нашли для них помещение. Кое-как они разместились, тесно. Новых больных брать нельзя.

В самом санатории веселый толстый заведующий сказал:

— Ничего, голубушка, не могу сделать. Не имею возможности.— И закричал в телефон: — Да! Я самый! Джем? Получили. Сколько? С нас хватит! Да? Ну-ну, зайди вечером!

Положив трубку и чему-то улыбаясь, он повторил Вере Петровне:

— Никакой возможности. Ни малейшей. Вот так.

Ну нет, не так! Девочка должна быть здорова. Надо действовать. А как? Куда еще идти?

Побывала Вера Петровна в горсовете, в местной клинике, в отделе помощи эвакуированным... Везде то же. Впрочем, в отделе помощи велели написать заявление и зайти через три недели.

Она стала расспрашивать про санаторий. Случайные знакомки рассказали, что он уже год здесь, с осени сорок первого. Занимает весь большой Дом культуры врача. Доктора с учителями при санатории и живут. В свободное время все работают на огороде — больным детям нужны овощи, участок им отвели за городом большущий. Только свободного-то времени у них мало, притом мужчины почти все на фронте, а женщинам трудно... Замечательный директор у них был — и хозяин и врач прекрасный. Да не успел как следует их здесь устроить, как его призвали в армию. Хлопотать, чтобы оставили, не захотел, уехал. А теперешний — ловчила. Здоров как бык, а освобождение имеет...

И вот на санаторском огороде появилась белокурая, легко краснеющая молодая женщина. Она отыскала старшую — невысокую полную докторшу — и сказала, что хочет помочь им убрать урожай. Да, она из эвакуированных. Нет, пока не служит. Тяжело, да. Но муж немного присылает. Кроме того, она шьет, имеет иногда работу от костюмерной мастерской при театре. А сейчас свободна, и время не такое, чтобы сидеть сложа руки.

Новая помощница копала картошку, насыпала мешки, отвозила их в город, убирала свеклу, морковь и лук. Урожай овощей был богатый — уборка затянулась на целый месяц, благо погода стояла сухая.

К Вере Петровне привыкли, только удивлялись ее неутомимости. Спокойная, приветливая, молчаливая, она всем нравилась.

А когда последние мешки со свеклой были увезены и все стояли на пустых грядках, не веря, что работа окончена, высокая седая воспитательница младшего отделения сказала:

— Как же будем благодарить вас, Вера Петровна? Если бы не вы, не убрать бы огорода вовремя.

— Поделится с Верой Петровной овощами,— решила Розалия Борисовна.

Но тут сдержанная Вера Петровна всех изумила. Она судорожно расплакалась и, обнимая седую воспитательницу, заговорила невнятно:

— Валю! Ничего мне не надо! Только Валю!..

— Что такое? Ей плохо? Переутомилась! — заговорили кругом.

А седая высокая женщина — это была Нина Донатовна — взглядела в лицо Веры Петровны и, уведя ее в сторону, усадила на кучу сухой ботвы.

— Вот так. А теперь рассказывайте.

Выслушав сбивчивый рассказ, она сказала:

— Сделаем, что возможно. Идите домой и ждите меня. Вечером приду. Где живете?

Нина Донатовна пришла вместе с Розалией Борисовной. Глядя на снимки больного сустава, Розалия Борисовна покачала головой, но улыбнулась Вере Петровне бодрой «докторской» улыбкой. Однако небольшие острые глаза не улыбались, в них была жалость и тревога за девочку.

— Ну что же, придется брать вашу Валю. Собирайте ее.

— Как? Сейчас?

— А чего же нам ждать? Карету не подадут.

— Но ваш директор...

— Наш директор, Андрей Кириллович Стремяцкий, на фронте,— веско сказала Розалия Борисовна.— А с товарищем, временно заменяющим его, мы договоримся.

Как удалось договориться с толстым заместителем директора и с райздравом, Вера Петровна и Валя так и не узнали. Впрочем, заместитель директора, видно, побаивался зорких глаз Розалии Борисовны и предпочитал с нею не спорить.

Валя, конечно, кричала «не хочу» и «не пойду», а у мамы дрожали руки, и она никак не могла одеть дочку. Но тут вмешалась Нина Донатовна.

— Отойдите-ка, Вера Петровна. Я сама ее одену. А ты, Валя, помолчи. Ты ведь мне мешаешь,— негромко сказала она.

Удивленная Валя замолкла.

Нина Донатовна на своих сильных руках и донесла Валю до санатория.

— Прощайся с мамой теперь. А вы, Вера Петровна, приходите через три денька и вызовите меня. Я вам скажу, как она себя чувствует. Повидаться с дочкой сможете через месяц.

— Как через месяц? Валенька!..— вскрикнула мама.

— И не заметите, как месяц пробежит,— весело сказала Розалия Борисовна, кивая маме и пропуская в широкую стеклянную дверь Нину Донатовну с кричащей Валею на руках.

Следующие дни были для Вали днями мрачного недоверия к окружающему миру и тоски. Отдала мама Валю чужим людям — значит, не любит дочку, не жалеет... А зачем же протягивала руки и смотрела через стеклянную дверь, когда Валю уносили? А папа в Москве и не знает, бедный, ничего! Не знает, что Валя живет теперь не с мамой, а в этой большой комнате, где столько ребят и все громко перекрикиваются. Надели здесь на Валю какой-то противный лифчик с длинными хвостами. Хвосты пристегиваются на крючки где-то под кроватью и держат тебя. Двигать можно только головой и руками до локтей. Да пустите же! Не хочу я так лежать! Не хочу!..

Кормят хорошо, это мама верно сказала. Только Вале их еда



не нужна. Лучше она будет лежать в темной холодной комнате и есть овсяную кашу, лишь бы не расставаться с мамой.

Игрушки здесь тоже хорошие. Очень даже хорошие! Ну что же, а дома у нее была Мууренка. Совсем голодная теперь бродит...

Валя обливалась слезами от жалости к себе, к папе, к Мууренке.

Нина Донатовна не знала, что делать с новенькой. Все дети, расставаясь с родителями, плачут, тоскуют, очень их удручает невозможность двигаться. Но часто теплая ванна сразу же меняет настроение, хорошая еда, игрушки, товарищи быстро помогают утешиться. А эта малышка сперва рыдала в ванне, буйствовала в палате, а потом замолчала, не хочет ни с кем говорить.

— Тебя как зовут? — спрашивали соседки. — Ну почему ты не хочешь сказать?

— Она не умеет разговаривать.

— Может, ты нерусская?

— Скажи ребятам свое имя. Не упрямясь, — уговаривала Нина Донатовна.

Валя молчала.

— Идол, не ребенок! — сказала вполголоса в коридоре няня Капа.

Но хитрая Нина Донатовна уже заметила, как жадно новенькая посматривает на катящуюся этажерку с игрушками, как провожает глазами большого плюшевого мишку.

Валя навсегда запомнила погожее осеннее утро. На полу желтые полосы света, за окном высокое дерево с редкими мятыми листьями. А по солнечным полосам шагала к ней большой коричневый медведь. За ним, согнувшись, шла Нина Донатовна, но на это Валя не обратила внимания. Может быть, конечно, Нина Донатовна легонько поддерживала или подталкивала Мишу, но шел он сам. Валя очень хорошо видела, как он переставлял ноги...

— А как тебя зовут, девочка? — спросил медведь. Его бас нисколько не походил на голос Нины Донатовны.

— Валя... — ответила девочка и потянулась к мишке.

Теперь стоило сказать: «Перестань капризничать, а то Миша сегодня не придет», — и Валя покорно глотала надоевшую овсянку, принимала лекарства и без слез дала уложить себя в гипсовую кровать.

Когда няня катила по палате уставленную игрушками этажерку на колесах, Валя ревниво смотрела, не потребует ли кто-нибудь из детей медведя. Но мишка всегда благополучно добирался до ее кровати, и счастливая Валя шептала ему:

— Никто тебя не выбрал. Видишь, одна я тебя люблю.

Очень страшными казались Вале уколы. Она с ужасом смотрела, как подходит медицинская сестра к ее соседке, и так менялась в лице, когда подступали со шприцем к ней самой, что Нина Донатовна упростила врача подождать несколько дней.

Однажды Розалия Борисовна, пошутив, как всегда, с ребятами во время утреннего обхода, сказала:

— Да, кстати, мне мишка жаловался, что с ним все время играет трусливая девочка. А он любит храбрых. Просит взять его у этой трусихи.

— Это Валя! Новенькая! Валя Ракитина! — зашумели дети.

А Валя побледнела и протянула руку.

— Колите, пожалуйста!

И когда все было кончено, с упреком сказала медведю:

— Вот! А ты говоришь!

Когда через месяц Вера Петровна боязливо приблизилась к Валиной постели, она увидела румяную спокойную девочку. Валя весело рас-

сказывала маме о новых товарищах, играх, уколах, а главное — о Нине Донатовне.

С ней были связаны первые самостоятельные работы, какое-то пестренькое плетение: коврики, корзинки, вышивки. Она учила рисовать разные линии: горизонтальные — «дорожки» и «ленточки», вертикальные — «дождики», пересекающиеся — «лесенки» и «елочки». Она придумывала игры, умела сделать так, чтобы стало весело, даже если температура повышена, если за окном, не переставая несколько дней, льет дождь, если утром тебе попало от нее же, от Нины Донатовны, и в наказание твоя кровать целый час стояла посередине палаты, далеко от друзей.

Слушать музыку, смотреть картины, читать стихи тоже выучила Нина Донатовна. Она знакомила и с живой природой, сама немного пугаясь страстного отношения Вали к выращенным ею бальзаминчикам и геранькам. Все дети ухаживали за цветами, поливали их, обрезали сухие ветки, но Валя просто тряслась над своими растениями. Вечно ей казалось, что их плохо поставили на окне, что мало им перепадает солнца. Раз как-то забыли их полить — она не спала всю ночь, воображая, как цветы страдают от жажды. Когда же Нина Донатовна приносила в палату петушка или котенка, Валя почти с благоговением трогала гладкие перышки и теплую шкурку. Ее всегда огорчало, что эти визиты животных очень редки.

Первое время ей все думалось, что болезнь скоро пройдет, ее выпишут и она опять будет жить с мамой. А потом привыкла к санаторию, и ей стало казаться, что так было всегда. Было и будет.

Девочки и мальчики, лежащие здесь, не хотели быть несчастными. Не хотели думать о том, что их отличает от здоровых детей. Просто они жили и учились в санатории — вот и все. Поэтому разговоры о коленках, позвоночниках, тазобедренных суставах считались как бы дурным тоном. Пусть об этом говорят врачи!

Новости с фронта заставляли первое время плакать, а потом кричать «ура», спорить, предсказывать дальнейшее. Правда, это больше у старшекласников... Но и малыши хотели знать, что делается на фронте. И они тревожились и со страхом спрашивали в первые месяцы Нину Донатовну: «А в Москву фашисты не придут?» Маленький, неправдоподобно худой Коля Гаев даже плакал оттого, что не может поехать на фронт. Он стал потихоньку копить сухари и однажды ночью попытался убежать, да ноги не пошли.

Старшекласникам, конечно, в санатории труднее. Когда раздумываешься... Но раздумывать не очень-то давали, весь день был заполнен — процедуры, уроки, развлечения...

Были лепка и рисование. В учительской стоял шкаф, полный детских скульптур. Был свой хор и оркестр, были кроссворды в «Огоньке», шахмечные и шахматные турниры, кино, литературные вечера, встречи с писателями и артистами.

Все в свое время становились пионерами. Галстуки висели на спинках кроватей и надевались при сборах. Летом ребята считали, что они в лагере. На стене были укреплены флаг и веревка. Подъем флага происходил под барабанный бой. Только барабанщик и горнист неподвижны в своих кроватях, без подушек под головами. Все поднимали руки в салюте, лежа по команде «смирно», и никто не понял, почему однажды новая вожатая, увидя все это, выбежала из палаты в слезах.

А вечером на линейке дежурный рапортовал: «За всеми режимными моментами вели себя хорошо, кроме завтрака, обеда и ужина». Во время еды всегда было много шума и споров: сестра-хозяйка и воспитатели заставляли все съесть.

Когда Валентина и ее друзья вступали в комсомол, к ним приехала молодежь из райкома. Было настоящее торжество: нарядно украшенная палата, торты к чаю, поздравления врачей и педагогов...

Вот какая была жизнь! И все-таки очень хотелось выйти отсюда, очутиться «на воле». Такое выражение было в ходу у ребят. Многое там, «на воле», наверно, окажется труднее и сложнее, чем здесь, — так всегда говорил Андрей Кириллович. Но он ведь не очень уж молод, поэтому преувеличивает трудности. Впрочем, конечно, на воле труднее: там не будет ни Андрея Кирилловича, ни Марка.

Андрей Кириллович появился в маленьком сибирском городке после окончания войны. В этот день было общее собрание.

Няня Капа зачем-то вбежала в палату и, хватая не то, что нужно, со стола, затараторила:

— Маленькие мои! Ничего-то вы не знаете! Ведь Андрей Кириллович вернулся, прежний директор! Пришел со станции да прямо в зал. Пыльный весь, голубчик наш, сединой его побило, исхудал... Сел в задних рядах, а там нянечки узнали его, зашумели... Тут доктора, учительницы услышали — все к нему! А этот, черт гладкий, не зовет фронтовика в президиум, представляется, что ему наплевать...

Но как ни представлялся «ловчила», он скоро был отстранен от работы, и Андрею Кирилловичу предложили вновь занять старое место.

Валя помнила, как он в первый раз пришел к ним в палату. Каким огромным показался он ребятам! Даже чуть-чуть страшным. Разглядывавая комнату, печи, шкафчики с лекарствами, он спрашивал врачей и Нину Донатовну обо всем сразу:

— Как с электричеством? Не каждый день? А рентген? Почему форточки такие маленькие? Нужно было переделать. Теперь не стоит, скоро домой двинемся, в Москву.

Детей он немного испугал, но и восхитил ростом, силой голоса, решительностью походки и разговора.

— Ну, здравствуй! — внезапно сказал он Валентине, подойдя к ее кровати, и протянул руку.

Валентина медленно и недоверчиво подняла на него глаза.

— Вот ты какая серьезная! — удивился он.

Огромная рука директора была очень теплой, почти горячей, и осторожно держала цыплячью лапку Вали. А глаза под очками светились непритворным интересом к вихрастой девчонке.

Каждое его слово, каждый взгляд были для них событием. Плохо становилось тому, на кого он сердился.

А Марка привезли из детского дома три года назад, в то время, когда красивая Валентинина мама умерла. Она начала кашлять еще в эвакуации. В Москву приехала бледная и похудевшая. Отец, встретясь с женой и дочкой, не помнил себя от радости, но скоро загрустил и озбоченно говорил девочке:

— Ты, Валек, такая розовенькая, щечки круглые... За тебя сейчас душа спокойна. А вот маму нашу нужно поправлять: что-то совсем захирела.

И мама как будто стала поправляться. А потом вдруг сразу... Месяца три на свидания к Вале ходил один отец. Говорил: «Маме нехорошо», вздыхал. А потом пришла Нина Донатовна не в праздник, а как сегодня, в обыкновенный день; и, поговорив о маминой болезни, сказала:

— Надо ко всему быть готовой, Валюша. Туберкулез у мамы принял скоротечную форму.

— Значит, мама может умереть? — с ужасом спросила Валентина.

— Мама умерла, Валя, — мягко ответила Нина Донатовна.

Валентина не помнила, как прошли следующие дни. Она не плакала, не пропускала уроков, но ее ооченевшая от страшного горя душа ничего не воспринимала. Первым, что она увидела и запомнила, были черные глаза, смотревшие на нее пристально и печально.

Кто это? Чего он хочет? Ах да, новенький мальчик. Они сейчас в зале, скоро концерт начнется... Но что он на нее смотрит?

Валентина досадливо отвернулась от соседа.

А потом заиграли Бетховена, и к Вале пришли слезы. Она тихо плакала, а черноглазый мальчик держал ее за руку и шептал:

— А я совсем малый был, когда мать умерла. Ты свою хоть помнишь хорошо.

Так началась эта дружба. Была она не легкой, не простой. Марк мог вспылить, наговорить дерзостей, глупостей. Зато он всегда готов был утешить, помочь, выручить.

Но и она не всегда бывала права. Если бы не ее придиричивость... Как хорошо, когда все мирно!

Как же он останется здесь один, без нее, когда она уедет?

Уедет! Неужели это будет? Значит, ее вылечили? Ну да, теперь почти все выздоравливают, кроме самых запущенных.

Андрей Кириллович недавно сказал, что раньше санаторские врачи говорили про больного «если встанет», а теперь говорят «когда встанет» — вопрос времени. И еще он любит говорить, что в лагере победителей раненые выздоравливают скорее, чем у побежденных. А советское общество — общество людей-победителей.

Это она знала. Только почему-то ей казалось, что выздоровеет она не скоро. Почему-то!.. Да просто отодвигала от себя это, старалась не думать. Ведь если ждать выздоровления нетерпеливо — сойдешь с ума. Эту болезнь лечат долгие годы.

Ее вылечили здесь, выучили, вырастили... Прошло девять лет. Она девушка, не девчонка, хотя ноги еще слишком длинны и руки совсем тонкие. У нее большой лоб — слишком большой, неожиданный на девичьем лице, маленький упрямый рот, темно-каштановые вьющиеся волосы. Глаза чудные: разрезаны косо и приподняты, точно рыбки, изогнувшие хвосты. А цвет — такой темно-голубой, что даже лиловатый. Ребята говорят, будто совсем лиловые, когда Валентина сердится. В общем, внешность странная, но не противная. Нет, нет, даже наоборот!

До восьмого класса Валентина в зеркало не смотрелась: ей казалось, что хуже нет на свете девчонки. Мучительно завидовала подруге Зине. У Зины белое спокойное лицо, ровненькие брови высокими дужками, прямой носик, безмятежные глаза. Ну кукла, да и только! Валентина мечтала: вдруг произойдет чудо, и она сделается похожей на Зину. Теперь лицо подруги по-прежнему нравилось Валентине, но быть похожей на Зину ей уже не хотелось.

Однако это все пустяки... Главное — она здоровый человек! Ну, не совсем еще, но скоро будет совершенно здоровой. Ее не за что будет жалеть: она обыкновенная гражданка, как все. Какое счастье быть обыкновенной!

Но и обыкновенному человеку хочется совершить что-то замечательное, необычайное, для страны, для людей. И Валентина хочет сделать это необычайное. Теперь она сможет! Она все может!

Скоро в постель она будет ложиться только для того, чтобы спать. Прощай, одеяло с полоской! Она будет носить платье. Нужно коричневое платье для школы — ведь она будет учиться в десятом классе, и еще синее для дома, и голубое для...

Тряпки у нее в голове! Вот дура!

Она будет с отцом — вот что важно. Истосковался в одиночестве, теперь к нему придет дочь. Он скажет своим товарищам: «Вот познакомьтесь, это моя дочь». И дочь, в голубом платье, скромно наклонит голову, как та девушка в кинокартине вчера.

Опять про платье!

Валентина заведет порядок в доме. У нее будет уютно, чисто...

Непременно надо кончить школу с медалью. Потом поступить в институт... нет, в университет.

И можно будет подметать пол, ходить в магазин, вскакивать в трамвай, ездить летом на Кавказ.

### Глава пятая

Утро второго мая — родительского дня — тянется бесконечно. Девочки томятся. Они даже ссорятся, но очень тихо, чтобы дежурная преподавательница Мария Николаевна не сказала: «Ах, этот родительский день! Сплошные нервы!»

Валентина причесала свои вихры и завязала тесемки на рубашке бантиком, а обычно стягивает их узелком и болтающиеся концы грызет. Лежит она тихая и не сводит с двери блестящих глаз.

Точно так же смотрят на дверь все другие девочки. Иногда они встречаются глазами и напряженно улыбаются друг другу.

Наконец-то! Пробило четыре, двери распахнулись, и вошли посетители. Мать Аллы Верховской бежит к кровати дочери. Как нервна эта женщина! Алла очень похожа на мать. Те же светлые напряженные глаза, тонкие губы, немножко утиный нос. Сейчас у обеих на лицах радостное нетерпение, и это их красит.

«Белый с розовым старичок», как прозвала Валентина дедушку Тони Минаевой, тоже торопится. А вот и солидный полковник Сомов с женой — это родители Светланы. Ну и нагузились! Им всегда кажется, что Светку здесь не кормят...

Входит мать Муси Головач, учительница, скромная, гладко причесанная. Но где же Валин отец? Где Павел Степанович Ракитин? Типография сегодня не работает... Заболел? Неужели заболел и не придет?

Зина уже щебечет, держа за руки мать и сестру. Нет, неужели отец не придет?

Спокойнее, спокойнее! Мало ли что могло его задержать... Будем пока глядеть на других. Вот мама Милочки Лебедевой. Как она хорошо одета! Коричневое шелковое платье с золотой отделкой у ворота и на поясе. Волосы совсем золотые, а глаза карие, как у Милочки. Красиво!

Удивительно, что Лебедева пришла сегодня в родительский день. Она обычно приезжала в неурочное время.

Валентина вспомнила недавнюю сцену в рентгеновском кабинете. Это Милочкину маму пускала в санаторий за подарки Раиса Павловна.

Еще десять минут прошло. Отца нет. Не надо думать... Если перестать ждать, он сейчас и придет.

Сомовы развертывают свои пакеты. Ну, так и есть! Не только фрукты, конфеты, шоколад, но и колбаса, масло, пироги... Светлана в ужасе. Бери, глупая! Нянечки спасибо скажут!

У Муси Головач какой-то задушевный разговор с матерью; немножко «сухаристая» Муся сейчас радостна и доверчива.

Да, мама к Вале не опоздала бы!

Счастливая Зина рассматривает китайский, чудесно расписанный ящичек.

— Там краски! Правда, прелесть? Ты открой. А кисточки какие мягонькие!..

Рослая румяная Зоя и маленькая седая Анна Алексеевна с любовью глядят на Зину.

— А ты что сегодня одна, Валя? — спрашивает Зоя. — Папа не смог прийти?

— Нет, придет, может быть, я не знаю...

Валентина отворачивается и встречает внимательный взгляд Грани Веселкиной.

Граня похожа на двенадцатилетнюю девочку, хоть ей уже семнадцать. Остренький подбородок, серые глаза умного подростка, тонкие косички. Веселкина сидит на постели — ей можно, она ходячая.

Мать у Грани умерла давно, а где отец — никто не знает. Если он и вернулся живым с войны, то жену с дочкой в родном городе не нашел.

Граня разыскивает отца повсюду, посылает запросы по разным городам. Ей помогает Андрей Кириллович. Он даже наладил розыски через милицию. Гране приносят много писем, вот она и сейчас сидит, вся обложенная конвертами. Ей так нужен этот незнакомый отец.

А нужна ли Валентина своему отцу?

Задумавшись, Валентина не сразу сообразила, чему Граня улыбается и что говорит.

— Ты чего?

— Оглянись, Валя. Не понимаешь? Вот замечталась!.. Я тебе говорю: о-гля-нись!

Неужели пришел? Да, да, да! Вот он!

Хотелось громко запеть, назвать отца всеми, какие только есть на свете, ласковыми именами. Но Валентина постаралась как можно суровее сказать:

— Куда же ты пропал? Я уже думала, что-нибудь случилось.

А голос не слушается. Он звучит громко и радостно.

— Нет, доченька, дай поцелую, все в порядке... Оно, в общем-то, не все... Ну, да не у нас с тобой... Погоди, отдышусь...

Павел Степанович садится на табурет.

— А почему опоздал? Изволь-ка доложить!

Зина смешливо косится на Валентину и, прикрывая ладошкой рот, говорит так, чтобы подруга слышала:

— Ну, пошла теперь с собственным папашей кокетничать!

Что же, наверно, Зинка права отчасти. Когда Павел Степанович рядом, Валентина чувствует себя такой любимой, нужной, дорогой, ей так привольно! Поэтому, разговаривая с отцом, она и дает себе волю, дурачится. С другими Валентина может чувствовать себя неловкой, жалкой, глупой — с отцом она умная, красивая, сообразительная. Да, с отцом и с Марком...

— Все, Валечка, объясню, — говорит Павел Степанович. — А пока зажмурься.

— Ты все со мной, как с маленькой. Не стану!

— Ну, так я не покажу ничего.

— Папа, слово даю, не буду подглядывать. Я на тебя хочу смотреть. На тебя ведь можно?

— На меня гляди, коли нравится.

Павел Степанович шуршит бумагой, но Валентина, честно выполняя условие, смотрит только ему в лицо.

Отец худощавый, ловкий, быстрый в движениях человек. У него русые негустые и мягкие волосы, широкий лоб, серые добрые и спокойные глаза.

«Папка мой! Мой собственный!»

Валентина, наклонив голову набок, разглядывает «своего собственного».

— Ну вот, получай! Это, значит, номер первый.

— Ой, папа!

Номер первый — книга «Поэты пушкинской поры». Валентина давно хотела ее иметь. Но мало того, что книга хороша и нужна Вале,— как она нарядна! Переплет мягкой кожи с золотым тиснением, обрез цветной, волнистый, а форзац в розовых веночках...

— Все сам?

— Ну ясно, сам.

Книгу отец любит по-своему. Он больше всего любит ее внешний вид, шрифты, переплет, рисунки, титульные листы, понимает толк в гравюрах, в стиле книжных украшений. И Валентину Павел Степанович научил все это любить.

На досуге отец немного занимается переплетным делом. Переплетает он только для редких любителей и порой может ввести в заблуждение знатока старой книги своим переплетом «под восемнадцатый век».

— Нравится? Очень рад. Теперь номер второй.

Из бумаги оказалась деревянная резная шкатулка.

-- Видишь,— торопится объяснить отец,— кругом виноградные кисти, листочки с усиками...

— Вижу. Замечательная!

— В Загорск специально ездил. Там резчики еще есть знаменитые. Упросил одного...

— Спасибо тебе, спасибо! Да в ней мулине! Хорошее, ленинградское... И цвета сам подбирал?

— Для вышивок твоих... А подбирал не сам. Соседка помогла.

Радуюсь приходу отца, его любви, подаркам, Валентина на время забывает про свою чудесную новость. А сейчас эта новость точно нетерпеливо толкает ее.

— Что я хочу сказать, папка! Ой, что я хочу сказать!

— Ну, ну?

— Папа, милый ты мой! — Валентина схватила отца за руку.— Меня ставят на днях! Слышишь? На ноги ставят! Я теперь здорова. Домой поеду, к тебе...

Когда стрелки часов придвинулись к семи и в палате перед прочтением стало особенно шумно, вошел Петя Метельников и сказал, что всех родителей приглашают в большой зал на выставку. Там будет и Андрей Кириллович.

— Непременно пойдешь,— сказала отцу Валентина.— Работы наши поглядишь.

— Как же, как же! Непременно,— тотчас согласился отец.— А главное, Андрею Кирилловичу спасибо сказать да спросить, когда можно забирать тебя.

— Ну, это не скоро еще,— засмеялась Валентина.— Сначала ходить надо научиться.

— С этим ты быстро справишься! — ответил отец.

Он целовал Валентину, словно уезжал на долгие годы.

— Поправляйся, Валек! Если из питания что нужно, спроси Розалию Борисовну и напиши... Да нет, я сам ее разыщу, поблагодарить надо, такой врач!... Ну, ну, милая...

Уходя, Павел Степанович кивал и улыбался дочери, а скрывшись уже за дверь, снова два раза показывался на пороге и махал Валентине рукой.

— Ну и отец у Ракитушки! — изумленно сказала Граня, когда посетители наконец ушли и усталая Валентина закрыла глаза. — Душу за Вальку отдаст, честное слово!

### Глава шестая

Было сказано: «Встанешь сразу после праздников». Но этот срок отодвинулся на десять немыслимо долгих дней. Валентина похудела от нетерпения и досады. Легко ли прождать еще десять дней? Чихнула раза два, а Клавдия Владимировна сейчас же: «Чихаешь? Не грипп ли?» Пока проверяли, три дня прошло. Потом Розалия Борисовна уехала на какую-то конференцию и велела без нее Валентину не ставить — еще три дня. А после этого врачи почему-то решили еще раз проделать анализы, исследования, рентгены — все привычное и скучное, с чем так хотелось проститься навсегда.

И все-таки настало это утро, когда врачи и сестры подошли к ее постели, и Розалия Борисовна, будто не замечая яростного волнения Валентины, не видя ее перепуганных и злых глаз, сказала очень спокойно:

— А не попробовать ли нам встать?

Потом, снова лежа в кровати, Валентина старалась вновь и вновь пережить все, что испытала. Но чувствовала только головокружение, стук сердца и ощущение полета.

Как же это все-таки было? Ну, с начала, с самого начала...

Приподнялась на постели, спустила ноги, и на ноги надели носки и туфли — рыжие, мягкие, клетчатые, с двумя зелеными пуговицами на отворотах. У пуговиц в середине черные кружочки, точно зрачки, и туфли похожи на каких-то глазастых жуков. Это отец прислал. Она их тогда гладила, прижимала к себе, чуть не целовала, а надеть все было нельзя. И вот наконец...

Потом на нее накинули халат, дали ей в руки две палки — и она встала. Встала, «не чуя под собой ног». В самом деле она их не чуяла. Сестры, Клавдия Владимировна и Людмила Семеновна, поддерживали ее. Голова сильно закружилась, и все, что было вокруг, опустилось далеко вниз, а сама она точно взлетела. Захватывало дух. Но она сказала сестрам — да, сказала: «Отпустите меня» — и не узнала своего голоса. Они осторожно отвели руки, но держали их вытянутыми, чтобы сейчас же подхватить ее, если пошатнется. Она и пошатнулась, и надежные, спасительные руки снова ее поддержали... А головокружение стало слабее, и она огляделась.

Кругом были глаза. Со всех кроватей на нее смотрели большие серьезные глаза. Она ни разу не видела столько — всегда перед ней были только глаза ближайших соседок. Голова опять закружилась, но ей показалось, что от всех глаз к ней тянутся невидимые линии, нити, которые держат ее, помогают стоять. Преодолевая слабость, она подняла голову и взглянула выше. И тот далекий заоконный мир обрадованно замахал ветвями, засвистал одиноким птичьим голосом и словно мазнул ее по глазам нестерпимо зеленой, сумасшедше зеленой полосой дальней лужайки.

— Ну довольно, ложись, — сказала вдруг Розалия Борисовна.

Валентина не сразу сообразила, кому говорят.



— Ложись, ложись,— повторила Розалия Борисовна, довольная и озабоченная.— Две минуты прошло.

— Как? Да я ведь...

— Ты что, не знаешь? Встать впервые разрешается на полторы-две минуты.— Розалия Борисовна повысила голос, но смотрела по-прежнему заботливо.

Валя знала, это-то она знала, только забыла...

— Побледнела. Небось голова кружится?

— Нисколько не кру...

— Не выдумывай, ложись!

С нее сняли мягкие рыжие туфли. Опять она лежала. Ей проверяли пульс, выслушивали сердце.

— Ничего, молодец! Поздравляю,— сердечно сказала Розалия Борисовна.— Завтра повторим. Лежи спокойно. Пойдемте, товарищи, к Лебедевой.

Все это удивительно, необыкновенно, чудесно! И чудеса не кончались, они следовали одно за другим. Ее привезли в класс, и она сообщила Марку, что наконец встала, а он ответил, и шепот его точно гладил Валентину по щеке.

— Я слышал, слышал! И не знаю, как рад за тебя, Валя. Нынче две радости: Андрей Кириллович смотрел меня и сказал, что, если так пойдет дальше, и я встану к осени.

— Марк!

— Ты довольна, Валя? Ты рада?

— Марк!.. Марк!..

Они были очень счастливы в этот день. И на следующий тоже. А потом... Валя очень удивилась, когда заметила, что уже привыкла каждый день вставать на несколько минут. Как же так? Недавно казалось, что теперь никакая забота не коснется ее, ничего больше никогда не захочется. Вечно она будет пребывать в состоянии сияющего спокойного счастья. И что же? Теперь она без всякого трепета ждала прихода сестры, спокойно откидывала одеяло, спускала ноги на пол... И заботы никуда не ушли: ведь экзамены близко. И хотелось уже иного: она мечтала о дне, когда начнет ходить.

— Это, наверно, всегда так,— говорил Марк,— к хорошему человек быстро привыкает. Вот и ко мне ты скоро привыкла.

— Что? Ты, значит, очень хороший?

— Ясно!

— Положим, и к плохому привыкнешь, если деваться некуда.

— Ну нет! Ставили бы тебя рядом с таким...— Марк сделал невысказанную гримасу,— и вместо того, чтобы вот так...— он согнул палец крючком и посмотрел на Валентину с преданностью слабоумного,— он бы тебе руку булавкой колол... Посмотрел бы я, как ты привыкнешь!..

Обход главного врача — дело привычное и бывает каждую неделю. Но некая торжественность в нем есть всегда. Светлая палата словно еще светлеет, когда входят люди в белом. Чистота и аккуратность делают этих людей почти нарядными. Глядя на них, кажется, что полотняная шапочка и отутюженный халат очень красивая одежда. Они громко беседуют, легко выговаривая трудные, то красивые, то пугающие слова, и понимают друг друга. Осмотрев больного, обменяются взглядами — и опять все поймут. Знающие, ученые люди! Врачи!

Розалия Борисовна спросит иной раз директора о чем-то, и на полном румяном лице ее серьезное внимание. Андрей Кириллович, так же серьезно ответив, смотрит с лукавым одобрением.

— Да ведь вы уже решили. Для порядка спрашиваете?

— А конечно! Как же без согласия директора?

Молодые врачи стоят скромно и достойно, прислушиваются. Как они довольны, когда Андрей Кириллович обращается к ним, как рады помяться любой его шутке. Одна Раиса Павловна теперь не глядит на директора, как прежде.

Андрей Кириллович шутит и с больными, но сам при этом не смеется.

— Ну-с, толстуха,— это Светке Сомовой,— как дела? Гм... Скажи, Светлана, ты свой завтрак, обед и ужин сама съедаешь?

— А как же?

— Нет, может быть, у тебя под кроватью какая-нибудь собачонка живет и ты все ей скармливаешь? Муся Головач, радиоприемник не осветительный прибор! Я велю переставить твою кровать. Не будешь больше? Хорошо, проверю. А сейчас не дыши. Как себя чувствуешь, Тоня? Ну-ка, ножку ее мне покажите. Неплохо... Дома все в порядке? Братишки здоровы?

И так с каждым больным. А их в санатории четыреста пятьдесят.

Сейчас доктора подходят все ближе к Валентине.

— Дорогая моя,— задумчиво говорит Андрей Кириллович Зине.— Твой сустав великолепно себя ведет, но отметки твои... Серьезно, скажи-ка, что тебе мешает хорошо учиться? Давай начистоту.

Дождалась Зинка! И ничто ей не мешает... Проболтает весь вечер или книжка попадетя интересная — вот уроки и выучены кое-как.

Зина торопливо оправдывается: по вечерам у нее всегда болит голова. Весь день ничего, а к вечеру... Но Андрей Кириллович приказывает, когда начинается боль, вызывать дежурного врача.

Наконец доктора остановились возле Валентины.

— Валя, видел вчера, как ты стояла, поздравляю! — без улыбки, ласково сказал Андрей Кириллович.— Сколько минут стоишь?

— Десять уже.

— Гм... Значит, минут двенадцать. Ведь часы вы, конечно, переводите.

Валентина не может удержаться, чтобы не взглянуть на Граню Веселкину. Граня — единственная ходячая в палате, она и переводит часы назад на две-три минуты, когда врач или сестра отвернутся.

— Что смотрите? Эти фокусы нам известны... А болей нет? Стоять не трудно? Это что? Записка? Ну давай, давай.

Дня через два Валентину привезли на рентген, и Александр Мартынович, рентгенолог, укладывая ее на стол под аппарат, сказал:

— Андрея Кирилловича поищите, няня Капа. Он велел сказать ему, когда Ракитину привезут,— и, слегка раздвинув щетинистые брови, спросил Валентину: — Исповедь небось?

«Исповедью» Александр Мартынович называл беседы больных с главным врачом — беседами, о которых заранее просили Стремяцкого. Сколько девчонок и мальчишек шептало ему во время осмотра: «Мне нужно поговорить с вами» — или писало, как Валентина: «Пожалуйста, Андрей Кириллович, поговорите со мной».

Стремяцкий пришел, когда Валентину после рентгена уже переложили на кровать и Александр Мартынович отправился проявлять снимки.

Должно быть, директор сегодня устал. Он казался хмурым и расстроенным. Кивнул Валентине, отдернул черные плотные занавески, запахнул окошко, сел на подоконник и закурил молча. Легкий дымок поплыл в ярко-голубое небо.

Да, видно, устал: никогда не курил при больных. Правда, окно раскрыто...

— Слушаю тебя, Валя.

— Я не о себе хотела, Андрей Кириллович. У меня как будто все в порядке.

— А у кого не в порядке?

— Вот Азаров Марк... Вы сказали, что, может быть, он скоро встанет.

— Сказал. Дальше.

— Ему ведь жить негде. Он не говорит, но я знаю, что негде.

— Что же ты предлагаешь?

— Думала с отцом поговорить. Может быть, он поможет...

— Ты точнее. Как он должен помочь?

— Ну, взять Марка к нам... — почти шепотом сказала Валентина.

— Я так и думал, что у тебя это на уме. Нет, Валя, никуда не годится.

— Почему же? Почему, Андрей Кириллович? — Валентина сама была очень не уверена в своем проекте, но, когда директор с ней не согласился, приготовилась спорить.

Он, тщательно затушив папиросу, начал ходить по комнате.

— Вот почему: первый год после выписки быть долго на ногах нельзя. Значит, зарабатывать Марк не сможет.

— Зарабатывать?.. — Валентина несколько растерялась. — Ему ведь нужно учиться.

— Так. И ты и он будете учиться в десятом классе. Посещать школу вам еще запрещается, значит педагоги будут ходить на дом. Вам нужно много лежать, хорошо питаться. Следовательно, отец должен обеспечить уход за вами и заработать столько, чтобы одевать и кормить двоих. А ты знаешь, сколько Павел Степанович зарабатывает? Нет? Я тоже не знаю, но уверен — не очень много. Он говорил мне, что постарался скопить на первое обзаведение для тебя. Ведь нужно купить все — понимаешь, все. Белье, платье, обувь, пальто... У тебя ничего нет, до сих пор эти вещи были не нужны. При выписке отцу скажут, что дома ты должна получать то, к чему привыкла здесь, с одной тобой ему будет нелегко, а ты хочешь дать отцу второго иждивенца.

Валентина слушала, опустив глаза. Зачем он так... прямо? И какое противное слово «иждивенец».

— Разве нам так уж много надо? — обиженно спросила она.

— Очень много! — Андрей Кириллович не обращал внимания на ее обиду. — Вам нужно каждый день завтракать, обедать, пить чай, ужинать. Нужны фрукты, молоко, сладкое. Вам нужна одежда, книги, удовольствия. Это дорого стоит, Валя.

Андрей Кириллович остановился перед Валентиной.

— Мне очень грустно, что ты, умная и развитая девушка, так плохо представляешь себе обыкновенную жизнь. Ту жизнь, что идет за стенами санатория. Сколько ни стараются педагоги и мы, врачи, потому что у нас ведь каждый педагог немножко врач, а каждый врач непременно педагог... Так вот, сколько мы ни стараемся привить вам чувство реального, вы все-таки уходите отсюда, не вняв житейских азов. Так уж человек устроен. Тому, что не испытал сам, плохо верит. Это для него не конкретно, абстракция. И что с этим делать?..

Он задумался на минуту. Глаза стали чужими, пристальными и невидящими.

— Так вот что, свою затею насчет Азарова брось. О Марке позаботится государство. Пришел он к нам из детского дома. Детский дом и примет его после выписки и даст возможность кончить школу. А потом студенчество или работа — словом, уже самостоятельная жизнь. И поверь, Марку гораздо легче и проще будет жить там, чем у вас.

Где может быть Марку легче, чем рядом с ней? Андрей Кириллович плохо его знает.

— Я хорошо знаю Азарова,— продолжал Стремяцкий,— ему было бы тяжело сознавать, что он обременяет твоего отца.

Валентина покраснела. Пожалуй, Андрей Кириллович действительно понимает Марка.

### Глава седьмая

С тех пор как Валентина поднялась, время для нее пошло гораздо быстрее. Жизнь не стала разнообразней, день проходил за днем с той же постоянной строгой размеренностью. Почему же все так изменилось? Валентина не понимала, что изменилась она сама.

Лет пять назад маленькой Вале и ее друзьям разрешили есть вилок. Прежде ребята обходились только ложками. Это была великая перемена.

А когда позволили писать авторучками... С какой торжественной важностью снимали с ручек колпачки, набирали чернила, пробовали перо!

Ватные кольца у плеч, мешающие двигать руками,— как их ненавидели! Валентина была счастлива, когда кольца сняли, видя, что девочка послушна и сама воздерживается от запрещенных движений.

И вот унесли прочь гипсовую кроватку и дали под голову подушку... Здоровые дети не радуются лучшему подарку так, как здесь радовались плоской, тощей подушке.

Все эти вилки, ручки, подушки, конечно, были важными событиями в жизни.

И вот последнее, завершающее все девять лет событие: она встала, сдвинулась с места. И что-то сдвинулось в ней. Иначе смотрит она на людей и на привычную, до мелочей знакомую обстановку.

Не во сне ли она жила все эти годы?.. Нет, наяву. Она получала пятерки, читала и помнила книги, тосковала по ушедшей маме, по одинокому ласковому отцу. Дружила, любила... Но почему же ощущение, что она проснулась, не покидает ее?

Это в самом деле было пробуждением. Светло-серые стены палаты, бывшие до сих пор горизонтом, вдруг раздвинулись. Закопанный мир, горько недосягаемый, стал близким. Встреча с ним произойдет скоро, скоро...

В день собрания приехали гости, московские школьники: миловидная девушка с большим бантом на затылке и двое парнишек. Они хотели завести дружбу с санаторием, или, как сказала девушка, «установить культурную связь и обмен опытом».

Ребята ушли к мальчикам, а девушка долго сидела в палате старшеклассниц.

Валентина и ее подруги откровенно глазели на гостью, на ее дорогое серое платье, лакированные туфельки, красивую сумочку. Она же рассматривала сверстниц исподволь, сидя у постели старосты — Муси Головач. Сюда подвезли Валентину, Милочку, Аню Шумскую — отличниц. Говорила преимущественно гостя.

— В каком же вы классе? Ой, в девятом? Я думала — в восьмом. А давно здесь лежите? Ну вот ты, например... — Она кивнула Валентине. — Девять лет? С ума сойти!

Она пристальнее взглянула на Валентину и сказала Мусе громким шепотом, должно быть воображая, что говорит тихо:

— Слушай, она у вас просто интересная, эта Валя. Очень оригинальное лицо... Неужели ходить не будет? Вот бедняга!

Валентина в смятении взглянула на Аню Шумскую. Слышала или нет? Но круглое, с маленьким аккуратным носом и крохотным ртом лицо Ани, лицо заботливой старшей сестры, было спокойное. А Муся нахмурилась и сердито сказала, что Валентина уже встает.

— И все мы будем ходить, так что ты нас, пожалуйста, не жалеяй.

Гостья озадаченно помолчала, но скоро опять разговорилась. Она очень сочувствует санаторским — им, наверно, приходится «здорово заниматься». Ведь развлечений мало, ходить куда они не могут... Лежа в постели, поневоле будешь учиться, иначе «с тоски окосеешь».

«Веселая, красивая... — подумала Валентина с невольной симпатией, — скучно ей за книгами сидеть».

— У тебя, наверно, отметки неважные? — спросила она, улыбаясь.

Но девушка взглянула очень холодно.

— Ошибаешься, я отличница. Зовут меня, между прочим, Лиля.

Она сообщила, что после седьмого класса решила учиться только на «отлично» и собирается кончить школу с золотой медалью, хотя никаким предметом в особенности не увлекается.

— Что поделаешь, надо! — Она засмеялась, и бант на ее затылке задрожал.

— Неужели тебе самой не интересно? — спросила Валентина и испугалась, что девушка обидится. Но Лиля, видя взгляды сверстниц и, должно быть, чувствуя себя особенно легкой, ловкой, красивой в сравнении с ними осмелела.

— Ну знаешь, то, что меня интересует, в школе не проходит. — Она весело подмигнула. — Одним только умственным увлекаться — ведь это тоже серость... Вы не согласны?

— Что, что?

— Простых слов не понимаешь... Да что это все обо мне! Давайте о вас, девочки. Расскажите, какие у вас культурные развлечения. Кино бывает? Чудесно! Значит, не отстаете от жизни. А что читаете?

Так уверенно, легко, даже покровительственно разговаривала гостья, что девушка слегка растерялась.

Оказалось, что она сама читала «все, что требуется», но о Диккенсе, например, «не имела понятия», потому что, «если читать сверх программы, жить будет некогда».

— Странная отличница, — сказала Муся, когда за Лилей зашли товарищи и увели ее в другие палаты.

— Что же учителя? Разве не видят, как она к занятиям относится? — удивлялась Валентина.

Но что-то в гостье все-таки ей понравилось и даже вызвало смутную зависть. Когда старшеклассников привезли в зал, а Лиля, пожелавшая посетить собрание, устроилась на широком подоконнике, Валентина заметила, что мальчики не сводят глаз с гостьи.

— Тебе нравится эта... Лиля? — тихо спросила Валентина Марка.

— Нет, совсем не нравится!

Совсем? Он сказал «совсем!» И так твердо! Но не нужно, чтобы радость была очень заметна.

— Она ведь красивая. Только знаешь, кажется, глупенькая...

— Глупенькая? Ого! Всех нас за пояс заткнет... Ты совсем не знаешь людей, Валя.

Опять «не знаешь!» И Андрей Кириллович, и Марк... Будто сговорились.

Столько друзей тут в зале, и она их не знает? Неправда, знает великолепно.

Вот Зина, Зинуша, Зинок... Это она спрашивала маленькую Валентину: «Ты что, немая? Разговаривать не умеешь?» Тогда они и подружи-

лись. Часами, что-то бормоча друг другу, играли вдвоем: ставили куклам градусники, заворачивали их в платочки, укладывали в такие же твердые кровати, в каких лежали сами. Только настоящие кровати были из гипса, а кукольные лепились из пластилина. Кукла — веселая спутница детства — предстала перед подругами, как больной и грустный ребенок...

Позже полюбили книги. Валентине больше нравилось читать вслух, а Зине слушать. Валя часто перечитывала любимые книги. Зина перечитывать грустное не хотела: «Зачем лишний раз огорчаться?»

Болезни своей Зина боялась. Если у нее начинался грипп или горло болело, она слабела, плакала.

Обе любили сладкое. Но Валентина своими конфетами угощала всю палату и себя не забывала. А Зина ела умеренно и угощала не очень щедро. Зато, когда у Вали давно ничего не было, Зина вытаскивала почти полную коробку и радовалась, глядя, с каким удовольствием Валентина грызет конфеты.

Нет, Зинку Валентина прекрасно знает! Да и других тоже — честную, справедливую Мусю, приветливую, уступчивую Милочку, простодушную Тоню, тихую, упорную Граню.

Есть, правда, в палате несколько человек не совсем понятных. Вот хотя бы Аня Шумская. Очень спокойная, разумная, она точно много старше своих одноклассниц. Аня с удовольствием учится, много читает, со всеми в хороших отношениях, но ни с кем особенно не дружит, у нее нет любимой подруги, любимого писателя. Притушенная какая-то. Может быть, из-за паралича?

Софа Роднова... Ну, эта просто ленивая, неподвижные мозги! Покусать, поспать, развлечься — вот все, что ей нужно. Прескучная девица. Да к тому же брюзга, вечно капризничает...

Вот еще Алла Верховская. Она, в противоположность Шумской, излишне нервна. «Повышенная возбудимость» это называется. Язвительная, неглупая и, должно быть, несчастная. Никак не удастся потолковать с ней...

...Годовые отметки прочитаны. У Валентины пять по всем предметам, только по черчению четыре, а у Зины всего одна пятерка, тоже по черчению. Круглые отличники — Сережа Ступин, Коля Гаев, Марк Азаров, Аня Шумская, Муся Головач, Милочка Лебедева.

— Прочитать отметки и на этом успокоиться мы, конечно, не имеем права, — говорит Елизавета Андреевна. — Нужно разобраться, почему некоторые из вас учатся хуже, чем могли бы.

Обсуждали отметки, отстающих увещевали, хвалили отличников.

Но почему так волнуется Марк? Переглядывается с секретарем комсомольской организации Сережей Ступиным, показывает ему что-то на пальцах.

— В чем дело, Марк?

— Важное дело, Валя. Не можем больше терпеть в палате Суворкина.

— Донял всех? — сочувственно спрашивает Валентина. — Но куда же его девать?

— Куда хотят. А жить с ним не будем!

Федя Суворкин... Тоже очень странное существо. Посмотришь на его худые щеки, жидкие, бесцветные волосы, впалые небольшие глаза — и станет жалко. А он всех задирает, по любому поводу спорит, всегда тяжело, мрачно раздражен или неуместно, взвинченно весел.

Валентина, как многие, не может заглушить в себе неприязнь к Суворкину и говорит с ним особенно вежливо. А Федя смотрит с на-

смешкой, будто хочет сказать: «Старайся, старайся, все равно знаю, что терпеть меня не можешь».

Сереза Ступин, рослый белокурый парень, садится на постели.

— По вопросу о Суворкине кто хочет сказать? — как-то устало спрашивает он. — Говорите, ребята, если есть что-нибудь еще не сказанное.

В самом деле, о Феде говорили на каждом собрании.

Валентина ждет, что и на этот раз начнутся обычные обвинения: плохой товарищ, ни с кем не считается, грубит... Но мальчики нынче словно с ума сошли. Кричат:

— Долой Суворкина!

— Забирайте, куда хотите!

— Не будем в одной палате с ним лежать!

— Не желаем!

А Марк прикладывает пальцы к губам и пронзительно свистит. Валентина в ужасе хватается за руку.

Эдуард Михайлович разглядывает беснующихся мальчиков с веселым недоумением, брови Николая Васильевича медленно ползут вверх, полное лицо Розалии Борисовны багровеет. А ребята, видно, не собираются униматься.

— Долой!

— Вон его!

— Вон из санатория!

— Пусть убирается к черту!

Окрик, звонкий и властный, покрывает весь этот шум:

— Ну, довольно! Прекратить безобразие!

Елизавета Андреевна! Она выпрямляется и смотрит на мальчиков в негодовании.

— Замолчите немедленно! Как ты посмел свистеть на собрании, Азаров?

Куда пропала всегдашняя хрупкость, усталая нотка в голосе? Ребята умолкают, растерянно поглядывают друг на друга. С лица Розалии Борисовны понемногу сходит багровый румянец.

— Спасибо, Елизавета Андреевна, и простите меня, я растерялась, — сказала она. — Никогда не видела мальчиков в таком состоянии. Марк Азаров, ты что, с ума сошел? Объясни сейчас же, в чем дело.

— Он-н, он-н... г-грязно относится к н-нашим девочкам, вот-т и все!

— Пусть проваливает!

— Не позволим!

— Тихо! — опять прекращает шум Елизавета Андреевна. — А что ты скажешь, Ступин?

— Елизавета Андреевна, мы его не обижали. Он уже год у нас, и мы старались добром... Ну, неуживчивый, эгоист... Ладно! Розалия Борисовна объясняла, что нужно подходить по-товарищески, мы старались. Пусть бы нам одним с ним было трудно... Но ведь всех обижает. То няня Маруся плачет, он ей крикнул: «Дура, пошла вон!», то сестра-хозяйка Ирина Григорьевна...

— Из-за чего плакала Ирина Григорьевна? — спрашивает Елизавета Андреевна. На ее лице страдание.

— Он сказал ей, — говорит Марк, — «мне дома мамаша пиво купала. Ножку куриную и предлагать не смела, знала, что я крылышко люблю».

— Азар! — вдруг весело кричит Федя Суворкин. — Завидно. небось, что за тобой никто дома не ухаживал? Да у тебя ведь и дома-то не было! Как же! Цыгане шумною толпой... Знаем!

— Да как ты смеешь? — возмущается Розалия Борисовна.

Суворкин сникает, но тут же глумливо выкрикивает:

— Обидели сиротку! Сейчас заплачет!

— Ничего, Розалия Борисовна,— совсем не заикаюсь, говорит Марк,— мне от него не обидно... Ну что же, может быть, я цыган... Наверно сказать не могу, родителей не помню. Что в этом плохого?

— Азаров не считает Суворкина человеком, чьи слова могли бы оскорбить или задеть его,— вдруг замечает Эдуард Михайлович.— И никто ему не возражает. Видно, товарищи очень плохого мнения о вас, Суворкин?

Федя молчит.

— Матери своей пачку печенья чуть ли не в лицо швырнул,— говорит Петя Метельников.— Вы понимаете, у человека есть мать, а он...

Петя — сирота.

— Довольно! — решает Елизавета Андреевна.— Что вы предлагаете?

— Мы все обдумали,— говорит Ступин.— Суворкин дисциплины не признает, товарищей не уважает. Придется так: ему предстоит операция, пусть до перевода в хирургическое отделение его отправят в изолятор. В палату больше не пустим. Это общее решение.

— Ого! — бодрится Федя.— Нужно еще, чтобы врач разрешил...

— Разрешаю! — отозвалась Розалия Борисовна.

Федя этого не ожидал, углы его рта опустились.

— Разрешите тогда, чтобы меня сразу же и отвезли. Спать хочется,— небрежно говорит он. Но глаза его смотрят беспокойно, и худое лицо бледнеет еще больше.

Снова крики. Розалия Борисовна распоряжается, чтобы Суворкина увезли. Когда двери за ним закрываются, она говорит:

— Я очень хорошо понимаю возмущение мальчиков. Только не забывайте, что у этого парня серьезные нарушения со стороны нервной системы. Он очень болен.

— Психа из себя строит!

— Когда успел эту свою систему так нарушить?

— Если человек никогда не сдерживается и никто от него не требует сдержанности, он одним этим свою нервную систему может расшатать,— отвечает Розалия Борисовна.— Его мать сильно баловала!

— Да ведь они очень скромно живут!— вмешивается Валентина.— Никакой роскоши Федя в семье не видел.

— Валя! — удивляется Елизавета Андреевна.— Так, по-твоему, нужны собственные машины и горы пирожных, чтобы избаловать человека? Нет, достаточно только некритически относиться к его поведению, не стремиться сделать его лучше, чем он есть.

— Я считаю,— опять возвышает голос Розалия Борисовна,— что не нужно баловать и Азарова. Пусть попросит извинения у всех за свою распушенность. Свистеть на собрании! Это неуважение к товарищам, к старшим.

— Да ведь свист к Суворкину относится!

— Это все равно.

— Я прошу прощения,— спокойно говорит Марк.— Пожалуйста, извините. Виноват.

Начали обсуждать отметки Зины.

— Зина Фирсова...— Эдуард Михайлович потрогал свои усики-щеточки и вдруг совершенно преобразился. Его большие коричневые глаза как-то кокетливо и невинно поднялись, и он стал удивительно похож на Зину, даже в голосе зазвучала Зинина убедительность, когда он тихо начал: — «Я, Эдуард Михайлович, очень неспособная к языкам, просто на редкость неспособная. Не дается мне английский...» Да, да, так говорит Фирсова. И вид у нее при этом несчастный, и голосок дрожит. А на самом деле ленится Зина, не хочет учиться!



И тут вдруг попросила слова Алла Верховская. Трогая мелкими острыми зубами нижнюю губу, она помедлила и сказала с неожиданной резкостью:

— Вот что... По-моему, тут виновата Валентина Ракитина. Она плохая подруга.

— Что такое? При чем тут Ракитина? — зашумели мальчики.

Все они Валины приятели. Но сейчас ее не радует дружная защита. Очень обидно. Разве мало она билась с Зинаидой? Разве не старалась втянуть ее в занятия?

— Зря на Ракитину нападаешь, — с достоинством отозвалась Зина. — Она мне очень помогала, даже очень помогала.

— Пусть Ракитина ответит! — крикнул кто-то.

— Я помогаю Зине, как могу, — сдержанно сказала Валентина. — Может быть, Алла скажет, как делать лучше.

Дверь тихо отворилась, и вошел Андрей Кириллович.

Алла, увидя директора, заволновалась и снова начала кусать губы.

— Ты говори, не задерживай собрания, — сказал Ступин.

— Вот... Я считаю, что Ракитина мало думает о занятиях Фирсовой. Если бы они были недавно знакомы, не дружили бы так. тогда понять можно: попробовала раз, другой, не вышло и отступилась, у Фирсовой ведь своя голова на плечах есть. Но Ракитина и Фирсова еще дошколятами подружились. Они очень друг к дружке привязаны. Если бы... Если бы у меня была такая дружба, да если бы я еще могла учиться, как Ракитина, разве я допустила бы?.. Я бы все силы... У моей подруги троек бы не было!

— Ну, это уж ты загнула!

— Что же теперь, голову о стену из-за лентяев расшибать?

— Через себя не перепрыгнешь! — крикнула Валентина.

И внезапно прозвучал голос Марка:

— Нет, Верховская права! То есть она права с высоких позиций, права как человек, очень уважающий дружбу.

Ну, конечно! Разве когда-нибудь Марк поддержит?

## Глава восьмая

Только в мае небо сияет чистой голубизной, а вечерами на этой голубизне проступает вдруг прозелень. И только в мае воздух полон пронзительной свежести. Земля по-настоящему пахнет землей тоже только в начале мая, когда она уже сбросила с себя снеговые одеяла, но закутаться в зеленую одежду еще не успела.

Каждое корявое дерево кажется необыкновенно прекрасным, шумит его молодая, полная света листва. Над прудами порою тянет тонким холодком, там еще лежат пласты сырого снега. А от кривых разлтых черемух иногда доходит внезапный и терпкий дух. Почувяв его, человек растерянно улыбается и спрашивает:

— Неужели черемуха уже зацветает? Значит, действительно весна?

Но Вале не дают дышать горькой черемуховой прохладой. Она не может любоваться зеленоватым вечерним небом или слушать птичьих пересвисты.

Очень ей трудно с Зиной.

— Ну, если Ракитина и Фирсова не рассорятся окончательно до конца экзаменов, значит дружба сильнее всего, — сказала Тоня Миная.

Ссорятся подруги постоянно. Валентину выводит из себя то, что Зина быстро устаёт и теряет сообразительность.

— Не понимаю!.. Дурацкая какая-то теорема... Не могу больше, устала!..— стонет Зина, и кажется, не оставь ее Валентина в покое, она расплачется. Но когда, крикнув с бешенством: «Ну и черт с тобой! Проваливайся!» — Валентина умолкает, Зина мгновенно успокаивается и отдыхает, безмятежно глядя в небо. А Валентина не выдерживает. Измученная бесплодными пререканиями, она отворачивается и начинает всхлипывать.

— Опять Фирсова Вальку довела! — говорят подруги. — Где у нее совесть?

— Зина! — возмущенно восклицает Муся Головач. — Неужели у тебя абсолютно нет воли?

Алла Верховская отрывается от учебника и, покусывая губы, смотрит на Зину.

— Да-а! Подвела я Ракитину со своими высокими позициями! Слушаешь, Анечка? Я читаю дальше.

Валентина долго сморкается и вздыхает. Зина помалкивает. Наконец говорит тихо:

— Ну хватит, Валя! Давай...

— То-то! Надоело дурить? Отвечай! — командует Валентина, прекрасно понимая, что заниматься они будут ровно столько, сколько захочется Зине.

Все-таки удастся выяснить, в каких разделах геометрии, физики и английской грамматики Зина не разбирается вовсе, чего она когда-то не поняла или не выучила. Плача и ссорясь, подруги одолевают эти провалы и пустоты.

Теперь, когда наступила весна, все лежит на большой террасе, прилегающей к палате. На перилах террасы ссорятся и совещаются воробьи. Шумят деревья, над головой плывут наполненные нестерпимым сиянием облака.

Валентина думает: это, пожалуй, мудро придумано — держать экзамены весной. Вероятно, май именно потому, что нельзя насладиться им в полную силу, кажется таким прекрасным. Разве какой-нибудь бездельник может по-настоящему понять прелесть ветра и облаков, зелени и птичьего свиста?

А все-таки очень хочется превратиться, хоть ненадолго, в «какого-нибудь бездельника», особенно в ходячего, который мог бы бродить по парку, сколько ему вздумается.

Между тем экзамены подступают ближе, и — вот чудо! — настроение Зины меняется. В голосе исчезают капризные нотки, появляются просительные: «Валечка, прочитай еще раз, пожалуйста!», «Валь, повторим, а? Только ты мне своими словами...» Во взгляде вместо привычного выражения тягостной скуки, — спокойное внимание.

Валентина посмеивается про себя:

— Ах ты, Зиновей, Зиновей!.. Струсил...

Накануне первого экзамена — это была письменная математика — Зина совсем упала духом. Удивительна была на ее кукольном лице гримаса отчаяния и страха.

— Я не выдержу все равно... Мне незачем даже экзамен держать. Срамится только!

Утром, перед экзаменом, Зина уверяла, что заболевает, ее уже тошнит. У Софы Родновой тоже кружилась голова. Зинин страх тревожил и Валентину.

Но большой зал, полный золотого легкого воздуха, был так красив... Нет, все будет хорошо! Не может не быть!

Пока возили и расставляли кровати, Валентина не смотрела на Зину, чтобы снова не поддаться страхам и сомнениям.

Няня Капа вкатила последнюю кровать: Федя Суворкин! Он после собрания так и жил в изоляторе. Мальчики держались твердо и в палату возвращать его не хотели. Но и Федя держался: ни разу не попросился обратно.

Капа посмотрела на крайнюю слева кровать: мальчик, лежащий там, медленно помотал головой. Серdito махнув рукой, няня повернула кровать Суворкина вправо от двери.

— Фирсова, не возражаешь?

— Пожалуйста, пожалуйста, нянечка! — ласково сказала Зина. Так ласково, что небольшие глазки Суворкина удивленно вскинулись на нее.

По другую сторону от Валентины лежала Муся Головач. Она была что-то неспокойна.

— Неужели боишься?

— Немножко. Да еще Роднова у меня ненадежная. Со страху невесть что может написать.

А Софа точно овечка — вот-вот зарежут. Губы оттопырила, взгляд покорный, тусклый. Фу! Да если бы учиться было даже совсем не интересно, все равно стоило бы заниматься, чтобы только не переживать таких унизительных минут...

За столом уселись ходячие — Граня Веселкина, Петя Метельников, Коля Гаев.

Николай Васильевич поднял руку. В большом зале стало тихо. Учитель отчетливо вывел на доске условие задачи. Ну, как там Зинка? Бледная, но кивает, и вид довольный. Значит, все поняла, решит... Отлегло от сердца!

Валентина исписывала листок за листком. Она была в том счастливом состоянии, когда в мыслях нет никакой вялости, но нет и лихорадочной спешки. И вдруг у нее не заладилось с уравнением. Сначала спокойно и терпеливо, потом с растущей тревогой Валентина зачеркивала, писала вновь и опять зачеркивала. Наконец, отложив перо, она хмуро уставилась на грязный черновик, уже ничего не понимая.

Николай Васильевич ходил по комнате, присматриваясь, как работают школьники. Подошел к Валентине и не больше минуты постоял возле нее. Но это была скверная минута: Валентина чувствовала себя жалкой.

— Внимание, внимание... Великая вещь внимание! — жизнерадостно сказал Николай Васильевич, отходя.

Неужели его радует Валина неудача? Хоть она и хорошо училась, Николай Васильевич всегда знал, что литературу и историю она любит куда больше. «Ага, думает небось — не ценила математику? Теперь выпутывайся!» Но зачем он сказал: «Внимание, внимание»? Просто так? Нет, в такой серьезный час Николай Васильевич не будет без толку ронять какие-то слова. Намекал, что она невнимательна? Неужели?

Валентину бросило в жар. Скорее проверить, правильно ли списала с доски! Так, так, так... Ах, вот! Вместо минуса — плюс, потому и не получается.

Теперь все пошло на лад, и Валентина решила задачу одновременно с Мусей Головач. Они улынулись друг другу счастливо и устало и сейчас же посмотрели на своих соседок. Зина успокоительно прикрыла глаза — решила! А у Софы, кажется, дела идут неважно.

Не торопясь, Валентина начала переписывать, как вдруг почувяла какое-то неуместно резкое движение на соседней кровати. Что это? Никак Зинаида бросила скатанную в шарик записку Феде Суворкину? Да, бумажный комочек лежит на одеяле, вот Федя зажал его в руке...

Взглянув на подругу, Валентина встретила рассеянный взгляд крепко задумавшегося человека. Молодец Зинка! Это у нее здорово выхо-

дит... А экзаменаторы? Нет, кажется, никто не видел... Только Эдуард Михайлович подозрительно быстро отвернулся и начал перелистывать какую-то книгу. Значит, Зина уверена, что правильно решила, если другому подсказала. А Федор спешит, кляксы сажает...

Граня Веселкина застучала костылем возле кровати.

— Готова, Ракитина? А ты, Фирсова, сдаешь?

Кивок головы, спокойный, важный. Ну отличница, да и только.

Закрыл тетрадку и Федя.

— Няня Капа, увези меня,— потребовал он и взглянул на Зину. Не благодарность, а скорее удивление было в этом взгляде.— Ну, значит так...— пробормотал он, отъезжая.

Подруги переглянулись.

— Это что? Он простился или поблагодарил? Ты что ему написала?

— План бросила. Вижу, не знает, с чего начинать...

Николай Васильевич, спрятав тетради в портфель, ушел. Эдуард Михайлович и Мария Николаевна стоя еще разговаривали о чем-то.

— Софа, ну как ты? Какой ответ? — допытывалась Муся Головач.

— Оставь меня в покое наконец! — вспыхнула Софа.— Хоть сейчас не приставай!

— Эх, чушка-хрюшка ты после этого! Спасибо Муське должна сказать! — крикнул Петя Метельников.

Софа громко заплакала.

— Устала как собака! Все утро голова болит! В покое оставить не могут! — выкрикивала она.

Кроткая Мария Николаевна испугалась.

— Полно, Софочка, полно! Как вы неделикатны, Головач.

Удивленная Муся замолчала. Няня Капа, поджав губы, увезла рыдающую Софу. Мария Николаевна ушла с ней, приговаривая:

— Сейчас мы Розалию Борисовну... Примете пирамидон...

— Вот тебе и на! Муська, оказывается, еще и виновата? Значит, стоит человеку понуть, пожаловаться, и кто-нибудь обязательно его пожалует, хоть он не прав? — удивилась Валентина.

— Ну, полезла в дебри по обыкновению! — Муся махнула рукой.

— А вы в самом деле, Валя, любите решать глубокомысленные вопросы,— сказал Эдуард Михайлович, подвозя к подругам кровать Марка.— И, наверно, Азаров помогает вам в этом?

— Да! — не смущаясь, ответила Валентина.

Эдуард Михайлович сел на табурет.

— Ну, что же мудрый Марк нам скажет?

Насмешка была добродушная, но Марк покраснел и начал, заикаясь:

— В-вот... Я т-так понимаю, ч-что сильного легче обвинить, чем слабого. М-муська человек сильный, волевой, а Роднова — кисель, вечно ворчит или хнычет...

— Верно! — перебила Валентина.— Доброму человеку, как Мария Николаевна, всегда хочется слабого пожалеть. А сильный страдает.

— Потому-то доброта и вредна, а жалость — ненужное чувство,— решил Марк.

— Да, да, а чай пить — мещанство,— в тон ему ответила Муся.

— Понес чушь свою! — вздохнула Зина.

— Начнет, как человек, а закончит всегда, как болван!

— Каждую мысль до полной ерунды доводит!

Учитель смеялся.

— Марк шутит, шутит... Успокойтесь, девушки. Но это верно, что неуместная доброта порою вредит. Конечно, в жизни встречаются по-настоящему слабые, больные, малоспособные или очень уж простодуш-

ные, непрактичные люди, им нужно помогать. Но есть ведь и такие, которым выгодно казаться слабыми. Им просто не хочется самим принимать решения, что-то делать, о чем-то хлопотать... И с такими обычно возятся окружающие, многое им прощают, помогают во всем.

— По-моему, сильных тоже надо жалеть,— в раздумье сказала Валентина.— Сильному, может быть, за самого себя да за нескольких слабых приходится думать и работать.

— А я согласен, чтобы на меня побольше валили! — заявил Марк.— Хуже нет, когда тебя жалеют. Или когда сам человек хочет вызвать жалость...

— Правда,— откликнулась Зина,— противно, когда изображают больных, нервных, как Софа...

— Вы, Зина, никогда этого себе не позволяете, правда? — серьезно спросил Эдуард Михайлович.

— Я? Никогда! — искренне ответила Зина.

Алла Верховская не выдержала.

— Бесстыдница, Фирсова! А утром, перед экзаменом, кто стонал и ныл?

— Сами молчите! — вскипела Зина.— Учить больно любите, а сделать что-нибудь — не спрашивай! С Суворкиным несчастным справиться не смогли... Умники!

— Положим, мы с ним справились.

— В изолятор отослали, вместо того, чтобы перевоспитать?..

— Перевоспитай-ка его сама! — злорадно сказал Коля.

— Ну что ж! — Зина уже успокоилась и теперь заговорила с актерским смирением.— Не беспокойтесь, дорогие мальчишки, я, как сильный человек, постараюсь снять с вас, бедненьких, эту тяжесть.

Хохотали все, даже няня Капа.

— Кстати, я видел начало вашего перевоспитания,— тихо сказал Эдуард Михайлович, наклоняясь к Зине.— Да вы не бойтесь, никому не скажу. Я промолчал, чтобы не озлоблять Суворкина еще больше. Но вы должны понять, что это не метод помощи.

— Я понимаю... — пробормотала Зина в крайнем смущении.

— И все же мне гораздо больше нравится Зина, когда она шутит,— сказал он громко,— чем когда хочет казаться слабенькой, неспособной. Не надо! У вас, право, достаточно сил.

Он ласково кивнул ребятам и вышел.

— Молодец наш Эдуард! — заговорили подружки.— И к Зинке хорошо относится... Ты цени, дуреха!

Няня Капа повезла Фирсову в палату, но Зина успела крикнуть:

— А насчет Суворкина я не шутила. Беру обязательство.

— Смотрите, как Зинаида разошлась! — удивлялись подружки.

Ребят увозили из зала. Валентина осталась на несколько минут вдвоем с Марком.

— Как ты написал, Марк?

— Кажется, все в порядке, а там кто его знает... А ты?

— Да я тоже. Марк, а тебе не кажется страшным, что нам беспрерывно надо что-нибудь решать? Какой-то пустяк, Софа заревела, как будто и говорить не о чем, а оказывается, столько всего нужно обдумать, понять... Мы, пожалуй, умрем раньше, чем все передумаем!

— Дальше, наверно, легче пойдет,— озабоченно сказал Марк, морща лоб.— И, может быть, не все уж подряд решать надо. Кое-что и на веру можно принять.

— Ну да, основное... то, на чем стоим... Но вообще хочется до всего самой дойти.

— А я знаешь до чего дошел? Хоть мы и решили, что слабым быть плохо, и ты, конечно, желаешь быть сильной, а я к тебе только как к слабой могу обратиться.

— О! Но почему? Это обидно!

— Нет, не обидно, нет! Я не знаю почему, но я думаю о тебе как о младшей... Я должен заботиться о тебе, защищать. Для меня ты будешь маленькой, беспомощной. Хорошо?

— Хорошо. Но чтобы ты все-таки понимал: на самом деле я сильная.

— А я понимаю.

Вечером, когда погасили свет, Валентина вдруг с особенной ясностью ощутила, что первый экзамен миновал. Все время он был впереди, и вот оказался уже в прошлом. Представлялся событием сурового значения, тревожил, еще сегодня утром вызывал слезы и страхи — и остался где-то там, в начале дня. Скоро совсем потеряется в наплыве новых событий. А через несколько лет она забудет все подробности экзамена, забудет, какая была погода, какую решали задачу, о чем говорили с Эдуардом Михайловичем... Пройдут годы, и она просто скажет: «Очень давно, когда я сдавала экзамены за девятый класс...» Непонятная все-таки вещь — время!

А время все так же незаметно и неотвратно придвигало следующие экзамены. Они приходили в свой срок, тревожили, заставляли жить напряженно.

Зина попросила Капу всегда ставить Суворкина рядом с ней. Увидев его на консультации, она небрежно сказала:

— А, Федор! Слушай, я тебе на математике помогла, помогай теперь мне. Ты ведь в литературе силен.

— Ну да! — буркнул Федя.

— Приезжай к нам вместе заниматься.

Федя молчал.

— Не хочешь — без тебя обойдусь! — Зина отвернулась.

Но Суворкин, должно быть, вспомнил пустой изолятор, где в эту весну, кроме него, никто не лежал, и сказал:

— Ладно, пусть привозят.

По вечерам Федю стали привозить в девичью палату, и он «присутствовал на занятиях», как говорила Муся Головач. Зина с ним держится в стиле «жесткой красавицы», говорит свысока, посмеиваясь, порой обрывает. Но иногда показывает ему свои рисунки и вышивки, доверительно рассказывает о семье, о своих мечтах и планах, так, словно Суворкину все это близко и интересно. Он глядит на Зину с беспредельным изумлением. Особенно поражает девушек то, что он стал тщательно причесываться на пробор. Экзамены он сдал довольно успешно. У Зины тоже дела идут хорошо. Иногда, конечно, ей страсть как хочется покапризничать, но уже установился какой-то другой тон и выйти из него не так-то просто. Кроме того, Зина понимает, что за ней очень внимательно следят товарищи, ведь она воспитывает Федю!

— Как же так? — спросила однажды Милочка Зину. — Говорили, что Суворкин к девочкам нехорошо относится, а тебя он слушается, да и вообще сейчас прилично себя ведет.

Зина подумала.

— Ах, Милка! Все это нехорошее отношение только от обиды. Ведь ни одна девочка с таким кривлякой и грубияном не хотела знаться. А стоило ему маленькое внимание оказать, он и...

— Брось, пожалуйста! — громко вмешалась в разговор Зоя Гаранина. — Он просто влюблен в тебя, вот и все!

— А ты сейчас только догадалась?

— Удивле-ен-но так на Зинку глядит...— протянула Милочка.

— И это тебе объяснить надо?— Зина надменно усмехнулась.— Первый раз в жизни симпатичное лицо близко видит, понятно? Интересно ему, как все устроено: как глаза смотрят, как губы шевелятся, брови хмурятся... Смотрит и думает: а здорово красиво! Как это я раньше не замечал?

— Нахалка ты, Фирсова! Да откуда ты все это знаешь?

Зина смеялась.

— Откуда знаю, мне самой не ясно, девочки. Но ручаюсь — это так!

И Валентина могла поручиться, что подруга права. Сколько раз она сама замечала такой взгляд у Марка. С жадным, порою благодарным вниманием он всматривался в ее лицо. Но как Зинка в задире и хулигане Суворкине разглядела его обиду на девушек и откуда та простота, с которой он идет на все нехитрые уловки Фирсовой,— вот что интересно!

### Глава девятая

В те недели, когда Валентина еще только стоит и сидит, ее ноги начинают затекать и неметь. Розалия Борисовна объясняет, что за девять лет неподвижности вся кровеносная система привыкла к лежащему положению тела. Теперь система перестраивается.

Валю начинают готовить к ходьбе. Для того чтобы спиной хребет оставался в покое, ее обернули мокрыми гипсовыми бинтами. Получился плотный корсетик. Возле кровати поставили раму, усаженную электрическими лампочками. Валю переворачивают с боку на бок. «Рыбу сушим»,— смеется Клавдия Владимировна. Корсетик сохнет долго, и вся палата, радуясь яркому свету, читает до поздней ночи. Сколько сестра ни уговаривает девушек отвернуться от света и спать, никто не слушается.

И вот выдали пижаму. Розалия Борисовна шутливо накинула на Валентину полотенце.

— Запрягли лошадку! Для первого раза сама буду кучером.

Она взялась за концы полотенца, и Валентина, опираясь на палки, сделала несколько неуверенных шагов.

— Хорошо!— похвалила Розалия Борисовна.— Каждый день будешь упражняться. Завтра постарайся дойти до окна.

Так Валентина начала ходить. Это было очень трудно.

Как же самонадеянно она воображала, что скоро начнет шагать и даже бегать? Медленно двигаться, шаркая ногами по полу, и то так мучительно. Ходишь несколько минут, а ноги болят, словно всю ночь плясала босиком на острых камнях. Валентина даже плакала потихоньку.

Зато как обрадовался отец, когда в последнее свидание она сделала несколько шагов ему навстречу! Павлу Степановичу Валентина призналась, что ноги сильно болят, но запретила говорить об этом врачам. Со всеми, кто начинает ходить, так бывает. Потом пройдет. Главное: не пугаться.

Незаметно проходило лето. Было очень жарко, ночью в палатах не спали от духоты, несмотря на распахнутые окна. Листва в парке стала серой и даже на взгляд, жесткой. Всему живому был нужен дождь, но его все не было. Только в начале августа, после особенно душной ночи, Валентина проснулась от тяжелого грохота, словно по лестнице поднимали огромный шкаф, а он сорвался и покатился вниз, обламывая сту-

пени. Схватив свои палки, она заковыляла к окну. Громадная серая туча набирала силу, наливалась фиолетово-синей тьмой. Няни, торопясь, стали закрывать окна.

Дождь пошел очень медленно и робко. Первые легкие шажки его были едва слышны. Несколько раз он собирался разбежаться, но, споткнувшись, снова затихал на время. Внезапно выкинув звонкое коленце, он затанцевал было по крыше, да опомнился и неуверенно принялся бормотать, что он не дождь и уж во всяком случае не ливень. Он скромный, маленький дождик, только чуть-чуть сбрызнет траву и прибьет пыль на дорогах.

Но, как все большое и прекрасное на свете, дождь лицемерить не умел. Его прорвало, он ринулся вперед очертя голову и помчался, высоко подпрыгивая и звеня. Задыхаясь от молодого озорства, он дал себе полную волю, неся, дымясь, закрывая собой все.

Вода барабанила по листьям, свистала и пела о счастье литься, завихряясь в воронках, впитываться в землю, омывая такой свежий, такой изнемогающий под струями мир.

Валентине казалось, что этот торжествующий ливень — лучшее зрелище на свете.

— Лейся! Лейся еще! Вымой все как следует! — шептала она.

Но стеклянный бег дождя начал замедляться.

— Кончается... Как жаль! — вздохнула Валентина.

Водяная мгла стала рассеиваться и понемногу открывать зеленый влажный мир. Облегченные тучи быстро разбегались. Еще бледный и боязливый, солнечный луч скользнул по мокрой тропинке, по древесному стволу, ища, где бы обосноваться и засиять в тысячах капель.

— Тебе жаль? А я очень рада, что кончается! — отозвалась Зина, только что высунувшая голову из-под одеяла.

Дежурный врач Раиса Павловна, должно быть, тоже боялась грозы.

— Ракитиной нравится быть оригинальной, — медленно сказала она. — Неужели не боишься?

— Не боюсь! — Валентина сама удивилась, как резко прозвучал ее ответ.

В этот день, после обычной прогулки, Валентине разрешили навестить ребят.

Робко вошла она к ним в палату.

Мальчики приветственно зашумели.

Черные сияющие глаза Марка словно летели к ней навстречу. Он хлопал в ладоши, и все товарищи поддержали его. Валентина, бледная, очень серьезная, медленно одолевая метр за метром, пересекала огромную палату, а мальчики размеренно били в ладоши и кричали ей, как знаменитому бегуну:

— Ва-ля! Ва-ля!

Сейчас она упадет от волнения и усталости. Еще немножко! Ну еще! Наконец-то!

Валентина почти упала на табурет, который подставили ей. Марк взял из ее рук палки.

— Ты замечательно ходишь, Валя!

Это было сказано искренне, хотя ее ходьбу назвал бы жалким ковылянием каждый здоровый человек.

Марк, не отрываясь, смотрел на Валентину.

— Я ведь никогда в жизни тебя так не видел...

— Как?

— Я на тебя теперь снизу смотрю... И знаешь? Лицо другое.

— Лучше или хуже?



— «Хуже» — слово к тебе неприменимое, — очень тихо сказал Марк. — И ты одета теперь. Тебе идет быть одетой... Что смеешься?

— Смешно ты говоришь.

— Люблю, когда тебе смешно!

— А еще что любишь?

— Когда тебе грустно, и когда задумаешься, и когда сердишься, и...

— Изволь-ка на место идти, красавица! — сказала вошедшая вдруг няня Капа. — Комиссия какая-то приехала. Сейчас будет палаты обходить.

Прогуливаясь по санаторию, Валентина заходит не только в палату мальчиков, но и к «мемешкам» Нины Донатовны. Там очень интересно.

— Что же это ты вылепил, милый? — как-то спросила она шестилетнего Юрку.

— А разве плохо? — Круглая ребячья рожица озабоченно сморщилась.

Валентина еще раз оглядела скульптуру. Великолепное пластилиновое дерево с ярко-рыжим корявым стволом тянуло во все стороны тяглые ветви. А по ветвям скакал... заяц.

— Очень хорошо! Молодец! Только на деревьях белки живут. Ты видел когда-нибудь?

— А как же! У нас жила в палате. Хвост пуши-и-стый! Потом Нина Донатовна выпустила.

— Ну вот. А зайцы по земле бегают. На деревья они взбираться не могут.

— Нет, могут, могут!

— Да откуда ты взял?

— Наверно, Ваня сказал.

— Ваня? Ну, а если честно?

— Тогда... тогда я сам так подумал.

Валентина показала дерево с зайцем воспитательнице. Нина Донатовна огорчилась.

— Видишь, иной раз и заметить нельзя, как в них укореняется неверное представление. Вот недавно выписывался Алик Макáров... Вышел в парк, посмотрел на деревья и спросил: «А где же их горшки?»

Интересно! А вот у Вовы Горева превосходные, полные недетской силы рисунки, а перспектива очень странная. Все сдвинуто. Это единственный след от туберкулезного менингита. В остальном Вова совсем нормальный ребенок: веселый, сообразительный, способный...

Придя к малышам в первый раз, Валентина растерялась. Повторилось уже испытанное впечатление от множества смотрящих на нее глаз. Но здесь оно было ощутительнее, как-то сильнее беспокоило. То ясные, то затуманенные болезнью детские глаза! И руки, что тянулись к ней с низких кроваток, хватали за халат, тащили ближе... А этот маленький скульптор Юрка, когда она шла мимо, быстро поднял голову и прижался к ее руке теплой щекой.

— Не пугайся! Это не озорство — они рады, — сказала Нина Донатовна.

Валентина это понимала. Старшие тоже радуются новым людям. Только маленькие сильнее. Наверно, она сама, когда лежала здесь, изнывала от тоски по новому, невиданному, неожиданному.

Нина Донатовна — загорелая, бодрая, смотреть любо — хлопнула в ладоши.

— Ребята, во что сегодня хотите играть?

Дети молчали.

— Дать вам игрушки? Нет? Ну, в словесную игру будем? Опять нет? Тогда что же?

Ребята молча пересмеивались. Наконец Юрка, самый храбрый, решился:

— Нина Донатовна, мы песку хотим...

— И водички! — подхватили другие.

— Ах, разбойники! Пронюхали уже, что няня Маруся песок носила!

Между кроватками поставили табуреты, на них тазы с водой и дощечки с песком.

С каким наслаждением дети погружают руки в холодный тяжелый песок! Эти двое делают куличики, эти устраивают на своей дощечке огород и втыкают в маленькие грядки траву, а вот два друга роют тоннель, каждый со своей стороны, и хохочут, когда их пальцы встречаются в тоннеле... А в тазях с водой уже купаются голыши, плавают лебеди и утки. Тут же легкие кораблики с белыми парусами и солидные пароходы.

— Земля, вода... — тихо говорит Нина Донатовна, глядя через раскрытую балконную дверь в парк. — Здоровый ребенок встречается с ними очень рано. Как же не дать нашим детям узнать, как пахнет земля, трава, как вода держит на себе предметы, как влажный песок плотен, а сухой рассыпчат? Нельзя, чтобы они выходили отсюда в совсем не понятный мир.

Валентина вспоминает собственные детские игры. Зимой на большую террасу, где ребята лежали в меховых мешках, Нина Донатовна и няня принесли тазы со снегом. Валентина смеялась от щекоцущего холода и, слепив комочек, умоляюще смотрела на Нину Донатовну: позволят швырнуть или нет? И оказалось, что в снежки можно играть лежа. Стекла загородили фанерными щитами, и началось веселье, хохот, визг...

Чего не придумывала для детей Нина Донатовна! Замораживала подкрашенную воду, и ребята играли цветными льдинками; научила их пускать мыльные пузыри. Когда впервые перед Валентиной задрожал прозрачный веселый шар, с отливом радуги на тончайших боках, с плывущими в нем чистыми отражениями окон и облаков, ей кричать хотелось от восторга.

— Я буду учительницей. Непременно! Вот увидите! — неожиданно для себя говорит Валентина.

— Еще много раз передумаешь.

Но Валентина уверена: не передумает, никогда, ни за что!

Да, здесь, у малышей, все ей знакомо — и все открывается по-новому. Оказывается, что даже игры, возникавшие сами собой так естественно и непринужденно, заранее продуманы Ниной Донатовной. Даже раскрашивать картинки нельзя, пока дети не научились клеить, то есть правильно обращаться с кисточкой.

Маленький Павлик просит поставить его кроватку рядом с Мишиной. Нина Донатовна под каким-то предлогом отказала.

— Почему вы не хотите? Разве вам не все равно?

— О нет! Павлик и Миша оба бойкие, развитые. Пусть рядом с тихонькими, простенькими полежат, пусть с ними подружатся.

— Но им хочется вместе...

— А я их на игровые часы ставлю рядом.

— И меня с Зиной когда-то обдуманно рядом поставили?

— Тебя с Зиной Фирсовой? Конечно, обдуманно.

— Кто же из нас на кого влиял?

— Ну, это уж сама соображай.

Привезли маленького, худого, тихого мальчика. Мать, рослая, цветущая, громко плакала, бросаясь к сыну, иступленно целуя его. Няня и сестра увели эту женщину. Она повисала у них на руках, громко рыдая. Валентина была взволнована, а Нина Донатовна спокойна.

— Родители бывают разные,— сказала она, заметив недоумение Валентины.— Одни прощаются сдержанно, пересиливают себя, но потом рвутся в санаторий, приезжают чуть ли не каждую неделю, закармливают ребенка готовыми, все опасаются, что не сыт. Другие, вот как эта мамаша, экспансивны. Эти убеждаются, что малышу здесь хорошо, и быстро успокаиваются. Даже слишком успокаиваются...

### Глава десятая

— Ты слышишь меня, дочка? Валек, ты меня слышишь?

— Да! Да! Папа! Папа! — кричит Валентина в пространство, вертя в руках черную гладкую трубку. Почему так запутался этот пружинящий шнур? Голос Павла Степановича слышен глухо, а отец, должно быть, и вовсе не слышит ее. Первый в жизни разговор по телефону не удается.

— Постой, постой! Зачем ты трубку вертишь?

Подходит Клавдия Владимировна, говорит: «Одну минутку, товарищ Ракитин»,— распутывает шнур и подает трубку Валентине.

— Отсюда слушай, сюда говори!

Валентина благодарно кивает.

— Папа! Я слушаю! Что? Я знаю, знаю, что завтра! Скажи только когда. В семь утра? Ой, почему так рано? Все еще спать будут. Я проститься ни с кем не смогу. Сегодня проститься?..

— Будь здорова, доченька! Скоро уже!

В трубке щелкнуло.

Да, скоро, скоро! Скорее, чем она думала. Оказывается, отец берет машину вместе с Гаевым, который приехал за сыном. А Гаевы должны успеть на восьмичасовой поезд. Уезжает Гай в свой колхоз за Свердловском. Далеко!

Марк вчера спросил, пожимая плечами, стараясь, чтобы голос звучал беспечно:

— Неужели Николай уедет и не будет писать?

Он не только в Николае, он и в ней сомневается, только не хочет говорить, чтобы не поссориться на прощание.

Да, не кто-нибудь уезжает, а Коля Гаев — первый санаторский товарищ Марка. Первый и неизменный. Сколько у них вместе выучено, прочитано, спето, переговорено! Вот как получилось: в один день уезжают и она и Коля. Трудно будет Марку...

Но она ведь будет так близко! И уж от нее-то писем ждать не придется! А скоро Марк и сам выйдет отсюда.

Завтра, завтра... Плохо, что учебный год уже начался. Ну, ничего, она догонит! С учителями, что будут ходить к ней, отец уже договорился.

...В палате возле Валиной постели стоит большая картонная коробка из-под лекарств. Это подарки. Три дня она только и делает, что принимает дары друзей.

— Валя! Ты здесь? — спросила, входя, сестра Клавдия Владимировна.— Оденься. Пойдем к Андрею Кирилловичу. Он на три дня в Москву уезжает, хочет проститься.

— Правда? — У Валентины захватило дух.— К нему домой?

— Ну да. Это близко. Тебе не трудно будет.

Близко! Да разве она об этом?

«Сейчас приду к Андрею Кирилловичу, увижу, как он живет,— радовалась Валентина, но и с печалью, даже страхом додумывала:— И с ним прощусь».

Под правым крылом санатория спрятался маленький деревянный дом. Входная дверь открыта. Ее запирают, наверно, только к вечеру. Сколько людей за день побывает здесь! Крохотные сенцы с чисто вымытым полом, с запахом выстиранного и просушенного на свежем воздухе белья. Коридор. Клавдия Владимировна стучит в дверь.

— Можно, Андрей Кириллович? Я Ракитину привела.

— А! Входите, входите!

Вот какой Андрей Кириллович у себя! Не в белом халате, а в просторном темном костюме, он проще, чем всегда, но какой-то незнакомый.

— О, да ты совсем взрослая в платье! Устраивайся.

Валентина молча опускается в глубокое, с потертой обивкой кресло. От волнения она плохо видит окружающее. Не все сразу доходит до сознания. Кабинетик... Не очень светлый и очень заставленный. Книжные полки до потолка, книги на стульях, на шкафу. Неширокая тахта. А это что? Как она испугалась! На письменном столе огромный букет красных осенних листьев, а кажется, что среди книг и рукописей вспыхнул костер.

Андрей Кириллович не замечает растерянности Валентины. Он запечатывает в конверт только что написанное письмо.

— Вот. Отдашь отцу. Тут все инструкции. А тебе на прощание хочу сказать...

Но договорить не дают. Скрипнула дверь, показалось приветливое лицо его жены.

— Здравствуйте, Валя. Кофе давно на столе. Пора, Андрюша!

— А! Иду, иду! Пошли, Валя!

— Что вы! Я ведь завтракала...

— Без разговоров! Я как врач разрешаю сегодня еще раз позавтракать.

Из коридора, наискось от кабинетика, дверь в столовую. Комната большая, в ней тоже все очень просто. Круглый стол посередине, над ним лампа. Белая изразцовая печь. По стенам — буфет с посудой, книжные шкафы. Ширмой отгорожены тахта и столик — верно, уголок дочери-студентки. Здесь, под лампой, вечерами, конечно, собирается семья. Каждый занят своим делом. Хорошо, семейно...

— Ты что смотришь, Валя?

— Мне запомнить хочется, как вы живете, — признается Валентина и краснеет. — Я думала, совсем не так. Мне казалось, у вас кругом ковры и стоячие лампы.

Валя решает не думать сейчас об отъезде и наслаждается завтраком за столом, покрытым клетчатой скатертью, любуется хлебницей, салфетками, пестрыми чашками. Все эти полузабытые вещи восхищают ее. Она с удовольствием берет в руки сахарницу и удерживается, чтобы не сказать молочнику: «А я знаю, кто ты».

Но как все это ни занимает ее, а забыть об отъезде не удастся. Валентина со страхом думает о минуте прощания. Андрей Кириллович уже кончает свой завтрак... Вот сейчас...

— Поговорим о тебе, Валя, — говорит он. — Розалия Борисовна объяснила, как ты должна себя вести? Имей в виду — это очень серьезно.

Валентина торопится допить кофе. Два испуганных лиловых глаза смотрят теперь на директора поверх чашки.

— Я понимаю, Андрей Кириллович.

— Павел Степанович все знает. Но прошу тебя — следи за собой сама. Ешь вовремя, не уставай ни в коем случае. И не больше трех часов в день ходить, остальное время — лежать. Это ясно?

— Да, да! Я вам обещаю!

— Хорошо. Мне пора уходить.— Он уже на ногах.— Так вот, Валя, я еще раз хочу напомнить: тебе вовсе не так легко будет на первых порах, как ты думаешь. Многое покажется непривычным, странным. Придется приспособливаться к новому укладу жизни. У отца свои привычки, постарайся не нарушать их. Павел Степанович тебя очень любит, смотри же, не огорчай его. Ты резко критикуешь, требования к людям у тебя высокие. Это хорошо, но не растрчивай свою требовательность, свою любовь к справедливости по пустякам или, еще хуже, без достаточного понимания. Будь снисходительна к обыкновенным человеческим слабостям.

— Да, да, конечно,— в нетерпении и тоске повторяет Валентина. Ей кажется, что этот разговор Андрей Кириллович ведет потому, что так полагается. Как ей может быть трудно дома, с добрейшим отцом? К каким слабостям она должна быть снисходительна? Не у ее же отца есть слабости! Она ждет, что Андрей Кириллович скажет о ней, про нее, для нее.

— И не забывай то, что я всегда говорю: ты все можешь. Будь сильной!

— Постараюсь...

— Пиши нам. Через полгода приезжай на осмотр. Ну и...— Лицо его озаряется медленной улыбкой.— Ты знаешь, что мы любили тебя, Ракитушка. Помни об этом.

— Андрей Кириллович! Умру— тогда забуду!

— Что еще за глупости, «умру»! Долго жить будешь! И здорова будешь! Ну, Валя, Валя...

Но Валентина уже плачет взхлеб, припав головой к его плечу. В последний раз она слышит этот голос. Не ее, других будет утешать Андрей Кириллович. Другие придут к нему за советом: Муся, Зина, Алла— не она! Цепляясь за руку Андрея Кирилловича, Валентина боится одного: сейчас он скажет «довольно», сейчас уйдет!

— Ракитушка, милая ты моя!— говорит он.— Честное слово, не навек прощаешься. Будешь приезжать к нам. Успокойся!

.....

С помощью Клары Антоновны Валентина едва дошла до младшего отделения. Там, проклиная себя и пугая ребятишек, она снова расплакалась. Малыши пришли в волнение, тянулись к ней, кричали: «Валя, зачем ты плачешь!», «Валя, оставайся у нас!» Более благоразумные удивлялись, как можно плакать, уезжая домой, и просили прислать им картинок.

Нина Донатовна, придя в палату, живо прекратила чувствительную сцену. Она сказала ребятам, что сейчас начнется игра в мяч, а Валентину расцеловала, велела писать почаще и послала ее отдыхать.

С распухшими глазами и головной болью Валентина добралась до палаты, свалилась без сил и уснула немедленно. Стало совсем тихо, все берегли ее покой.

Она была еще в забытии, когда ее ударила мысль: «Последние часы доживаю в санатории». Это показалось таким неправдоподобным, что Валентина усомнилась, не во сне ли она видела: сборы, прощание... Не лучше ли, если бы это был сон? Пусть все останется, как прежде, спокойно, уютно.

Так испытывала она себя, а сердце уже испуганно дернулось: а вдруг в самом деле, все останется, как прежде? Нет, скорее туда, в законный мир! Скорее! Чудесно, что отъезд вовсе не сон! Возле кро-

вати коробка с подарками, на стуле привезенное отцом платье, а на календарном листке дата: «двенадцатое сентября тысяча девятьсот пятьдесят первого»...

К пяти часам девушек отвезли «на прием» в палату к мальчикам. Там был накрыт стол. На нем возвышался пышный торт, присланный сестрой-хозяйкой. Розовела кремовая надпись: «Коле и Вале». Все были в восторге оттого, что торт не нарезан на куски. Делила торт Валентина, Гаев и Петя Метельников разносили угощение, а Милочка Лебедева наливала чай. «Было очень уютно,— говорили девочки,— совсем по-домашнему». Но Валентина вспоминала сегодняшний завтрак. Вот что такое «по-домашнему»!

Пришли на минутку попрощаться Елизавета Андреевна и Розалия Борисовна.

— За Колю я спокойна,— говорила Розалия Борисовна, внимательно оглядывая Гаева и Валентину.— А Ракитушка, боюсь, начнет мировые вопросы решать и о здоровье забудет.

Елизавета Андреевна смотрела устало и ласково.

— Ты любила литературу, Валя. Книга часто будет помогать в жизни. Дружи с ней...

— Да, да, Елизавета Андреевна!

— Ну, что ты нервничаешь? — сердито спросила Розалия Борисовна.— Радоваться надо! Иди, поцелую.

Она прижала Валентину к широкой мягкой груди. Валентина всхлипнула.

— Только без этого! О новой жизни думать — нечего старую жалеть.

Розалия Борисовна громко высморкалась и грозно крикнула с порога:

— Спать вовремя ложитесь! Без болтовни! Завтра поднимут рано.

Простившись с Андреем Кирилловичем, Валентина словно простилась и с санаторием, она уже чуть-чуть со стороны глядела на всех — на всех, кроме Марка. Смотреть на него было почти физически больно.

— Ты знаешь? Профессор не велит меня раньше Нового года ставить,— мрачно сказал Марк.

— Но, пожалуй, это и хорошо! Ты пробудешь здесь до весны.

— Хорошо? Вот как? — Марк был обижен.— А я думал, ты и на воле со мной хочешь встречаться.

— Глупый ты, глупый! Конечно, хочу. Но ничего бы из наших встреч не вышло. Где твой детский дом?

— По Северной дороге, три часа от Москвы.

— Ну вот. А в день только три часа можно быть на ногах...

— Уж я бы к тебе ездил!

— И заболел бы снова. Нет, оканчивай школу здесь, получай медаль. Ты получишь. Во-первых, мне слово дашь, во-вторых, я в письмах напоминать буду, в-третьих, сама к тебе приеду...

Марк подобрел и с интересом следил, как Валентина загибает пальцы.

— Ну, если так, четвертый не загибай, дай его мне.

Они сцепили пальцы, глядя друг на друга.

— Валя, если ты не будешь писать...

— Буду, буду, Марк!

— Спойте, мальчики! — сказала Зина.— Не скупитесь уж сегодня!

— Правильно! Спойте, ребята! Сережа, начинай.

Сереже подали баян. Ступин знал множество песен и добывал самые модные. Родные привозили ему ноты разных новинок. Пел Сережа громко, немножко чересчур залихватски, но верно.

Валентина слушала песню о парне, у которого глаза «в общем подходящие», почти с тоской. Разве про милые глаза так скажешь? В старой русской песне, что поют Марк с Колей, говорится: «Наглядитесь на меня, очи ясны, про запас». Вот это слова!

Мальчики запели про «очи ясны». Валентина смотрела на Гаева. Десятый класс Коля будет кончать дома, в селе. Гаев мечтает стать агрономом. И будет, конечно! Он дельный, упорный, из него толковый агроном получится. И красивый Колька! Стройный, белолицый, с пышными русыми волосами. А все-таки порой еще угадывается в Николае тот взъерошенный худущий мальчишка, что горько плакал, когда не удался побег на фронт.

Песня смолкла. Марк, задумавшись, перебирал струны, подносил зачем-то гитару к уху. Гаев подошел к Валентине, отвел ее в сторону.

— Прощаемся, ракета зеленая! Напишешь когда-нибудь?

— Конечно... Но, главное, Коля, ты Марка не забывай!

— Ракитушка! Так я об этом же с тобой хотел... Пиши ему, не обижай! Загрустит ведь без нас, я знаю.

— Он такой...

Оба задумались. Очень любили Марка в эту минуту, и каждый был благодарен другому за любовь к Марку.

— Ну что, Валечка, теперь твою? — спросил Марк.

Запели «Не вечернюю...». Валентина тихо вышла на террасу. Когда так много хочется сказать, а слова с языка не идут, нужно побыть одной.

Она встала в полосе света, чтобы Марк мог ее видеть. Смотри напоследок!

Теплая, темная сегодня ночь. Светлые прямоугольники окон лежат на земле, а выше тихо шумят еще пышные кроны деревьев. И еще выше чуть заметно шевелятся звезды.

Два голоса, перегоняя друг друга, выводят: «Тройку серо-пегих, серо-пе-е-гих...» И любимая широкая песня расстилает перед ней простор и безлюдье степи, дальнюю-дальнюю дорогу... Дорога вьется и уходит вдаль, бежит куда-то на край земли, где гаснет тонкая за ревая полоса...

Трудно расставаться с друзьями. Но она уверена, что впереди счастье. Только почему от этого предчувствия хочется плакать?

Она двинулась в палату и споткнулась. Так и упасть недолго!.. Это палка задела за приподнявшийся край толстой каменной плиты. А между камнями пробились и тянулись вверх острые стебельки травы, живые и свежие.

«Как мы! — думает Валентина. — Болезнь нас придавила, накрыла с головой, а мы пробиваемся, тянемся вверх!..»

— И пробьемся! — тихо говорит она. — Слышишь, Марк? Слышите, все? Пробьемся!



---

БОРИС МУРТАЗОВ

★

## В ДАРЬЯЛЬСКОМ УЩЕЛЬЕ

Весна над Военно-Грузинской дорогой.  
И вот я опять озираю просторы:  
С веселой отвагой, с пытливой тревогой  
Народ отовсюду съезжается в горы.

С подножья Казбека глядит в поднебесье,  
Как будто на дальний заманчивый берег.  
Китайскую речью и чешскою песней  
Сегодня увлекся стремительный Терек.

Берлинец берет «Осетинскую лиру»<sup>1</sup>  
И сердца Коста ощущает удары.  
И Моцарт раздольно плывет по эфиру —  
По радио с башни царицы Тамары.

Автобус в пути догоняет «Победу».  
А пропасти — рядом, как вечность, бездонны..  
Румын продолжает с индусом беседу,  
Их смех оглашает Кобийские склоны.

Шотландцы толкуют о том осетине,  
Кем сыгран Отелло, и рады удаче.  
По просьбе албанцев, что нас посетили,  
Мы начали песню душевную — «Тáуче».

Мы счастьем дышали, как путник у цели,  
И речь нашу русскую даль повторяла..  
Как было нам тесно в Дарьяльском ущелье —  
Весь мир поместился в ущелье Дарьяла!

*Перевел с осетинского Лев Озеров.*

---

<sup>1</sup> Книга стихов Коста Хетагурова.



---

---

ГИГО ЦАГАРАЕВ

★

## ГОРНЫЙ РОДНИК

С горных круч стремительно срываясь,  
Пробивает путь он средь камней.  
Чист родник тот, и о нем молва есть  
Добрая на родине моей.

Пушкин, возвращаясь из Арзрума,  
К роднику напиться подходил,  
И у скал, что высятся угрюмо,  
Лермонтов за бегом вод следил.

Сердце здесь от боли успокоя,  
Подолгу просиживал Коста.  
И строка рождалась за строкою,  
Как родник свободна и чиста.

Ночевал не раз с сынами Ира  
От звенящих вод невдалеке  
Незабвенный друг товарищ Киров,  
И летит молва о роднике.

Сила ему звонкая досталась,  
Не мутит его дождей поток.  
Путника далекого усталость  
Исцеляет вод его глоток.

А когда, январской скован стужей,  
Кажется, навек он замолчит,  
Все же пробиваются наружу  
Светлые и звонкие ключи.

В грозы с гор срываются обвалы,  
И бывает ими путь забит.  
И тогда с упорством небывалым  
Глыбы он тяжелые дробит.

Вдаль летит он, камни сотрясая,  
Победив преграду не одну,  
В бурный Терек звонкую бросает  
И непокоренную волну.

Горные потоки собирая,  
Наберется Терек новых сил  
И зальет от края и до края  
Русло — непокорен и красив.

Родникам он силою обязан.  
Но родник бы моря не достиг,—  
Край родной мой так с Россией связан,  
Как с рекой могучею родник.

*Перевел с осетинского О. Зверев.*



---

---

# ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

С. МАРШАК

★

## ОБ ОДНОМ СТИХОТВОРЕНИИ

**М**ы хорошо помним, что все настойчивые попытки Сальери музыку «разъять, как труп» и поверить «алгеброй гармонию» оказались бесплодными.

Произведение искусства не поддается скальпелю анатома. Рассеченное на части, оно превращается в безжизненную и бесцветную ткань. Для того, чтобы понять «что внутри», как выражаются дети, нет никакой необходимости нарушать цельность художественного произведения. Надо только поглубже взглянуть в него, не давая воли рукам.

Чем пристальнее будет ваш взгляд, тем вернее уловите вы и смысл и поэтическую прелесть стихов.

С детства я знал наизусть стихотворение Лермонтова «Выхожу один я на дорогу». Лет в двенадцать-тринадцать я бесконечное число раз повторял его и любил до слез. Но, перечитывая эти стихи теперь, на старости лет, я как будто заново открываю их для себя, и от этого они становятся еще загадочнее и поэтичнее.

Только сейчас я замечаю, как чудесно соответствуют ритму нашего дыхания сосредоточенные, неторопливые строки с теми равномерными паузами внутри стиха, которые позволяют нам дышать легко и свободно.

Выхожу один я на дорогу;  
Сквозь туман кремнистый путь блестит;  
Ночь тиха. Пустыня внемлет богу,  
И звезда с звездою говорит.

Читая две последние строчки этого четверостишия, вы спокойно переводите дыхание, будто наполняя легкие свежим и чистым вечерним воздухом.

Но ведь об этом-то ровном, безмятежном дыхании и говорится в предпоследней строфе:

Я б желал навеки так заснуть,  
Чтоб в груди дремали жизни силы,  
Чтоб дыша вздымалась тихо грудь...

В сущности, дышит не только одна эта строфа, но и все стихотворение. И все оно поет. Как в песне, в этих стихах одна строфа подхватывает последние слова другой, предыдущей строфы.

За стихом

Жду ль чего? жалею ли о чем?

следует:

Уж не жду от жизни ничего я...

После строфы, кончающейся словами:

Я б хотел забыться и заснуть! —

следуют слова:

Но не тем холодным сном могилы...

Эта неразрывная песенная вязь как бы подготавливает читателя или слушателя к тем заключительным строчкам стихов, где уже и в самом деле слышится пение:

Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея,  
Про любовь мне сладкий голос пел...

Так органично связаны воедино поэтическое содержание и стихотворная форма. Размер, ритм, аллитерации, рифмы, цезура служат одной музыкальной и смысловой теме. Все это как бы «косвенные улики», вещественные доказательства, подтверждающие наличие длинных мыслей и чувств у поэта и позволяющие отличить автора-свидетеля от автора-лжесвидетеля.

Стихотворение кончается словами:

Надо мной чтоб вечно зеленея  
Темный дуб склонялся и шумел.

И долго после того, как закроешь книгу, слышишь этот шум ветвей. Последняя строчка лирических стихов — на самом деле не последняя: она оставляет за собой, как эхо, долгий гул — след отзвучавшей музыки.

Стихи, о которых идет здесь речь, научили меня в юности любить лирическую поэзию. На склоне лет я отнюдь не собирался и не собираюсь подвергать их разбору. Я хотел только поблагодарить поэта.



---

Б. БУРСОВ

Доктор филологических наук



## ТЕКСТОЛОГИЯ И ИДЕОЛОГИЯ

**Д**авно стало общеизвестной истиной, что неверные текстологические решения порой ведут к искажению идейного и художественного смысла произведения. Тем не менее об этой истине не вредно напомнить. Особенно когда для этого есть основания. В данном случае таким основанием послужит пример с историей печатания одного стихотворения Пушкина. Да простят меня пушкинисты за вторжение в область пушкинской текстологии! Но ведь речь идет о Пушкине... Здесь и мнение профана может оказаться небесполезным, если, конечно, под этим мнением есть какая-то почва.

История, которую я хочу рассказать, началась очень просто. Я взял в руки второй том нового Собрания сочинений Пушкина, издаваемого Гослитиздатом (М. 1959). Издание солидное. На титульном листе перечислены имена членов редакционной коллегии: Д. Д. Благой, С. М. Бонди, В. В. Виноградов, Ю. Г. Оксман. Все они виднейшие наши пушкинисты. Читатель предупреждается: тексты даются по Собранию сочинений А. С. Пушкина, выпущенному Академией наук СССР, в шестнадцати томах. И у читателя не может не возникнуть доверия к новому изданию произведений любимого поэта.

В таком приятном настроении я стал перелистывать том с пушкинской лирикой. Давно знакомые, такие привычные и в то же время вечно новые стихи. И вдруг на странице 583 внимание задержалось. Здесь напечатано стихотворение «Опять увенчаны мы славой», которое в моей памяти запечатлелось своей патриотической темой, перерастающей в свободолубивую. Я не узнал этого стихотворения. Передо мной было нечто совсем другое — восьмистишие, в котором прославляется завоевательная война России с Турцией.

Опять увенчаны мы славой,  
Опять кичливый враг сражен,  
Решен в Арзруме спор кровавый,  
В Эдырне<sup>1</sup> мир провозглашен.

И дале двинулась Россия,  
И юг державно облегла,  
И пол-Эвксина вовлекла  
В свои объятия тугие.

Крайне смутившись, я перевернул страницу. И тут я понял, в чем дело: запомнившееся мне как одно цельное, стихотворение разделено здесь на два самостоятельных. Чигаю второй отрывок.

---

<sup>1</sup> Турецкое название Адрианополя.— Б. Б.

Восстань, о Греция, восстань.  
Недаром напрягала силы,  
Недаром потрясала брань  
Олимп и Пинд и Фермопилы.

Под сенью ветхой их вершин  
Свобода юная возникла,  
На гробах ..... Перикла,  
На ..... мраморных Афин.

Страна героев и богов  
Расторгла рабские вериги  
При пенье пламенных стихов  
Тиртея, Байрона и Риги.

Мало того, что из одного стихотворения сделано два, — каждое из них, кажется, не имеет ничего общего с другим: одно славит завоевательную политику царской России, другое — освободительное движение Греции. Но и это еще не все: в последнем отрывке вторая строфа поставлена на место заключительной, а заключительная сделана второй строфой.

О первом стихотворении в комментарии сказано: «Написано по по в о д у<sup>1</sup> мира в Адрианополе, заключенного 2 сентября 1829 г. и завершившего войну с Турцией 1828—1829 гг.». О втором стихотворении сообщается, что оно «написано в с в я з и (заметьте, «в с в я з и», а не «по поводу». — Б. Б.) с Адрианопольским миром, по которому Греция получила независимость, хотя и неполную». О 2 сентября 1829 года во втором случае не упоминается. Может быть, было два мирных трактата — один завершал войну, а по другому Греция получила независимость? Навожу справку. Нет, мир был в Адрианополе заключен однажды, и трактат был один. Но к историческим фактам, видимо, еще придется вернуться.

В конце примечания к отрывку «Восстань, о Греция, восстань» сделана следующая приписка: «Восстань, о Греция, восстань...» находится на обороте листа со стихотворением «Опять увенчаны мы славой...». Некоторые исследователи на этом основании считают первое стихотворение продолжением второго. Однако разные темы (заметьте, читатель, разные: одно «по поводу» Адрианопольского мира, а другое «в связи» с Адрианопольским миром. — Б. Б.) и настроения (в первом у Пушкина настроение официально-патриотическое, а во втором — революционное. Так, по-видимому? — Б. Б.) этих стихотворений не позволяют согласиться с такой реконструкцией».

Кто производил реконструкцию? Что это за реконструкция? Есть ли для нее основания? Об этом ни слова.

Пришлось прибегнуть к помощи других источников. Достал я первую и вторую книги третьего тома Пушкина в издании Академии наук СССР, в шестнадцати томах. Да, действительно, новое издание воспроизводит пушкинские тексты по этому изданию. Здесь также перед нами два стихотворения вместо одного и то же расположение строф.

Углубляюсь в комментарий (книга 2, стр. 1187), написанный, кстати, тем же самым лицом, что и в новом издании, — Т. Г. Цявловской. Узнаю, что строфы, начинающиеся словами «Восстань, о Греция, восстань», впервые были напечатаны еще Анненковым в 1857 году в его издании Сочинений А. С. Пушкина как «План стихотворения в честь Греции». Они упомянуты в седьмом томе (стр. 87—88) и отнесены к 1823 году, к эпохе пребывания Пушкина на юге, когда глаза всего края были обращены на происшествие в Греции».

<sup>1</sup> Везде разрядка моя. — Б. Б.

Потом комментатор отсылает нас к И. А. Шляпкину. Пришлось разыскать его книгу «Из неизданных бумаг А. С. Пушкина» (Спб., 1903). Здесь на страницах 16—17 черновик стихотворения напечатан полностью, строфы расположены так же, как и в автографе. Однако Шляпкин как раз и положил начало печатания одного пушкинского стихотворения как двух самостоятельных и разных. Правда, он при этом сделал любопытную оговорку: «Данное стихотворение («Опять увенчаны мы славой». — Б. Б.), как и нижепомещаемое (Восстань и пр.), оба относятся к окончанию Турецкой войны и быть может составляют одно целое...». Робость консервативно настроенного Шляпкина, по всей видимости, объясняется тем, что уж очень вольнолюбив дух последних строф. И он спешит добавить: «Как бы то ни было, наше стихотворение указывает на поднятие патриотического чувства в Пушкине».

Далее в комментарии говорится:

«Б. В. Томашевский видит в стихотворениях «Опять увенчаны мы славой» и «Восстань, о Греция, восстань» — единое стихотворение и во втором тексте предлагает иную последовательность четверостиший (надо было бы сказать не «иную», а такую же, как в автографе. — Б. Б.). Текст этот напечатан в книге «А. Пушкин. Сочинения. Издание второе, исправленное и дополненное. Редакция, биографический очерк и примечания Б. Томашевского. Вступительная статья В. Десницкого. Л., 1937, стр. XLIX». В заключение комментарий указывает: «Печатается по автографу». (Следовало бы отметить: с изменением порядка строф против автографа.)

И все. О своем согласии или несогласии с Б. В. Томашевским — ни звука.

Такова позиция автора комментариев в 1949 году. В принципе он и в 1959 году стоит на той же самой позиции, которую лишь несколько видоизменяет. Теперь уже имя Б. В. Томашевского не упоминается, но зато говорится, что с его точкой зрения («реконструкцией») согласиться невозможно.

Кто же на самом деле занимался реконструкцией пушкинского текста?

Ясно, что не Томашевский, а те редакторы, которые, следуя, в общем, за Анненковым, печатали отрывок «Восстань, о Греция, восстань» как образец революционной пушкинской лирики, а начиная с 1903 года, следуя за Шляпкиным, строфы «Опять увенчаны мы славой» выдавали за патриотическое славословие.

Печатая все пять строф, начинающиеся словами «Опять увенчаны мы славой», как одно стихотворение, Б. В. Томашевский пишет в примечании: «Необработанный набросок стихотворения, посвященного Адрианопольскому миру, заключенному 2 сентября 1829 г. По этому мирному договору Россия приобрела острова в устье Дуная и ряд городов на Черноморском побережье Кавказа. Греция получала независимость. Стихотворение это долгое время печаталось ошибочно как два самостоятельных наброска. По ошибочной догадке редакторы переставляли отдельные строфы, придавая им не тот смысл, какой они имеют»<sup>1</sup>.

Здесь, я думаю, необходимо привести стихотворение целиком, как оно напечатано в издании под редакцией Б. В. Томашевского.

Опять увенчаны мы славой,  
Опять кичливый враг сражен,  
Решен в Арзруме спор кровавый,  
В Эдырне мир провозглашен.

<sup>1</sup> А. С. Пушкин. Полное собрание сочинений. В десяти томах. Изд. АН СССР, М.—Л. 1949, т. III, стр. 502.

И дале двинулась Россия,  
И юг державно облегла,  
И пол-Эвксина вовлекла  
В свои объятия тугие.

Восстань, о Греция, восстань.  
Недаром напрягала силы,  
Недаром потрясала брань  
Олимп и Пинд и Фермопилы.

При пеньи пламенных стихов  
Тиртея, Байрона и Риги  
Страна героев и богов  
Расторгла рабские вериги.

Под сенью ветхой их вершин  
Свобода юная возникла,  
На гробах ..... Перикла,  
На ..... мраморных Афин.

Как уже сказано, во всех изданиях, исключая те, которые выходили под редакцией Б. В. Томашевского, пятая строфа стоит на месте четвертой и — наоборот. Очевидно, редакторы усматривают в пушкинском автографе какое-то нарушение смысла. Легко догадаться — какое.

Третья строфа кончается: «Олимп и Пинд и Фермопилы».

Пятая начинается: «Под сенью ветхой их вершин».

Казалось бы, ясно, какие имеются в виду вершины. Отсюда вывод: необходимо исправить ошибку автографа. Странно, что редакторы тома не заметили такой простой вещи: Фермопилы, например, совсем не вершина. В книге второй на странице 1340 они сами, то есть редакторы, написали буквально следующее: «Фермопилы, горный проход на сев. Греции», то есть, иначе говоря, у ш е л ь е.

В своем примечании к стихотворению Б. В. Томашевский приводит строчку «под сенью ветхой их вершин» и убеждает при этом, что имеется в виду Афинский Акрополь. К сожалению, он не развернул всей своей аргументации, считая, очевидно, что и так все ясно. Ведь на его стороне были не только здравый смысл и неотвратимая логика, но и сам Пушкин: Томашевский печатал, как написано у Пушкина.

Вчитываемся в четвертую и пятую, по автографу, строфы. Возьмем две последние строчки четвертой строфы:

Страна героев и богов  
Расторгла рабские вериги...

Теперь прочтем первую строчку пятой строфы:

Под сенью ветхой их вершин...

Иначе говоря, вершин, на которых обитали герои и боги, то есть именно Афинский Акрополь. А дальше, в третьей и четвертой строчках заключительной строфы, упоминаются Перикл и Афины. И вот эта древняя («ветхая») афинская демократия сопоставляется с юной свободой (см. вторую строчку заключительной строфы), которая только что возникла.

А теперь вернемся к историческим фактам и к теме пушкинского стихотворения. Как известно, Адрианопольский мир предоставлял Греции независимость от Турции. Это была одна из задач войны 1828—1829 годов, которую Россия вела против Турции. И этим была популярна эта война.



Так и именовалась она — «война за греческую независимость». Другое дело, что Россия в результате войны стала «властителем Востока». Но именно то и характерно для Пушкина, что, отозвавшись на победоносный для России мир, он был одушевлен освободительным, а не завоевательным пафосом победы. Мысль стихотворения развивается логично от строфы к строфе. Если бы не было событий, изложенных во второй строфе, то есть движения на юг, черноморских сражений, Греция не могла бы «восстать», то есть подняться после многовековой борьбы. Благодаря исходу войны России с Турцией оказывалось, что Греция «недаром напрягала силы» последние семь лет. Брань, которая потрясла «Олимп и Пинд и Фермопилы», состояла в сражениях, участниками которых были не одни греки, но и их союзники, ставшие на защиту независимости Греции. Это были бои 1828 и 1829 годов, за которые Россия и увенчалась славой. Спрашивается, где же «разные темы» двух отрывков и «разные настроения», их разъединяющие? Аргумент по меньшей мере наивный. Другое дело, что вольнолюбивая энергия строф, посвященных освобожденной Греции, не могла понравиться Николаю I, который ориентировался на диктатуру Каподистрии, державшую Грецию в сфере влияния русского деспотизма. Известно, что правительство ожидало от Пушкина, которому разрешили побывать в армии Паскевича, патриотических песнопений. То, как это сделал Пушкин, несомненно не понравилось бы Николаю I (почему, вероятно, стихотворение и осталось недоработанным. Пушкин и без цензуры понял, что для печати оно не годится, а переделывать не захотел).

Таковы факты. Они показывают, как тесно сомкнуты текстология и идеология. Приходится сожалеть, что этот принцип иногда забывается даже в весьма солидных изданиях.



---

---

# НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

ЛЕВ ЛЮБИМОВ

★

## ДВЕНАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ

**У**тро было морозное, и все вокруг Внуковского аэродрома дышало русской зимой. Но лишь только самолет «Эр Франс» набрал высоту и молоденькая стюардесса с осиной талией, гостеприимно засияв улыбкой, обращенной ко всем и к каждому, объявила нам, что сейчас будет подан завтрак, состоящий из таких-то блюд, а стюард деловито добавил, что к нашим услугам лучшие табачные изделия и вина, как я почувствовал себя полностью во Франции, где люди с таким вкусом и знанием умеют пользоваться земными радостями и где мне довелось некогда прожить почти четверть века.

А когда несколько часов спустя я очутился вновь на французской земле, мое демисезонное пальто показалось мне нестерпимо тяжелым, изнуряющим: разница с московской температурой достигла в этот день почти тридцати градусов...

Засияли огни кафе, замелькали рекламы, бесконечный поток машин, в котором была и наша, устремился к главным артериям, и там в первые минуты при виде таких знакомых (словно я их покинул вчера) памятников, площадей, перекрестков я подумал, что Париж совершенно не изменился и что все та же жизнь бьет ключом в этом городе, некогда общепризнанной столице мира.

Я пробыл в Париже целый месяц, и мне кажется, что это первое впечатление было правильным, но в том только, что касается внешнего облика великой столицы. Неоновый свет совсем новым холодным блеском озаряет по вечерам Елисейские поля. Но ни этот свет, ни даже американская аптека — «драг-стор», — где продают и сосиски, в двух шагах от Триумфальной арки, не меняют общего впечатления давно утвердившейся роскоши и красивой, органически сложившейся здесь архитектуры. Автомобилей так много, что (невиданное прежде дело!) стоянкой служит им сам тротуар, где они порой выстраиваются в два-три ряда, а их владельцы часто предпочитают пользоваться метро, чтобы не опоздать из-за заторов. Постройки, отражающие поиски новой архитектуры путем отказа от всех прежних архитектурных форм, образуют иногда целые кварталы — островки коробкообразных зданий с монотонными вереницами квадратных окон. Новый стиль, по-новому манящее великолепие витрин: пластмасса используется здесь с тонким вкусом, а из Америки идущая резкая пестрота красок — с чисто французским чувством меры.

Все это так, но общий облик Парижа прежний: в непосредственном соседстве с прочной, величавой архитектурой Дома инвалидов, с его твердо вросшим в землю фасадом. Дом ЮНЕСКО выглядит случайной фантазией из бетона и стекла, временно приютившейся на каких-то сваях. И откуда ни взгляни, Париж в своем основном ансамбле изменился не больше, чем наш Ленинград. И слава богу! Красивейшим городам мира опасны слишком быстрые метаморфозы. Но печально другое: фасады парижских домов обветшали и почернели, а так как именно эти старые дома из серого камня определяют облик знаменитого города, кажется, что он весь как-то закоптел, потрескался и слинял. Но это ничем как будто не оправдано, раз мирная, обычная жизнь фактически не нарушалась здесь уже много лет. И какой же контраст с рос-

кошью витрин и вечерних туалетов, мелькающих перед уличной толпой, когда в какое-нибудь посольство или особняк съезжается на прием «весь Париж»!

Однако во внутренней жизни Парижа, в самом настроении, можно даже сказать, мирозерцании парижан кое-что, как мне кажется, изменилось. Но это обнаруживается не сразу.

Когда после чуть ли не трех десятилетий, проведенных на чужбине, я снова оказался в моем родном Ленинграде, меня охватила как бы лихорадка, и я бродил по бесконечно дорогим мне местам в каком-то восторженном упоении. Думаю, что мои ощущения были бы тождественны, если бы я вернулся на родину и на двадцать лет раньше. А когда двенадцать лет спустя я снова попал в Париж, с которым у меня были связаны уже не воспоминания самой ранней юности, как с Ленинградом, а лучшие, зрелые годы жизни, я в первый же день, в первый час почувствовал себя так, будто никогда не покидал этого города,— одним словом, без особого волнения, как-то привычно, ощутил себя вновь на крепко насиженных местах.

Да, конечно, с возрастом годы текут быстрее, и потому разлука с Парижем могла мне представиться кратковременной. И все же дело не в этом. Я люблю Францию искренне и давно, люблю французов, во многом восхищаюсь ими, во многом, вероятно, даже с ними сроднился, а французская культура дорога мне с юношеских лет. Но все же Франция никогда не представлялась мне второй родиной просто потому, что второй родины не бывает.

А кроме того — и это самое существенное, — я вернулся в 1948 году на родину обновленную, совершенно иную, чем та, которую я покинул в 1919 году. Франция же, несмотря на некоторые, пусть и весьма важные, политические преобразования, осталась по существу все той же и в социальных отношениях и в быту. Да, все той же старой Францией!..

Но то новое, о котором я упомянул? Оно не так разительно, и думаю, что ощутить его полностью может только тот, кто очень долго и близко соприкасался с французской жизнью.

\* \* \*

Хочу прежде всего оговориться: в годы, прожитые во Франции, я в силу многих обстоятельств, о которых в свое время подробно писал на страницах «Нового мира», общался преимущественно с французскими буржуа. О них, то есть о правящем классе Франции, и пойдет сейчас речь.

Пятнадцать лет прошло после второй мировой войны. Чтобы увидеть, каким стал нынешний французский буржуа, нужно представить себе, каким он был через столько же примерно лет после первой, потому что судьбы Франции в этих войнах имели коренное значение для всего дальнейшего развития страны.

В первую мировую войну Франция понесла огромные потери, выдержала на своих плечах бремя, пожалуй, ей даже непосильное, сыграла в победе первостепенную роль. Французский буржуа того поколения, которое либо участвовало в войне, либо выросло в эти грозные годы, по мере того как они уходили в прошлое, становился все самонадежнее и все более склонным к самообольщению: очевидно, слишком велико было усилие, которое за двадцать лет до этого история потребовала от Франции.

Буржуа твердо верил, что Франция, именно Франция, как бы независимо от ее союзников, выиграла войну, оказалась сильнее Германии, верил, в общем, во все, что позволяло ему спать спокойно, вкушая радости жизни, и по мере возможности богатеть, преодолевая экономические кризисы. Так, без особого труда, он крепко убедил себя в том, что установленный во Франции государственный строй — наилучший для народа и что народ этот отменно им доволен, что Франция очень сильна, ну хотя бы уже потому, что владеет необъятной колониальной империей, многомиллионное население которой опять-таки отменно довольно французскими порядками, почитает себя облагодетельствованным Францией и, если понадобится, с готовностью будет защищать его, французского буржуа, от всякого внешнего врага; поверил, наконец, что линия Мажино так крепка, что даже в случае войны можно будет за ней спокойно отсиживаться, пока у противника не остынет боевой пыл и он не отступит с позором.

Про французского буржуа говорили когда-то, что он очень любит ордеи и не знает географии. Этим подчеркивалась, во-первых, его склонность удовлетворяться чисто внешними признаками авторитета, а во-вторых, его полное незнание окружающего Францию мира. Да, он не знал других стран и не хотел знать. В парижских кабаках куплетисты восхваляли Францию потому, что нигде так не сладко в объятиях любимой, нигде так не ласкова природа, нигде нет такого сыра и вина; подобное мироощущение полностью удовлетворяло французского буржуа. Он принимал безоговорочно голословное утверждение, что универсальное превосходство Франции — аксиома и, значит, не требует доказательств.

Постараемся же заглянуть еще в душу французского буржуа, каким он был в благодатные годы между двумя мировыми войнами. Буржуазный Париж засасывает мягко и последовательно. Буржуазный Париж создает иллюзию радости, прочного благополучия. В этом его власть. Чары Франции к его услугам: чары природы и исторической славы, чары искусства и острого галльского ума, чары жизненных удобств, тонкой кухни и беззаботного скептицизма, чары подлинные и обманчивые, лукавые.

Прежде всего сам Париж. Французский буржуа слышал с юных лет, тысячи раз читал в солиднейших трудах и бульварных газетах, что Париж — центр мира, на который с восхищением и завистью смотрит все человечество.

«В час аперитива», то есть перед обедом, когда полагается возбуждать аппетит стаканом вермута или портвейна, буржуа восседает триумфатором на террасе кафе.

Он богат, и все так красиво кругом!

Вон там Вандомская колонна, отлитая из русских пушек во славу Аустерлица, с маленьким Наполеоном в тоге римского императора. У ног завоевателя площадь и улицы, где выставлена напоказ вся роскошь французской столицы. Рим и Берлин, Лондон и Нью-Йорк обращают сюда свои взоры: какие сверкающие алмазами ожерелья, какие платья, какие новые духи выпустит в этом году Париж? Сейчас из ателье выйдут после работы манекенши: их стройный стан и веселое щебетание приведут буржуа в полное умиление, и глаза его подернутся маслом.

А рядом — площадь Согласия. Буржуа твердо знает, что это красивейшая площадь мира, он читал, что в размеренности ее композиции, во всем этом архитектурном ансамбле, залитом светом и воздухом, нашла свое законченное художественное выражение точная ясность французского ума. Изящество и геометрическая точность, величественность и легкость! Впрочем, если буржуа молод, если в нем еще живо непосредственное восприятие изящного, он восхищается этой площадью не только с чужих слов. Так восхищается он и всем Парижем: стрелой Елисейских полей, уходящей туда, где в лучах вечернего солнца пылает Триумфальная арка, стройными громадами Лувра, великим наследием культуры, которое здесь открывается взору чуть не на каждом шагу.

В сорок лет буржуа менее склонен к восторгам чисто эстетического порядка. Но он любит прокатить на машине элегантную женщину вдоль зеркальных озер Булонского леса, любит прокатиться и по шумному Латинскому кварталу, мимо Пантеона, Сорбонны, вспоминая свои студенческие годы, по набережной Сены, где старички букинисты торгуют под открытым небом, мимо Дома инвалидов, который олицетворяет военную славу Франции, по старым аристократическим улицам, где величественные особняки прячутся за высокими оградами, по роскошным и тихим кварталам парков Монсо или Мюзетт, но тщательно избегает рабочих пригородов, переулков с закопченными домами, огромных хмурых кварталов, а если все же попадает туда, не глядит по сторонам: ему ведь хочется любоваться...

В сорок лет у буржуа подлинным культом становится процесс насыщения, и он считает своим долгом постигнуть кулинарное искусство самых дорогих ресторанов, которые он также причисляет к национальным достопримечательностям наравне с Собором Парижской богородицы или гробницей Наполеона.

Его завтраку или обеду обычно предшествует короткое совещание. Перед столом вытягиваются метрдотель и «соммелье» — официант в переднике, ведающий винами. Они слушают, записывают, консультируют.

Буржуа, например, решил заказать устрицы. Метрдотель докладывает, какой сорт их особенно хорош сегодня. Буржуа оглядывается на соммелье. Устрицы — это море. Но что море без солнца? Вот и надо подать к устрицам такое белое вино, в котором играло бы солнце, благодатное солнце Франции! А к порции «жигу», то есть жаркого из сочной розовой бараньей ляжки, лучше всего красное густое бургундское, душистое, как и баранина. Буржуа отпил глоток, но на лице его нет полного удовлетворения. «Не нравится, мсье?» — и, не дожидаясь ответа, соммелье устремляется в погреб за другой бутылкой.

Но что выпить напоследок? Опять совещание. Соммелье рекомендует белую эльзаскую водку на малине. Решено. Глоток дымящегося черного кофе и другой, меньший, ароматного крепкого напитка. Ну, теперь совсем хорошо!

Красоты знаменитого города, тысячи раз воспетые и потому лстящие самолюбию, ореол блестящей столицы, где цветут науки и искусства, Пастеровский институт и гастрономия, триумфальные арки во славу былых побед и плотная сытость, дурманящая сознание, шум вокруг книжной новинки или театральной премьеры, память о вольтервовском остроумии и нынешнее его преломление в шуточках «на злобу дня», возможность, не стесняя себя, предаваться излюбленным удовольствиям — все это составляет для буржуа единый комплекс, который он и выражает двумя словами: «Ах, Париж!»

...А кроме Парижа — вся Франция.

На своей машине буржуа в три часа доедет до Довиля. Там, у морских волн, в отелях собирается в августе «весь Париж», а в казино бросают целые состояния на карту первейшие денежные тузы Старого и Нового света. Порой богатый буржуа выезжает из Парижа на один вечер только для того, чтобы отведать в старинном Руане знаменитой руанской утки с апельсинами. Он знает все уголки Франции и разъезжает по ней, как по своей вотчине. Вот исторический замок, купленный парижским банкиром. Ему известно, сколько банкир истратил на ремонт раззолоченных покоев, какую содержит актрису и какие фирмы находятся в его подчинении. Подъезжая к Лиону, он размышляет умильно о богатстве и важности лионских магнатов шелка, обитающих в мрачных массивных домах, обнесенных, как крепости, высокими оградами, однако не забывает, что в этом городе есть крохотный, хоть и страшно дорогой ресторанчик, где подается самая лучшая во Франции разварная пулярка «в полутрауре» (это значит — начиненная трюфелями), а к ней божественное вино Шатонеф-дю-пап. И так же тонко он знает, что Шартрский собор — чудо архитектуры и гордость его народа, что каждый город Франции — роскошный музей знаменитых памятников культуры. Он едет от достопримечательности к достопримечательности, едет и любит: «Ах, как хорошо мне жить в этой бесподобной стране!»

...Бурлящий Марсель в ярких красках юга. Солнечный Прованс с платанами и оливковыми рощами, со своей поэзией, своим искусством, где звучит отклик классической древности, прекрасной юности человечества. Приземистая Бургундия с ее бурой готикой. Розовая Тулуза. Замки Луары — утонченная роскошь французского Возрождения. Тучная Нормандия, где все пахнет яблоками. А Гасконь! А Овернь! А Бретань!..

Где бы он ни останавливался на завтрак или обед, буржуа требует обязательно местный сыр и местное вино, «чтобы вкусить душу края». Долго расспрашивает про местных именитых людей: кто сплоховал, а кто разбогател еще больше, кто женился, кому изменяет жена... Ведь они тоже «душа края». И все это тот же буржуазный мир, его мир, над которым, как солнце, сияет «весь Париж».

А какие кругом озера, горы, леса! Какие курорты, один прославленнее другого, где бьют целебнейшие источники и где играют в казино до утра. Скорее в Виши лечить печень от каждодневной нагрузки доброго вина! У буржуа достаточно денег и для удовольствий и для врачей. А какие пляжи! На все вкусы: знойные, как в Жуан-ле-Пен, где весь день греешься на песке, или закаляющие, как в Бретани, со свежим бодрящим ветром. А Биарриц с его буйными волнами и гостиницами-дворцами! И все действительно рядом. Рукой подать. В Байонне — бой быков, а на севере — петушинные бои. Все есть! Как хорошо жить, когда у тебя капитал!

Герцога де Сен-Симона упрекают в том, что он видел во Франции только аристократию, в аристократии — только герцогов и пэров, а среди герцогов и пэров — только

самого себя. Буржуа готов посмеяться над таким чванством знаменитого мемуариста, но сам видит в мире лишь Францию, во Франции — лишь буржуазию, а в буржуазии — лишь «весь Париж», то есть свое собственное увенчание.

Я прожил в Париже многие годы как раз в тот период, когда самодовольство буржуа достигло, пожалуй, своего апогея. Чем больше туч собиралось над Францией, чем уязвимее становилось ее положение в мире, тем пышнее росло это самодовольство.

...Тот буржуа, которого мне довелось наблюдать в нынешнем году, стал несколько иным. Раз я уж так много говорил о еде, отмечу, что нынешний французский буржуа столь же требователен к кухне, столь же разборчив в яствах и винах, но ест меньше. Сказалась вынужденная школа военных лет, когда волей-неволей приходилось себя ограничивать, а кроме того, психологическое воздействие упорного, не останавливающегося ни перед какими жертвами стремления женской половины буржуазного (да и не только буржуазного) западноевропейского и американского общества сохранить на любом десятке лет стройную фигуру и девичью талию... В результате французский буржуа утратил в своем внешнем облике некоторую долю солидности, в общем стандартизировался на англосаксонский лад, зато, несомненно, приобрел более спортивную внешность.

Две огромные чужеземные армии последовательно занимали французскую территорию. Первая, армия захватчиков, несла с собой ужас и страх, наглядно убеждая каждого, что Франция одна с ней не может справиться. Вторая пришла как освободительница со всеми богатствами великой заокеанской державы, но это богатство и эта мощь крикливо навязывали французам свое непрекращаемое превосходство.

И вот нынешнего буржуа уже не упрекнешь в незнании «географии», то есть внешнего мира. Начиная с 1940 года он с иностранцами насоприкасался вдоволь. События показали ему, что Франция уже не обособленный мир и, следовательно, прошло время замыкаться в ней, как в скорлупе. Послевоенное развитие западноевропейского туризма очень благоприятствовало новым его настроениям.

Теперь буржуа выезжает в Рим, Лондон или Мадрид столь же часто, как некогда в Лион или Руан, а Америка с ее «образом жизни», в данном случае «драг-сторами» и «стрип-тизами» (о них речь впереди), у него в Париже под боком. Налет космополитизма очень импонирует французскому буржуа, и он с удовольствием ощущает его на себе.

Но радостным никак нельзя назвать его нынешнее настроение. Прежнее самообольщение исчезло — его сменили тоска и тревога.

Недавно скончавшийся прекрасный поэт Фернан Грег, член знаменитой французской Академии «бессмертных», где, по идее, должна быть представлена культурная элита нации, ее, так сказать, квинтэссенция, несколько лет назад весьма образно выразил эту тоску в поэме «Мечтание в саду Тюльери».

Вот он гуляет по этому саду, «где всюду, куда ни обратишь взор, как в торжествующем Риме цезарей, рассеяны величественные дворцы», а над ним переменчивое небо, то самое, на которое, с этих же мест, глядели Орлеанская дева и Наполеон. Все говорит здесь о славе «очень старой и великой нации», у которой никакие «кознь судьбы» не отнимут гордого сознания, что «в течение четырехсот лет — одной секунды — она была умственным и чувственным центром мира». Ныне она совсем маленькая страна в сравнении с некоторыми другими: так пусть же поймет Франция без протестов и слез, что эра «былых наций» миновала, что наступил век, когда главенствуют «области-титаны». «Ужас и гордость природы», эти колоссы торжествуют теперь «благодаря своему многолюдью или золоту». Но ведь они лишь дожидались своей очереди, когда слава Франции уже сияла на весь мир...

Что же дальше? «Человек — Эдип, способный убить родного отца, может взорвать и землю», и тогда со всеми другими нациями Франция погибнет в «ослепительном фейерверке ионов». И вот конечная мысль поэта: единственный долговечный плод наших усилий — это память, которую мы оставляем после себя, а раз так, будь же спокойна, Франция, ибо потомство скажет, что ты была новыми и более могущественными Афинами!..

Но как быть сейчас? Из старинного Тюльерийского сада воображение уносит поэта в юный нью-йоркский «Сентрал-парк», «не решаясь на пугливый полет к таинственным дворцам с луковичными крышами»...

Не найти, мне кажется, более точного выражения пессимизма, охватившего часть французской нации, сознания, что она находится на перепутье, нерешительности ее в выборе, о котором так и не дано узнать.

\* \* \*

Я приехал в Париж в историческую неделю, когда вспыхнул в Алжире фашистский мятеж и восстание грозило перекинуться в самую Францию, причем было неясно, какую позицию займет в конечном счете армия. Угроза гражданской войны была очень реальной. Организованный рабочий класс готовился оказать решительное сопротивление фашизму.

Буржуазная печать отводила этим событиям целые полосы (впрочем, столько же места отводила она и процессу знаменитого женеvского адвоката, обвиненного в убийстве). Но в буржуазных кварталах города особого беспокойства не ощущалось, животрепещущих тем было достаточно, так что об алжирских событиях там почти не говорили. При этом такое хладнокровие или равнодушие вовсе не свидетельствовало о скрытом сочувствии алжирским мятежникам — подавляющее большинство населения (в том числе и буржуазного) относилось к ним, напротив, враждебно, но оно также не было результатом уверенности в своих силах (такой уверенности вовсе не существовало), а какой-то странной апатии, усталости.

— Стану я себе голову забивать политикой! Это — дело генерала, — говорила мне лавочница, помнившая меня как старого клиента. — Налоги увеличиваются, цены растут. И все это из-за проклятых колонизаторов, которые хотят навязать свою волю не только арабам, но и нам. Да, да, они желают стать государством в государстве. Пусть уж действует генерал, а у меня и так достаточно хлопот со своей торговлей.

А ведь в годы войны она участвовала в Сопротивлении, распространяла антигитлеровские листовки.

Представители более высоких буржуазных кругов также твердили в один голос:

— Все зависит от генерала. Подождем, что он скажет: он один может повлиять на армию.

Я спрашивал своих собеседников: чем вызван у них такой фатализм? Наиболее откровенные и привыкшие к самоанализу отвечали: разочарованием, горьким сознанием того, что в мировую войну Франция жестоко поплатилась за свою былую самонадеянность, нынешним зависимым положением Франции, жестоким поражением в Индокитае после долгой и бессмысленной войны, беспросветной войной в Алжире, — причем, скажу прямо, я не слышал ни от одного из них даже намека на то, что эта война может быть выиграна.

— Подумайте, до чего мы дошли, — говорил мне старый приятель. — Франция, некогда самая передовая страна, находится под угрозой «пронунциаменто», страшится кучки озлобленных офицеров-неудачников! Да, вся надежда на генерала!

Я был в Париже, когда взорвалась в Сахаре первая французская атомная бомба. В некоторых влиятельных кругах этот взрыв старались представить как доказательство французской великодержавности, долженствующее укрепить престиж Франции на международной арене. Однако в частных беседах со старыми приятелями французами, притом людьми самых различных политических настроений, я опять-таки не услышал ни от одного из них и намека на какую-то гордость по поводу этих экспериментов.

— Ну что ж, — говорили некоторые, — очевидно, это нужно генералу...

А когда генерал де Голль сказал свое веское слово и алжирские мятежники (хором вопившие «Де Голля к столбу!» и даже «Де Голля в Москву!») капитулировали, так что угроза фашистского путча была на время устранена, буржуазные газеты поспешили удвоить место, отводимое сенсационным процессам или описаниям разводов, помолвок и бракосочетаний в мире кинозвезд или коронованных особ...

— Нет, это не прежнее самооблажение,— говорил мне бывший депутат, ныне находящийся в полуопозиции к де Голлю,— а как бы стремление забыться на час-другой от охватывающих нас забот и тревог. Ну в самом деле, что может быть нелепее, нелогичнее продолжения войны, которая, как понимает каждый здравомыслящий человек, уже давно безнадежно проиграна? А между тем ведь французский ум всегда почитался самым логическим... Почему же такой парадокс? Боюсь признаться в несостоятельности затеянной авантюры, тем более что среди нас имеются организованные авантюристы, так называемые «ультра», ура-патриоты, готовые на все и даже на то, чтобы пустить пулеметную очередь в любого инакомыслящего. Это злокачественная опухоль на здоровом теле Франции. А тело здоровое, поверьте, вполне здоровое. Но раз мы не решаемся на операцию, приходится терпеть опухоль и возлагать надежды на генерала: ведь как было бы хорошо, если бы ему удалось ликвидировать ее гомеопатическими средствами!..

В этих заметках я не хотел бы высказывать каких-либо суждений о характере нынешнего французского политического строя, оценивать соотношение сил друг другу противостоящих партийных группировок. Я ездил во Францию по чисто личным, семейным делам, во внимание к которым мне была предоставлена въездная виза, несмотря на то, что некогда я был выслан из Франции в административном порядке вместе с руководителями Союза советских граждан. Высылка эта была ничем не оправдана и произведена, скажу прямо, с полным нарушением самых элементарных гарантий, общепринятых в цивилизованных государствах. Я не хочу подробно возвращаться к этой теме: ведь времена меняются, а в этот мой приезд французские власти проявили ко мне вполне корректное, даже предупредительное отношение.

Но как все же быть, как писать о нынешней Франции, не сказав о самом главном? А главное — это французский народ, то есть именно то здоровое тело нации, о котором говорил мне бывший депутат.

Этот народ по-прежнему жизнерадостен и трудолюбив. Не скептицизм и тоска, а вера в свои силы, в величие Франции определяет его мировоззрение. И это величие он считает излишним доказывать при помощи атомных взрывов на чужих континентах. Он верит в свою творческую энергию, и его веселость, улыбка, искрящаяся шутка, заразительный смех, точно так же как удивительные по точности, законченности или изяществу изделия его опытных и умелых рук,— самое яркое свидетельство жизненности французской нации, гарантия ее славного будущего.

В годы холодной войны французский буржуа создал себе пугало из коммунистических идей, и теперь народ Франции в значительной своей части не представлен в законодательных органах страны, он попросту не допущен в парламент при помощи избирательной системы, специально сфабрикованной, чтобы лишить представляющую его интересы компартию подобающего ей места во французской политической жизни. И вот, говоря об этой системе, все мои друзья французы так или иначе выражали чувство неловкости, смущение и досаду, так как самый факт, что правящий класс прибегает к подобным методам борьбы, никак не свидетельствует о его внутренней силе и подлинной жизненности. Но тут французский буржуа уже часто не в силах совладать с собой. Ведь он понял теперь, что народ вовсе не считает буржуазный строй совершенным, и это сознание, окончательно подрывая былое самообольщение, вселяет в него еще большее смятение и страх, порой прямо-таки панический, который толкает на авантюры...

\* \* \*

Да, времена меняются. Когда в 1946 году я из бесправного эмигранта превратился в советского гражданина, многие мои французские знакомые назидательно заявляли, что я совершил величайшую ошибку, что, пока не поздно, мне следует вернуть советский паспорт и что в Советском Союзе меня ожидает в лучшем случае нищета. И вот я снова оказался среди них. То, что я печатаюсь в советских изданиях, выезжаю за границу и, по всей видимости, доволен своей судьбой, производило заметное впечатление и воспринималось ими скорее сочувственно. Я же испытывал удовлетворение, которое мне было прежде недоступно: говорить с иностранцами не как изгнанник, бла-



годарный за оказанный прием, не как русский, отношение которого к своей стране неопределенно и по существу двусмысленно, а как полноправный представитель своего отечества, не только ни перед кем не заискивающий, но сознающий всем своим существом, что за ним стоит великая страна, удивляющая весь мир своими успехами, своими дерзаниями, могущественная Советская держава, на которую сотни миллионов людей на всех континентах смотрят с великой надеждой и упованием. И как же легко было мне теперь отвечать на вопросы, удовлетворять любопытство иностранцев!

Вот, например, я говорю:

— Конечно, есть области, в которых мы отстаем от наиболее развитых капиталистических стран. Но все наши недостатки объяснимы и исправимы. А главное в том, что у нас все с каждым годом улучшается. Наша жизнь — это постоянное восхождение. Вот я уже двенадцать лет на родине и могу сказать, что в тысяча девятьсот шестидесятом году мы живем гораздо лучше, чем в тысяча девятьсот пятьдесят пятом, а в тысяча девятьсот пятьдесят пятом жили гораздо лучше, чем в тысяча девятьсот пятидесятом.— И спрашиваю в лоб: — Можете ли вы про себя сказать то же самое?

Никто не отвечает утвердительно. А один француз, недавно побывавший в Москве, добавляет:

— Свидетельствую: в России сейчас люди гораздо лучше одеты, чем три года назад, когда я приезжал туда впервые. А мне рассказывали, что уже тогда был значительный прогресс..

В этом плане, самом ясном, самом убедительном, ибо и самом главном, беседа развивается плавно и четко. Постоянная поступь вперед, постоянное улучшение.

— У нас уже поговаривают об отмене налогов. А как у вас в этой области?

Я затронул один из самых больных, прямо-таки гнетущих для них вопросов. Впрочем, можно и не спрашивать — ответы как-то сами собой звучат в ходе беседы, в молчании, в выражении лиц.

Для точности должен, однако, оговориться. Вернувшись в Париж, где у меня было столько друзей и знакомых, я решил придерживаться такого правила: самому ни с кем не искать встречи, но и никому, кто этого пожелает, во встрече не отказывать. В результате я, естественно, не видел пресловутых «ультра», ни вообще лиц, антисоветски настроенных, никаких французских деятелей, частных ко все еще проявляющейся злобной агитации против Советского Союза. Однако те из французских, которые выразили желание встретиться со мной, были в большинстве люди архибуржуазных, сугубо консервативных взглядов. Опять-таки в большинстве они двенадцать лет тому назад, на заре «холодной войны», были на сто процентов проамериканцами, сочувствовавшими подчинению своей страны США, и, следовательно, проявляли себя упрямыми противниками Советского Союза. Так вот характерно, что теперь они очень существенно изменились и прежние боевые настроения почти полностью выдохлись в них. Под влиянием чего? Гадать не приходится: изнуряющей усталости бесплодного напряжения «холодной войны», слишком жестоко оскорбляемого из-за океана национального самолюбия и, главное, неотразимых свидетельств величественных достижений Советского Союза — от покорения целины до сокращения рабочего дня, от постоянных советских предложений, направленных на мир и разоружение, до гордого полета советской ракеты, обогнувшей Луну и открывшей людям ее, казалось, навеки закрытую сторону.

О таких сдвигах в мировоззрении французских буржуа я могу судить по следующему факту: большинство моих знакомых изменилось именно в этом смысле, раз сами пожелали меня видеть, и, повторяю, в полную противоположность тому, что было прежде, воздержались от каких бы то ни было антисоветских высказываний.

Сделать из этого вывод, что они совершили поворот на сто восемьдесят градусов, признались в своих ошибках и американскую ориентацию сменили на советскую, было бы, конечно, опрометчиво. Да и не следует ожидать от них, то есть от французских буржуа, такого поворота. Но вот примерно что говорили мне некоторые из них в те дни, когда в Париже уже начались приготовления к первой встрече Н. С. Хрущева.

— Мы устали от затхлости, в которой жили столько лет. Нам нужен свежий ветер. Мы не уверены, что тот, который веет с Востока, вполне безопасен для нашей старой

державы. Но мы помним, что для наших отцов франко-русский союз был благотворной и незыблемой традицией. А теперь мы с самым живым интересом следим за успехами вашего великого народа. И те новые приемы дипломатии, которые с таким динамизмом и пламенной убедительностью внедряет в международную жизнь глава вашего правительства, многим из нас представляются освежающим контрастом со всем тем, к чему мы безрадостно привыкли за все эти годы.

И когда я покидал Париж, мне было ясно, что вместе с простыми людьми Франции эти далеко не простые, изощренные, чуть ли не ко всему и в первую очередь к самим себе скептически настроенные люди ожидают от приезда Н. С. Хрущева чего-то нового, ободряющего, живительного для всей международной атмосферы.

Дальнейшее блистательно показало, что их надежды были обоснованы.

\* \* \*

В своих воспоминаниях «На чужбине» я сообщал, что главный лидер кадетской партии Милюков в 1943 году, когда ему было уже за восемьдесят лет, написал перед самой смертью статью, в которой по существу ставил крест на всей своей предыдущей упорной и последовательной антисоветской деятельности. Он признавал, что победы советского оружия обязывают пересмотреть все прежние оценки, что эти победы свидетельствуют о плодотворности советских усилий, целесообразности пятилеток, успехах советской промышленности, что многое, казавшееся со стороны чрезмерным и рискованным в советской политике, находит свое полное оправдание в боевой мощи Красной Армии, идеологической крепости, спаянности русского народа. Статья эта, отпечатанная на ротаторе или на машинке, тайно распространялась среди русских, оказывая очень благотворное влияние на умы и способствуя участию русских эмигрантов в движении Сопrotивления.

Некоторые читатели, в том числе и историки, просили меня передать подробнее содержание этой статьи. Но я ничего не мог им ответить, так как этот документ остался у меня в Париже. Теперь я его обнаружил там, в уцелевшей (после обыска) части моего архива. Многие в статье Милюкова утратило сегодня свое значение или является спорным, а то и вовсе неверным. Но не это главное. Привожу следующие знаменательные выдержки, в которых он отвечает на вопрос, с кем быть русским эмигрантам, и старается объяснить, в чем разгадка внутренней крепости советского строя:

«Бывают моменты — это еще Солон заметил и даже в закон ввел, — когда выбор становится обязательным. Правда, я знаю политиков, которые по своей «осложненной психологии» предпочитают отступать в этих случаях на нейтральную позицию. «Мы ни за того, ни за другого». К ним я не принадлежу... Когда видишь достигнутую цель, лучше понимаешь и значение средств, которые применены к ней... Ведь иначе пришлось бы беспощадно осудить и поведение нашего Петра Великого... Советский гражданин... гордится своей принадлежностью к режиму... А главное, он не чувствует над собой палку другого сословия, другой крови, хозяев по праву рождения... Недаром же от всех советских граждан... мы постоянно слышим упорное утверждение, что Россия — лучшая страна в мире».

Я потому процитировал эти заявления Милюкова, что они лучше всего объясняют эволюцию русской эмиграции, принявшую конкретный, можно сказать, массовый характер в годы, когда страшная угроза нависла над родиной, эволюцию, несколько замедлившуюся в разгар «холодной войны», осложнившуюся из-за искусственных попыток создания новой политической эмиграции из так называемых «перемещенных лиц» (кстати, являющихся достаточно обособленной группой, о которой я здесь не пишу), но теперь явно приходящую к своему логическому завершению, то есть к всебыстрейшей ликвидации старой эмиграции как антисоветски настроенной активной политической группы.

Раз признав, что революция обновила и укрепила Россию (как это делает Милюков), русская эмиграция, естественно, должна была рано или поздно самоликвиди-

роваться, причем у лучших русских людей за рубежом сердце в какой-то момент забилось подлинной любовью к родине.

Вот, например, мой старший товарищ по привилегированному учебному заведению, в котором я воспитывался до революции. Он носит имя, некогда прославленное его предком и на русском Парнасе и в летописи военных подвигов нашего народа. Хорошо материально устроен во Франции, давно свыкся с французской жизнью, внешне как будто полностью живет интересами страны, где нашел приют. По семейным традициям он до войны участвовал в каких-то эмигрантских монархических организациях. Мы прежде не были с ним близки, но вот при встрече теперь, в 1960 году, он раскрывает мне свои объятия, и на глазах его я вижу самые настоящие слезы. Как объяснить его волнение? Он говорит об этом откровенно, как бы радуясь своим переживаниям: Я человек, вышедший из того же, что и он, монархического мира, как и он, нашедший некогда во Франции приют, вернулся на родину, обрел там поле деятельности по своему призванию, приехал теперь на короткое время в Париж и снова возвращаюсь домой, в Москву! Он видит во мне как бы живую связь с великой, могущественной и славной страной, его родиной, все еще для него таинственной, но бесконечно близкой, дорогой, особенно в том возрасте, когда человек все чаще, неотвратимее возвращается к щемящим и сладостным воспоминаниям своих ранних лет, хотя и, конечно, трудно требовать от старого человека, выросшего в монархических традициях, всю жизнь затем прожившего в капиталистическом мире и вращавшегося исключительно среди его представителей, чтобы он вдруг полностью «сменил вехи».

Другой представитель старого мира говорил мне, например:

— Да, я очень люблю прежнюю Россию и жалею о ней. Но чем больше я думаю, мне кажется, что старая Россия мне прежде всего дорога потому, что в ней протекла моя молодость. Я стараюсь понять новую Россию, принять ее, хоть это не всегда мне полностью удается.

Это уже первый шаг на новом пути: наконец наступившее сознание, что к прошлому нет возврата.

Такого же принципа, что и в отношении к знакомым французам, я придерживался и к русским эмигрантам, виделся только с теми, которые сами изъявляли желание встретиться со мной. Я знал, что некоторые всячески поносили меня, повторяли грубую брань, которая разлилась три года тому назад по страницам эмигрантской печати в связи с моими воспоминаниями, резко корили тех, кто оказывал мне радушный прием. Но вот опять-таки получилось, что подавляющее большинство моих старых друзей соотечественников встретило меня и радушно и взволнованно.

И это в первую очередь потому, что бывшие антисоветские настроения выветриваются в эмиграции. Во всяком случае, в парижской.

Есть, конечно, отдельные лица, которых неумение найти иной заработок заставляет еще где-то выступать с заявлениями, что весь народ наш ждет не дождется часа, когда чужеземные благодетели придут его освободить: ну совсем так, как писали, например, в 1918 году, когда революция действительно могла казаться людям из старого мира устрашающим скачком в неизвестность. Но русские по крови, которым неприятно даже напоминание об эпопее Сталинграда, о наших мировых стройках, о советском выпеле на Луне, уже ни с чьей стороны, как мне кажется, не заслуживают никакого интереса. Вернемся же к честным людям.

Русские эмигранты в подавляющем большинстве свыклись с французской жизнью, с существованием на чужбине. Но какая-то глубокая, сокровенная память о материотчизне все еще жива в них.

У некоторых моих собеседников французоз я наблюдал подсознательную зависть. Но это чувство я приметил в еще большей степени, притом испытываемое ко мне лично, у многих русских эмигрантов.

Один из моих давнишних приятелей устроил обед, пригласив, кроме меня, еще троих соотечественников, с которыми я тоже был связан давнишней дружбой или знакомством. Квартира этого приятеля, занимающего во французском учреждении очень солидное положение, была украшена старинными русскими гравюрами — видами русских городов. Три гостя его носили имена, вписанные в русскую историю: один был потомком

знаменитых елизаветинских вельмож, другой — внуком всемогущего министра Александра II, третий — рюриковичем. При этом первый был почему-то голландским подданным, второй — американским гражданином, третий — французским, а сам хозяин имел эмигрантский паспорт. Обед был оживленный, главным образом посвященный связывающим нас воспоминаниям прошлого. Но, уже не помню, по какому поводу, один из гостей заметил, взглянув в мою сторону:

— А ведь, в сущности, один он представляет среди нас свою подлинную страну!

А другой, кажется работающий банковским служащим, добавил:

— И в общем занимается делом, которое ему всего более по душе, делом, к которому, вероятно, готовился уже в юности...

В Париже до войны было несколько тысяч русских шоферов такси, теперь их несколько сот (остальные умерли, а сыновья их, окончившие французские учебные заведения, избирают иные профессии). Как-то я сел в машину одного из них, причем сразу узнал в этом старике русского по акценту и по общей выправке.

— Вы бывший офицер? — спросил я.

— Как же, второй гвардейской пехотной дивизии...

— Какого полка?

— Лейб-гвардии Павловского.

Мы разговорились, а когда он узнал, откуда я, то сказал как-то даже торжественно:

— Искренне, искренне завидую вам!.. Так вот у меня будет к вам просьба. Если знаете советских военных, скажите им непременно, что традиция проходить церемониальным маршем с ружьями на руку у нас, павловцев, заимствована. Мы этим щеголяли с самого основания полка, а затем другие переняли...

А ведь было время, когда многие русские шоферы такси отказывались от клиента, если тот давал адрес советского посольства...

И то же по существу, что и этот шофер, бывший гвардейский офицер, сказал мне человек в ливрее, швейцар большого французского ресторана:

— Вы такой-то? Прекрасно вас помню, вы часто ходили к нам. (Он назвал русский ресторан, ныне не существующий.) А теперь, как я слышал, на родине? Хорошо это, очень хорошо. Привет нашей Москве!

\* \* \*

Конец эмиграции — в значительной степени явление склеротическое. Умерли почти все, кто до революции (ведь это более сорока лет тому назад!) занимал в России какое-то видное положение, а затем на чужбине скорбел о потерянном. Среди них были и ярые политические противники нового строя и некоторые подлинные представители верхов русской культуры, которым этот строй представлялся чужим.

О многих из них я уже писал. Теперь же, когда я был в Париже, там скончался А. Н. Бенуа. Я не знаю его политических взглядов, не знаю, как он относился к нашим победам в последние годы, но работники советских музеев говорили мне, что на их запросы о судьбе того или иного русского художника или произведении искусства этот девяностолетний старик всегда отвечал быстро, чрезвычайно обстоятельно и все с тем же писательским блеском, которым отмечены все его труды. Можно спорить с его эстетическими принципами, но не подлежит сомнению, что этот замечательно одаренный человек, широкого ума, тонкого вкуса и огромных знаний, проявил себя преданным и талантливейшим служителем русской культуры: как живописец, картины и этюды театральных декораций которого украшают многие наши музеи, как искусствовед, автор монументальной истории живописи всех времен и народов, и как музейный работник, которому многим обязан Эрмитаж раннего послереволюционного периода.

Александр Николаевич Бенуа не только прожил всю жизнь, но и умер как служитель искусства. По свидетельству близких ему лиц, он бредил всю ночь на 9 февраля, последнюю перед смертью. В этом бреду перед ним вставали прекрасные образы, весь тот великий мир живописи, который с юности был его стихией, и слабеющим голосом он то подыскивал новые слова, новые сравнения, чтобы дать почувствовать неви-

димой аудитории вечную красоту творений Тициана, Рембрандта или особенно любимого им Пуссена, то производил смотр мировым сокровищницам искусства начиная с родного Эрмитажа, спрашивал кого-то, как развешаны в нем сейчас такие-то и такие-то картины. Под утро, обессиленный, он спокойно закрыл глаза и тихо скончался. «Ночной смотр» кончился.

Умерли в большинстве и лучшие и худшие представители эмиграции. Еще устраиваются в Париже вечера русских поэтов, где люди, порой одаренные, покинувшие родину уже взрослыми, изливают в стихах с каждым годом все более умирогоренную грусть. Выступают еще некоторые русские певцы, артисты, музыканты того же возраста. В Париже продолжает свою многолетнюю деятельность русская консерватория имени Рахманинова.

Но все это, конечно, уже только отзвуки прошлого, пусть нередко и полноценные, отмеченные знанием и мастерством. У Бунина, Шмелева, Ремизова и Алданова, у Шалыпина, Рахманинова, Глазунова и Гречанинова, у Коровина и у Александра Яковлева по существу не оказалось кровной, органической смены попросту потому, что эти люди были представителями русской культуры, которую они восприняли еще на родной земле, но не могли уже передать ее новому поколению, выросшему на чужбине.

Не оказалось смены и у эмигрантской боевой верхушки: у Струве и у Милюкова, у Деникина и у Врангеля... А между тем о создании такой смены особенно заботились политические вожаки эмиграции, упрямо стремившиеся выпестовать второе, а то и третье поколение активистов, воспитанных в «белых» или же в «февральских» идеях. В этой области сейчас фактическое небытие, потому что идеи эти сошли в могилу вместе с их первыми выразителями.

Но в сущности у русской эмиграции во Франции оказалась своя смена, хотя вовсе не такая, о какой мечтали эмигрантские лидеры.

Когда я был в Париже, французская Академия готовилась к торжественному приему нового «бессмертного» — романиста Анри Труайя.

Чтобы подчеркнуть всю необычность избрания Труайя во французскую Академию, скажем еще несколько слов об этом высоком учреждении. Основанная Ришелье для объединения наиболее выдающихся французских писателей, она занята по сей день составлением французского словаря. Уже в позапрошлом веке Вольтер, который был сам членом Академии, язвительно охарактеризовал ее как сообщество, в которое принимаются лица титулованные, высокопоставленные и должностные, прелаты, медики, геометры и даже литераторы... В настоящее время среди сорока «бессмертных» (так давно уже величают членов этого сообщества) фигурируют три герцога, один князь (правда, братья герцог де Бройль и князь де Бройль — физики с мировым именем) и другие представители родовой аристократии, маршал Жюэн, генерал Вейган, посол Франсуа-Понсе и еще два дипломата, один кардинал, один видный адвокат, один видный хирург, несколько историков, один экономист и г-н Альбер Бюиссон, который в списках академиков значится просто как финансист. Но среди них фигурируют также такие романисты, поэты или драматурги, как Анри Бордо, Пьер Бенуа, Франсуа Мориак, Жорж Дюамель, Жак де Лакретель, Андре Моруа, Марсель Паньоль, Жюль Ромен, Жан Кокто и — знаменательное новшество — прославленный кинорежиссер Рене Клер.. Как мы уже указывали, это, по идее, элита французской нации, но, так сказать, с писательским ядром. Известная печать «благонамеренности», социальной «благонадежности», подчинения общепризнанным «приличиям», отсутствия какого бы то ни было «озорства» (во всяком случае до тех пор, пока оно не считается «узаконенным» все той же «элитой») всегда лежала на Академии, принявшей в число «бессмертных» немало посредственностей, но в которую так и не вошли, например, ни Декарт, ни Паскаль, ни Мольер, ни Руссо, ни Бальзак, ни Стендаль, ни Золя, ни Мопассан, как не вошли в нее в наши дни Луи Арагон или недавно умерший Альбер Камю.

Так вот случай совершенно беспрецедентный: в эту святая святых французского буржуазного мира, в это сообщество именитейших представителей официальных верхов французской культуры оказался избранным эмигрант армянин Тарасов, мальчиком вывезенный семьей из России, ибо таковы подлинная фамилия и происхождение французского писателя Анри Труайя.

В мою задачу не входит всесторонняя оценка и разбор творчества упоминаемых в этом очерке писателей или художников. Насколько я знаю, Анри Труайя к активной политике не был причастен. Отмечу лишь, что он автор монографий о Пушкине, Лермонтове, Гоголе, Достоевском, несомненно содействовавших популяризации во Франции русской классической литературы, а также множества приятно написанных романов (кстати, следует подчеркнуть, что французская Академия исключительно шепетильна в том, что касается чистоты литературного языка), в которых часто фигурируют русские (в частности, один из последних его романов дает довольно яркую картину пребывания русских войск в Париже после падения Наполеона).

Согласно традиции образовался особый комитет для преподнесения новоизбранному академику полагающейся ему шпаги (французские академики носят в торжественных случаях фрак с зеленым шитьем и треуголку). Один из членов этого комитета, русский эмигрант, показал мне рисунок шпаги: на эфесе ее красуется императорский двуглавый орел. Он, однако, поспешил разъяснить мне, что в данном случае эта эмблема не имеет никакого политического характера: просто почитатели Труайя-Тарасова полагают, что она подходит самим, так сказать, своим «стилем» к его творчеству, многими нитями связанным с русским историческим прошлым.

— Как бы то ни было,— резюмировал он,— это всего лишь память о прошлом, а не выпад против настоящего...

Чем же, независимо от литературных достоинств самых писаний Труайя, объясняется такое его сенсационное избрание? В первую очередь, конечно, некоторой «космополитизацией» французского буржуазного общества, о которой мы уже говорили, но отчасти, вероятно, и все возрастающим интересом, который проявляется везде, и в частности во Франции, к России, ко всему, что связано с ее историей и культурой.

Этот интерес — прямое следствие той роли, которую Советский Союз играет в мире, его поражающих умы и воображение достижений. Так получается, что с каждым новым проникновением советских людей в неизведанные дали космоса на Западе увеличивается интерес не только к советской науке и технике (об этом нечего и говорить), не только к Ломоносову и Циолковскому, но и ко всей совокупности вклада России в культурную сокровищницу человечества. Гастроли во Франции крупнейших советских театральных коллективов еще более заострили этот интерес. Достаточно сказать, что в том же сезоне парижские театры ставили пьесы Чехова, признанного ныне на Западе одним из крупнейших мировых драматургов, инсценировки произведений Гоголя и Достоевского, пьесы Горького и Валентина Катаева. А образованный француз считает теперь своим долгом знать хотя бы понаслышке о творчестве таких писателей, как баснописец Крылов, Салтыков-Щедрин или Короленко, еще несколько лет тому назад ему совершенно не известных.

В годы «холодной войны» на интерес к Советскому Союзу выиграли, в частности в Америке, некоторые худшие представители эмиграции. Правда, речь шла (да нередко идет и сейчас) об интересе весьма специфическом: клеветники на собственную страну, фигурирующие в качестве специалистов по «русским делам», стали одно время получать повышенные гонорары за свои писания. Но в гораздо большем масштабе выиграли от могущества и престижа Советского Союза те представители эмигрантской смены, то есть дети эмигрантов, которые родились или воспитывались за рубежом, окончили там высшие учебные заведения и включились в жизнь страны, их принявшей, но сохранили в сердце какую-то привязанность к своей отчизне. В этой смене денационализировались многие, но не все и, во всяком случае, еще не полностью.

В переводе сдаренного французского драматурга Артура Адамова — кстати, тоже эмигранта армянина, мальчиком покинувшего Россию, — на французской сцене поставлены были в течение последнего года «Мещане» и «Васса Железнова» Горького, а в его переводе и инсценировке — гоголевские «Мертвые души». Для постановки «Мещан», равно как и инсценировки романа Достоевского «Униженные и оскорбленные», был приглашен французскими театрами эмигрант старшего поколения, ветеран русской сцены и ученик Станиславского Григорий Хмара. Интерес к нашей родине сказался, таким образом, благотворно на парижской карьере этих двух эмигрантов, а они в свою очередь послужили благородному делу популяризации русской классической культуры.

В наши дни в эмигрантской смене можно найти очень многих, которые служат посредниками между двумя мирами, культурами и просто между советскими людьми и французами: от стюардов линии «Эр-Франс», чаще всего эмигрантских детей, до переводчиков при президенте Французской республики в его беседах с главой Советского правительства; от русских эмигрантов, получивших французские паспорта, работающих (часто на руководящих постах) во всевозможных французских учреждениях, предприятиях, фирмах, ателье мод, вступивших в деловые отношения с советскими торговыми организациями, до представителей культуры, в самых различных ее разветвлениях, французской по форме, но как-то перекликающейся с нашей.

Марина Влади (Полякова) — французская актриса, но в ее игре чувствуются русские нотки. Сформировавшаяся в эмиграции на традициях русского театра Л. Кедрова с успехом проявляет свое редкое дарование на французской сцене. Людмила Черина — французская балерина, но ведь современный французский балет, пестрящий русскими именами, — детище нашей классической хореографии. Есть люди с русскими именами среди известных французских геологов и искусствоведов, врачей (в том числе внук Льва Толстого) и инженеров.

Это и есть эмигрантская смена, во многом денационализировавшаяся, но в ряде случаев не утратившая памяти о своем русском происхождении. Хотя, конечно, многие ее представители, преуспевшие во французском капиталистическом мире, подчинились его вкусам и воздействию по той простейшей причине, что бытие, как мы знаем, определяет сознание.

Американское влияние чувствуется в Париже, накладывая на многое во французской столице чуждый ей отпечаток. А наше?

Оно проникает медленнее, но глубже, затрагивает какие-то более сокровенные стороны французской души, чем американское. Это влияние обуславливается мировым сиянием русской классической культуры и мировыми победами Советского государства, советской культуры, советской науки и техники. Но свою лепту в дело проникновения его во Францию внесли и многие русские люди, покинувшие родину часто независимо от своей собственной воли и нашедшие во Франции приют.

\* \* \*

Русское кладбище, стихийно возникшее в Сент-Женевьев-де-Буа под Парижем возле дома-убежища для престарелых русских эмигрантов, открывается маковкой красивой церкви, как уголок старой России среди французского пейзажа.

Здесь покоятся теперь мои родители и тысячи других русских, много лет томившихся на чужбине, людей часто заблудших, безвестных, но также и некоторые, чьи имена так или иначе вошли в нашу историю: Сазонов, русский министр иностранных дел, которому германский посол вручил в 1914 году грозную ноту об объявлении войны; Бурцев, разоблачивший Азефа, а затем в эмиграции работавший сообща с теми, которые некогда нанмали Азефа; Петр Струве, всю жизнь воевавший с Лениным, возможно, так и не догадавшись, что только Ленин своими ссылками на него обеспечил его имени долговечность; Дмитрий Мережковский, так и не переборовший в себе злобу к новой России, и последний корифей русской классической литературы Иван Бунин, почти сорок лет безутешно, буквально страдальчески, тосковавший по покинутой им отчизне.

Много волнующего, горестного, трагического могут рассказать нам кресты и плиты этого русского некрополя, где под небом Франции покоится заброшенная сюда судьбой какая-то частица России.

Но вот другое, столь же горестное свидетельство о живом. Недавнее объявление в парижской русской газете: «Старый журналист ищет комнату за услуги или быть ночным сторожем».

Я не знаю, кто этот старый журналист, каких он придерживается воззрений, с какими чувствами покидал некогда родину, за что ратовал, разлучившись с ней, но так заканчивается его жизнь на чужбине...

Как я уже писал, на русском кладбище под Парижем собраны останки многих русских, юношей, призванных во французскую армию и павших в ее рядах в борьбе с общим врагом. И здесь же погребен прах молодой русской женщины Вики Оболенской, героини движения Сопротивления, самой славной представительницы эмигрантской смены, которой гитлеровцы отрубили голову, после того как она отказалась просить у них пощады.

Еще не составлен мартиролог жителей Франции, русских по крови или по воспитанию, которые нашли смерть от руки фашистских палачей. Были среди них и герои, борющиеся в подполье, и просто безвинные жертвы.

Почти семнадцать лет прошло с тех пор, как молодая русская поэтесса, эмигрантка Раиса Блох, выбросила прощальную записку с поезда, увозившего ее из лагеря Дранси в фашистский лагерь смерти, где она и погибла. Ее последние слова, обращенные к друзьям, датированы 20 ноября 1943 года.

И так же погиб в лагере смерти, по слухам, убитый на работах в соляных копаниях Силезии, ее муж, Михаил Горлин, тоже молодой парижский поэт-эмигрант.

В Париже теперь издан посмертно сборник их стихов. В поэзии Горлина звучит еще что-то детское, но он силен духом и в предчувствии мученического конца хочет верить в какую-то добрую, истинно человеческую силу:

Но сквозь ложь и боль незабвенно  
Тот же будет струиться свет,  
Тот же зов, вовек неизменный,  
Терпеливый, кроткий привет!

\* \* \*

Как все же резюмировать мои парижские впечатления? Скажу откровенно, в целом меня нынешний Париж несколько разочаровал. Разочаровал после моей жизни на родине. При этом и в подробностях и в главном.

Что же меня в Париже разочаровало? Начну с частных. Я очень люблю живопись и радуюсь, что во Франции пишут много о живописи, причем, когда обсуждают картину, отмечают ее живописные достоинства, так как там не требует объяснения очень простая истина: если картина лишена этих достоинств, то это вообще не картина, точно так же и стихи, как бы интересно ни было содержание, которое хотел вложить в них автор, не являются стихами, а лишь фразами в стихотворной форме, если они не отмечены поэтическим чувством. В этих заметках я не хочу обсуждать путей, по которым идет современная французская живопись. Мне важно лишь установить, что, несмотря на срывы и заблуждения, во Франции проповедуется культ живописи как особой, своим законам подчиняющейся стихии, которая острее и глубже раскрывает нам видимый мир. Но перед тем как вернуться теперь в Париж, я полагал, что непосредственный интерес к живописи охватывает во Франции самые широкие круги, и это меня радовало.

В новом грандиозном Музее современного искусства (заменившем прежний Люксембургский музей) я побывал в воскресенье. Там было почти пусто. Ни экскурсантов, ни тех оживленных групп юношей и девушек, которые с таким жадным любопытством толпятся у нас в Третьяковке или в Эрмитаже. На мои удивленные вопросы в музее ответили, что туристический сезон не начался, а когда нет наплыва иностранцев, в музеях всегда пусто...

В своем абстракционистском уклоне современная западная живопись не доходит до народа. Это мне было и так ясно. Но, во-первых, в Музее современного искусства не только абстракционисты, там представлены и художники, чьи произведения ярко и выпукло изображают действительный мир. А во-вторых, в самом Лувре, картинная галерея которого едва ли не является самой богатой в мире, я увидел так же мало народа перед прославленными шедеврами классического искусства.

Кстати, о Лувре. Новая развеска картин меня, как и многих, огорчила. Вместо вертикального единства — попытка показать единство горизонтальное, то есть не живопись такого-то народа в ее последовательном развитии, а живопись такой-то эпохи,



более или менее независимо от национальных школ. Принцип самобытности, очень конкретный и не требующий доказательств, приносится, таким образом, в жертву какой-то «общей», часто очень искусственной, «абстрактной» генеральной линии. Нет, мне трудно принять это! От Джотто переходишь, например, естественнее, несравненно логичнее к Рафаэлю, хоть их и разделяют два столетия, чем от Пуссена к его современнику Рембрандту!

Но вернемся к посещаемости парижских галерей. Те галереи новейшей живописи, которые являются торговыми предприятиями, то есть где картины выставлены для продажи, привлекают многочисленных посетителей, независимо от наплыва или отсутствия иностранных туристов. При этом среди посетителей немало таких, которых, очевидно, нельзя причислить к так называемым «эстетам» и снобам, представителей самой средней, а то и мелкой буржуазии, типичнейших, казалось бы, обывателей.

Чем объяснить это? Перед нами одно из явлений, характерных для острого кризиса, переживаемого в наши дни западным искусством. Да, живописная культура жива во Франции, но эта культура мало пропагандируется в воспитательных целях, а нарочитая субъективность новых живописных исканий (как раз-то особенно рекламируемых официальными кругами) часто отталкивает народ от самой живописи и по аналогии как-то притупляет даже интерес к подлинным ее сокровищам. Но, с другой стороны, живопись стала сейчас для многих аферой, в первую очередь предметом наживы. Этот стимул и обеспечил первоначальный успех многим, широко ныне известным художникам.

Торговец картинами приметил, например, какого-нибудь молодого живописца, подающего, по его мнению, надежды. Он начинает его выдвигать, тратит деньги на рекламу: в газетах имя художника сначала фигурирует среди других, затем все чаще отдельно и с похвальными эпитетами. Когда торговцу кажется, что дело «созрело», он на какой-нибудь выставке в своей галерее помещает картину этого художника рядом с полотном Матисса или Пикассо. Это уже как бы увенчание. И наконец заключает с художником договор, по которому тот обязуется продавать ему все им созданное. В результате торговец наживает в несколько раз больше художника, но наживаются и те, которые этого художника тоже приметили до его «признания» и дешево приобрели его работы. Так вот покупка картин стала для многих выгодным капиталовложением. В более скромных масштабах этим занимаются и средние буржуа, рантье, располагающие свободным временем и деньгами. Как бы распознать художника, картины которого сейчас не слишком дороги, а завтра будут продаваться за сотни тысяч, а то и миллионы старых франков?! Понятно, что в Лувре и в Музее современного искусства в этом смысле нет ничего интересного. Зато небольшие коммерческие галереи (они сосредоточены на определенных улицах) представляют собой подлинную биржу картин.

Всем известны примеры головокружительных артистических карьер, принесших кое-кому на этой бирже столь же головокружительное обогащение (кстати, на ней очень котируются картины некоторых художников из русской эмигрантской смены: Николая Сталя, Сергея Полякова, Ланского).

То, что интерес к живописи слишком часто подменяется в Париже денежной спекуляцией на живописи, — явление, конечно, не новое. Но сейчас оно приняло прямо-таки устрашающие для искусства размеры.

Уверяют, что Пикассо после смерти Матисса сетовал, что ему не с кем больше говорить о живописи. Если такое суждение в самом деле было высказано крупнейшим мастером нашего времени, значит кризис живописи действительно очень глубок. Ибо никакое искусство не может развиваться в пустоте.

В тридцатых годах, доживая свой век в том же Париже, большой русский художник Константин Коровин, Парижем не признанный, но горячо любивший этот город и пристально следивший за всеми новейшими исканиями французских художников, как-то говорил при мне: «Много вижу на выставках интересного, оригинального. Но чего-то главного нет и нет. И вот спрашиваю: не тупик ли впереди? Ведь искусство живописи имеет одну цель — восхищение красотой. Нет выше наслаждения, чем созерцание природы. Земля ведь рай — и жизнь тайна, прекрасная тайна, художник

должен прославлять жизнь: он тот же поэт. Так мне еще Саврасов говорил!» А в опубликованных в одной из старых эмигрантских газет воспоминаниях Коровина приведены слова самого Саврасова, его учителя, сказанные в беседе об Италии: «Там, в Италии, было великое время искусства, когда и властители и народ равно понимали художников и восхищались... Но бывает время, когда искусство не трогает людей».

В нынешнем Париже горестное замечание Саврасова могло бы звучать, как мне кажется, очень актуально. Искусство не трогает людей! Но, быть может, иногда в этом виноваты не люди, а искусство, создаваемое только для воображаемой «элиты». И если сейчас во Франции, несколько веков подряд дававшей миру первоклассную живопись, не «великое время искусства», то не потому ли, что нет той гармонии в эстетическом восприятии мира «властителями» (то есть заказчиками, покупателями, меценатами) и народом, по которой грустил Саврасов?

...В Париже уже с 1945 года нет домов терпимости, во всяком случае легальных, то есть контролируемых полицией. Но их запрещение не означает особого прогресса. На улицах чуть ли не толпами бродят, как и встарь, слишком ярко намазанные женщины, иногда совсем молодежь, но часто и пожилые, убогие или расфуфыренные, но одинаково жалкие со своим громким смехом и беспокойно рыщущими глазами.

Действуют в Париже, притом в изрядном количестве, и заведения совершенно нового типа, так называемые «стрип-тизы». Это английские слова (раздеваться и дразнить), а занесена сама эта «забава» в Париж из-за океана, под прямым воздействием столь прославленного «американского образа жизни». Заключается она в следующем.

Вечерний кабачок, куда ходят все и даже архипочтенные представители буржуазного мира. За любой напиток вы платите втридорога, так как вам здесь показывают спектакль.

...Полумрак. На эстраде появляется молодая женщина, чаще всего пышно одетая, иногда даже в шляпке и мантии, и медленно под музыку и световые эффекты начинает разоблачаться. Сеанс длится долго: действие чередуется здесь с паузами и какими-то, чаще всего очень примитивными, потугами на пантомиму. Раздевшись нагишом, женщина покидает эстраду, так как номер окончен. После короткого перерыва появляется другая, и сеанс возобновляется, затем третья и так далее. Вот и все.

Друзья как-то повели меня в такой кабачок. После трех или четырех номеров мы решили, что в кино интереснее, однако своей поспешностью вызвали неодобрительное удивление сидевшего за соседним столиком весьма солидного господина лет шестидесяти с розеткой ордена Почетного легиона в петлице.

— Куда же это вы? — спрашивал он. — Ведь это же так увлекательно! Я здесь сижу уже три часа, смакуя старый коньяк...

И когда он сказал это и, оглянувшись, я увидел на эстраде еще одну женщину, приступающую с тем же равнодушно-скупающим видом к раздевальному ритуалу, мне стало как-то грустно и даже обидно за некогда «мой» Париж.

...Но что же больше всего меня разочаровало в Париже? Даже не то, что люди, в самом деле живо интересующиеся Советским Союзом, часто имеют о нашей жизни самое смутное, а то и просто нелепое понятие. Так, одна милая дама, в основном как будто нам сочувствующая, с самым чистосердечным любопытством спрашивала меня:

— А правда ли, что в Москве требуется особое разрешение на покупку бананов?

Причем я так и не мог выяснить, откуда вообще у нее могло возникнуть подобное представление. Нет, разочаровало и как-то поразило меня после жизни на родине другое, хоть это и не должно было явиться для меня неожиданностью.

Правящий класс боится народа, упрямо не допускает его к участию в управлении страной и не интересуется его мнением при решении вопросов, от которых зависят дальнейшие судьбы французского государства. Простым французам совершенно ясно, что колониальная политика их страны в Алжире отдавала все эти годы даже не вчерашним, а позавчерашним днем, они помнят французскую поговорку: «Кто не идет вперед — катится назад», — и в этом они винят правящий класс.

Да, в нынешней Франции кое-что напомнило мне старую Россию..

После двадцати лет, прожитых в новом советском обществе, я, снова попав в капиталистический мир, особенно остро ощутил неоправданность и несправедливость его недостатков.

И главный, самый несправедливый и в то же время коренной недостаток капиталистического мира — это его отношение к труду. Зачем трудится французский рабочий, французский интеллигент или даже руководитель крупного французского предприятия? Чтобы заработать, чтобы обеспечить себя и семью, чтобы в случае удачи накопить какие-то сбережения. Все это закономерно. Но он не любит и не может любить этот труд, ибо считает его всего лишь горестной необходимостью, как бы чувствуя, что над ним вечно тяготеет древнее библейское проклятие: «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят; ибо прах ты и в прах возвратишься».

В Париже я занялся, между прочим, ликвидацией остатков своей библиотеки. Дело это было не столько трудоемкое, сколько хлопотливое, во всяком случае я потратил немало времени и даже энергии, чтобы все закончить быстрее и лучше.

С полным сознанием своей правоты я говорил затем своим друзьям:

— Вот я похлопотал, посуетился несколько дней. Между тем вы всю жизнь проводите примерно так же: суетитесь, хлопочете, а то и трудитесь в поте лица только для того, чтобы устроить свои дела. Труд, к которому вас принуждает сама жизнь, без которого ничего не осуществляется на свете, для вас никак не облагорожен. А у нас о труде говорят, что это — дело чести, доблести и геройства. И это не фраза. За нею кроется очень глубокий и мудрый смысл, снимающий с нас навсегда страшное библейское проклятие. Ибо трудимся мы сознательно, не только для своей пользы, но и для общей. Ибо у нас каждый трудящийся как бы солдат, служащий на том или ином участке своему государству и в то же время великой идее, в которой весь наш народ черпает свою силу. А скажите, разве ваш рабочий, бухгалтер или инженер может обнаружить в своем каждодневном труде хоть какой-нибудь намек на идейность, пусть даже иную, чем наша? И потому труд ваш более тягостен, чем наш, действительно беспросветен: в этом наше огромное, решающее преимущество перед вами. Сознание творческого усилия на благо человечества у вас удел избранных, у нас — каждого гражданина.

После таких заявлений несогласные переводили разговор на другую тему, никак, однако, не возразив мне, а некоторые полностью соглашались, и я опять чувствовал у них подсознательную зависть, ибо беда капиталистического мира в том, что у него в целом (раз главный стимул его — нажива) нет и не может быть никакого идеала высшего порядка.

Да, конечно, я рад, что снова побывал в Париже, подышал его воздухом, полюбовался его стройной, законченной красотой, и буду счастлив посетить опять этот город, где у меня столько воспоминаний и друзей. Но что-то застывшее, какой-то провинциализм, вытекающий из того, что Париж, во всяком случае обывательский, буржуазный Париж, пугливо стремится «устроиться» где-то в стороне от больших исторических путей, самых основных мировых проблем, меня разочаровали при новом живом общении с прекраснейшей из столиц старого мира. И уже через месяц после моего приезда я загрустил по Москве...



---

АЛЕКСЕЙ ЭЙСНЕР

★

## СЕСТРА МОЯ БОЛГАРИЯ \*

### 6. Волонтеры свободы

**Д**ля всех, кроме меня, возобновились трудовые дни. Хотя мы вернулись в Софию поздней ночью, Белов встал, как всегда, с гугутками и спозаранку уехал в министерство. Алек, тот вскочил еще до гугуток, поспешно натянул солдатскую форму, прикоснулся пальцами к колючей щеке, неуверенно пробормотал «сойдет» и убежал, стуча гвоздями тяжелых башмаков. Вскоре, размахивая сумкой, вихрем пронеслась по коридору Марийка и бухнула входной дверью.

Я остался один и, опустившись в низкое кресло, прочитал «Правду» за несколько дней, а потом не без затруднений стал разбираться в двух последних номерах газеты «Работническо дело».

Все окна в квартире были раскрыты, и свежий воздух пошевеливал газетные листы. По соседству голосили горлицы. Пока дышалось легко, но день обещал быть жарким — очень уж ясное небо. Только над Витошей, как заблудившаяся овца, бежало курчавое облако.

Я сложил «Работническо дело» со статьей о вчерашнем празднике в Быркаче, размышляя о том, что ее заглавие «Торжество единства и дружбы» в данном случае вовсе не журналистский штамп, так же как и заключительные слова: «Оно завершилось товарищеской встречей коммунистов и земледельцев». После фашистского переворота 9 июня 1923 года, когда вызванное им крестьянское восстание было подавлено, а возглавлявшие его левые лидеры Земледельческого союза зверски перебиты, и после неудачи Сентябрьского восстания и коммунисты и члены Земледельческого союза на горьком опыте убедились, что только совместно могут они свергнуть общего врага. Двадцатилетний фашистский террор утвердил их в этом убеждении. В результате организованные крестьяне сумели разобраться в той напряженной классовой борьбе, которая началась в стране и шла среди их руководства вслед за антифашистским переворотом Девятого сентября. И теперь, вот уже сколько лет, союз рабочего класса Болгарии с крестьянством осуществляется в дружеском сотрудничестве БКП с традиционной крестьянской партией, с БЗНС (Болгарский земледельческий народный союз). Об этой дружбе без кощунства можно сказать, что она скреплена кровью...

Зазвенел телефон. Не без робости я снял трубку: нет ничего затруднительнее, чем объясняться по телефону на незнакомом языке. Но звонил Белов.

— Я подошла за тобой машину. Ко мне тебя проведут. Есть тут одно дельце...

Сотрудник министерства проводил меня к кабинету Белова. Я нашел его за письменным столом. На диване сидел кто-то незнакомый.

— А ну-ка, всмотритесь друг в друга получше,— предложил Белов.

Небольшого роста кругленький человек, неопределенного возраста, так где-то между сорока пятью и пятьюдесятью годами, и с ничем не выдающейся внешностью, встал, по-военному обдернув пиджак. Что-то в лице его казалось знакомым.

---

\* О к о н ч а н и е. Начало см. «Новый мир» № 7 с. г.

— Алеша! — закричал он вдруг. — Узнал, узнал! Алеша!

— А ты? — Белов обращался ко мне.

Я тшкетно напрягал память.

— Ты видел его в Альбасете. Не вспоминаешь?

— Антон! — вскрикнул теперь и я.

Мы обнялись и, конечно, «похлопались».

Антон заведовал болгарскими кадрами на базе формирования интербригад. До того он находился на фронте, и не то его ранили, не то он тяжело заболел. Я познакомился с Антоном, когда мой Хугос на срок около месяца по просьбе Белова откомандировал меня в его распоряжение. Фактически я исполнял в это время должность адъютанта начальника базы.

— Больше двадцати лет прошло, так ты хоть бы для приличия поседел, — говорю я Антону.

— На его годы был объявлен мораторий, — вступается Белов. — Одиннадцать лет каторги — и все время в кандалах. Это за жизнь считать нельзя. Скинь их, и получится, что ему около пятидесяти. Зачем же так рано сесть?

— А на самом деле?

— Посчитай. В партию меня принимал сам Благоев в тысяча девятьсот пятнадцать году, мне тогда восемнадцать было. — Антон махнул рукой. — В общем, хватает...

— Незаметно. На каторгу ты когда попал?

— В двадцать пятом, как член военной организации партии.

Белов, явно неудовлетворенный лаконичными ответами Антона, рассказывает, что тот был приговорен к смертной казни, которую заменили двадцатью годами каторги. В конце тридцать пятого Антона амнистировали, и вскоре он перебрался в Советский Союз.

— Отдохнул немного. Послали его учиться. А тут Испания. Антон ничего слушать не хочет. Поеду, и все. Георгий Михайлович согласился: «У Ангела Гергова слишком крупные личные счета с фашизмом, его нельзя удерживать».

— Это меня, чтоб ты понял, зовут Ангел Гергов, — пояснил Антон. — Но кажется, мы пригласили Алешу вовсе не для того, чтобы мою биографию изучать.

— Да, да, — спохватился Белов. — Дело, видишь ли, в чем. Завтра приезжает польская партийно-правительственная делегация. Несколько дней я буду по горло занят, видаться сможем только поздно вечером. Я и попросил Антона свести тебя с нашими испанцами, чтобы время твое даром не пропадало. Обдумайте, как это лучше организовать. А чтобы головы лучше работали, не хотите ли, ребята, по чашечке кофе?

Мы выпили по фарфоровому наперстку огнедышащего турецкого кофе и договорились все же дожидаться Петрова, чтобы после его приезда устроить мне встречу с бывшими участниками интербригад.

Из министерства мы с Антоном, который оказался Ангелом, вышли вместе. На прощание он вручил мне папку.

— Почитай, может, интересно будет. Здесь копия указа о награждении наших товарищей. Не всех, конечно. Списки-то до сих пор не найдены...

На улицах Софии происходило то, что на старославянском языке называется «благорастворением воздуха». Безраздельное лето царило в городе. Вопреки законам природы, все зацвело почти одновременно: пахли ладаном восковые цветы каштанов, над тротуарами сквозил нежный дух цветущих лип, с клумб доносился сладковатый аромат сочных гиацинтов, а рядом уже распускались чеканные чистые лилии, и повсюду виднелись бутоны белых, алых и чайных роз.

Дыша этими райскими запахами, я сел в саду за мавзолеем Димитрова и раскрыл папку. «За участие в героическом деле, в испанской гражданской войне 1936—1939 годов, в которой наши интербригадовцы высоко подняли знамя интернационализма и солидарности болгарского народа с борющимся испанским народом, награждаются I степенью ордена «Народной Свободы 1941—1944...» Я перечитываю алфавитный список в сто пятьдесят человек и среди первых имен нахожу Антона. Полностью он именуется Ангел Христов Гергов. А вот и Борис Николов Попов, которого в Испании прозвали Бобчето. Дальше я вижу Николу Василева Коларова и Петра Василева Коларова, сы-

новой славного отца. Я знал их обоих: один был военным инженером, другой — заместителем начальника санитарной службы интербригад. Сейчас первый из них заместитель министра путей сообщения, а второй — министр здравоохранения... Встречаются в указе еще другие друзья и знакомые, но всех опознать я не могу, потому что в Испании они носили вымышленные имена. За списком в сто пятьдесят человек идут фамилии награжденных посмертно: шестьдесят восемь из них убито на испанской земле, двадцать семь — в болгарском Сопротивлении, четверо — в других странах (Димитр Иванов Бутанский пал в Отечественную войну в рядах Советской Армии, один погиб как партизан во франкистской Испании, один в бельгийском и один во французском Сопротивлении); за павшими в бою следуют тринадцать погибших в лагерях и двадцать одна фамилия доживших до победы и мирно умерших потом. Всего награждено двести семьдесят три человека; имена еще приблизительно ста двадцати товарищей, которых, конечно, нет в живых, не восстановлены.

Бережно сложив копию указа, я разворачиваю вложенный в ту же папку январский номер газеты, в котором описан прием в честь награжденных, устроенный политбюро БКП. Большую речь на приеме произнес Тодор Живков. Я нашел в ней такие слова: «Там, на испанской земле, выковывалась в те годы боевая международная рабочая солидарность, которая, без всякого сомнения, будет сиять в веках как наивысшее выражение пролетарского интернационализма...»

Прочитав это, возвращаюсь домой еще счастливее, чем вышел. Горячее солнце светит над Софией.

— *Le soleil brillera toujours...*<sup>1</sup> — вполголоса напеваю я из французского текста «Интернационала».

По-русски это переведено: «Для нас все так же солнце станет сиять огнем своих лучей». Что ж, неплохо переведено. И я пою себе под нос и две русские строчки...

Весь следующий день я провел над книгами об Испании, найденными в библиотеке Белова, а вечером, одурманенный воспоминаниями, очутился на торжественном концерте в честь прибывшей в Софию польской делегации. Я слушал арию Алеко в прекрасном исполнении Гяурова, я слушал несравнимый ни с каким другим детский хор столичного дворца пионеров, наивно называющийся «Бодрая смена», который неповторимо спел две болгарские народные песни, азербайджанскую песенку про цыплят и «Кольбелыную» Моцарта; я слушал много других выступлений, как всегда на торжественных концертах, самого разного качества, но главное, я слышал, как переполненный оперный театр, отбивая такт ладонями, и радостно и грозно кричал «вечна дружба», требуя ее, настаивая на ней, выкрикивая ее как наказ своим и польским руководителям. И с искренним уважением я смотрел в правительственную ложу справа, из которой стоя ответно аплодировал легендарный герой польского подполья «товажиш Веслав» с добрым и умным лицом старого мастерового.

Домой я возвращался пешком. Улицы были тихи и пусты. С восхищением наблюдал я, как цветы и листья каштанов воюют с уличными фонарями, заслоняя их, забывая, не давая им светить...

Петров приехал через два дня. Возвратившись поздно вечером с приема в чехословацком посольстве, Белов сказал:

— Коронель вернулся. Завтра утром он тебе позвонит.

Около девяти я слушал голос Петрова в телефонной трубке. Мембрана трещала и шелкала. По-кавказски смягчая гласные после шипящих и произнося «ы» вместо «и» и «э» вместо «е» во всех остальных случаях, Петров кричал на меня:

— Что же ты? Приехал и носу не кажешь, а? Ты слышишь меня, а? Алло, алло! Сейчас же посылаю за тобой машину. Понимаешь, а?..

Минут через десять, миновав козырнувшего офицера милиции, я входил в здание Народного Собрания, на фронте которого красуется нержавеющий девиз: «В единении сила». Меня проводили к кабинету Петрова. Не успел я постучаться, как он рывком открыл дверь. Мы бросились друг к другу и обнялись.

— Ну, садись, садись. Рассказывай... — говорил Петров, слегка задыхаясь. — Как ты,

<sup>1</sup> Солнце будет сиять всегда (франц.).

а?.. Садись, говорю! — И он за плечи усадил меня в кожаное кресло перед заваленным бумагами столом. — Прямо скажем, адъютант Алеша несколько постарел...

Или я смотрел на Петрова глазами лакировщика, или он действительно мало изменился, но я не замечал существенных перемен; только грива его и густые брови совсем побелели. Он позвонил, и нам принесли две неизбежные чашечки кофе.

Я заметил, что, прохаживаясь по кабинету, Петров сильно прихрамывает.

— Что у тебя с ногой, Георгий Васильевич? — называя его по привычке прежним, выдуманном именем-отчеством, спросил я. — Осложнение с испанской раной?

— Да нет, — виновато ухмыльнулся Петров. — Сломал, понимаешь, ногу. Глупо, а?

— Сломал ногу? Каким образом?

— Что значит «каким образом»? Без всякого образа. Заторопился я, побежал и неудачно как-то упал. Нога и сломалась.

— Тебе шестьдесят пять?

— Скоро шестьдесят шесть. А что?

— Ничего...

Нет, он не изменился. Разве что в этом белом костюме тонкой шерсти, в белых туфлях, в белой шелковой рубашке и с серебряной шевелюрой он стал очень элегантен.

— Хочешь, пойдем немного пройдемся где-нибудь, где зелень есть? — обратился он ко мне, взглянув на часы.

— С радостью.

Машина подвезла нас к парку Свободы на окраине Софии. Я уже был здесь под водительством Алека и любовался растущими в траве нарциссами.

Мы с Петровым долго гуляем по аллеям, разговариваем обо всем, о чем не удалось переговорить за истекшие двадцать лет.

Парк украшают статуи великих людей, которых так много в маленькой Болгарии. Вот поэт и воин свободы Христо Ботев, со своим римским носом и вьющейся бородой. Он сказал:

Тот, кто падет в бою за свободу,  
Не умирает...

Сказал и перед закатом 2 июня 1876 года пал в бою за свободу. Предсказанное им бессмертие осталось за Ботевым. Самый день его гибели стал всенародным днем поминовения всех павших за свободу.

— Белов говорил, что ты собираешься писать воспоминания о нашей бригаде? — интересуется Петров.

— Собираюсь.

— Пиши обязательно. Получилось так, что до сих пор всем нам было некогда. Раз появилась возможность — обязательно садись и пиши. А то еще немного, и некому будет вспоминать... Начнут тогда писатели на нас, мертвых, сочинять.

Обходим клумбу, на которой развернули акварельные лепестки неопишуемые розы, и присаживаемся отдохнуть. Вековые деревья переплели свои кроны так густо, что солнечные лучи не пробивают их.

— Ты про Альбино Марвина ничего не знаешь? — спрашивает Петров.

— В сорок третьем он приходил к Савичу прощаться. Сказал, что уезжает в командировку, больше не распространялся. С тех пор ни слуху ни духу. Наверное, погиб в партизанах в Италии или в Югославии.

— Хороший был парень...

— Должно быть, сам просился. После пули в голову под Уэской он остался ведь инвалидом первой группы.

Мы помолчали.

— Нравится тебе у нас?

— Пойми, я впервые своими глазами смотрю на другую, кроме нашей, страну, где победил социализм, и слишком хорошо помню ту, где победили фашисты. Так что «нравится» тут не подходит — невыразительно.

Петров закинул руки за голову.

— Интересное что-нибудь успел увидеть?

Я перечисляю все, что видел и нашел интересным.

— Вот скоро будет праздник, который празднуют только у нас. Мы стараемся не забыть ничего из прошлого, что народу дорого, и правильно это использовать. Например, церковный праздник Кирилла и Мефодия, первоучителей славянских, испокон веку болгарская православная церковь праздновала, и народ праздновал с ней. Постепенно в борьбе с турками за свое национальное лицо болгары сделали этот день праздником славянской азбуки, грамотности, днем школьников и все такое. Фашистские мракобесы его запретили, загнали обратно в церковь. От славянской азбуки не так далеко, видишь ли, до разных других вещей. А мы восстановили день Кирилла и Мефодия как всенародный праздник славянской письменности, просвещения и культуры. Двадцать четвертого мая сам увидишь...

Он поднялся.

— Как ты находишь Белова?

— Он неизменен. Между прочим, без тебя он тут орден получил.

— Знаю, знаю.

Пока мы двигались к выходу из парка, я рассказал, как и в этом случае проявилась скромность Белова.

— Это верно, что на штатском костюме ордена у нас носить не принято. Но, конечно, хоть до вечера надо было оставить.

— А он пытался снять сразу же, едва сел в машину.

Петров засмеялся и покрутил головой.

Вечер я провел у него на даче, расположенной у подножия Витоши. Возле двухэтажной типовой виллы с мезонином — небольшой фруктовый сад, между деревьями кусты роз и пионов, цветочные клумбы, огородные грядки, квадрат клубники. Нижний этаж занят кухней и гаражом. Все просто, удобно и красиво. Дача отделена от других и от шоссе так, как огораживаются теннисные корты, — высокой проволочной сеткой.

Пока Петров показывает мне сад, из дома выходит его жена. Я познакомился с Марией Петровной в сороковом году в Москве. Это было необычайно радостное для нее время. С конца 1938 года Петров считался неизлечимо больным и выздоровел чудом. Со дня его выздоровления прошло к тому времени уже с полгода, но Мария Петровна вся еще будто светилась изнутри. Их связывала уже тогда больше чем двадцатилетняя любовь и совместная борьба.

— Мы с ней двадцать лет женаты, а видимся редко, — рассказывал он мне как-то в Испании. — То я в тюрьме, а она на свободе, то ее посадили, а я гуляю. Или: я в подполье, а она в эмиграции, потом я в эмиграции, а она в партийной командировке. Разлук было больше, чем встреч. Вот и теперь: прикинь, сколько километров от Харамы до Москвы-реки...

Завидев Марию Петровну, я бегу ей навстречу, и, хотя мы виделись всего три раза, сейчас, после стольких лет, целуемся, будто встретились старые-престарые друзья.

Пока Петров отправился, как он выразился, «поискачь чего-нибудь такого», мы с Марией Петровной обмениваемся несколькими фразами о пережитом за истекшие годы. Она напоминает о том, сколько нам всем пришлось испытать.

— Все тревоги, все боли, все муки прошли, — говорю я, поневоле несколько приподнято. — Победители, дожившие до победы, пользуются ее плодами. Пусть сердца только хватает, чтобы вместились вся радость. Какое счастье для вас обоих, с юности бросившихся на баррикады революции, пройти невредимыми душевно и телесно через такие опасности, страдания и лишения, перенести не одно поражение и наконец увидеть, как растет посеянное вами. И еще большее счастье пользоваться уважением и любовью своего народа, принимать от него заслуженную благодарность!

На нижних веках Марии Петровны выступают две слезинки.

— Каждый день, каждый час, Алеша, я почти теми же словами повторяю это...

Мы ужинаем в саду. За ужином вспоминаем прошлое, переходим к настоящему, опять пускаемся в воспоминания и снова возвращаемся к нашим дням. Петров, как, кажется, все в Болгарии, возмущается демагогией и вызывающим тоном речей, произносившихся недавно на партийном съезде в соседней стране.



— Национализм! Обыкновенный мелкобуржуазный национализм! Ничего больше. От него все качества. От него и самовлюбленность, от него же и политическая слепота. Вместо «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» лозунг: «Всяк кулик свое болото хвалит».

Он так ожесточен, что у меня возникает некоторое сомнение. Не слишком ли много чувства, не преувеличивает ли мой коронель?

— Но народ, какой народ! — передохнув, продолжает Петров.— Когда враг пришел, все поднялись. Есть ли другой народ, кроме советского, который дал такое партизанское движение, как югославы? Кто проявил больше выносливости и мужества? И такой народ с толку сбивать!

А когда я минут через двадцать выражаю свое восхищение двумя болгарскими народными песнями, слышанными мною на торжественном концерте в исполнении пионерского хора, Петров перебивает меня:

— Хороши, хороши, ничего не скажешь, и все-таки наши песни беднее югославских. Нет в них той сердечности. Вот послушай-ка. Давай, Маручко.

Они поют дуэтом сербскую любовную песню. У Марии Петровны тоже сильный, развитой голос, а спелись они... Они всю жизнь спевались! Голоса их чуть-чуть сдали, но музыкальность сохранилась. С чувством выпевают они сербские слова. Нет, напрасно я усомнился было в объективности негодования Петрова. Уверен, что, если бы он считал соседей хоть в чем-нибудь правыми, никто на свете не помешал бы ему признать это.

Суток через трое состоялось созданное Антоном собрание. Пришло человек двадцать пять, и понадобилось из кабинета Петрова перебраться в более обширное помещение. Бай Антон с хозяйским видом усаживал нас. Петров коротко представил меня и сказал, что мне хотелось бы послушать воспоминания болгарских интербригадцев, чтобы восстановить или проверить кое-какие детали нашего общего прошлого.

Товарищи по очереди вставали и рассказывали об особенно запомнившихся событиях. Петров задавал наводящие вопросы. Две стенографистки угловато водили карандашами.

Первым говорил товарищ с неестественно черными, будто крашеными бровями, которого я знал в Испании как Янова. Он продуманными, точными словами рассказал, как группа из пятнадцати болгарских коммунистов-эмигрантов добиралась до Испании. Среди них, кроме Янова, были Антон, Михайлов, Табаков и другие. Перед отправкой их разбили на группы и повезли разными путями. Янов и еще двое плыли из черноморского порта на испанском торговом пароходе, который, проходя мимо турецких берегов, на всякий случай поднял английский флаг. В пути пассажиры совместно с командой перекрасили пароход из малинового в зеленый и нарисовали на корме новое название. Причалив в Валенсии, двадцать пять иностранных добровольцев, среди которых находился и теперешний заместитель председателя Совета министров ГДР Генрих Рау, явились в распоряжение испанского ЦК. Интербригад еще не было, и Янова направили налаживать дисциплину в испанскую анархистскую часть. С ней он воевал под Сарагоссой и был ранен. По выздоровлении его перевели в ЦК Испанской компартии руководить славянскими кадрами, к которым, кроме поляков, югославов, болгар и чехов, по простоте душевной причисляли также греков и румын. На этой работе он познакомился с одним из будущих министров народной Польши и с будущим членом политбюро Румынской компартии. Совершенно естественно, что в настоящий момент Янов руководит отделом внешних связей и международной политики Центрального Комитета БКП.

Один за другим поднимаются бывшие voluntarios de la libertad<sup>1</sup>, как называли добровольцев интербригад, и бесхитростно вспоминают перед своими товарищами эпизоды испанской гражданской войны. По предложению Петрова никто не делает «научно-исторических выводов и не пытается обогатить философию». Факты, одни факты, и только по личным воспоминаниям. Поэтому так часто слышится: «дальше не помню, что было» или «забыл, в каком месте».

Один из товарищей рассказывает о своем участии в боях на Эбро:

<sup>1</sup> Волонтеры свободы (исп.).

— Около полутора месяцев мы вели борьбу за доминирующую высоту; кажется, она называлась «шестьсот пятнадцать». Это та, на которой погиб командир нашей батареи и комиссар тоже — он был итальянец. Я тогда остался и за командира и за комиссара, такой компетентной персоной сочли меня, хотя в противотанковой стрельбе я не очень-то разбирался. В конце концов наша бригада в этих боях, можно сказать, растаяла. Живых осталось не больше тридцати процентов. Чтобы сменить всю бригаду, из дивизионного резерва прислали всего один батальон. В нем было семь, нет, восемь болгар и, между прочими, Борис Попов. Я остался с ними. В первой же ночной атаке пять из восьми были убиты. Долго еще дрались мы за эту высоту. Ночью зайдем ее штыковым боем, а днем фашисты выбивают нас техникой. Позже меня ранило под Гандесой, сразу и в левую ногу и в лопатку. Как раз в это время из легко раненных бойцов интербригад комплектовали эшелон на эвакуацию. Восемьсот человек согласилась принять Мексика. Заковыляли мы из госпиталя на станцию. Доехали было до французской границы, а дальше, на Марседь, нас не пускают. Оказалось, что как раз в это время Чемберлен и Даладьё поехали в гости к Гитлеру. Мы вернулись обратно, подлечились, снова пошли на фронт и были там до девятого февраля тридцать девятого года, когда бои кончились и нас посадили в концлагерь во Франции.

— Я родился в селе Превала Михайловградской околии, — издалека начинает Петр Николов. — Начальной школы я не закончил потому, что остался сиротой. Был я батраком, своей земли не хватало, и работал в родном селе до тысяча девятьсот тридцать шестого года. Как всякий честный труженик, я давно сочувствовал партии, а потом вступил в нее. В тридцать шестом году узнали мы об испанских событиях. Встретился я с секретарем нашей сельской подпольной партийной организации Петром Калафаровым и стал его просить, чтобы он связал меня с околийским комитетом, потому что я хочу ехать в Испанию. Он повез меня в Михайловград к товарищу Николе Попову, который тогда был скобянщиком, а ныне — начальник милиции. Этот товарищ спросил меня, не следит ли за мной полиция. Я сказал, что полиция за мной не следит, и просил сделать все возможное, чтобы отправить меня в Испанию, что, раз идет такая война, мне в Болгарии делать нечего. Он говорит: «Только доставай деньги, потому что у партии их нет», — и связал меня с Тодором Ивановым. Тот меня передал Пейчо Пейчеву, который сейчас генерал. После этого мне оставалось вернуться в родное село, чтобы продать отцовское наследство. Я вернулся домой, продал свое маленькое поле, луг, овец, все, что было. Товарищ Пейчо Пейчев проводил меня до Софии. Когда я получил заграничный паспорт, он дал мне адрес партийного товарища в Париже. Я записал его на двух листках, один зашил под воротник пальто, а другой — в обивку чемоданчика. Товарищ Пейчев, который сейчас генерал, тогда был студентом, но его исключили из университета за политику, и он жил нелегально. Когда я уезжал, он пришел на вокзал проститься, и у него был какой-то журнал, я попросил, чтоб он дал его мне на дорогу. Отдал я ему какие оставались болгарские деньги, и он ушел. Только он ушел, а полицейские заметили журнал, подошли, взяли и спрашивают: «Кто дал тебе этот журнал?» Я ответил, что один горожанин сидел тут рядом и забыл его, а я подобрал. Жду я поезда, жду, а полиция опять подходит и забирает у меня заграничный паспорт для проверки. У всех, кто выезжал за границу, паспорта были на руках, мой же паспорт задержали до самой югославской границы, до Цариброда. Только когда поезд остановился в Цариброде, мне вернули документы. Благополучно проехал я Цариброд и еду дальше. Из Белграда я написал товарищу Пейчеву, что вроде дела в порядке. Приехал я в Париж, а по-французски — ни единого слова. Зашагал я по большому бульвару, шел минут десять и вышел на площадь, называется «Репюблик». Вон куда я ушел от нашей царской полиции! Ну, а дальше? Люди собрались вокруг меня, видят, что я, как дикарь, говорить не умею, только адрес показываю. Посадили меня в автобус, показали, где сойти. Добрался я до указанного товарища, а он со мной и говорить не хочет. «Кто дал тебе мой адрес?» — кричит. Тут приходит другой. Я им говорю: «Слушайте, совсем я мог запутаться в вашем городе, но вот нашел дом, теперь вынь да положь нужен мне этот товарищ, что в адресе записан». Они спрашивают: «Какой такой товарищ? Зачем он тебе нужен?» Я отвечаю: «Я коммунист и еду в Испанию», теперь они уже вдвоем давай кричать: «Что значит

коммунист? Чего ты к нам пристал? Берегись!» Окончательно я растерялся. Тогда один спрашивает: «Раз ты едешь из Болгарии, ты какой-нибудь багаж возьмешь с собой?» Я поставил на пол чемоданчик и показываю: «Вот весь мой багаж». Тут он меня хлопнул по плечу: «Давно бы так!» Оказывается, пароль такой был — поставить на пол чемодан и показать на него. Мне позабыли сказать. Отвели меня тогда эти ребята в отельчик, связали с Комитетом помощи Испанской республике. Там распорядился один поляк. «Ты болгарин?» — спрашивает. «Болгарин». — отвечаю. «Тогда з́араз поедешь». Он мне сказал «з́араз», а я понял, что это он по-русски сказал мне «завтра». Прихожу я на другой день, а все еще вчера уехали. Опять он мне «з́араз» говорит, а я слышу «завтра». Ну, пришел я назавтра, тоже опоздал. Пришел на третий день, а поляк орет на меня по-польски: «Пречь!» — вон, значит. «Ты не то идиота, не то шпег!» — то есть шпион. Накричал и выгнал меня на произвол судьбы. Вышел я, хожу по улицам. Дождь был сильный, промок я насквозь. Ходил, ходил, пришел по знакомому адресу. Ну, ребята наши все устроили. Взяли меня. Собралось нас семьдесят пять душ. Из болгар я только и был. Старшим назначили одного серба, Коста Надж его звали, тот самый, что теперь генерал-полковник в Югославии. Из Парижа мы поездом поехали в какой-то приграничный городок. Там нас разбили на группы. Скоро пришли два испанца, посадили мою группу в маленький автобус и повезли. Было нас восемнадцать человек, все знакомые по поезду. Под утро пешком дернули границу. Встретился нам испанский пограничный пост. Как только мы его увидели, Коста Надж произнес речь, вроде как клятва Христо Ботева. Он начал так: «Поклянемся испанскому народу...» Его речь другой югослав перевел на французский. Всем она понравилась. С границы мы поехали узкоколейкой в Альбасете, куда прибыли как раз к празднику Первого мая. Дней пятнадцать нас учили стрельбе и перебежкам, а потом всех славян направили на фронт, в батальон Димитрова. Там я встретил первого болгарина, известного вам товарища Табакова. Он был комиссаром батальона, а Гребенаров был убит, и командовал тогда батальоном венгр, которого прозвали «Чапаев»...

— Да ты расскажи что-нибудь про войну, — подсказывает Петров.

— Что про войну рассказывать! Все вы там сами были. Про войну неинтересно. Мне воевать легче было, чем доехать...

Тезка бай Антона Ангел Миров тоже скупо упоминает о боях, но в противоположность Петру Николову подробно рассказывает не о своем приезде, а о своем отъезде из Испании. Бывший член Революционного союза молодежи, выслеженный полицией, он эмигрировал во Францию, где прожил несколько лет.

— В конце декабря тысяча девятьсот тридцать восьмого года, во время эвакуации иностранных добровольцев под наблюдением Комитета по невмешательству, нас, семьдесят человек, посадили в поезд и повезли во Францию. На границе мы проходили комиссию. Один, швейцарский видимо, генерал спрашивает меня по-французски: «Куда хочешь ехать?» Он знал, что болгарам, югославам и другим некуда возвращаться. Я молчу. Он опять спрашивает: «Куда хочешь ехать, в Москву или во Францию?» Я не знал, что ответить, и говорю: «Или в Москву, или во Францию». Он рассердился: «Что это значит — или туда, или сюда, выбирай что-нибудь одно». В Москву меня не приглашали, я выбрал Францию. Ну, приехал я в Париж, встретился с друзьями, начал работать. В апреле тридцать девятого меня арестовали. Посадили в лагерь в Гюрсе. Началась война. Нас перебросили на северную границу, там мы строили траншеи и подъездные пути. Я убежал. Жил нелегально до тысяча девятьсот сорок второго года. В сорок втором установил связь с партией и вступил в движение Сопротивления. В сорок четвертом меня снова арестовали. Месяц продержали в тюрьме, а потом отправили в Бухенвальд. Там я провел год. Пришла Советская Армия и освободила нас. Я с французскими товарищами вернулся в Париж. Здесь мне дали задание провезти на родину семь болгар. Хотя фашизм был разгромлен, но капитализм-то остался: в Италии ни хлеба, ни чего другого нельзя было достать ни за какие деньги — только в обмен на соль и сахар. Пришлось пробираться из Франции нелегально с двумя-тремя килограммами соли и пятью килограммами сахара на горбу у каждого. Мы перебрались через Альпы и видели в июле и августе снег. Около Милана попутный грузовик, на котором мы ехали, опрокинулся в канаву. Целую неделю я был без сознания, определили у

меня сотрясение мозга и перелом трех ребер. Потом я вернулся в Болгарию. Сейчас работаю в Министерстве внутренних дел...

Слушая воспоминания этих людей, я думаю о том, насколько подчас правда бывает похожа на выдумку. Многие из того, о чем они рассказывали, трудно было бы напечатать — читателю это показалось бы нарочитым, придуманным. Таков был, например, рассказ бывшего командира роты из батальона Джуро Джаковича, состоявшей из двух человек: командира и бойца.

— Так уж получилось. Кого убили, кого ранили. Четыре раза рота поднималась в контратаку. Осталось нас под конец трое — я, хорват один и один испанец, тяжело раненный. Санитаров не нашлось, чтоб вынести. Скоро он умер, и нас осталось двое, а на двоих три пулемета: два станковых и один ручной. Связи — ни слева, ни справа. Но тихо было, фашисты угомонились, больше не лезли. И подходит тут с тыла адъютант командира пятнадцатой бригады Чопича, звали этого адъютанта Нешич. «Что это за безобразие? — спрашивает. — Куда твоя рота девалась?» Я показываю в сторону фашистов: «Кроме раненых, вся там». «Перешла к врагу?» — вопит он. Ну, я с ним поругался. Я по-болгарски, он по-сербски — облегчили, в общем, душу. Уходя, он дает команду: «До утра держать позиции во что бы то ни стало». Разозлился я еще больше и припечатал его по-сербски — у них крепче получается. Ушел он, опять мы остались вдвоем. Что делать? Потом слышу, будто несколько человек сзади идут. Оказалось, оружейник батальона привез на муле комплект боепитания. Говорит: «Держи, брате, это твоя хана за фашиста»<sup>1</sup>, — тоже югослав. Я опять было заругался, куда мне девать эти ящики. Но то был другой человек. Привязал мула в ходе сообщения, разгрузил его в одиночку, принес две коробки пулеметных лент. «Трое, — сказал, — больше, чем двое. Остаюсь с вами». Однако до утра ничего не случилось. Только осветительные ракеты фашисты пускали. А утром смена пришла. Чопич потом объявил мне благодарность, что я «с недостаточными силами» удержал позиции. Конечно, я позиции не удержал, я себя удержал на позициях. Хорошо, что фашист не сунулся...

Мы собирались дважды, и за оба раза меня больше всего поразили воспоминания высокого, кругленького полковника с глазами, как чернослив, и усиками щеткой. Он тоже рассказывал не о самой испанской войне, а о том, как он на нее пробирался.

После ряда приключений он оказался в Марселе, где собралось около тысячи трехсот добровольцев разных национальностей. Болгар было всего двенадцать.

— Как апостолов, — подал реплику Антон.

В связи с трудностью перехода уже наглухо закрытой к тому времени границы было решено отправить всех морским путем. Однажды ночью их погрузили в трюм испанского грузового парохода, который отчалил под утро. Точно в тот момент, когда он входил в испанские территориальные воды, «неизвестная» подводная лодка, как тогда было принято из вежливости называть итальянские, с близкого расстояния пустила торпеду и расколола корабль пополам. Полковник рассказывал негромко, обыденным голосом, заметно стараясь быть точным в подробностях:

— Взрыв был очень сильным. Все затянуло дымом. Я был на палубе, и меня выбросило в воду.

— Плаваешь хорошо, товарищ полковник? — задал вопрос Петров.

— Я не умею плавать, — тем же тихим голосом отвечал полковник. — Но один немецкий товарищ вытянул меня за волосы и подсунул под меня доску, вернее не доску, а оторванную откуда-то дверь.

— А почему ты был без спасательного пояса?

— Откуда же на грузовом пароходе спасательные пояса почти на полторы тысячи человек?

— Ладно, давай дальше.

— Немецкий товарищ хорошо плавал и поплыл к берегу. А я где-то читал, что когда корабль тонет, образуется водоворот, который все затягивает, поэтому, держась за дверь, я бил ногами и старался убраться подальше. Отплыл довольно далеко. Вокруг барахтались люди. Одни не умели плавать и тонули, другие были ранены при

<sup>1</sup> Держи, брат, это тебе корм для фашистов (серб.).

взрыве и тоже шли ко дну, третьи, как я, держались за всякие обломки. Иные плыли к берегу, а до него — километров тридцать. Скоро я начал замерзать, доска моя намокла и стала уходить под воду. Волны захлестывали меня. Рядом потонуло уже столько товарищей, что мне было, можно сказать, все равно. Скоро и я утонул.

Несмотря на драматизм повествования, многие заулыбались. Петров тоже усмехнулся и сказал:

— Не совсем, видно, утонул.

— Нет, совсем,— очень серьезно возразил полковник.— Меня потом подобрал в спасательную шлюпку тот самый германский товарищ, который дал мне доску. Несколько шлюпок шло к нам навстречу с берега, и он вернулся на одной. Все считали, что уже поздно и меня не спасти. Но он был упрямый человек. Сорок минут делал мне искусственное дыхание да уколы и спасли. Так я попал в Испанию — утопленником, вытасненным из моря. Всего спаслось немногим больше двухсот человек. И так получилось, — полковник сконфуженно посмотрел на нас, — что все двенадцать болгар остались живы, хотя никто из нас не умел плавать.

Кое-кто опять улыбнулся.

— Ну, а как вели себя люди во время катастрофы? — строго спросил Петров.

— Вели себя ничего, — помолчав, как будто взвешивая, сказал полковник своим глуховатым будничным голосом.— Надо сказать, что середина парохода сразу провалилась, а корма и нос долго торчали над водой. Там, то есть на корме и на носу, собралось много товарищей. Пока я их еще видел, особой паники не было, они пели «Интернационал»...

— Особой паники не было, — медленно и хрипло повторил Петров.— Они пели «Интернационал»... Встать! — скомандовал он почему-то по-русски.— Смирно!

Все встали и вытянулись.

— Знаешь, если б он был журналистом, я подумал бы, что это литература, что эффектный конец специально подготовлен, — говорил я потом Петрову в машине.— Но ведь он же весь насквозь полковник, никакой в нем нет театральности. Слушаешь и видишь, так оно и было. Нет, подумать только: за одно право принять участие в антифашистской войне погибло больше тысячи человек. И никто о них, кроме этого полковника, уже и не вспомнит!..

— А знаешь, что он из моего села? Мария Петровна в молодости была его учительницей. Я с ним случайно разговорился в Испании и узнал. Он тогда написал ей в Москву. Писал, чтоб она не думала, что семена, брошенные ею в сердца болгарских детей, пропали даром, что ученики понимали ее между строк и один из них сражается с фашизмом в Испании...

Третье собрание болгарских волонтеров свободы состоялось примерно через неделю, но Петров на него почему-то сильно запоздал. Мы ждали его и, вспоминая язык, переговаривались по-испански, когда нас пригласили в приемную президиума. Петров был уже там, и с ним еще четыре человека. Он предупредил нас, что сейчас произойдет вручение орденов за участие в испанской войне тем, кто, будучи в списке награжденных, по разным причинам не смог получить награду вовремя.

Петров и остальные четыре товарища выстроились в ряд. Мы стояли сбоку и смотрели, как заместитель председателя президиума, тщедушный старичок профессорского вида, вручал ордена пяти свободным гражданам свободной Болгарии за то, что они дрались за свободу Испании. На стене перед нами висел портрет Ленина, по сторонам его — Благоева и Димитрова. Когда все пять орденов были вручены, Петров выступил вперед, от имени остальных поблагодарил за награду и сказал, что, «если понадобится, то, несмотря на свои седые головы, бывшие добровольцы интербригад по первому зову партии готовы, как и прежде, грудью стать на защиту великого дела свободы, мира и социализма...» Потом в кабинете председателя президиума нам подали по рюмке коньяку, и мы снова поздравили награжденных, среди которых, кроме Петрова, был еще один член ЦК Рубен Аврамов.

В машине Петров, рассеянно что-то напевая, отстегнул орден, аккуратно уложил его в коробочку и спрятал в нагрудный карман. Наступила моя очередь засмеяться и повертеть головой..

## 7. Зеленая улица

— Трогай! — с шиком скомандовал Гиргин.

Шофер Евтим, подменивший Косту, вполне сносно объясняется по-русски; он понял, и машина отошла от подъезда многоэтажного нового дома. Я уже бывал здесь, в небольшой квартирке, которую занимают Герта и ее муж, и давно уверился, что Гиргин отнюдь не так молчалив, как показалось при первом знакомстве. В обществе тещи он слерживал себя, соблюдая патриархальное правило поведения, по коему младшему следует помалкивать в присутствии старшего. У нас в подобных правилах, и то давным-давно, воспитывали детей лишь старообрядцы да еще горцы, но Гиргин — сын болгарского крестьянина и получил именно такое воспитание. Интеллигент из народа, публицист, печатающийся иногда и в московских журналах, «бесстрашный борец с ревизионизмом», как называет его Алек, Гиргин сочетает в себе горячность чувств и даже вспыльчивость с почти изысканной вежливостью.

Наше совместное путешествие возникло экспромтом. Сегодня рано утром Белов вынужден был срочно вылететь за границу. Жена его, выписавшись из клиники, уехала долечиваться в Москву. Я оставался один, и Герта с Гиргином соблазнили меня прокатиться в Южную Болгарию, к Пловдиву.

— Вы не можете себе представить, Алексей Владимирович, как я по ней соскучилась, — голосом виолончели стонала Герта.

Речь шла об их маленькой дочери, которая уже свыше месяца гостила в деревне у родителей Гиргина и за которой мы направлялись. Девочку назвали поэтическим именем Денница, что означает «утренняя звезда».

Шоссе София — Пловдив представляет собой отрезок международной автомагистрали, тянущейся к северо-западу через Белград и Будапешт на Вену, а к юго-востоку на Стамбул. Машина скользит по нему, как по паркету, воистину скатертью дорожка! Жаркий воздух, врываясь на такой скорости через приоткрытые стекла, превращается в ураганный ветер, и нам не жарко. А когда мы забирались в машину, мне почудилось, что я лезу в ту самую печь, в которой Навуходоносор пытался сжечь трех благочестивых отроков.

Герта, со свойственной ей по отношению к самой себе насмешливостью, вспоминает, как в конце 1944 года она отказывалась ехать с родителями в Болгарию.

— И ведь подумать, кажется, уж взрослая, мне тогда шестнадцать стукнуло, и была я всегда, как в будничных романах писали, «жгучая брюнетка», в метро со мной часто по-грузински заговаривали и обижались, что я не понимаю, — а больше всего мне не нравилось, что болгары не блондины...

— В блондина какого-нибудь влюблена была, — без одобрения предполагает Гиргин.

Герта повела глазами в его сторону и продолжала:

— Не поеду, говорю, и все. Там одни черные живут. Поезжайте сами, если хотите, в свою Болгарию, а я русская, я остаюсь...

Теперь Герта не только способный болгарский режиссер, но и весьма напористая болгарская патриотка. Она живейшим образом реагирует на мое восприятие ее вновь обретенного отечества и умеет показать товар лицом.

— Сейчас даже дико, знаете... А привыкла я очень быстро. Трудней всего было с аттестатом зрелости. Я училась всегда по-русски. Перешла уже в десятый, но тут мы переехали, и все поломалось. Еще одна болгарская девушка оказалась в таком же положении. Нас обеих приняли в школу при советском посольстве. Все остальные девочки там были русские, присхали с родителями. Начались занятия, наладилось все понемногу, физика только долго не могли найти. Потом прислали майора, он окончил физический факультет, но еще никогда не преподавал: сразу из вуза на фронт. Молодой был майор, роста огромного, прямо гигант, а стеснялся, как барышня. На первый урок пришел, сел, посмотрел на нас, покраснел как пион и говорит жалобным басом: «Одни бабы!..» Мы чуть с парт не попадали.

Я засмеялся. В зеркальце было видно, что Евтим тоже улыбается.

— Ваши родители, Гиргин, живут, не доезжая Пловдива? — спросил я, когда Герта замолчала. — Алек называл мне какой-то другой город, Пазарджик, кажется...

Герта делает страшные глаза.

— Алексей Владимирович, вы рискуете жизнью!

— Пазарджик, верно, не доезжая Пловдива. А село, в котором я родился, Рупките,— по ту сторону Пловдива, близ города Чирпан.

— А почему же я рисковал жизнью?

— Вы спутали Пазарджик с Чирпаном,— объяснила Герта,— а они в состоянии вековой вражды, прямо что-то вроде кровной мести. Чирпанцы презирают пазарджикцев, пазарджикцы ненавидят чирпанцев. И те и другие — упрямы страшные, по Гиргину можете судить. Поговаривают, что это в них бродит турецкая кровь. Хотите послушать, что про них рассказывают?

— Еще бы!

— Ну, слушайте. Как-то один пазарджикли, как по-болгарски их называют...

— Кажется, это турецкий суффикс?

— Да, да... Так вот, один пазарджикли ехал в поезде. Ехал он, ехал, и захотелось ему спать. Прислонился он головой к стенке, но что-то твердое торчит под самым затылком, мешает заснуть. Смотрит, а там гвоздь плохо забит, а забить нечем. Что делать? Тогда он стукнул несколько раз собственным затылком по шляпке гвоздя и вогнал его в доску. Но скоро гвоздь опять вылезает. Пазарджикли снова заколотил его затылком, а гвоздь упрямо лезет назад. Ударил пазарджикли головой посильнее, загнал гвоздь до отказа, вскочил и пошел в соседнее купе посмотреть, в чем дело. А там сидит чирпанли и затылком по острию забивает гвоздь обратно...

Пока мы болтали, по обем сторонам шоссе стремительно разворачивались сперва горные, а когда дорога выбежала в долину Марицы,— равнинные пейзажи страны с древней земледельческой культурой. Фракийцы пахали и сеяли тут чуть ли не за полтора тысячелетия до того, как на Днепре поселились восточные славяне, занимавшиеся охотой, рыбной ловлей и пчеловодством. Сейчас, в разгар лета, любовно обрабатываемая престарелая эта земля выглядит цветущей юной. Поближе к Пловдиву вдоль шоссе, на небольшом расстоянии один от другого, потянулись курганы, стерегушие проторенный в ветхой древности путь.

До второго по величине города Болгарии оставалось уже немного, когда я попрощал Евтима остановиться: мы пролетели мимо невзрачной пирамидки с красной звездой. Машина с разгону проходит метров двести и останавливается как раз напротив еще одного памятника. Шесть белых ступеней ведут к его подножию, где, выбитые из того же белого камня, лежат скрещенные серп и молот в венке из стилизованных колосьев. По бокам на двух скрижалях выгравированы двенадцать имен, над ними обелиск с ажурной пятиконечной звездой. На обелиске начертано: «В ночь с 26 на 27 сентября 1923 года на этом месте были расстреляны верные сыны народа». По моему настоянию мы возвращаемся к тому надгобию, которое я увидел из машины. Оно выглядит скромнее: на широкой бетонной плите отшлифованный параллелепипед известняка, выше из серых кубов сложена четырехгранная колонна, увенчанная грубо сработанной и выкрашенной красной краской пятиконечной звездой с серпом и молотом. Надпись, сделанная от руки, гласит: «На этом месте фашистские звери жесточайшим образом убили 30/V 1944 г. товарищей:

Петра Начкова 70 л.

Илию Калинова 50 л.

Грью Андреева 40 л.

Димитра Шагаданова 52 л.

Штерю Дуплева 40 л.

Никола Грымалиева 34 л.

Тодора Кирякова 36 л.

из Кричима».

Еще одно «борческо село». Здесь, на обочине шоссе, оно принесло делу освобождения семь жертв, а там еще двенадцать... И так по всей Болгарии!

В Пловдиве мы не задерживаемся. Проскочив через западную часть города, машина взобралась на обрывистую гору, и я мог оттуда полюбоваться панорамой города. На плешивом темени горы вздымается гранитная скала, а на ней — упирающаяся в небо

шапкой-ушанкой статуя советского солдата, водруженная в память освобождения Пловдива в 1944 году. Задрал голову, я смотрю вверх. До чего он громаден, наш солдат!.. Неподалеку от скалы, на той же площадке, находится мраморный монумент с двуглавым орлом, поставленный предкам этого солдата в память освобождения Пловдива в 1878 году.

Дважды свободный Пловдив распростерся далеко вниз. Гиргин показывает старую турецкую тюрьму, которая отсюда выглядит весьма романтично, бывшие казармы аскеров, павильоны международной ярмарки, дом Ламартина, прожившего здесь несколько месяцев во время своего путешествия по Востоку, и что-то еще. Однако, понимая, до чего молодым родителям не терпится поскорее обнять свою Денничку, я не смею оттягивать их счастье, как мне ни хочется рассмотреть все получше.

Машина осторожно спускается по извилистой аллее, и вот мы пересекаем Пловдив. Я успеваю отметить очередь свободных такси на вкусы различных эпох — впереди три «варшавы», а за ними пять или шесть одноконных извозчиков, — мост через широкую здесь Марицу, которую восемьдесят лет назад, в январе, форсировала российская гвардия, и мы уже за городом. От Пловдива до Чирпана мы едем еще по шоссе, а от Чирпана поворачиваем на узкую и пыльную сельскую дорогу; по ней наша громоздкая машина движется с осторожностью канатоходца.

В перегретое солнцем Рупките мы прибыли к концу дня. Если бы не построенные из самодельного кирпича двухэтажные или полуторазэтажные (с полуподвалом) дома, просторные улицы этого села скорее всего напоминали бы небольшую кубанскую станцию, а когда открылись деревянные ворота и мы въехали в заросший травой двор, обсаженный раинами, сходство это еще увеличилось. Но вид второго, внутреннего, каменного дворика возле дома одним махом перенес меня на Восток, и я понял, что Рупките — это Рупките.

С подавленным вскриком Герта первая подхватила загорелую кудрявую Денничку на руки, но, увидев умоляющие глаза Гиргина, передала ее мужу. И когда все вокруг одновременно говорили, здоровались и знакомились, Гиргин, забывший обо всем на свете, бормоча, прижимал дочку к груди, пока с нежной и насмешливой укоризной мать его не воскликнула:

— А про мать свою ты забыл, мой сын?

Гиргин вспыхнул, отдал Денничку жадно смотревшей на нее Герте и с виноватым лицом упал в материнские объятия.

Я огляделся немного, и меня сразу начали одолевать сомнения. Едва суматоха улеглась, я увлек Гиргина в сторонку.

— Гиргин, дорогой, пойдите-ка сюда. Скажите мне прямо и честно, ваш отец что, помещик?

Гиргин слегка покраснел.

— Мой отец крестьянин-средняк.

— Но тогда что же все это значит?

И я показал на мощеный дворик с водопроводом, обнесенный каменной оградой выше человеческого роста, на внешний двор и тенистый сад, на приусадебный участок, засаженный фруктовыми деревьями, на большой поливной огород, а главное, на дом с пятью комнатами и кухней в полуподвале, этакий домик мелкопоместного украинского пана, меблированный несколько старомодно, но вполне буржуазно. Гиргин понял мое недоумение.

— Алексей Владимирович, не сравнивайте здешние условия с вашими, особенно в средней полосе. У нас благословенная земля! Вместе с южным солнцем она позволяет снимать сказочные урожаи. Но, конечно, для этого нужен еще и труд, упорный, напряженный, неистовый труд многих поколений. Тут находилась одна из богатых колоний Рима, а потом Византии.

— Согласен. Убедили. Но догадываюсь еще об одной причине: война здесь не проходила с тысяча восемьсот семьдесят восьмого года...

Пока готовится ужин, мы с Гиргином выходим на улицу, на которой он вырос. Встречные тепло здороваются с ним, спрашивают, как там, в Софии...



— Село наше зажиточное,— ориентирует меня Гиргин.— До создания кооператива всего один настоящий бедняк был. Недавно ему новый дом выстроили.

— Можно посмотреть?

Мы сворачиваем в другую улицу. олять поворачиваем.

— Пожалуйста, вот дом бывшего бедняка.

Двухэтажный коттедж с черепичной крышей и кирпичной оградой, тоже крытой черепицей, красуется перед нами.

— Да,— говорю я,— не всякий поверит.

К нашему возвращению посреди восточного дворика был уже приготовлен ужин. На столе пышный белый деревенский хлеб, помидоры, огурцы, зеленый лук, жареный перец, миска с чем-то вроде чохахбили из курицы. Среди этой соблазнительной снеди — похожая на штоф бутылка с анисовой водкой. Рюмок нет. Здесь сохранился обычай предков пить из круговой чаши, которую заменяет бутылка или графин. Отец Гиргина вытирает горлышко ладонью и подает бутылку гостю. Я благодарю, подношу бутылку к губам, делаю два или три глотка, передаю бутылку Евтиму, и у меня захватывает дух...

В этот вечер, укладываясь спать, я впервые за все пребывание в Болгарии видел не вполне трезвого человека, но смотрел я на него — в зеркало...

Когда впоследствии я рассказал Белову, как осрамился скиф на пиру фракийцев, он не удивился.

— Я думаю! Эта их анисовая — «анасонлиика» она прозывается — быка свалит. Обычай же пить вкруговую тем плох, что без рюмок ты не можешь сообразить ни сколько ты выпил, ни сколько выпили другие. А они самого сатану перехитрят, эти южане. Уверяю тебя, что, как честный человек, ты почти один и выдул всю бутылку...

На следующее утро мне предстояла насыщенная программа дня, разработанная в Рупките для любознательного интуриста.

Для начала Гиргин повез меня на поля кооператива. Выйдя на сельскую улицу, где жил Евтим, мы увидели посреди нее танцы.

— В селе свадьба,— пояснил Гиргин.

Старый крестьянин в черной барашковой шапке с виртуозной быстротой пиликал на доморощенной скрипке, которая в данном случае вполне оправдывала свое название; другой, помоложе, играл на чем-то вроде пастушьей свирели. Два первобытных инструмента живо исполняли переливчатую мелодию с бойким ритмом. Человек тридцать парней и девушек, кто в народных костюмах, кто в пиджаках или шелковых платьях, держась за руки, изгибающейся цепочкой выплясывали хоро<sup>1</sup>, которое вел дружка с повязанным бантом вышитым рушником у левого плеча. Вот кого бы и следовало называть хоро-вод! Как раньше на концерте, так и здесь я про себя отметил, что болгарские хоро очень похожи на сербские коло<sup>2</sup>, только, думается, разнообразнее их.

Завернув к правлению, чтобы прихватить с собой председателя кооператива, мы двинулись из села.

Поля кооператива начинались сразу же за селом. На них выращивают горчицу, ячмень, пшеницу и кукурузу. Последняя в стране стародавнего земледелия занимает самое высокое место на иерархической лестнице злаков, что видно из самого ее болгарского названия — «царевница». Проходя вдоль посевов ячменя, я обращаю внимание председателя кооператива, что несколько гектаров засорены горчицей.

— Нехорошо, но не так важно,— отвечает он.— Этот ячмень мы сдаем в город на пиво. Семена мы получили из государственного фонда, что ж поделаешь. А вон тот участок мы засеяли собственными.

И он указывает в сторону, где, густой, как щетка, стоит абсолютно чистый, без единой посторонней травинки, ячмень.

Главное богатство кооператива в селе Рупките — виноградники. К ним меня подвоят в конце. Виноград сдается в Чирпан, где находится большое винодельческое предприятие. Несмотря на воскресенье и на то, что в селе свадьба, на виноградниках

<sup>1</sup> Болгарский национальный танец.

<sup>2</sup> Югославский национальный танец.

людно. Загорелые девушки подвязывают лозы. Через дорогу другой виноградник, пореже.

— Новый,— кивает в его сторону подбородком председатель.

— А почему там кусты высажены редко? Так лучше?

— Зачем лучше, гораздо хуже! Только там участок механической обработки, а здесь ручная. Вручную мы на гектар сажаем четыре с половиной тысячи кустов, а при механизации — три с половиной тысячи. Ручной труд получается выгоднее.

— Так зачем же вам тогда механизмы?

— Министерство не разрешает расширять виноградники без использования машин. А машины эти надо прежде реконструировать...

Вижу, что нечаянно наткнулся на сюжет для громового очерка, может быть даже на целую золотую жилу для болгарского Овечкина, буде таковой имеется. Но в качестве гостя я не призван ее разрабатывать, а потому, оставив председателя на виноградниках, мы с Гиргином едем в Чирпан, где находится «винарска изба», и если знать, что «изба» по-болгарски означает «погреб», то остальное понятно. Нас принимает в небольшом кабинете директор винодельческого предприятия — высокий человек средних лет, с густыми волосами, в пиджаке внакидку, само собой разумеется, бывший партизан. Кроме нас, в кабинете секретарь парторганизации, молодой, с круглым мальчишеским лицом и преждевременно поредевшей шевелюрой, и еще кто-то из служащих.

Нас ведут осматривать хозяйство. Огромные бочки на тысячи гектолитров вмурованы в бетонные стены. Они обозначены номерами. В главном зале винных подвалов над кранами бочек номер 91 и номер 92 во всю стену кистью кузнеца Вакулы написана фреска. Тут и виноградные лозы, и бочки, и грузовики, и бутылки, и знамена, и люди. По нижнему краю выписан лозунг: «Вечна Дружба с СССР», причем от избытка чувств и слово «дружба» начинается с заглавной буквы.

По возвращении в кабинет директор рассказывает, что руководимое им хозяйство выпускает вина нескольких марок, самая известная из них — «Дымчат». В Советский Союз ежегодно экспортируется отсюда до двух с половиной миллионов литров.

Когда наша машина входит в Рупките, из села выезжает свадебный поезд. Мы даем ему дорогу. Тяжелый курносый грузовик, изготовленный в ГДР, наполнен девушками и молодыми людьми. Невеста в фате и в подвенечном платье сидит рядом с шофером. Дружка держит в знак почета бунчук с вышитым полотенцем вместо конского хвоста.

— Куда они едут?

— К жениху. Расписались они в нашем сельском управлении, но молодой из другого села. Подруги и друзья проводят невесту к нему и там всю ночь пляшут.

— А я по убранству невесты заподозрил, что в церковь.

— Что вы! — негодует Гиргин.— У нас сознательная молодежь.

Он фотографирует свадебный поезд. Заметив это, многие ребята приветственно поднимают кулаки. Здесь еще не забыт недавно объединявший всех революционеров Европы этот выразительный жест единства и силы. Пожалуй, и впрямь не поедут они в церковь с поднятыми кулаками...

Мы угодили как раз к столу. Кроме вчерашних сотрапезников, за него садится дядя Гиргина, могучего сложения бронзоволицый человек лет пятидесяти. В отличие от старшего брата он во всем домотканом, а на ногах у него нечто вроде кожаных галош. Он с места в карьер заводит дружбу с гостем, как все пожилые крестьяне, зовет меня «братушкой» и кладет мне на плечо чудовишных размеров пятерню. Скоро выясняется, что «младший брат» гораздо старше, чем отец Гиргина: ему, вопреки очевидности, уже под семьдесят.

Сегодня мы, слава богу, запиваем барашка не адской «анасонликой», но легким домашним белым вином; графин переходит из рук в руки. После обеда отдыхаем в саду. Гудят пчелы, в траве жалко пищат дыллата; их много, но почему-то они без насадки.

— Так они из инкубатора,— рассеивает мое недоумение Герта.— В Пазарджике еще до войны был инкубатор, принадлежавший одному богачу. Инкубатор сохранили. Сейчас он и государству приносит доход, и кооператорам выгодно. За цыпленка из инкубатора берут по одному леву шестидесяти стотинок, а на базаре пришлось бы платить по три лева. Свекровь была в Пазарджике, взяла столько цыплят, чтоб хватило до будущего года,— и возни никакой.

— Только без насадки они коршунов не боятся,— жалуется мать Гиргина.— Никто им в инкубаторе про коршунов не рассказал.

Евтим подает машину незадолго до заката. Гиргин усаживается рядом с ним и принимает Денничку. Сопровождаемые приветствиями, пожеланиями и советами, мы трогаемся в путь. До Чирвана качает так, что разговаривать трудно, но Герта все же проверяет, каковы мои впечатления от Рупките.

— Отчаянное село,— не дослушав меня до конца, говорит она.— Вы не смотрите, что все будто тихо. Знаете, какой народ здесь живет? Как на Корсике или на Кавказе. Чуть что— дуэль на кинжалах.

— На Кавказе этого больше нет.

— А тут есть. Рассказывают, например, что недавно поссорились два здешних парня из-за девушки. Схватились они за ножи и дрались до тех пор, пока оба не упали мертвыми. А когда их подобрали, оказалось на каждом ровно по десяти ран, и все смертельные!.. Если не верите, спросите Гиргина.

Он рассмеялся. Я тоже.

— А здорово? — засмеялась и Герта.— По десяти ран, и все смертельные!..

В Софии была уже глубокая ночь, когда мы подъехали к дому, но окна спальни Белова еще светились. Услышав остановившуюся машину, он в пижаме вышел на балкон, всмотрелся и сделал знак, что сейчас спустится.

— Ждет. Соскучился по Денничке,— растроганно произнесла Герта.— Не спит.

Из своей командировки Белов возвратился днем и уже успел отдохнуть. Когда мы поднялись, он сказал озабоченно:

— Завтра я, понимаешь ли, обязательно должен выехать суток на двое в Плевен на предсъездовскую окружную партийную конференцию. Эмилия Александровна придет только в среду. Если ты не устал, хочешь, проедемся со мной, чтоб здесь тебе одному не скучать?

Конечно, я согласился. И вот мы с Беловым снова в пути. Он рассказывает о своей поездке и о встрече с министром одного государства, который тоже побывал в Испании.

— Представь себе, он сделал вид, что меня узнал.

— Ну что ты скромничаешь? Как он мог тебя не узнать? Операцию с нашей бригадой под Махадаондой он же проводил?..

— Не забывай, что с тех пор ему пришлось провести еще некоторое число операций и, насколько я знаю, не меньшего масштаба..

Машина летела пулей. Мы проделали около половины пути, когда задумавшийся было о чем-то Белов вдруг дотронулся до моего локтя.

— Обрати внимание на село, к которому мы подъезжаем. Здесь меня избирали в Народное Собрание.

Читаю надпись «Ябланица». За шитом с надписью открывается знакомая картина: двухэтажные кирпичные дома, тротуары вдоль главной улицы, приличные магазины.

— Объясни ты мне, ради бога, толком, чем у вас село отличается от города?

Белов усмехнулся.

— Ведь стоит задача стереть эти отличия... Конечно, если без шуток, многим еще отличается, но должен тебе сознаться, что, когда я возил вице-президента Индии по стране, то как раз на этом самом месте он спросил: «Вы меня не обманываете, это действительно село, а не город?»

— А ты его правда не обманывал?..

Мы уже миновали вызывающую сомнения Ябланицу, когда Белов заговорил о другом:

— Под Плевеном есть одно примечательное село — Слатина. Постараюсь устроить тебе поездку туда. Увидишь один из передовых сельскохозяйственных кооперативов. Раньше там была нищета, но еще до войны завелся в Слатине один железный человек и взялся за создание кооператива. При фашистах, чувствуешь? Это ему, представь, удалось! И вот в прошлом году на съезде кооператоров он от имени крестьян Слатины заявил, что, по их расчетам, в ближайшие четыре-пять лет они попросят поднять им слагбаум на пути к коммунизму, ни больше, ни меньше!..

Ночевать мы остановились неподалеку от села Горни Дыбник, возле которого произошло одно из кровопролитнейших сражений под Плевной. Среди молодого фруктового сада, насаженного вокруг братского кладбища, стоит идиллический домик: чудесный образец староболгарской сельской архитектуры. Но это отнюдь не музейный экспонат. Половина его предназначена для проезжих гостей, в другой живет хранитель заповедного места с женой. Белова оба приняли с распростертыми объятиями, для чего имелись веские причины: энное число лет назад он был дружкой на их свадьбе. Теперь молодому немножко не хватает до семидесяти. Но долгие годы прожиты товарищем Цаковым не зря: это он, например, основал первую партийную ячейку в Быркаче. Сейчас он получает пенсию, но, будучи агрономом по профессии и не желая оставаться без дела, добровольно руководит огородным, фруктово-ягодным и лесным хозяйствами вокруг русских памятников, а также консультирует соседний кооператив. Под раскидистым старым дубом (глядя на него, понимаешь, почему буколические поэты именовали дуб патриархом лесов) мы в ожидании ужина пьем пиво, как всюду в Болгарии холодное, невзирая на жару. За домом вперевод квокают лягушки, вырезные листья дуба чуть слышно шелестят, в кустах сирени верещит какая-то пичужка. До чего ж хорошо!

Ужинаем мы в комнате хозяев и допоздна беседуем. Я замечаю в тени абажура на стене увеличенную, по-видимому семейную, фотографию. Встаю, чтобы рассмотреть ее, и в группе людей, один из которых наш хозяин, вижу довольное лицо Хрущева. Никита Сергеевич останавливался здесь в первый свой приезд в Болгарию, ему показывали памятники и сад вокруг них.

Спали мы с Беловым, раскрыв настежь окна, а Коста предпочел расстелить ковер прямо на траве, рядом с машиной. Всю ночь меня будил громогласный соловей, воспевавший жизнь над тихими могилами.

Солнце только взошло, а мы уже мчались к Плевену. На одном из пригорков сверкнули под косыми лучами утреннего солнца четыре трактора, а рядом в деревянных ярах сгрудилось пар двадцать круторогих серых волов; точь-в-точь на таких чумаки возили соль из Крыма.

— МТС, — не без сарказма сказал Цаков.

От Белова не ускользнуло, что чумацкие волы меня изумили.

— Мы, Алеша, уже основательно механизировали наше сельское хозяйство, но стараемся обойтись без перегибов. Такого океана суши, как в Союзе, у нас нет, и даже после кооперирования земельные участки под отдельными культурами сравнительно невелики. А есть склоны, есть распаханное клочки в горах. На них пара волов с плугом или бороной бывает и экономичнее и удобнее трактора. Главным же образом на волах не столько пашут, сколько возят...

В Плевене стоял невыносимый зной. Облегчения не чувствовалось ни в садах, ни в парках. Через десять минут после остановки автомобиль превращался в духовку, в него можно было ставить пироги. Высадив Белова у городского театра, где открывалась конференция, мы с Костой запираем машину и отправляемся побродить.

К полудню жара становится невыносимой. Еле волоча ноги, возвращаемся мы из похода на Зеленые Холмы, добираемся до парка, начинающегося неподалеку от бюста маршала Толбухина, и валимся на стулья летнего кафе. Над нашим столиком цветет ярко-розовая махровая акация, такой я в жизни не видывал. С каштана на каштан, хлопая крыльями, перелетают гугутки с раскрытыми клювами. Мы с Костой заказываем по порции вермута. Бросаю в бокал кусочек льда, нажав на рычажок сифона, наполняю до краев и делаю глоток. Откуда-то слегка потянуло — ветерком не ветерком, а все же неким дуновением. Какое блаженство! И вдруг мне вспоминается Белов, за-

дышающийся в парниковой атмосфере театра, и меня начинают терзать угрызения совести, даром что я ни в чем не виноват.

— Бедный другар министр,— говорю я на своем сербско-русско-болгарском эсперанто.— Мы пиемо вино, а он в такву горештину треба да заседава...

В круглых глазах Косты мелькают иронические искорки.

— Кой за какво учил<sup>1</sup>,— хладнокровно замечает он.

Когда я повторил потом афоризм Косты Белову, он понравился ему еще больше, чем мне. Обрастая популярностью, дошло это изречение и до Алека, и до Герты с Гиргином и скоро приобрело довольно частое хождение между нами. И уже через неделю после нашей поездки, встретив Марийку, делавшую по поручению отца покупки и нагружившую ими до отказа случайно попавшегося ей на улице брата, я спросил ее, почему же сама она идет с пустыми руками, и получил безжалостный ответ:

— Кой за какво учил!..

К вечеру жара немного поутихла. Белов вышел из театра с пиджаком на руке и познакомил меня с сопровождавшим его высоким серьезным человеком.

— Завтра поедете вместе в Слатину,— сказал Белов.— Председателя кооператива, правда, не застанете, он как раз на конференции выступать будет, но вот товарищ из обкома все тебе покажет...

Наутро мы выехали из Плевена и вскоре повернули на проселок. Туча белой пыли закружилась за нами, расплываясь в обе стороны. Час спустя, миновав дорожный указатель с надписью «Слатина», машина вбежала в пустое, нагретое солнцем село, пересекла громадную площадь и, обгоняемая ею же поднятой пылью, вползла в узкую улочку, где остановилась перед неприметным домом. У двери нас ждали два очень молодых человека с одинаково вьющимися вороньими волосами, с одинаковым индусским загаром и почти одинакового роста. Товарищ из обкома представил меня, мы обменялись рукопожатиями, и я дважды услышал гостеприимное: «Добре дошли».

— Пожалуйте сюда,— произнес тот, который казался моложе другого, показав в улыбке белые зубы.

Мы вошли в небольшой кабинет. Умелые руки расставили два письменных стола, низкий книжный шкаф с декоративными растениями в глиняных горшочках на нем и дюжину стульев так, что комната, несмотря на земельный план и несколько идеально выполненных диаграмм, не походила на канцелярию; в ней было уютно. Против входа висел портрет Димитрова в деревянной раме; под нижним краем изображения золотыми буквами на алом фоне напечатано: «Георгий Димитров оставил нам в наследство свою прекрасную жизнь как образец беззаветного служения народу».

Рассаживаемся. Завязывается разговор. Я прошу обоих молодых людей говорить по-болгарски, только не торопиться, тогда я пойму большую часть, а что не пойму, переспрошу. В свою очередь я говорю по-русски, на опыте с Костой проверив, что если произносить отчетливо и не спеша, то болгарин вас поймет, пусть не все, но хотя бы общий смысл. Тот из двух хозяев, что помоложе на вид, начиняет рассказ о кооперативе с биографии его бессменного председателя. По одному этому чувствуется, что в данном случае личность сыграла роль в истории.

Председателя кооператива зовут Бочо Илиев. По профессии он учитель. Еще с гимназических лет Бочо Илиев включился в революционную борьбу, юношей вступил в партию, на долгие и тяжелые годы вместе с ней ушел в подполье. В 1938 году ему удалось побывать в СССР и встретиться с Василом Коларовым. Рассказчик воодушевляется.

— Коларов сказал Бочо: «Вот ты жалуешься, что однообразные будни подполья тебе не по душе, когда другие воюют в Испании. Так берись не за будничное, берись за выдающееся боевое дело. Возвращаясь домой и сумей доказать всем и прежде всего докажи фашистам, что болгарское крестьянство неудержимо стремится к социализму...»

Я молчу, но мне хочется воскликнуть: «До чего же он верил в болгарское крестьянство, ваш и наш Васил Коларов!»

<sup>1</sup> Кто чему учился (болг.).

— В начале 1939 года Бочо Илиев стал учителем здесь, в Слатине. Прошло несколько месяцев. Он немного осмотрелся и решил для начала создать потребительский кооператив. Народ пошел на это охотно. Открыли магазин. Понятно, он торговал дешевле, чем частники. Кооператив стал расти, а торговцы прогорать. Незаметно рядом с магазином, тоже на кооперативных началах, возникла овцеферма, а через короткое время и свиноферма. В конце концов Илиеву без лишнего шума еще до войны удалось создать земледельческий кооператив из бедняков. Сто один кооператор числился в нем. Им принадлежало всего двести восемьдесят гектаров, разделенных к тому же на восемьсот отдельных кусочков. Бывшие торговцы тем временем писали доносы, и скоро все стало известно высшим властям. Фашисты всполошились. Бочо Илиева арестовали и для успокоения на шесть месяцев засадили в концлагерь. Вернувшись, он снова принялся за свое. Во второй раз его забрали уже не одного, а вместе с двадцатью пятью активистами кооператива. Илиева послали в трудовую армию, а других поочередно выпускали. Задача фашистов была запугать людей, но юридически им приходилось туго: кооперация не запрещалась законом. А у наших людей была своя задача, поставленная Коларовым,— доказать, что народ хочет социализма и что его нельзя запугать. И хотя Илиева долго не было, но энтузиасты кооператива и без него действовали. Они начали строить в Слатине клуб. Чтобы не привлекать постороннего внимания и не отрываться от работы в поле, строители трудились по ночам. За клуб, построенный без разрешения, участников кооператива оштрафовали. Они выплатили штраф и принялись строить водопровод. Тогда — это было летом 1943 года, еще до нового урожая — власти вторично наложили большой штраф и в обеспечение уплаты опечатали амбар с кооперативной мукой и другими припасами. Наступил голод. Но ячмень уже созревал. Люди жали его, где он выспел, молотили, сушили, растирали камнями и пекли лепешки. Голод кончился. А за ним кончился и фашизм...

— Эту часть вашего рассказа можно назвать «Возникновение кооператива в Слатине в доисторические времена». А как он развивался дальше?

— После Девятого сентября, когда движение за социализм в деревне едва началось, у нас уже больше половины хозяйств вступило в кооператив; ровно триста пятьдесят. А сейчас — шестьсот тридцать два хозяйства из шестисот тридцати пяти.

— А остальные три что? Кулаки? Вы их не принимаете?

— Если бы кулаки! — вмешался второй представитель Слатины. — В том-то и горе, что бедняки. Из упрямства не вступают. Сперва не поверили, а теперь стыдно сознаться в своей ошибке, самолюбие мешает.

— Ну, а сейчас как у вас дела обстоят? — спросил я.

Говоривший вытащил из ящика стола потрепанный блокнот, раскрыл перед собой, однако, отвечая, ни разу не взглянул в него.

— Как сейчас дела обстоят? Ничего обстоят, неплохо. Земли у нас свыше двух тысяч семисот гектаров. Из них пахотной две тысячи триста, люцерны двести пятьдесят, виноградников сто га, садов и ягодников сорок га, огородов тридцать и лугов двадцать пять... Кажется, все. На этих землях мы содержим: крупного рогатого скота пятьсот пятьдесят голов, из них дойных коров сто шестьдесят, не считая буйволиц; лошадей триста, овец две тысячи, свиней четыреста пятьдесят, причем шестьдесят свиноматок, уток и кур около двух тысяч штук. Есть и пасека из двух сотен ульев.

Меня поразила его память.

— Вы в кооперативе бухгалтером работаете?

— Нет, я секретарь партийной организации. — Он продолжал, изредка заглядывая в блокнот: — По урожайности мы еще далеки от ваших устроенных колхозов. Главная культура у нас пшеница, и в прошлом году мы собрали в среднем по двадцати центнеров с гектара. Кукурузы взяли по двадцать четыре центнера, овса столько же, ячменя по двадцать три, подсолнечника по семнадцати с половиной и сахарной свеклы по триста семьдесят центнеров. Надой молока составил три тысячи сто восемнадцать литров от коровы и по тысяче четыреста двадцать пять от буйволицы.

— Зачем же вы держите буйволиц?

— А жирность! У них жирность молока доходит до восьми процентов. От овцы мы надоили... У вас овец не доят?

— Насколько я знаю, на Кавказе. Может, еще где...

— Когда мы видим в советских киножурналах неисчислимые отары, прямо сердце разрывается, сколько брынзы пропадает! — горячо сказал по-русски второй слатинец. — Особенно у меня, я животновод.

— И у меня тоже, — заявил секретарь. — У всякого болгарина разрывается. Без брынзы мы за стол не садимся... Овца тем и выгодна, что приносит двойной доход: и стрижется и доится. Наша овца по крайней мере. За прошлый год мы получили в среднем с овцы по сорок два литра молока и по два кило шестьсот граммов шерсти.

— Ты про мясо не забывай, — вставил животновод. — Со ста маток сто двадцать три ягненка...

— Главная их заслуга в том, что они создали комплексное хозяйство, — заговорил все время молчавший товарищ из обкома.

— Нет, главная наша заслуга, что, организовав комплексное хозяйство, мы научились считать что почем, думать о постоянном повышении производительности труда на земле и всеми путями добиваться снижения себестоимости нашей продукции, — живо возразил секретарь.

— Какой же у вас трудодень?

— По новым нормам кооператор в среднем выработал двести девяносто три трудодня; на среднюю семью приходится четыреста восемьдесят трудодней. За трудодень мы заплатили по двадцати пяти левов, выдав по тринадцати левов шестнадцати стотинков деньгами, по три килограмма пшеницы, по два килограмма кукурузы, по семисот граммов ячменя, по сорока граммов подсолнечного масла, по сорока граммов брынзы и по сто тридцать граммов сахару. Посчитайте сами. Так в нашем селе еще не жили.

Он помолчал.

— Что вас еще интересует? Может быть, хотите посмотреть фотографии нашего ТКЗС?

Отличные фотографии иллюстрируют только что выслушанный рассказ об успехах слатинского кооператива, самозародившегося при капиталистическом строе фашистского образца. Я вижу крупную седую голову Бочо Илиева, беседующего с девушкой-агрономом в своем кабинете — в том самом, где мы находимся. Вот Бочо. Илиев в поле. Вот стадо пасущихся буйволиц с рогами, как повойник. Овцы, щиплющие чахлую травку на выжженной солнцем горе. Крупные коровы софийской породы на водопое. Аккуратная пасека. Сборщицы винограда. Стая уток в пруду...

— Пруд они сами соорудили, — говорит товарищ из обкома.

— И рыбу развели, — прибавляет секретарь. — А это наши виноградники. Мы первые в Болгарии заимствовали советский опыт посадки лозы на террасах, чтобы не занимать землю, пригодную для зерновых, и с бывших пустошей на слатинских склонах получили по девяти тонн винограда с гектара в неудачный прошлый год...

Мне предлагают выбрать понравившиеся фотографии на память. Беру несколько снимков. На одном из них, по обеим сторонам многокилометровой сельской дороги, ведущей из Слатины к шоссе, стоят по два ровных ряда фруктовых деревьев.

— Зеленая улица в коммунизм, — улыбается своей приятной улыбкой секретарь.

Мы выходим из правления и направляемся на животноводческую ферму. Попутно мне указывают на новое здание городского типа.

— Здесь у нас детские ясли, — сообщает животновод. — А вон там дом, который мы построили Герою Социалистического Труда Стояну Димитрову. Он дояр, обслуживает тринадцать коров, добился среднего надоя, неслыханного прежде в Болгарии, — пять тысяч четыреста девяносто три литра, — а его рекордистка Велика дала восемь тысяч и четыре литра. Кроме Стояна, в нашем кооперативе тридцать два орденоносца и один лауреат Димитровской премии...

— А вообще новых домов вы много построили?

— После Девятого сентября почти четыреста. Больше половины старого села.

Обходим светлые, хорошо проветриваемые коровники. Рекордистки равнодушно смотрят на нас прекрасными выпуклыми глазами и стряхивают мух с ушей. Некоторые лежат, подложив все четыре копыта под брюхо, что, должно быть, ужасно неудоб-

но, и астматически дышат. Гипертрофированное вымя явно мешает им. Многие, уткнув бархатные морды в автопоилки, бесшумно сосут воду. Мне предлагают обратить внимание на Велику, она поистине градиозна, и я взираю на нее с должным почтением.

Из коровника переходим на свиноферму. Чистотой хирургической палаты и характерным запахом она напоминает павильон свиноводства на московской выставке. Меня знакомят со свинарками.

— Моя жена,— представляет секретарь одну из них.

Я с симпатией пожимаю ей руку. Мое уважение к нему самому все растет. В Болгарии я ни разу не встретился с тем, что Ленин прозвал комчванством, и я рад, что мне довелось познакомиться с женой вполне интеллигентного секретаря паргорганизации преуспевающего кооператива, не брезгающей так называемой «грязной» работой...

— Скажите, а что вы думаете об искусственном осеменении коров? Мы применяем его, но я внимательно слежу за специальной советской литературой, включая и периодическую, и знаю, что у вас началась дискуссия по этому поводу,— заинтересованно вопрошает животновод.

Мне остается повиниться в стопроцентной своей нескушенности по вопросу об искусственном осеменении. Животновод смотрит на меня с откровенным сожалением, и мне кажется, что я безнадежно упал в его глазах. Минут десять он не устает меня ни словом, но потом, должно быть внутренне махнув на меня рукой, прощает.

— Вот наша гордость: фуражная кухня,— объявляет он.— Здесь в централизованном порядке заготавливаются различные рационы. Не следует забывать, что у нас значительный процент грубых кормов: немолотых кукурузных зерен, соломы. До постройки кухни животные гораздо хуже усваивали корма, да и людям приходилось тяжело. Кооператоры справедливо считали эту работу самой изнурительной из всех.

— Кроме механизации заготовки кормов, нам очень помогла и новая система оплаты. Кормозаготовители и доярки входят у нас в одну бригаду и все получают по результатам общей работы, с молока. А прежде кормозаготовители получали за объем обработанной массы — легко догадаться, как они ее обрабатывали. Ну и еще одно.— Секретарь тонко улыбулся.— Мы привлекли на пользу дела и психологию. Мы стараемся, когда можно, так расставить работающих, чтобы муж доярки, скажем, стоял на заготовке кормов в одной с ней смене. Представляете себе, что она ему дома устроит, если корма будут не те?..

— А вон там наш собственный патент.— Животновод кивает в сторону кухни.

Подходим. Передо мной что-то вроде дыбы, по крайней мере я примерно так ее себе представляю: четыре врытые в землю столбы с перекладинами, широкие брезентовые ленты, какие-то кольца и подъемный ворот.

— Советским колхозникам уступаем свой патент даром,— смеется секретарь.— У нас такая почва, что приходится подковывать не только лошадей, но и буйволов, и волов, и даже коров. Процесс трудоемкий, не меньше трех человек занимает. А с этим станком один кузнец управляется. Заводит в стойло, подвязывает голову к кольцу, подпруги под брюхо закрепит, покрутит рукоятку, и самое первое животное — раз-два и подвешено, можно действовать...

Я замечаю, что Коста демонстративно поглядывает на часы. Смотрю на свои и убеждаюсь, что пора восвояси. Мне предлагают предварительно закусить, все уже готово. Я благодарю и отказываюсь. У секретаря и животновода огорченные лица.

— Вы их обидите,— предупреждает плевенский товарищ.

Делать нечего. Мы заходим в сельскую корчму. В ней так чисто, словно она декорация сельской пьесы. На деревянном столе, обставленная тарелками с брынзой, огурцами, стручковым перцем и сырокопченой плоской колбасой — «лукашкой», красуется бутылка сливовой. Рюмки крохотные. Плевенский товарищ предлагает выпить за Советский Союз...

— ...во главе с которым мы подошли к окончательной победе социализма и придем к коммунизму!

Заедаем тост. Брынза такова, что чуть ли не хочется плакать: почему ее нет у нас? Стручки мелкого зеленого перца — настоящая генина огненная...



— Приезжайте к нам в тысяча девятьсот шестьдесят втором году,— приглашает секретарь,— коммунизма мы вам еще не покажем, но эскиз его будет готов.

Неумолимый Коста опять вперяет взор в часы. Начинаю прощаться. Нам всем и весело и немножко грустно. Рукопожатия крепки и продолжительны. В последнюю минуту кто-то спрашивает, что у меня за значок. Объясняю, что ношу значок участника интербригад.

— Из Слатины тоже был один доброволец в Испании — доктор,— говорит секретарь.

Еще бы! Чтоб из такого села и не было своего добровольца в Испании!

На площади, раскаленной, как сковородка, два цыганенка пожирают глазами нашу машину. Спрашиваю у секретаря, что у них с «нерешенной проблемой».

— У нас они еще не работают, но в селе Садовец уже сумели организовать из цыган полеводческую бригаду.

Отчаливаем, словно корабль в качку. Я самоотверженно машу рукой в непроходимые волны пыли, вздымающейся сзади...

— Ну как, интересно было? — обращается ко мне Белов, когда мы выехали из Плевны.

— Не то слово. А кстати, вы не боитесь, что, вопреки всем политхрестоматиям, у вас деревня раньше города придет к коммунизму?

— Вместе придут. Ты рабочего класса еще не видел. Надо бы тебе на какой-нибудь завод сходить...

Километров за тридцать до столицы произошел прокол. Коста сразу его почувствовал, раньше, чем баллон совсем спустил, остановил машину, достал из багажника домкрат. Сзади подкатил автомобиль тоже возвращавшегося с плевенской конференции одного из командиров Сентябрьского восстания, потом советского полковника, а ныне генерала болгарской армии и члена политбюро Ивана Михайлова. Он вышел, спросил, не нужно ли помочь. Белов сказал, что ничего не нужно, но шофер Михайлова уже снимал с нашей машины запасное колесо. Я прошел по дороге немного назад, чтобы найти причину прокола, и вскоре обнаружил гвоздь от подковы, торчком застрявший между брусчаткой пригородного шоссе. Вернувшись, я протянул шоферам свою находку. Но тут за спиной заскрипели тормоза грузовика. В нем сидело человек пятнадцать молодых ребят в синих комбинезонах, с автоматами. Старший выскочил из кабины, подошел к Ивану Михайлову, отдал честь и по-солдатски отпартовал, что отделение рабочей дружины — я не расслышал какого завода — возвращается с учебной стрельбы.

— Как стреляли, ребята? — спросил генерал.

— Неплохо стреляли... На восемнадцать человек шесть «хорошо», все остальные «отлично», — послышались бодрые голоса. — Наша бригада стрелять умеет...

— А работать?

— За месяц вышли на сто шесть процентов, за полугодие сто четыре будет, — отвечал маленький, широкоплечий человек лет тридцати.

Скоро мы тронулись. Вперед пронеслась машина генерала, за ней — мы. Сзади на грузовике запели «Хей, Балкан, ты роден наш...»

— Ну вот, по-моему, незачем мне на завод ходить. Я только что видел ваш рабочий класс. Он отлично стреляет.

— И классовый враг знает об этом, — прибавил Белов.

## 8. Герои трех народов

Половину лицевой стороны пропуска занимают изображения братьев. Как и на иконах, младший, Кирилл, рано умерший, нарисован черноволосым, а старший, Мефодий, — седым: он умер в старости. Как и на иконах, Кирилл держит развернутый свиток со старославянскими буквами, а Мефодий — книгу; на иконах это — евангелие, которое равноапостольные братья перевели на язык македонских славян. Во всем остальном на

условные постные фигуры с икон они не похожи. Вместо епископских облачений на них хитоны греческих мудрецов. Митр на головах тоже нет, волосы откиннуты назад, лица с высокими лбами, прямыми носами и аккуратно подстриженными бородами выражают мысль и волю. Это лица крупных ученых. И правильно. Творец алфавита Кирилл, который, умирая в Риме, только в сорок два года вместе со схимой принял это имя, всю жизнь назывался Константином Философом. Мефодий, не обладавший его с детства проявившейся гениальностью, был глубоким знатоком языков, блестящим переводчиком, трогательно верным и преданным сподвижником брата, стойким продолжателем его дела...

Несколько раз предъявив пропуск с ликами Кирилла и Мефодия, я прохожу на трибуну.

Площадь еще пуста. Но вот по трибунам прокатываются аплодисменты: на мавзолее появляются болгарские руководители и почетные гости. С моего места хорошо видна генеральская форма Ивана Михайлова, вижу я и белую голову Петрова. Среди гостей находится председатель Общества советско-болгарской дружбы А. Н. Туполев.

Поют фанфары, и шествие начинается. Впереди мальчики несут украшенное зеленью и красными флагами полотнище с девизом дня — строчкой из стихотворения проветителя и поэта Чинтулова: «Вперед, народ наш возрожденный, ко светлой будущности в путь!» Девиз этот имеет традицию. Сто один год назад, когда угнетенная Болгария отмечала тысячелетие славянской письменности, с ним вышли на патриотическую демонстрацию пловдивские учащиеся и тем самым вынесли празднование памяти Кирилла и Мефодия из церкви на улицу. Сразу же за девизом дня несут парный поясной портрет героев дня.

Можно продолжать до бесконечности ученые споры о том, были ли братья греками из Салоник, знавшими язык тамошних славян, или салонникскими славянами, знавшими греческий; изобрел ли Кирилл глаголицу, которую его ученик болгарин Климент преобразовал в кириллицу, или она правильно носит его имя; была ли до того у славян какая-либо иная письменность или нет, — с точки зрения среднего болгарина, среднего серба, среднего русского все это схоластика. Для этих трех народов важно то, что великий солунец Константин, при пострижении нареченный Кириллом, и его брат Мефодий созданием славянского алфавита сделали возможным богослужение на славянском языке и тем приостановили дальнейшее распространение латыни, которую насаждали среди западных славян германский император и германские священники. Тем самым они заложили прочный фундамент самобытной славянской культуры, спасшей южное и восточное славянство от неоднократно угрожавшего им поглощения или растворения. Чтобы представить себе, чем мы обязаны славянским первоучителям, нужно лишь вспомнить, что «Слово о пог. жу Игореве» сохранилось, из поколения в поколение переписываемое кириллицей.

Наш теперешний, так называемый «гражданский», шрифт тоже вышел из нас. И поэтому, когда сразу за Кириллом и Мефодием проносят портрет Ленина, я вижу в этом неопровержимую логику. За Лениным на тонком древке проплыл над трибунами огромный национальный болгарский флаг, а за ним хлынул бурный поток школьников. Они шли — школа за школой — начиная с самых маленьких, которые только учатся называть и складывать буквы, размахивая цветами и бело-зелено-красными флажками, неся портреты вождей, плакаты и лозунги. Те, что поменьше, держат прописные старославянские буквы: аз, буки, веди, глаголь, добро и начертанные современным типографским шрифтом буквари, или, лучше, аз-буки. За школьниками шагают студенты и преподаватели высших учебных заведений, за ними проходят научно-исследовательские институты и Академия наук. Проплывает большой плакат: алфавит славянской вязью, под алфавитом гусиное перо и оливковая ветвь — это идут писатели. За писателями следуют артисты, художники и другие деятели искусств. И вдруг появляется курьезный анахронизм — православная духовная академия. Два иеромонаха тащат, как на крестном ходе, тяжелую икону святых Кирилла и Мефодия; на ней они в саккосах с омофорами и в митрах. За иконой шествуют «студенты» и «профессора». Епископ с панагией на груди, очевидно ректор, округлым жестом приветствует мавзолей, а по бокам площади нескончаемыми рядами топают пионеры, звонко крича:

«Бе-ка-пе! Бе-ка-пе! Бе-ка-пе!..» И среди громких криков, счастливых загорелых детских мордашек и веселых интеллигентных лиц учителей и учительниц эти бородастые дяди в черных подрясниках или в рясах с широкими рукавами кажутся оперными статистами из сцены смерти Бориса Годунова, тенями далекого прошлого, гораздо более отдаленного, чем умершие за одиннадцать веков до нас солунские братья. Недаром почти сто лет назад при запоздалых московских торжествах по случаю тысячелетия нашей письменности знаменитый славист А. Ф. Гильфердинг заявил: «Кирилл и Мефодий имели ту замечательную судьбу, что и по истечении тысячи лет не принадлежат еще окончательно прошлому...»

Как-то так получилось, что сразу после празднования дня народного просвещения и славянской письменности, проникнутого благодарной памятью о первых борцах против германского угнетения, мне привелось поклониться подвигам героев последнего Сопротивления. Чуть не с самого приезда порывался я посетить Музей истории революционного движения, находящийся на Русском бульваре, в самом центре Софии. И как раз на следующее утро после дня Кирилла и Мефодия меня взялись сопровождать туда Герта с мужем.

Музей занимает сравнительно небольшое здание, но благодаря правильному распределению материала и отсутствию лишнего все этапы болгарского революционного движения, от первого рабочего кружка и до победы социалистического строя, представлены в нем.

Уже в самом начале знакомства с музеем я был удивлен тем, что зарождение организованного рабочего движения датируется 1883 годом. Ведь всего только пять лет назад закончилась Освободительная война. Однако факт остается фактом: в 1883 году софийские печатники создали первую в истории страны профессиональную рабочую организацию — «Болгарское типографское общество». Под стеклом, как вешественное доказательство, — устав общества. В том же году состоялась первая стачка печатников.

— Ничего себе, — говорю я Гиргину, — не успели закончить борьбу с турецким султаном — начали борьбу с капитализмом. Ну и народ!..

Год 1883-й рабочее движение Болгарии имеет основание дважды считать годом своего рождения. В конце этого года, через два месяца после того, как Плеханов создал за границей группу «Освобождение труда», молодой болгарин, студент Петербургского университета, основал в России первую марксистскую организацию — «Партию русских социал-демократов». Этот студент был не кто иной, как Благоев — будущий основоположник Социал-демократической, а впоследствии Коммунистической партии Болгарии.

Мы продвигаемся от стенда к стенду, от стены к стене, из одной комнаты в другую, и перед нами, как в кино, движутся кадры истории.

Вот первомайская демонстрация 1905 года. Вот молодой Георгий Димитров среди агитаторов при подготовке шахтерской стачки. Коларов, с усами торчком, на сходке. Растут профсоюзные объединения, крепнет рабочая партия тесняков, и все сильнее становится ответный нажим капитала, все грубее действует «задолжная полиция». Первая мировая война. «Работнически Вѣстникъ» с белыми лишаями военной цензуры. А немного дальше в нем же появляется передовая «Руската революция и европ. пролетариат».

Пришел боевой 1918 год. Солдатское восстание. Сражение у села Владай под Софией между революционными болгарскими солдатами и отборной 217-й немецкой дивизией, которая и после поражения Германии свято и свирепо выполнила свой «союзнический долг». Первый съезд БКП. Всеобщая забастовка. Еще год. И вот фашистский переворот 9 июня 1923 года. Белый террор. В ответ Сентябрьское восстание. Его герои — Георгий Димитров, Васил Коларов, Гаврил Генов, Георгий Дамьянов, Асен Греков, Иван Михайлов и многие, многие другие, а среди них красавец поп Андрей Игнатов в камиллавке и с разбойничьей окладистой бородой. Восстание подавлено. Еиселицы, виселицы, виселицы по всей стране. Фотографии повешенных, фотографии расстрелянных, фотографии изувеченных. Кованые кандалы такие, будто они остались от турецкого ига. В следующем году похороны Благоева. Новая вспышка фашистского террора в 1925 году. Время летит. Фашизм победил в Германии. Лейпцигский процесс,

на котором Георгий Димитров доказал всему миру, что настоящий коммунист один, в тюрьме, и тот воин...

Участию болгарских добровольцев в испанской войне отведена отдельная комната. Я задерживаюсь здесь подольше. Много хорошо знакомых, полужнакомых, полужабытых и совсем не знакомых лиц смотрит на меня с увеличенных фотокопий, сделанных с чудом сохранившихся, потертых и выцветших снимков двадцатилетней давности. На одной погребение командира батальона Гребенарова: суровые лица около гроба, среди них Петров и комиссар Табаков. На другой фотографии несколько старших командиров и политработников у здания штаба в Альбасете: посередине Белов, рядом с ним Железов, который сейчас командует Государственной библиотекой, по другую сторону Петров, из-под его фуражки по-казацки выбивается чуб. Рядом представитель болгарского ЦК в Испании Владимир Михайлов, сын Коларова — доктор Франек — и другие. Я узнаю всех. Только одно открытое смелое лицо смущает меня. Не могу вспомнить фамилии, но ведь это кто-то из советских командиров. Что же он, спрашивается, делает между членами болгарского землячества в Испании?..

В следующем зале уже сорок первый год. Бронированные гитлеровские легионы вторглись в Советский Союз... По стенам и в витринах — листовки, брошюры, пелегальные газеты. Подробно отражена работа радиостанции «Христо Ботев». Дальше — возникновение первых партизанских отрядов, распределение их по военно-оперативным зонам. Снимки партизан в походе, на отдыхе, в бою, образцы партизанского оружия, подчас близкого к вооружению прадедов в дни Апрельского восстания. Множество фотографий из полицейских архивов; на одной расстрелянные сложены штабелем, на другой тюремный двор и разбросанные в беспорядке полураздетые, залитые кровью тела, на третьей отрезанные головы.

— Они возродили у нас турецкие зверства, — сдержанно замечает Гиргин.

Мы направляемся к выходу, но в отражающем событиях 1941 года зале, через который я уже проходил, один угол вновь привлекает мое внимание. Здесь от потолка до пола развешаны парашюты, на которых болгарские эмигранты спускались с неба на родную землю, чтобы вступить в борьбу. Они делали первые шаги сопротивления, они дали и первые жертвы. Некоторые из них были подстрелены еще в воздухе, некоторые сядились прямо на фашистские штыки; так погибло несколько молодых ученых, окончивших Институт красной профессуры в Москве, среди них Табаков, бывший комиссар батальона Димитрова; со своим напарником он несколько часов отстреливался от жандармов, окруживших их в момент приземления. Под парашютами надувные резиновые лодки и портативные весла, которыми пользовались прибывшие морем. На деревянных щитах портреты и фамилии погибших. Находящийся в центре самый большой портрет заставляет меня вздрогнуть: опять тот самый советский командир, которого я только что видел среди болгарских интербригадовцев. Бритая круглая голова, блестящие глаза в глубоких орбитах, широкие скулы, под квадратным подбородком воротник суконной гимнастерки с четырьмя шпалами, гимнастерка перетянута портупей; на груди орден Красной Звезды и медаль двадцатилетия РККА... И вдруг, будто выключатель повернули, мгновенно вспоминаю: полковник Родионов! Ну конечно, он. Я встречал его под Мадридом, где он был техническим советником при испанском офицере, командовавшем сектором. Мне и в голову не приходило, что Родионов болгарин. Типичное русское лицо, русская фамилия — особенно мне родственная, потому что моя мать носила ее до замужества, — и безупречное русское произношение обманывали меня. Сейчас под портретом иное имя: Цвятко Радойнов. Рядом нахожу других старых знакомых: Владимира Михайлова, которого, как выясняется, звали Сыби Димитров, инженера Ташека, оказавшегося Иваном Штеревым... Еще одно лицо, полное и надменное. Да ведь это Фернандо, иначе капитан Рак, месяца два бывший комендантом нашего штаба! Он тоже оказался среди героев процесса, условно названного «процессом парашютистов», хотя парашютистов было меньше десяти из двадцати семи подсудимых. Военно-полевой суд приговорил восемнадцать к смертной казни, семерых к пожизненному тюремному заключению и двух несовершеннолетних к пятнадцати годам. Наклонившись над соседней витриной, я затуманенным взглядом с трудом разбираю набросанное карандашом предсмертное письмо Радойнова, рассматриваю его

личные вещи: поношенную куртку, потрепанный бумажник, кепку... И я уйду из музея, так и не закончив осмотра.

Вечером расспрашиваю Белова о деле Радойнова и его товарищей.

— Тяжкий был для нас удар... Умирали они с исключительным мужеством. Говорят, даже песню на слова Ботева пели. Их предали, но кто и как — осталось неизвестным. Полицейские архивы ничего нам в этом смысле не открыли. Знал секрет один директор тайной полиции, но в день переворота ему удалось бежать за океан.

Еще два раза я возвращался в музей, два раза стоял перед портретами, расспрашивал подробности у работников музея, был в семье Радойнова, прочитал речь его на суде, несколько брошюр. Я узнал впоследствии, что это поэт Никола Вапцаров, — когда через месяц после Восемнадцати фашисты казнили Антона Иванова и его соратников, — запел перед смертью песню на слова баллады Ботева. Восемнадцать умерли иначе. А еще раньше умер девятнадцатый, которого никак нельзя отделить от них и которого я знал как Владимира Михайлова.

На самом деле его звали Сыби Дмитров. Жизнь его, если только записать ее, не мудрствуя лукаво, — готовый пролетарский роман. Он родился вместе с веком в Сливене, в многодетной семье лудильщика. Отец его был убит в Балканскую войну, и, оставшись единственным кормильцем семьи, мальчик еще в тринадцать лет поступил на текстильную фабрику. Она находилась так далеко от города, что маленький Сыби, где работал, там и спал, лишь по воскресеньям встречаясь с матерью, сестрами и братьями. Ему, родившемуся в рабочем квартале Сливена, не только пришлось с детства познать горькую нужду, но вместо сказок и сентиментальных детских книжек с ранних лет слушать бурные политические споры между друзьями отца. В пятнадцать лет Сыби удалось перейти на фабрику поближе к дому. Он ежедневно проделывал пешком по пяти километров туда и обратно, но зато жил с семьей. В шестнадцать лет под влиянием старших товарищей он вступил в профсоюз и с тех пор не пропускал ни одного рабочего собрания. В 1917 году в Сливене произошли серьезные антивоенные беспорядки, в которых юноша принял самое активное участие. Царская полиция стала выслеживать молодого бунтовщика, и на два года Сыби Дмитрову пришлось покинуть Сливен. В 1919 году он возвратился, вступил в комсомол и одновременно в отряд рабочей самообороны. В 1920-м он уже один из организаторов стачки на той фабрике, где работал.

— Вы, может, пожелаете вообще распоряжаться вместо меня на моей фабрике? — огрызнулся фабрикант в ответ на предъявленные ему требования.

— Придет и такое время, — хладнокровно ответил двадцатилетний рабочий вождь. — А пока мы настаиваем на восьмичасовом рабочем дне и повышении оплаты.

Требования забастовщиков были частично удовлетворены, но фабрикант не забыл дерзких слов, и вскоре Сыби Дмитров был уволен. В поисках работы он переехал в другой город, потом в третий. После Сентябрьского восстания ему пришлось эмигрировать в Югославию, где он оставался верен своей профессии ткача. Через год он вернулся и поступил на фабрику в Габрове. Здесь он продолжал борьбу в легальных профсоюзах. В 1927 году Сыби Дмитров вступил в Рабочую партию, созданную вместо запрещенной коммунистической. В 1929-м он уже руководил всеобщей забастовкой сливенских текстильщиков, за что на несколько месяцев попал в «затвор»<sup>1</sup>. По выходе из тюрьмы его перебросили на партийную работу в Софию. В тридцатом году он опять в Сливене, опять забастовки, аресты, полулегальное существование. В 1931 году вместе с тридцатью другими рабочими кандидатами он прошел в парламент депутатом от Сливена. Товарищи избрали Сыби Дмитрова председателем парламентской группы Рабочей партии. Но в 1933 году по предложению правительства буржуазное большинство лишило всю группу депутатских мандатов. Перед тем как покинуть зал заседаний, Сыби Дмитров сделал заявление:

— Вы изгоняете нас из Народного Собрания. Однако рабочий класс неизбежно победит, и его представители еще вернутся в это здание. Но когда мы выгоним вас отсюда, вы уже не вернетесь назад!

<sup>1</sup> Тюрьма (болг.).

Буржуазия правильно оценивала способности молодого партийного руководителя, потому что вскоре фашисты произвели на него покушение, из которого он вышел невредимым лишь благодаря своей ловкости и находчивости. После роспуска Рабочей партии инсценируется процесс против Сыби Димитрова. Он успевает скрыться, и его заочно осуждают на двенадцать с половиной лет тюрьмы. Некоторое время Сыби Димитров ведет партийную работу в подполье. В середине 1935 года партия направляет его делегатом на VII конгресс Коминтерна. На конгрессе его выбирают в Контрольную комиссию. Он остается в Москве, учится в славной Ленинской школе. Осенью 1936 года Сыби Димитров под именем Владимира Михайлова вместе с бай Антоном, Яновым, Табаковым и другими отправляется в Испанию. По прибытии в Альбасете, еще на вокзале, ему вручают пакет, запечатанный сургучом. В пакете — бумага, назначающая Владимира Михайлова представителем БКП при ЦК Испанской компартии. Когда я встретил его впервые, он ходил в форме комиссара батальона.

После Испании Сыби Димитров возвратился в Москву, продолжал учиться. Но передышка была недолгой.

В начале августа 1941 года, меньше чем через месяц после начала войны, на пустынный болгарский берег возле устья реки Камчия высадились шестнадцать человек во главе с Цвятко Радойновым. Его заместителем был Сыби Димитров. Четырнадцать проверенных болгарских коммунистов, из которых большинство побывало в Испании, шли с ними. Группа из шести человек, возглавляемая Сыби Димитровым, сразу же двинулась по направлению к Сливену. Шли только по ночам, руководясь компасом и обычной географической картой, и так как один из десантников заболел, они пятнадцать суток пробирались к цели. В скалистых горах, неподалеку от города, группа остановилась и послала связного, но он не вернулся. Тогда через сутки, с наступлением сумерек, Сыби Димитров спустился в родной город, из которого семь лет назад бежал, оставив жену и двух малых детей. Ночью, крадучись, он нашел домик своей сестры и через ее мужа связался с подпольным окружным комитетом партии. В самом начале сентября окружком назначил заседание в потаенном месте, возле горного родника, который сейчас называется родником Сыби. На заседании присутствовали секретарь, шесть членов окружкома и Сыби Димитров. Приняты были важные решения, и одно из них — о создании в убежище десантной группы примитивной типографии. Уже через несколько дней были отпечатаны антифашистские листовки, но, когда нагруженные ими два члена окружкома, оставленные для связи, в темноте спускались к Сливену, они напоролась на полицейскую засаду и оба пали под пулями. Найденные при них листовки подняли на ноги сливенское полицейское управление. В городе ввели комендантский час, после которого полиция стреляла в прохожих без предупреждения. На всех горных тропках были расставлены жандармские заставы. Связь с партией прервалась. Из оставшихся пяти членов окружкома трое, спасаясь от верного ареста, укрылись на базе группы. Но самое страшное — неудача в попытках установить связь с Радойновым. Тем не менее Сыби Димитров отправляет одного из местных товарищей и двух новоприбывших в предназначенный для них город Котел, а сам с остальными движется к месту страховочной явки, но по дороге натывается на засаду. В перестрелке один человек ранен, и тем не менее всем удается вернуться в обжитую пещеру. Через несколько дней на связь уходит секретарь окружкома и больше не возвращается. Тем временем запасы продовольствия приходят к концу. Тогда три человека, уговорившись о встрече, уходят в свои родные места, где надеются найти временное пристанище. Сыби Димитров остается вдвоем со сливенским товарищем. Наступает дождливая осень. Пещеру заливают воды, приходится перебираться в скалы повыше, где зато свирепствуют сильные ветры. Приближается зима. Сыби Димитров, уже заболевший воспалением почек, сваливается в сильный гриппе. А связи все нет. Не остается иного исхода, как идти в Сливен. В середине октября им удается незамеченными проникнуть в город и разойтись. Сыби Димитров укрывается в тайнике своего собственного дома, который уже служил убежищем для многих товарищей; вход в него устроен в стене и загорожен платяным шкафом. Безумно смелый расчет заключается в том, что полиции не придет в голову искать Сыби по старому адресу. Однако связи ни с партией, ни с Радойновым установить ему не удается. Полицейский террор таков,

что люди вечером боятся высунуть нос из дому. Повальные аресты продолжаются. Сообщения об успехах гитлеровского наступления в СССР, широко распространяемые правительственной печатью и радио, повергли рабочие окраины в отчаяние, чувствуется всеобщий упадок духа. В этих условиях больной Сыби Димитров продолжает через близких осторожно прощупывать нити связи и ждать выздоровления. Но до полиции дошло, что бывшего рабочего депутата, о котором она и думать забыла, недавно видели в горах поблизости. В начале ноября жену его вызвали в участок. Несмотря на угрозы и побои, она ни в чем не призналась, но ее страшат сыновья: старшему, когда Сыби исчез из дома, было два года, а младшему всего пять дней. Смогут ли девятилетний и семилетний мальчики не проговориться, если полиция займется ими?

Несколько дней прошли спокойно. 7 ноября 1941 года поздно вечером Сыби Димитров по случаю праздника выбрался из тайника, чтобы посидеть со своими. Дети уже спали. В слабо освещенной комнате жена, ее мать и братья долго слушали рассказы Сыби о том, как он встречал этот день в Москве и в Мадриде. В полночь он вернулся в свою яму. Перед рассветом во дворе залаяли собаки. Один из шуринов проснулся, вышел посмотреть, в чем дело. Его схватили грубые руки. Вышла встревоженная жена Сыби Димитрова, окликнула брата. Ее тоже задержали. Раздали свистки. Толпа полицейских с автоматами ринулась во двор со всех сторон. Захваченных втащили в дом, побоями принуждая сказать, где прячется опасный революционер. Жена Сыби, ее братья и старуха мать клянутся, что семь лет уже, как не видели его. Полицейские производят тщательный обыск, но он не дает никаких результатов. Тогда они принимаются за детей, бьют их по щекам, требуя, чтоб они показали, где скрывается отец. Мальчики заливаются слезами. Их бьют сильнее, заставляя звать: «Татко! Татко!..» Полицейские вторично перерывают все вверх дном. Бесполезно. Озверев от неудачи, они решают сжечь дом со всеми, кто в нем живет. Напрасно бабушка умоляет выпустить хоть детей. Их запирают в соседней комнате, откуда слышен плач и крики: «Татко! Татко!..» Дом обкладывают соломой, льют керосин, во дворе готовят факелы. И тогда из-под земли доносится голос:

— Не дамся живым, чтобы вы издевались надо мной. Придет день, и вы, палачи, ответите перед народом... Советский Союз и наша партия все равно победят!..

Голос прерывается pistolетным выстрелом. Полиция бросается искать вход в подвал. Топорами разрубают дверцы запертого шкафа, за которыми тайник. Своим телом Сыби Димитров прижимает люк изнутри, он еще жив, хрипит. Его вытаскивают, кладут на кровать, прикрытую лоскутным одеялом. Из рта его вытекает струйка крови, открытые глаза стекленеют. Полицейские вызывают санитарную машину. Скорее в больницу — может быть, еще удастся допросить его. Но в больницу привозят быстро похолодевший в морозную ночь труп. Биография пролетария окончилась в двадцать четвертую годовщину Октябрьской революции...

А все эти три месяца Радойнов, пробравшийся в Сливен, настойчиво искал связи с ним. Борясь много лет рядом, они наглядно осуществляли связь рабочего класса с крестьянством, ибо Цветко Радойнов родился в бедной крестьянской семье, очень близко от села Шипка, в котором окончил среднюю школу. Из Шипки переехал в Казанлык, где в 1914 году с отличием закончил педагогическое училище. Сразу же по окончании училища Радойнова забирают в школу офицеров запаса и выпускают оттуда прямо на фронт. В боях молодой офицер неоднократно отличается, получает золотой крест за храбрость и тяжелое ранение. С 1918 года он учительствует в разных селах, дольше всего под Бургасом и в селе Средец, неподалеку от родных мест. Еще в гимназическом кружке он познакомился с основами марксизма, а после войны вступил в партию. Захватив власть 9 июня 1923 года, местные фашисты бросают его в тюрьму и освобождают очень удачно — 21 сентября. Через два дня он ведет отряд в несколько сот человек на Бургас и врывается в один из его кварталов, но общий разгром восстания заставляет отступить. Фашисты заочно приговаривают Радойнова к смертной казни. К счастью, ему с тринадцатую товарищами удается уйти за турецкую границу. В кемалистской Турции победленных революционеров приняли терпимо, они нашли кое-какую работу. Тем временем жены, родственники и друзья собрали им денег на дорогу, и они переезжают в Одессу.

В Софии, на улице патриарха Евтимия, в квартире, где живут вдова, дочь, зять и оборожительная маленькая внучка Радойнова, мне среди других реликвий показали полуистлевшее украинское «посвідчення», датированное 1925 годом, подтверждающее, что болгарский гражданин Радойнов действительно трудился в земледельческой коммуне в селе Парасковеевке Полтавской области, одной из тех коммун, которые были столь возвышенным, столь романтическим забеганием вперед. Краткое «посвідчення» не рассказывает, что Радойнов со своими друзьями был основателем этой коммуны, называвшейся «Димитрий Благоев». После того как коммуна неизбежно развалилась, Радойнов переехал в Полтаву. Там его избирают в контрольную комиссию горкома. Но вскоре руководство Болгарской компартии направляет уже получившего советское гражданство «Андрея Константиновича Родионова» учиться в Академию имени Фрунзе. Здесь он оказывается на одном курсе с «Георгием Васильевичем Петровым» и еще безвестным тогда Ватутиным. Жизнь его устроена. Жена давно переехала к нему, у них двое детей. Дочь он назвал в честь восстания Сентябриной, сына, конечно, Спартаком. По окончании академии он служит в различных округах, пока его не назначают преподавателем в бронетанковую академию. Осенью 1936 года полковник Родионов направляется в Испанию. Особенно отличается он как выдающийся командир и организатор в тяжелых и сложных боях по форсированию Эбро. Возвратившись из третьего своего отечества (всем иностранным добровольцам правительство республики даровало испанское гражданство) во второй, обогащенный боевым опытом, он преподает в Академии имени Фрунзе. Но сразу же после начала войны его демобилизуют.

— Я встречал его в эти дни, мы ведь были очень дружны,— рассказывает Белов.— В последний вечер перед его отъездом он, мой баджанак Грынчаров и я сидели у нас в Кисловском. Потом вышли проводить его. Дошли по улице Коминтерна до Манежа. Темно было, хоть глаз выколи. Завернули за угол к университету. Простились. Больше его не видел...

Высидевшись 11 августа на побережье, Радойнов с оставшимися с ним людьми, в отличие от Сыби Димитрова, должен был задержаться на месте и дожидаться остальных товарищей. Но в назначенное время те почему-то не прибыли. Радиосвязи с пунктом отправки в условленный час тоже не было. Вечером Радойнов отправил одного человека на явку в соседнее село, но оттуда через некоторое время донеслись выстрелы, и посланный не возвратился. Вскоре удалось заметить, что место, в котором они укрылись, оцепляют жандармские части. Радойнов зарыл радиостанцию, распределит продукты и боеприпасы и, пользуясь наступившей темнотой, приказал пробраться поодиночке. В беспорядочной перестрелке один из товарищей был убит, кое-кто попался в плен, но остальные ушли в горы. Обогнав группу Сыби Димитрова, Радойнов и его люди проникли в район Казанлыка и там связались с прибывшими следом за ними. Разослав уцелевших в назначенные для них места, Радойнов пробрался в Сливен, но все его попытки найти Сыби Димитрова были тщетны. Тогда он ушел в Софию. Почти семь месяцев вел он там опасную работу. Ему удалось нащупать связь с нелегальным партийным руководством, и его назначили председателем военного центра при ЦК. В центр, кроме него, входили многие выдающиеся деятели, в частности Антон Иванов и Никола Вапцаров. Под руководством Радойнова центр сумел возглавить и объединить существующие партизанские группы и начать организацию массового партизанского движения; удалось ему и завязать сношения с некоторыми воинскими частями.

Неизвестный иуда продал боевую организацию. Поздней апрельской ночью, когда Радойнов пробирался на свою нелегальную квартиру, в темноте неосвещенной лестницы на него набросились несколько полицейских агентов. После долгой борьбы им удалось связать раненного ими полковника. В ту же ночь были схвачены и многие из его товарищей. Военный центр фактически был ликвидирован. Из всего тогдашнего руководства удалось скрыться Антону Югову, Цоле Драгойчевой, которые за несколько месяцев перед тем бежали из-под ареста, да еще Димо Дичеву. В полицейских застенках притихшей Софии поспешно велось следствие. Сохранилась тюремная фотография Цвятко Радойнова — его нельзя узнать. По старой армейской привычке он брил голову; на тюремном снимке длинные, седые на висках пряди обрамляют лысину. Должно быть ради конспирации он отрастил усы, худые щеки покрыты колючей щетиной, по углам



рта глубокие морщины. Запавшие глаза отражают трагизм его положения, но острый взгляд по-прежнему тверд. В своей защитительной речи на суде он показал себя не только воинно, которым он был почти всю свою жизнь, но и умным, дальновидным политиком. Его слушал только фашистский военно-полевой суд, но, обращаясь к нему, Радойнов взывал к рассудку врагов, стараясь неотразимой логикой марксиста поколебать их, посеять сомнения в столичной офицерской среде. Хотя целых два месяца он был отгорожен от текущих событий непроницаемыми стенами тюрьмы, он безошибочно проанализировал военное положение, казалось бы столь тогда благополучное для держав оси и для всех увязавшихся за ними «подосков». Ссылаясь на свое высшее военное образование, боевой опыт и долголетнее знакомство с СССР, он в дни тяжелых неудач на наших фронтах со спокойной уверенностью говорит о неизбежном поражении гитлеровской Германии. Он объясняет царским офицерам, что царь и его правительство, приковавшие Болгарию к нацистской боевой колеснице, увлекают страну в пропасть этого поражения. Он заканчивает утверждением, что для болгарских патриотов есть только один выход: отказ от мелкой диверсионной деятельности, подготовка и развитие массового партизанского движения, с тем чтобы приковать болгарскую армию к внутреннему плацдарму, не позволить ей выступить против СССР или его союзников.

За пять дней до приговора Радойнов успел написать и сумел передать на волю два письма: одно, на русском языке, дочери в Советский Союз (не скоро оно дошло до нее!), другое, на болгарском, брату и сестре. В первом он писал:

«Милая моя дочурка Иночка, я, наверное, не увижу больше тебя, не услышу твоего голоса, не поцелую тебя больше. А как хотелось бы еще раз посмотреть на тебя! Здесь, на своей родной земле, в Болгарии, я попался в плен как красноармеец, и враг не выпустил меня, не простит потому, что я боролся за свободу своего народа, за его независимость, за мир. Я чувствую, что настал мой последний час, и могу сказать тебе, что твой папочка умер с честью, и ты можешь гордиться, что ты моя дочь.

Как хотелось бы увидеть конец войны и радость народов после победы нашей славною Красной Армии. Но я умру спокойно, потому что верю в победу, верю, что настанут еще хорошие времена для человечества. Вспомни тогда своего папочку, который так любил тебя. Со слезами на глазах и болью в сердце вспоминаю я нашего Спартака. Он ушел рано от нас. Пойди на его могилу и положи цветочек от меня. Утешай свою мать умело, как делала это и раньше, и поцелуй ее вместо меня.

Будь всегда примерным гражданином великой советской страны.

21.VI.— 1942 год. София.

Ваш Цв.».

Письмо к брату и сестре еще торопливее, многие слова написаны сокращенно. Я списал его в переводе:

«Дорогие брат и сестра,

прошло двенадцать лет разлуки, пока мне удалось завернуть в родное село, но я не смог повидаться с вами. Знаю, как вы все хотели бы этого, но я отложил нашу встречу на более позднее время, когда смог бы открыто приехать к вам. Это не удалось. Мой конец приближается, но счастье, которого я лишаюсь, скоро придет для вас, для ваших детей и внуков. За него я отдал тридцать лет своей жизни, вспомните тогда обо мне.

Я прожил бурную жизнь, но был счастлив потому, что передо мною всегда стояла благородная цель — отдать свои скромные силы на благо народа. Я отхожу спокойно, так как верю, что близко, очень близко осуществление этой цели. Я мечтаю, что тогда повидаяю моих односельчан и разделю общую радость. Передайте же от меня поклон всем, всем в тот счастливый день. Уверен, что вы сделаете все, чтобы жизнь стала прекрасной, и никогда больше не позволите вернуться прошлому с его войнами, несчастьями, страданиями и несправедливостью.

21.VI.— 1942 г.

Ваш брат Ц.»

Но задолго до того, как для всех пришел «тот счастливый день», для Радойнова наступил черный день казни. Перед нею его соединили с товарищами. Те из них, кто был постарше, участвовали еще в Сентябрьском антифашистском восстании, большинство воевало с фашистами в Испании. Сейчас фашизм праздновал личную победу над ними. Внешне они были похожи на побежденных: арестантская полосатая одежда, истощенные, небритые, бледные неестественной тюремной бледностью лица. Но из самой смерти

своей они вышли победителями. В архивах тайной полиции сохранилась докладная записка сыщика, присутствовавшего при казни. Сам не ведая, что его канцелярское перо работает для истории, он доносил своему начальству:

«26 июня 1942 г. в 18 часов был прочтен приговор по делу парашютистов, по которому 18 подсудимых из 27 приговорены к смертной казни через расстреляние, каковой приговор должен быть немедленно приведен в исполнение. Местом казни было избрано стрельбище военного арсенала. Осужденных в 21 час вывели во двор софийской центральной тюрьмы, чтобы отвезти на стрельбище. Выполнение приговора возлагалось на полицейских. Точно в 21 час к центральной тюрьме прибыла арестантская автомашина дирекции полиции и другая из моторизованного взвода, а также необходимая охрана и полицейские в форме, чтобы принять осужденных и доставить на стрельбище. Осужденные были в тюремной верхней одежде. Погрузка в машины и доставка осужденных на стрельбище, куда они прибыли в 21.15, прошла без инцидентов. На стрельбище уже находились: несколько полицейских в штатском, офицеры, старший германский военачальник в морской форме, сопровождаемый болгарским морским офицером и двумя германскими солдатами, штатский немец, некоторые работники из разведывательного отдела, адъютант софийского военного коменданта, солдаты, столичный полицейский комендант, три начальника полицейских участков и взвод полицейских в форме, назначенный для выполнения приговора. Поскольку военный комендант столицы и военный прокурор еще не прибыли, осужденные были оставлены в арестантских фургонах. Один из осужденных, а именно Август Димчев Попов, который находился у двери машины, попросил, чтобы ему дали воды. Желание его было исполнено. Через десять минут прибыли: военный прокурор, священник и другие официальные лица. Подсудимые были высажены и отведены в центральный туннель стрельбища, где выстроены в два ряда для поименной проверки. Тогда господин прокурор при софийском военно-полевым суде в абсолютной тишине произвел переключку осужденных, а затем прочитал приговор.

#### Приговор:

- |                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| 1. Цвятко Ник. Родионов   | 10. Борис Стойков Томчев   |
| 2. Трифон Тод. Георгиев   | 11. Август Димчев Попов    |
| 3. Васил Цаков Йотов      | 12. Георги Ив. Кратунчев   |
| 4. Иван Петров Изаговский | 13. Иван Йорданов Иванов   |
| 5. Антон Петков Бекяров   | 14. Мирко Станков Петков   |
| 6. Димитр И. Димитров     | 15. Симеон Филиппов Славов |
| 7. Васил Вылчанов Долов   | 16. Иван Николов Штерев    |
| 8. Стефан Маринов Пашов   | 17. Милю Мишчев Милев      |
| 9. Делчо Ник. Наплатанов  | 18. Димо Ст. Астарджиев    |

все присуждаются к смерти через расстрел по ст. 16 в связи со ст. 17 закона о защите государства.

После прочтения приговора священник обратился к подсудимым: «Предстоит вам исповедаться, прежде чем расстанетесь с жизнью, и, если кто имеет сказать свое последнее слово или выразить свое последнее желание, пусть выскажется». От имени всех осужденных взял слово Цвятко Колев Радойнов (Родионов), который начал говорить: «Мы были посланы в Болгарию, чтобы бороться против немцев...» В этом месте господин прокурор прервал его, сказав, что все, касающееся их прибытия, заданий и прочего, все было рассмотрено на самом процессе и сейчас не место и не время возвращаться к этому. Вместо того прокурор предложил им выразить последнюю волю. Тогда они, каждый по отдельности, стали вынимать из карманов имевшиеся у них денежные суммы и указывать, кому их передать. Также они снимали и завешали своим близким обувь, которая была на них, личные вещи и одежду, оставшиеся в центральной тюрьме. Человек пять из осужденных пожелали, чтобы их вещи были переданы Иосифу Баэру, осужденному на пожизненное заключение по тому же делу... Пока записывались последние желания, Август Димчев Попов и Симеон Филиппов Славов (капитан Рак) закурили папиросы, а некоторые попросили воды.

По окончании изъявления последних желаний осужденные были разделены на три группы по 6 человек и разведены по туннелям стрельбища. В каждом туннеле имеется

по два отделения, так что во всяком отделении было поставлено их по три. В центральном туннеле оказался Цвятко Колев Радойнов (Родионов). Когда были сняты арестантские куртки, а некоторые снимали и рубахи, оставшись голыми по поясу (рубахи они попросили тоже отдать близким), все были расставлены и привязаны. В момент, когда им начали надевать повязки на глаза, Цвятко Колев Родионов выкрикнул: «На этом месте нам будут поставлены памятники! Да здравствует Советская Россия! Победа за ней!..» Георгий Ив. Кратунчев крикнул: «Да здравствует свободная Болгария!..» Третий закричал: «Долой этих подлых немцев!..» Таковы были лозунги группы из центрального (второго) туннеля. Из первого туннеля послышались следующие возгласы: 1. «Да здравствует Красная Армия!» 2. «Да здравствует независимая и счастливая Болгария!» 3. «Вон германцев! Да здравствует Болгария!» 4. «Да здравствует Советский Союз!» 5. «Да здравствует независимая Болгария!» 6. «Да здравствует независимая Болгария!» Из третьего туннеля трое крикнули: «Вон оккупантов! Да здравствует Болгария!» Такие и подобные лозунги раздавались все время, пока им завязывали глаза. После того как надели повязки, господин прокурор дал приказ стрелять, и осужденные были казнены. Агент № 10396 (подпись)».

Когда Сыби Димитров был избран депутатом, на торжественном общегородском митинге он перед всем народом провозгласил: «Только смерть может остановить мое служение вам, трудящиеся, тебе, мой класс!..»

«Разузнавач № 10396», невольно сложив оду героям, помог им служить народу и после смерти. В ней самой они обрели бессмертие, на них оправдались вехи слова Христо Ботева:

Тоз, който падне в бой за свобода,  
Той не умира...

## 9. Вечная память

Цвятко Радойнов ошибся в одном — памятник ему и его товарищам поставлен не на стрельбище. Фашисты зарыли тела восемнадцати за городом, в лесу, вернее, на пустыре среди леса, начинавшегося за оградой царского парка. Над их общей могилой, в которой лежат теперь останки ста семнадцати казненных и до которой протянулась новая, самая красивая часть парка Свободы, 2 июня 1956 года, в годовщину смерти Христо Ботева, издавна отмечаемую как день поминовения умерших за свободу, и был открыт памятник всем известным и неизвестным героям, павшим в борьбе с фашизмом.

Мы с Алеком побывали там. Тонкий сорокаметровый обелиск белым копьём вонзается в небесную синь. На нем никаких украшений, только пятиконечная партизанская звездочка метрах в пятнадцати от земли. Под обелиском развернутые плечи широкого пьедестала. Вдоль него множество бронзовых фигур: слева — символизирующих боевую преемственность Сентября 1944 года от Сентября 1923 года; справа — показывающих встречу Советской Армии. На пьедестале у подножия обелиска спустившиеся с гор партизан и партизанка возвещают победу. Кругом памятника создан высокогорный пейзаж: монотонно журчат среди громадных серых камней ручейки, карликовые сосенки пробиваются между скал, ветерок шевелит альпийские цветы и травы.

Мы спускаемся по ступеням и шагаем по широкой прямой аллее с террасами и прудами. Отойдя подальше, поворачиваемся к обелиску. Внушительный памятник.

Я смотрю на него, и мне вспоминается промелькнувший среди кустов в ущелье Искра первый маленький памятник, на который показал в окно вагона случайный попутчик, мне вспоминаются и массивная с бронзовым львом башня на вершине Столетова, и костница на холме посреди парка Скобелева, и мавзолей в центре Плевена, и братские могилы в Верхнем Дубняке, и «докторский» памятник в сквере рядом с домом, где живет Белов. Мысленно я представляю карту Болгарии и расставленные по ней четыреста пятьдесят памятников солдатам и офицерам, убитым в Освободительной войне, и те памятники советским воинам, которые я успел увидеть: величественный монумент в столице и великана, возвышающегося над Пловдивом. Я продолжаю смотреть на обелиск и вижу, как на него наплывает другой, маленький, рядом с ним по-

ставленный плевенским героям и сохранивший имя Митрофана Шелепугина, наплывает на него и тот белый в честь болгарских Двенадцати у дороги на Пловдив, и пирамидка с именами перебитых стариков из села Кричим...

По всей стране стоят памятники, памятники, памятники. По всей стране висят памятные доски. Чтобы удержать в памяти, чтобы не забыть...

Но сейчас здесь заняты не воспоминаниями. Все живут сегодняшним днем. Приближается открытие VII съезда партии. Через улицы Софии протянуты транспаранты, дома украшены флагами и плакатами. Газеты сообщают о прибытии зарубежных делегаций.

За два дня до начала съезда, когда Белов был еще в министерстве, мне позвонил Петров:

— Хочешь со мной и Марией Петровной на аэродром, встречать сам знаешь кого?..

Когда мы подъехали к аэродрому, там уже выстроилось около сотни машин. Петров с прежней своей подвижностью выскочил первым. Заметно прихрамывая, он взбежал по ступенькам и скрылся.

Мы с Марией Петровной остановились у одной из групп встречающих, где все были знакомы между собой. Вскоре тут же появился жизнерадостный Иван Гаврилович.

— Будь здоров, — на этот раз совершенно кстати сказал он, пожимая мне руку. — Про Тотлебена не забыл?

Все начали продвигаться ко взлетной полосе.

— Сейчас я тебя познакомлю с президентом Академии наук, — заявила Мария Петровна. Она повернулась, и я увидел Тодора Павлова. — Позвольте вам представить нашего гостя из Москвы, — поздоровавшись с ним, проговорила Мария Петровна. — Он вместе с мужем был в Испании.

Тодор Павлов протянул мне теплую сухую руку.

— Вы встречали там Табакова?

— Табаков был зятем... — начала объяснять Мария Петровна.

Тодор Павлов перебил ее:

— Я любил его даже больше, чем свою дочь, — проговорил он, насупив белые брови. — Настоящий был коммунист. Такой, каким нам всем следует быть, — добавил он, и брови его заходили ходуном; подобные брови торчком почему-то вырастают у очень добрых людей. — Если бы он не погиб, он стал бы настоящим ученым...

Густеющая толпа еще подалась вперед и отделила меня и от академика и от Марии Петровны. Пионерский отряд со знаменем выстраивался по обе стороны прохода от посадочной дорожки до выхода с аэродрома. Впереди стояли члены политбюро и министры. Но ни воинской части, ни военного оркестра не было. Тонкости протокола соблюдались строго: встречали не главу правительства, а руководителя партии, прибывающего на съезд.

Над горами, запирающими аэродром, уже давно клубились грозные тучи. Оттуда подул сильный ветер, потом начал накрапывать дождь. Вокруг заговорили, что погода нелетная, что «ИЛ» через грозу не полетит. Но скоро дождь перестал, и как раз в это время из-под черных туч вынырнула светлая точка, похожая на белого голубя; послышался гул моторов, голубь, приближаясь, быстро вырос и вскоре превратился в самолет, заходящий на посадку. Вот он сел, развернулся и стал подруливать. Навстречу подкатили лестницу с перилами, люк открылся, и, взмахнув шляпой, на площадку лестницы ступил широко улыбающийся Никита Сергеевич Хрущев. Раздалось «ура», заглушившее и дальние раскаты грома и аплодисменты. Потом Хрущев, сопровождаемый Живковым и Юговым, ушел здороваться со встречающими куда-то вправо, «ура» удаллось за ними, и тогда сделался слышен плеск ладоней. Затем «ура» начало приближаться, и Хрущев прошел шагах в десяти от меня, туда, где его ждали пионеры с цветами, и между двумя их шеренгами направился к выходу...

Открытие съезда было назначено на второе июня, а потому волнующий обряд, посвященный памяти павших, свершался в канун ботевского дня. Умный обряд этот — со-

единение митинга с тем воинским торжеством, которое в старину называлось «общей зарей с церемонией», а в нашем уставе называется «торжественной зарей».

На этот раз вместе с Марией Петровной, Эмилией Александровной и Алеком я попал на левую трибуну. На площади уже выстроились при знаменах сводные части Софийского военного округа, вооруженные рабочие отряды, районные организации партии и комсомола, пионерские дружины, колонны студентов и школьников, представители заводов и фабрик. Перед каждой колонной ее делегаты держали тяжелые венки из живых цветов и зелени. Фасад дворца был, как всегда, украшен изображениями Маркса, Энгельса, Ленина и понижее — Благоева и Димитрова. По бокам висели портреты членов президиума ЦК КПСС и политбюро БКП. Справа на здании, ограничивающем площадь Девятого сентября, длинный ряд портретов: прекрасное лицо Христо Ботева с густой черной как смоль бородой и волнистыми волосами, безбородый Васил Левский, похожий на молодого запорожца, одетого в сюртук с манишкой и галстукбантиком, Георгий Бенковский в феске, Панайот Волов в русской студенческой тужурке и другие предводители народа, отдавшие жизнь в борьбе с оттоманской деспотией; в центре казенные или убитые в 1923 году, среди них глава партии земледельцев и председатель совета министров Александр Стамболийский, зверски умерщвленный во время фашистского переворота, и другой левый деятель Земледельческого союза Райко Даскалов, павший от руки террориста в Праге; еще ближе последние жертвы, между ними Антон Иванов с пристальным своим взглядом, тонкое доброе лицо Николы Вапцарова и, наконец, на углу, ближе всего к площади, Цветко Радойнов в форме полковника Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Под портретами протянут плакат: «Вечная слава павшим в борьбе против турецкого рабства, против капитализма и фашизма!»

На трибуне позади меня раздается нестройное «ура», вокруг начинают бить в ладоши. Я оборачиваюсь и вижу, как к мавзолею идут Хрущев, Живков, Югов и за ними прибывшие на съезд иностранные делегаты вместе с руководящими болгарскими коммунистами. Я узнаю высокую, стройную фигуру Энвера Ходжа, узнаю «нашего» Антонио Михе, уже во время обороны Мадрида бывшего членом политбюро Испанской компартии.

Быстро темнеет. Голубые снопы прожекторов шарят в небе, падают вниз, освещая то дворец, то здание совета министров, то поргеты героев, то обращенные к мавзолею бесчисленные восторженные лица. Слышится команда: «Мирно!» Площадь замирает. Чуть левее нашей трибуны сводный оркестр гарнизона играет «повестку к заре». Протяжные звуки «повестки» замирают в темном небе. Член болгарского политбюро Боян Былгаранов произносит речь. Он говорит о Христо Ботеве — поэте, в жестокий век турецкого ига воспевавшем свободу, и о Христо Ботеве — революционере, умершем за нее. Облик человека, почти сто лет назад писавшего, что «революция — это триумфальные врата каждого народа в его будущее», что она, «немедленная и отчаянная, спасет народ от рабства и расчистит путь к грядущему светлому коммунистическому строю», облик поэта, сумевшего еще тогда сказать: «Кто умирает за свободу, тот умирает не только за свое отечество, а за весь мир», — образ Христо Ботева воскресал перед притихшими слушателями. За Христо Ботевым оживают другие апостолы свободы: Георгий Раковский, Васил Левский, Георгий Бенковский... Имя за именем пролетает над площадью. Бушует буря аплодисментов, когда Былгаранов провозглашает вечную славу павшим.

Опять слышна команда. Подтянутый генерал выходит на площадку перед мавзолеем. Навстречу, печатая шаг, отделяется от войсковой части офицер. Отсалютовав саблей, он подходит с рапортом. «Другарю генерал!» — доносится до нас. Подходит командир рабочих отрядов: «Другарю генерал!» — щелкнув каблуками, начинает он свой рапорт. Один за другим, освещаемые прожектором, к генералу подходят и рапортуют по-военному представители райкомов, секретари комсомола. Последней появляется пионерка. В спящих лучах прожектора горит ее красный галстук. Отчетливым шагом подходит она к мавзолею, приставляет ногу, поднимает согнутую руку в пионерском салюте. «Другарю генерал!» — напряженно звенит отроческий голос. Гене-

рал стоит перед ней, вытянувшись в струнку и держа руку под козырек. Это не игра. Это очень серьезно... Я чувствую в горле какой-то комок.

Начинается проверка. Одно за другим падают в тишину громкие имена. «Христо Ботев!» — «Погиб в борьбе за свободу народа!..» — «Васил Левский!» — «Погиб в борьбе за свободу народа!..» — «Георгий Бенковский!.. Тодор Каблешков!..» На каждое имя тот же отзыв. «Александр Стамболийский!..», «Райко Даскалов!..» Перезвон имен продолжается: «Христо Михайлов!..», «Антон Иванов!..», «Никола Вапцаров!..», «Йорданка Чанкова!..» Это знаменитая партизанка, руководительница комсомола... «Цвятко Радойнов!..»

Проверка заканчивается. Генерал подает короткую команду. Оркестр исполняет «Вы жертвою пали...» Народ на площади, все на трибунах, на мавзолее и сам генерал преклоняют колено и опускают головы. Мощный оркестр бросает аккорды, будто хор поет, каждый слог слышен:

Прощай-те же, бра-тья, вы че-стно прошли  
Свой до-бле-стный путь бла-го-ро-о-о-одный...

Я слышу, как рядом со мной, прижав к глазам белый платочек, вся в черном, плачет чья-то вдова или неутешная мать. Пожилой тучный человек, опираясь на колено пухлой рукой, согнутым указательным пальцем смахивает с века слезу...

Траурный марш обрывается. Все поднимаются с колен. Опять команда. Оркестр играет «зорю». Она похожа на пашу. Пока ее играют, я смотрю на портрет бритоголового Радойнова. «Вспомните тогда обо мне...»

Последняя нота зари растаяла на площади. Пауза. Зазвучал болгарский государственный гимн. И в ту же секунду пушечный залп расколол небо. Взлетают ракеты. Ревет многоглаголющее «ура». На крышах в трех углах площади вспыхивают холостые выхлопы и принимаются грохотать три крупнокалиберных пулемета. Опять ударили пушки. Опять взмыли, захлопали и рассыпались разноцветными огнями ракеты, осветив все кругом. Непрерывно бьют пулеметы. «Бу-бу-бу-ух!» — встряхивают воздух пушки. Сердце колотится в такт с пулеметами. Чья-то сильная рука хватается меня за плечо. Оглядываюсь — Иван Гаврилович. «Чувствуешь?» — кричит он мне в ухо, но опять бухают пушки, продолжают тарыхтеть пулеметы, и ответить невозможно. Впрочем, по моему лицу Иван Гаврилович видит: чувствую...

Еще один салют, и пока падают звезды ракет, я снова смотрю на портреты, я перечитываю слова: «...той не умира... той не умира...»

Погасли искры последней ракеты. Наступила оглушающая тишина. В ней происходит возложение венков на мавзолей Димитрова и на могилу Коларова. Потом зажгутся факелы и факельное шествие тронется к обелиску в парке Свободы.

На следующий день, когда я пешком направлялся к центру, меня поразило новое проявление сердечной идейности болгарского народа. У памятной доски застреленного в 1944 году прямо в сквере перед синодом двадцатитрехлетнего коммуниста Васила Димитрова как вкопанные, с автоматом у груди, застыли два дружинника. Они стояли так неподвижно, что я заметил их, только поравнявшись. Я даже не сразу понял, что это означает, и только пройдя сообразил: почетный караул. По другую сторону площади, на Московской улице, у памятной доски «земледельца» Петко Петкова два старика в штатском старательно тянулись на припекающем солнце с немецкими, должно быть трофейными, винтовками, приставленными к ноге.

В тот день я побывал в разных районах Софии и у каждой памятной доски видел вооруженный почетный караул, а у так называемого «русского» памятника с двухглавым орлом замерли два солдата, держа автоматические винтовки с прижмынутыми тесаками. Когда же после обеда я проводил Эмилию Александровну за город в водолечебницу, то и там в саду, у могилы болгарских солдат, убитых немцами при подавлении владийского восстания, дежурили в белых халатах врач и сиделка: он со старым наганом в руке, она с кавалерийским карабином.

— Так по всей Болгарии, Алеша,— вернувшись со съезда, сказал Белов, которому я выразил свое восхищение виденным.— В городе это, конечно, просто, но ведь и в самых глухих местах, в горах и в лесу, везде, где есть памятник партизанам или

братская могила, везде наш народ выставляет почетные караулы, а у официальных памятников караул несут войска.

Я ничего не отвечаю Белову. Я растроган. Какая нежная, какая верная душа у тех, кто так чтит память своих героев. Он достоин их, этот великий маленький народ!

### Эпидог

Поспать бы еще хоть немножко, да гугутки мешают. А до чего хочется спать! Вечера после закрытия съезда состоялся самый людный митинг за мое пребывание в Софии. Он закончился поздно. Потом засиделись за ужином и спать легли глубокой ночью. В ушах до сих пор, как бывает, когда наслушаешься морского прибоя, стоит непрекращающийся гул, в котором смешивается хор людских голосов и плеск ладоней. Как один человек, людское море на площади скандировало в четыре такта: «Ка-пе-эс-эс! Ка-пе-эс-эс! Ка-пе-эс-эс!..» Я опять проваливаюсь в сон. Но все тот же крик и хлопанье в ладони снова будят меня. Открываю глаза. За окном громко хлопают крылья. Уж эти мне гугутки!

Я окончательно просыпаюсь. Уже совсем светло. В комнату льется свежий утренний воздух. Алек слегка похрапывает рядом. Приподнимаюсь на локте, чтобы взглянуть на часы, лежащие на ночном столике. До чего еще рано, однако. Очень уж увлеклись мы разговорами вчера после митинга. Он был достойным завершением съезда, на котором во всеуслышанье было объявлено, что «болгарские крестьяне вторыми в Европе выиграли великую битву за построение социализма на селе». Да, вчерашний митинг был, пользуясь словечком Ивана Гавриловича, силен...

Из коридора донеслись торопливые шаги Белова, направляющегося в ванную. Пора вставать. Начинается мой предпоследний день в Болгарии.

Большую часть его я пробегал по Софии, прощаясь со старыми и новыми друзьями. Зашел и к Саше Янкову, болгарскому представителю в Международном студенческом союзе. У Саши близкие друзья в Москве, я привез от них письмо и теперь зашел за ответом. Мы просидели около часа за крепчайшим кофе, сдобренным некоторой дозой сливовой, и говорили о болгаро-советской дружбе. Саша Янков — убежденный интернационалист, а я — бывший интербригадовец, и тем не менее оба мы должны были признать, что корни истории наших народов особенно тесно срослись. Для иллюстрации он рассказал о том, что хотя и было фактом, но похоже на легенду. В 1942 году, когда Саша Янков, тогда еще почти мальчик, был посажен в старую турецкую тюрьму города Шумена, переименованного ныне в Коларовград, в ту же тюрьму заключили семидесятидвухлетнего крестьянина из-под Котела. Незадолго до того старик этот видел странный сон. Ему приснилось, будто, как и шестьдесят пять лет назад, когда он был ребенком, в Болгарию на лихих конях опять пришли русские, только на фуражках у них вместо бело-желто-черных кокард виднелись красные звездочки. Старик поведал об удивительном сне кому-то из знакомых. Вскоре его арестовали и по закону о защите государства осудили за пророческое сновидение на шесть лет и восемь месяцев тюрьмы. Через неделю после суда он умер. Фамилия его была Кюрякчиев. Не то что коммунистом, но и «земледельцем» он не был. Был сам по себе, Кюрякчиев, и все...

Жара еще не спала, когда Белов с Эмилией Александровной и я отправились на дачу Петрова. Кроме нас, у него были еще гости, тоже бывшие «испанцы». Я здороваюсь с сановного облика стариком, кажется, мы не встречались в Испании, а с его дочерью Полиной целуюсь, она служила в штабе танкистов, стоявшем под Алькала-де-Энарес, и мы отлично помним друг друга. Отец Поли — чрезвычайный и полномочный посол Народной Республики Болгарии в Китае и приехал только на съезд.

Пока нас усаживают за стол, накрытый в тени веранды, я не удерживаюсь и спрашиваю у Белова, чем он объясняет, что столько болгарских дипломатов начало свою карьеру в интербригадах.

— А как ты хочешь? — хладнокровно отвечает Белов. — Это совершенно естествен-

но. Для того имеются две веские причины: во-первых, народ из интербригад особо надежный и многоопытный, а во-вторых, языки же знают — сначала в боях, потом в концлагере почти каждый два-три языка выучил...

Но вот наступил и день отъезда. Утром меня в последний раз разбудили пунктуальные гугутки. В последний раз я слушал, как Марийка бегаёт по коридору и хлопает дверьми. В последний раз будил я Алека, получившего под флагом моих проводов двухдневный отпуск. Мне было грустно. Но надо было ехать. Полтора месяца я смотрел на нашу страну издали, и теперь, как ни жаль было после двадцатилетней разлуки снова расставаться с Беловым и Петровым, меня потянуло домой.

Наконец спустился последний вечер, и вот уже машина несёт меня к вокзалу. Прощальным взглядом смотрю я на улицы Софии, на её деревья и цветы, время от времени переводя глаза на задумчивого Белова. Наконец вокзал. Выйдя из машины, я расцеловался с Костой, который произнес небольшую речь на тему о том, что друг Аляша уезжает в Москву, а он, Коста, остаётся в Софии.

— Кой за какво учил! — смог я ему ответить.

Алек, будто у него три руки, пытался один подхватить и оба чемодана, и несесер, и кучу свертков, составляющих по крайней мере недельный запас продовольствия, которым меня снабдили в предвидении трехдневного путешествия.

Отечественный дом на колесах был прицеплен к хвосту болгарского поезда. Мы с Алеком уже погрузили чемоданы и пакеты, когда на перроне показались подъехавшие с дач Эмилия Александровна и Мария Петровна, за которыми прихрамывал Петров. Я чуть не ахнул, увидев у обеих по целому снопу роз, которые они нарезали для меня, словно я оперная примадонна. С трудом обхватил я необъятные букеты руками. Время отхода поезда приближалось. Московские проводники с нетерпением поглядывали на нас.

— Пора прощаться, Аляша, — с серьезным лицом предложил Белов.

Мы обнялись еще крепче, чем когда я приехал.

— А помнишь, как ты провожал нас на французскую границу? — обнимая меня, спросил Петров.

Еще бы я не помнил! Я простился со всеми, еще раз обнял и Белова и Петрова и стал подниматься в вагон, где встретил Алека, протащившего в мое купе еще какой-то сверток, доставленный Марией Петровной. Становилось все более очевидным, что с голоду я не умру. Тут же в купе мы трижды расцеловались с Алеком, и, прижимая к груди копну роз, я подошел к окну. Вагон незаметно и медленно тронулся. Белов и Петров шли рядом с ним. И вдруг мне захотелось сказать им на прощание что-то важное, что-то самое главное, чего я не успел или не сумел еще сказать. Мне вспомнился девиз польского батальона Домбровского, вышитый на его знамени: «За вашу и нашу свободу!» — девиз, с которым польские товарищи дрались и умирали на испанской земле. Поезд набирал ходу. Белов и Петров отстали. И тогда, высунувшись как мог из окна, я закричал моим опять уплывающим в прошлое боевым друзьям:

— Салуд, камарадас! Вы победили в Испании!

София—Москва  
1958—1959.





---

---

# ПУБЛИЦИСТИКА

В. МОНАХОВ

★

## ПРЕСТУПНИК И ОБЩЕСТВО

«**В** Николая Малюткина есть мать, брат, родные. Но он в семье почти не жил: рано забросил школу, порвал дружбу с товарищами, занялся воровством. Сейчас ему тридцать лет, а он уже был судим тринадцать раз.

...При содействии родных Малюткин устраивался на работу, но держался недолго — два-три месяца. Его не увольняли с работы. Он всюду сам брал расчет. За короткий срок он побывал во многих городах страны.

И вот Малюткин снова в Горьком. Здесь он опять взялся за свое ремесло вора. Однажды Малюткин, взломав замок, украл из конторы Канавинского райжилуправления электросчетчик, часы, конторские штампы. Потом он забрался в кинотеатр, где похитил магнитофон, пластинки, часы и другие ценности на общую сумму 2 596 рублей. Награбленное добро он продавал на рынках Горького, Дзержинска, Бора. Но жулик не мог остаться безнаказанным. Он был арестован.

Народный суд 3-го участка Канавинского района приговорил Н. И. Малюткина к заключению в исправительно-трудовых лагерях.

Это сообщение встретилось мне в старом номере областной газеты «Горьковская правда» под рубрикой «Из зала суда» и под заголовком «Вор наказан». Такие заметки нередко можно увидеть в нашей печати. Они привлекают внимание читателя, вызывают много вопросов, на которые подчас нелегко найти ответ.

Это внимание — не праздное любопытство. Оно связано с существенными проблемами действительности. Почему у нас, в Советской стране, где для каждого осуществлено право на труд, находятся люди, не желающие трудиться, встающие на путь преступления? Почему они, несмотря на неоднократные наказания (тринадцать судимостей!), не хотят вернуться к нормальной жизни? Что ждет человека, который приговорен к лишению свободы на много лет и которого народный суд в соответствии с законом изолировал от общества?

Вор пойман и наказан в тринадцатый раз! А где же гарантия, что он не будет «пойман» и «наказан» в четырнадцатый, пятнадцатый, двадцатый? И если нет такой гарантии, то зачем же тогда наказание — кому оно нужно? И что нужно сделать для того, чтобы человек, однажды оступившись, не повторял больше преступления?

Задумываясь над этими вопросами, я вспомнил человека, судьба которого очень схожа с судьбой Николая Малюткина.

\* \* \*

У Валентина Корсакова есть мать, сестра, брат. Но в семье он почти не жил. С детства втянувшись в воровство, он почти двадцать лет скитался по стране, крал, кутил, множество раз стоял перед судом, отбывал наказание.

И вот, в спецодезде, он сидит передо мной и рассказывает о своей сложной жизни. За окном мерно стучит движок электростанции, торопливо дышит лесопилка, как удары бича, хлопают переключаемые доски, то и дело разносятся голоса людей. Корсаков иногда поворачивается к окну; тогда в его глазах появляется выражение деловой озабоченности.

Подобные рассказы я слушаю не первый раз, но меня по-прежнему волнует то, что заключенный, профессиональный вор с двадцатилетним стажем, сидит вот так и с открытой душой рассказывает все о себе незнакомому человеку в форменной одежде, самый вид которой совсем недавно вызывал у него неудержимый прилив ненависти. Уже одно это показывает, как изменился этот человек. Да и только ли он изменился? Разве сама эта форма, внушавшая некогда людям страх, не вызывает теперь другие ассоциации? И не в этом ли одна из причин того, что изменился Корсаков?

— Детство мое проходило обыкновенно, как у многих других. Сначала семейный уют, игрушки и сказки по вечерам. Потом школа. Жили мы тогда в Луганске. Отец мой, Василий Сергеевич, старый член партии, работал начальником пожарной охраны, часто бывал в разъездах. Мать хозяйничала дома. Были в семье еще две сестренки помоложе меня.

Учился я в школе плохо. Много времени проводил в компании уличных друзей, дрались «улица на улицу», играли на деньги в «бабки» и в «стенку». Забывал об уроках, о еде, обо всем. Матери своей я совсем не слушался. Так еле дотянул до седьмого класса, из которого меня выгнали за неуспеваемость и плохое поведение.

Отец тут же устроил меня на курсы при школе электрослесарей, по шахтному оборудованию. Здесь-то и случилась беда. Меня арестовали за хищение из школьной лаборатории спирта и наглядных пособий, которое я совершил по просьбе старших товарищей.

(Признаюсь, слушая Корсакова, тут я вздрогнул: ведь и у меня был такой же случай. В восьмом классе переносили мы из одного здания в другое оборудование и химикаты школьной лаборатории. И попалась нам на глаза большая бутылка с бездымным порохом — до сих пор не знаю, почему она оказалась в лаборатории. У нас сразу созрела мысль: «конфисковать» это ненужное школе богатство, так как с охотничьими припасами в те годы было трудно. Сказано — сделано. И уже вечером мы снаряжали патроны, мечтая о том, как зададим «жару» селезням. Однако «жару» задали нам наши родители, узнавшие, откуда мы достали порох. Они заставили нас отнести украденное в школу и повиниться, что мы и сделали. Учитывая наше «чистосердечное раскаяние», одного из нас исключили из комсомола, другие получили выговор в приказе по школе. А ведь все могло обернуться иначе...)

— Так я впервые сел на скамью подсудимых, — продолжал Корсаков. — Мне тогда не исполнилось еще и семнадцати лет. Приговор был не очень суровый — год лишения свободы.

Направили меня в Горловскую тюрьму. Как сейчас, вижу большую камеру, переполненную потными полураздетыми людьми; камеру называли «Баней». Было в ней жарко, тесно и душно до того, что заключенные теряли сознание. Впрочем, некоторые вели себя здесь по-хозяйски — спокойно, уверенно занимали места около двух окон, где был приток свежего воздуха. Они встретили меня очень приветливо, даже ласково, называли «землячок», «сынок» и дали мне место у окна, хотя я видел их в первый раз.

Здесь я впервые услышал много новых слов, которых раньше не знал, и узнал много такого, что начисто развеяло мой страх перед тюрьмой. Эти самоуверенные люди показались мне героями, я жадно слушал их рассказы о ворах, о том, как красиво и интересно они живут. Эти рассказы тесно связывались в моей голове с игрой в «стенку», со схватками с соседней улицей, в общем со всем «кинтрепным», чем я жил до сих пор.

Иногда мне кажется: не попади я в эту «Баню», жизнь моя пошла бы по-другому. Впрочем, таких встреч с верами и после было немало.

Из тюрьмы меня направили в сельскохозяйственную колонию. Летом я пас там коров, а зимой подвозил воду, корма и убирал навоз. И я слышал много «воспитательных» бесед «у огонька», которые проводили такие же уверенные в себе «земляки», каких я встретил в тюрьме. Эти люди сами себя называли ворами и гордились этим.

Не знаю за что, но освободили меня на три месяца раньше срока. Я вернулся домой и поступил работать на шахту учеником электрослесаря, встретился со старыми друзьями. Нашлись среди них и такие, с которыми вместе сидел в тюрьме.

Жил по соседству с нами Иван Иванович, человек средних лет, очень приветливый, разговорчивый. Появился он в поселке недавно и поселился у одинокой женщины, ра-

ботавшей техникой в шахтоуправлении. Она говорила всем, что Иван Иванович приходится ей дальним родственником. Мне он сразу понравился. Я получил от него приглашение «заходить» и стал заглядывать к нему... Он был прекрасный рассказчик, знал много увлекательных историй, и в каждой из них обязательно фигурировал вор. Все его воры были отчаянно смелые, дерзкие люди.

Иван Иванович давал мне иногда деньги на кино и на папиросы, угощал пивом и водкой, учил играть в карты на деньги. Через месяц он намекнул мне — так, между слов,— что долги надо отдавать. После этого он дважды брал меня с собой на «работу». Он был вор-домушник.

Через два месяца я снова попался на краже. Крал для того, чтобы рассчитаться с Иваном Ивановичем. На суде я его не выдал.

На этот раз меня осудили на три года и направили в строительную колонию. Несколько месяцев был на общих работах, копал землю, строил дороги. Вскоре по этапу попал в Харьков, где заседала комиссия, отбиравшая заключенных на Дальний Восток. Я прошел комиссию и поехал на Колыму. На Колыме снова повстречал воров. Здесь отпраздновал свое совершеннолетие и за два с половиной года обошел добрый десяток разных мест заключения. Кем только не работал...

\* \* \*

Так начался острый конфликт Корсакова с государством, конфликт, не осозанный им и потому еще более страшный

Он крал сначала потому, что видел в этом романтику, и потому, что окружавшие его «друзья» толкали на это. А суд наказывал его, лишал свободы, по существу ничего не предпринимая для того, чтобы исправить. В местах же заключения на него постоянно влияли люди, заинтересованные в том, чтобы он и впредь был преступником.

Его карали сперва как нарушителя школьной дисциплины, а потом как преступника. Его исключили из школы, лишили свободы и доверия близких. Но человек не может жить без доверия, без друзей, в одиночку. И Корсаков нашел себе сообщество — сообщество профессиональных воров, которые приласкали и обогрели его, но взамен потребовали всю его жизнь.

Воры объединяются не только для того, чтобы совместно красть и развлекаться. Объединяясь, они удовлетворяют свою потребность в доверии, которого они лишены. «Мне не доверяет общество, но доверяет шайка», — думает вор, и эта иллюзия общественного доверия поддерживает его. Объединение и взаимное доверие воров порождает взаимные обязательства, которые перерастают в своего рода традиции. Нарушение этих «традиций» рассматривается как измена и карается со всей жестокостью, присущей уголовному миру. Когда вор лишен свободы и доверия общества, он попадает в тюрьму в знакомую среду, где стремится обрести новую свободу и новое доверие. Когда же он освобожден из тюрьмы, не думайте, что он свободен, — он должен поступать так, как требуют традиции воров, а они требуют, чтобы вор воровал и жил паразитом, не заводил семью, не сотрудничал с властями. Нарушишь их — изменник, и жди ножа в спину. Будешь следовать им — преступник, и снова попадешь в тюрьму.

Юноша, почти подросток, Корсаков оказался между этих двух огней.

Так в обществе, где впервые в истории человечества отсутствует объективная необходимость красть, чтобы существовать, может все же возникнуть — причем исключительно вследствие кары, ввергнувшей оступившегося в изолированную и как бы сконденсированную среду преступников, — субъективная необходимость красть, чтобы не получить нож в спину за измену своим сообщникам, чтобы не лишиться их доверия, без которого нельзя жить, так как доверие государства потеряно.

А ведь этой трагедии могло и не быть, если бы после первой кражи Корсакова взяли в умные и заботливые руки, помогли ему обрести цель в жизни, найти и понять настоящую романтику труда и созидания!

Острый, часто трагический конфликт между личностью и обществом, наиболее болезненным выражением которого является преступление, органически присущ всем общественным формациям, в основе которых лежит частная собственность на средства производства. Принимая самые различные формы и переплетаясь с борьбой классов' и

эксплуатацией человека человеком, этот конфликт губил и калечил миллионы человеческих жизней. Личность, ставшая жертвой этого конфликта, объективно неизбежно, всегда признавалась субъективно виновной в ее криминальных поступках и поэтому подвергалась самой суровой каре, подавлению и уничтожению. В этом находил свое отражение антагонизм отношений, присущий эксплуататорскому обществу.

Если проследить развитие уголовного наказания на протяжении всей истории человечества, как это сделал профессор М. Д. Шаргородский в вышедшей недавно книге о наказании, то окажется, что содержанием наказания в эксплуататорском обществе, выражающим отношение государства к лицу, совершившему преступление, было возмездие, подавление или уничтожение. Государство не желало видеть подлинных причины криминального поведения личности, оно видело лишь ее вину и восклицало: «Мне отмщение, и аз воздам!»

Только на высшей ступени общественного самосознания, которой явился научный коммунизм, пришло понимание того, что личность совершает преступление не по «натуре дьявола», не в силу вселившейся в нее свыше «злой воли», а в силу обстоятельств ее жизни и полученного ею воспитания. «Подобно праву,— писали К. Маркс и Ф. Энгельс в «Немецкой идеологии»,— и преступление, т. е. борьба изолированного индивида против господствующих отношений, тоже не возникает из чистого произвола. Наоборот, оно коренится в тех же условиях, что и существующее господство. Те же самые духовидцы, которые в праве и в законе видят господство некоей самодовлеющей всеобщей воли, могут усмотреть в преступлении простое нарушение права и закона».

Так сто лет тому назад впервые были заложены — сначала теоретически — основы нового отношения общества к преступнику. Однако, для того чтобы это отношение стало реальностью, потребовалось осуществить величайший социальный переворот в экономической и политической жизни, именуемый социалистической революцией.

Уголовное наказание в чистом виде, наказание-кара, никогда не достигало своей цели, то есть не обеспечивало борьбы с преступностью и самозащиты общества. «История и такая наука как статистика с исчерпывающей очевидностью доказывают, что со времени Каина мир никогда не удавалось ни исправить, ни утешить наказанием. Как раз наоборот!» (К. Маркс). Поэтому наша партия в своей программе, принятой VIII съездом, поставила задачу замены системы наказаний системой мер воспитательного характера, замены тюрем воспитательными учреждениями.

Первое двадцатилетие нашего государства было периодом теоретических исканий, споров и практических экспериментов на пути, указанном партией. В эти годы родились такие термины, как «перевоспитание», «перековка», появились исправтруддома, трудовые колонии и коммуны — наиболее яркое и убедительное доказательство нового отношения общества к преступнику. В 1924 году появился первый исправительно-трудовой кодекс, который определил, что «режим в местах заключения основывается на правильном сочетании принципов обязательного труда заключенных и культурно-просветительной работы... ставя своей целью приучить их к труду и, обучив какой-либо профессии, дать им тем самым возможность по выходе из места заключения жить трудовой жизнью». В колониях стали создавать школы, профтехнические курсы, проводить политические занятия, издавать газеты и журналы для заключенных, были введены выборные организации осужденных — культсоветы — и учрежден институт условно-досрочного освобождения. Для работы с освобожденными из мест заключения создавались комитеты помощи бывшим заключенным.

Наконец, это были годы смелых экспериментов А. С. Макаренко, давших блестящие результаты, каких не знала и не могла знать история.

Однако все эти замечательные и совершенно правильные начинания не коснулись Корсакова, так как они не получили в то время широкого распространения и развития. Наоборот, со второй половины тридцатых годов исправительное начало было сведено к использованию заключенных на разного рода тяжелых работах, не дающих высокой квалификации. Эти люди лишались единственного, что могло их спасти, — доверия общества, перспективы возвращения в него полноправными и полноценными работниками — и тем самым превращались в квалифицированных и сознательных преступников, озлобленных врагов общества.

Нарушения социалистической законности, выразившиеся в отказе от воспитательной работы в местах заключения, являлись одной из форм антисоветской деятельности Берия и его клики.

В результате этих извращений, лишённые доверия и перспективы, многие оступившиеся советские люди попали в объятия рецидива.

В их числе был и Валентин Корсаков.

\* \* \*

— Впрочем, с Колымы я скоро вернулся, так как срок наказания кончился и мне разрешили выезд по заключению врачей — из-за слабого здоровья.

Вернувшись домой (семья жила тогда в Рубежном), я сразу же хотел поступить работать на Рубежанский химкомбинат электрослесарем — надоели мне скитания. Но не тут-то было! Теперь я уже был известен как вор, и мне хотя и вежливо, но твердо и бесповоротно отказывали. Что же было делать? Ехать куда-то в незнакомые места? А тут старые друзья объявились, стали отговаривать: найдем, говорят, «дело» и здесь. Да и вообще, говорят, ты не думай нам изменять — слишком много ты знаешь. На первых порах они меня подпаивали, подкармливали. Ну, а потом я опять пошел: по старой дорожке и, конечно, вскоре «загремел» на восемь лет за Урал.

А ведь было у меня тогда желание бросить воровство, порвать с «друзьями», работать и учиться, помогать семье. Отцу тяжело приходилось — еще сынишка за это время родился. Да и понимать я стал кое-что. Но когда оттолкнули, подумал: все равно не жизнь мне здесь, под косыми взглядами. И пошел по старой дорожке.

До этого я как-то бездумно и легко жил, а тут озлобился...

Тяжело сейчас вспоминать пережитое в те недолгие месяцы, когда находился на свободе, только случалось иногда такое, чего нельзя забыть.

Помню, однажды «навела» нас «воровская дама» на одну квартиру — сообщила, что недавно продали здесь корову, а деньги хранят в спальне.

Ночью мы вдвоем выдавили стекло и проникли в этот дом. В спальне стояла детская кроватка, а хозяева спали в соседней комнате; дверь туда открыта, слышался негромкий храп. Начали мы искать деньги в комодке. Рылись долго — нет денег. Вдруг слышим — забеспокоился ребенок. Испугались мы — дело сорвется и можно «погореть». Напарник мой, здоровый мужик по кличке «Горилла», кинулся к кроватке и задушил ребенка.

Да... Иной вор успокаивает себя тем, что он вор «честный», что грабит он «технически», что зарабатывает на жизнь своим «искусством». Только все это самообман. Начинаешь конфетой с лотка, а кончаешь убийством ни в чем не повинного человека...

\* \* \*

От мелкой кражи — к тягчайшему преступлению. Такова логика преступности, если ничто не мешает ее развитию, если обстоятельства толкают преступника на рецидив и если не принимаются решительные и эффективные меры к перевоспитанию и исправлению преступника.

Пренебрежительное отношение к человеку, который вышел из заключения, только способствует развитию этой логики.

У нас ничто не должно стоять между обществом и человеком, который отбыл уголовное наказание и решил честно жить и трудиться. Эта идея органически вытекает из самого существа нашего бесклассового общества: человек понес наказание, исправился, и теперь он должен стать таким же равноправным гражданином, как и все остальные.

Так должно быть. Но в действительности не всегда так бывает. И в этом, на мой взгляд, одна из основных причин повторных преступлений, а они-то наиболее опасны для общества и наиболее губительны для личности.

...Человек, в течение ряда лет изолированный от условий нормального советского общежития, отбыл наказание и выходит на свободу. Несколько лет он ждал этого часа, строил свои планы на жизнь, давал себе и другим клятвы и заверения. И вот желанный

час настал. Человек на свободе. Но, чтобы осуществить свои новые планы, он должен жить и трудиться — конкретнее, он должен иметь жилплощадь и оплачиваемый труд. Он имеет на это право как гражданин Советской страны, и он это право осознает.

Он приезжает в город, где живет его семья, заходит в свой дом, а затем идет в милицию: он знает, что следует прописаться. И вот здесь, в отделении милиции, часто начинается трагедия. Оказывается, что паспортный режим не разрешает прописывать этого человека в его родном городе. По его планам наносится первый тяжелый удар.

Впрочем, бывает и так, что по составу преступления человек может быть прописан в городе, но за милицейским столом сидит заскорузлый чиновник, который считает, что ему легче будет жить, если в его городе окажется одним бывшим преступником меньше. Он делает незуитский ход:

— А вы сначала устройтесь на работу. Потом мы вас пропишем.

«Бывший» начинает обивать пороги предприятий, не зная, что без прописки его не возьмут на работу.

А еще случается так. В милиции человека прописали. Он идет на завод. Там как раз нужны люди его квалификации. Ему рады. Все налаживается. Но когда дело доходит до автобиографии, лицо начальника отдела кадров вытягивается, и он произносит известную фразу: «Зайдите завтра». А назавтра оказывается, что вакантных мест на заводе уже нет.

Все эти три варианта имеют один исход: надо куда-то убираться, оставить семью, пересматривать свои планы. Но самое странное состоит в том, что человек начинает чувствовать себя изгоем, неравноправным.

Отношения между личностью и обществом испорчены буквой инструкции или заскорузлым чиновней.

Человеку надо ехать куда-то за пределы «режимной» зоны. А это он неизбежно воспринимает как изгнание. И он едет, причем едет без уверенности, что и где-то там не повторится это изгнание. А ведь ему нужны деньги, чтобы ехать, питаться, одеваться, чтобы получить ночлег.

И удивительно ли, что лишь наиболее устойчивые и сильные выдерживают и не становятся снова на путь преступления. А те, кем эта дорожка уже проторена, у кого на ноге ядро уголовных связей, кто опален хроническим недоверием и не верит в твердую и устойчивую перспективу своей жизни, те очертя голову снова кидаются в омут, из которого лишь попытались выбраться, а все их шаткие, неясные, робкие, с таким трудом склеенные планы на новую жизнь рушатся, как карточный домик.

\* \* \*

— Теперь я знал, что мне делать в заключении. Прибыв туда, я сразу же нашел «своих» — опытных воров. Среди них были и старые знакомые. Они только числились на разных работах, но на самом деле не работали и путем угроз заставляли низовую администрацию из заключенных проводить их по нарядам, записывать высокий процент выработки, а кроме того, облагали других заключенных «данью» — требовали, чтобы те отдавали им часть своих заработанных денег, свои посылки и передачи. Со строптивыми учинялась жестокая расправа.

Я стал действовать так же, как и они, и жил, в общем, припеваючи. Администрация обычно не знала о наших махинациях, иногда даже опиралась на нас, так как мы заставляли других заключенных работать. В глазах же «работяг» мы старались показать себя их защитниками перед администрацией. В те годы лагерному начальству нужно было одно: чтобы выполнялся план и не совершались побеги. За другое с него не спрашивали.

Так жили мы и год, и другой. Не нуждались ни в саде, ни в водке. Ночи проводили за картами, а днем отсыпались. Все это сходило с рук.

И вот война...

Нет, вы не думайте, что вору, особенно молодому, чужда мысль о защите Родины. Слово «фашист» среди нас всегда было самым ругательным, хотя употребляли мы его не всегда правильно. Но трудно сказать, что было решающим — любовь к родной земле

или стремление любой ценой выйти на свободу, — когда я подал заявление об отправке меня на фронт.

Был я молод, тяжких преступлений за мной не значилось, по бумагам в лагере вел себя хорошо, и просьба моя была удовлетворена. После небольшой подготовки я оказался на передовой, в штурмовой роте. В первой же атаке я был тяжело ранен в голову, перенес черепную операцию и взамен удаленного куска черепа имею теперь в голове платиновую пластинку. После госпиталя был уволен в запас как инвалид второй группы с правом на пожизненную пенсию.

Итак, я получил совершенно чистые документы, обеспеченный прожиточный минимум и снова решил начать новую жизнь. К семье, однако, я поехать не мог — Донбасс был занят немцами, и я не знал, где мои родные — в оккупации или в эвакуации. Поехал я в Куйбышев. Был там у меня один адрес. Надеялся, что примет меня там одна женщина, с которой я познакомился при обстоятельствах, не имеющих отношения к блатным делам. И не ошибся — приняла меня Лидия Ивановна лучше некуда. Зажили мы с ней неплохо. Тогда впервые я начал книги читать. Только это продолжалось недолго.

Месяца через три стала меня глотать тоска. Лида на работе, я один дома. То подумаю, что вот все люди работают или воюют, а я у них нахлебник. То почувдится, что нашли меня старые дружки и на «дело» сватают идти. То опять же семью свою вспомню, и защемит сердце. И так ни одной светлой мысли, хоть в петлю полезай. В общем, начал я понемногу «закладывать», и случилось со мной однажды такое, чего до сих пор не пойму.

Пили тогда по преимуществу спирт-сырец. Пока пьешь, зажав нос, вроде ни в одном глазу похмелья нет, а потом сразу теряешь рассудок — и пошел куролесить. Уж не помню, сколько я его тогда выпил, только сильно потянуло меня на свежий воздух, и пошел я гулять, а уже смеркалось. Ходил я так час или два, не помню, захотелось мне еще выпить, до смерти захотелось, а дома, я знал, больше нет. В общем, решил я выпить любой ценой. Зашел в какой-то дом и больше ничего не помню. Очнулся на койке, с забинтованной головой, в отделении милиции. Все бы это ерунда, если бы не узнал я на допросе, что за одну ночь совершил четыре преступления: украл картины и скатерть в железнодорожном клубе, стащил ворох белья в женском общежитии, разбил ларек, где днем торговали пивом (кража со взломом), и отобрал часы у прохожего (грабеж). До сих пор не понимаю, зачем я все это делал, и не уверен, делал ли вообще. Меня нашли на улице спящим, а все барахло лежало рядом со мной. Однако положенное по закону я за это получил, несмотря на платиновую пластинку, и оказался опять в лагере. В приговоре было записано: «двадцать лет лишения свободы».

\* \* \*

Что же произошло с Корсаковым на этот раз?

Еще академик И. П. Павлов установил, что под влиянием определенного образа жизни у человека образуется определенная устойчивая система рефлексов, именуемая «динамическим стереотипом». Человек, впервые попавший в большой город, затрачивает много нервной силы для того, чтобы перейти улицу в часы пик. Старожил делает это автоматически, почти без всяких усилий. У него образовалась система рефлексов и привычек, которые действуют почти независимо от его воли и сознания. Это и есть стереотип. У преступника-профессионала, рецидивиста-вора также вырабатываются свои привычки, свои рефлексы, свой динамический стереотип. Он так много крал, что в простейших случаях может делать это автоматически, без волнения, без преодоления нервных барьеров, без больших волевых усилий.

Когда принято решение покончить с воровством, этот стереотип начинает постепенно «таять», так как он не подкрепляется практикой и мысленным повторением воровских операций. Гораздо быстрее он «тает», когда человек занят трудовой деятельностью, когда у него вырабатывается новый трудовой стереотип. Но и в данном случае это процесс длительный.

У Корсакова, который оказался в состоянии сильного опьянения, перестали действовать тормозные центры, исполнявшие его решение «не воровать», ослабла воля,

поддерживавшая это решение, и вот он, зная одно свое желание «выпить еще», механически, по привычке, почти бессознательно совершил целый ряд преступлений, даже не попытавшись воспользоваться украденным.

Вот еще какая опасность грозит многолетнему преступнику, принявшему решение покончить с паразитизмом! Это не домысел. Таких фактов я знаю немало. Вот что говорит по этому поводу академик И. П. Павлов: «Установленные, приобретенные связи известных условий, т. е. определенных раздражений, с нашими действиями упорно воспроизводятся сами собой, часто даже несмотря на нарочитое противодействие с нашей стороны».

Этот факт требует, чтобы бывшего преступника, отбывшего срок наказания, не только не преследовали всячески, а, наоборот, если мы хотим, чтобы он не повторял преступления, окружали заботой, ставили в здоровые условия труда, культурного отдыха, общественной жизни в коллективе.

— А стоит ли с ним возиться?! — раздается возглас. — Всю жизнь шkodил, пакоcтил людям, а теперь нянчиться с ним.

Такие голоса слышатся часто. До некоторых пор они даже заглушали все иные голоса, и это, как известно, приводило не к сокращению, а к росту преступлений. Если преступников не искоренять методом перевоспитания, число их может лишь увеличиваться. А перевоспитывать — это всегда значит «нянчиться».

Впрочем, на эту тему уже было сказано много, и спор неизбежно приходит к проблеме «кто виноват?» и дилемме «кара или воспитание», которые, как мы уже говорили, давно решены марксизмом не в пользу сторонников кары.

Требование окружить освобожденного из заключения вниманием и заботой стало настолько очевидно необходимым, что в последнее время нашло выражение в проекте закона об участии общественности в борьбе с нарушениями советской законности и правил социалистического общежития. «Исполнительным комитетам местных Советов депутатов трудящихся, руководителям предприятий, учреждений и организаций обеспечивать трудовое устройство лиц, освобожденных из мест заключения после отбытия наказания или досрочно освобожденных. Общественным организациям оказывать содействие этим гражданам в трудоустройстве и создании необходимых бытовых условий», — гласит проект закона.

Опыт показывает, что для этого нужно очень немного. Если у осужденного нет родственников, которые его примут после освобождения из места заключения, если он не знает заранее, куда поступить работать на свободе, колония обращается к дирекции и общественности того или иного предприятия и договаривается с ними о трудоустройстве освобожденного, о предоставлении ему жилой площади. К этому и сводится, собственно, забота и внимание, в которых нуждается освобожденный, если не говорить об элементарном такте, необходимом в отношении к человеку с тяжелым прошлым.

Главное, включить человека в здоровый советский коллектив. Корсаков и на этот раз оказался вне такого коллектива, и это снова сгубило его.

\* \* \*

— Было это в тысяча девятьсот сорок седьмом году, вскоре после выхода в свет указа от четвертого июня. По этому указу меня и «окрестили», узнав в ходе следствия, что я рецидивист.

Теперь я настолько прочно сел за решетку, что о свободе и думать перестал. Работать? Пилить лес? Дудки-с! Пусть пилит тот, кто его сжал.

Несколько лет я вел в заключении прежний образ жизни, хитрил, уклонялся от работы, «технически» и «нетехнически» обирал «мужика». О будущем я старался не думать. Так я прожил три года, а потом опять взяла меня тоска. Стал я видеть во сне Лиду с ребенком на руках. Мать стал вспоминать. Лягу на нары, глаза закрою — и будто легче становится. Друзья стали на меня косо поглядывать. Тогда я новую кличку получил — «Чокнутый», — значит, сумасшедший.

В это время начал ко мне приглядываться один капитан с серебряными погонами — Карпов Иван Петрович. Работал он в подразделении главным инженером, был целый день на производстве, на людях, все его знали в лицо, и, слышал я, заключенные го-



ворили о нем, что это «человек». А выше этой оценки в лагере нет. Так вот заметил я, что Карпов что ни день, то или словом со мной перебросится или улыбнется мне издали. Что, думаю, такое он во мне нашел? И вот однажды вызывает он меня к себе в кабинет. «Садись,— говорит,— Валентин Васильевич».

Сел я, а он мне начинает про свои дела рассказывать. Часовой цех план не выполняет, рабочих рук не хватает. А вот в мебельном есть такой краснодеревщик Мельников, который сам выдумывает новые шкафы, серванты, диваны. Молодых ребят учит своему делу. Большой мастер. Говорит Карпов так, будто мы с ним на эту тему десятый раз беседуем и будто я у него в цехе работаю. Что, думаю, делать: встать да уйти? Неудобно как-то обижать человека ни за что. Кроме того, мне почему-то было уютно сидеть в этом кабинете и слушать его слова. А он незаметно перешел на мое прошлое, и тут понял я, что он обо мне уже многое знает. Слушаю его, отвечаю на его вопросы, а сам все думаю: зачем ему все это?

За долгие годы скитаний по тюрьмам никто со мной так не беседовал. Бывало, разбирались в моих проступках, ругали, наказывали, но больше так, по форме. А этому, вижу, как раз до меня есть дело. Только не понимаю, что это за дело.

Теперь-то я знаю, что просто зачерствел я тогда, разучился понимать человеческое отношение. А Карпов это понял.

С той беседы стало меня тянуть к Карпову. Чтобы быть к нему поближе, я попросился на производство, в цех.

«Ты же инвалид,— говорит мне Карпов,— зачем тебе работать?» А сам улыбается. Однако поставил меня на конвейер сборки деревянных деталей часов-ходиков.

И вот однажды поздно вечером подходит ко мне лацан и говорит, что меня приглашают в баню помыться. День был не банный, и я понял, что это воры вызывают меня на сходку. Муторно мне стало, однако пошел.

Собралось их там человек двадцать — все мои старые дружки. Расступились, пропустили в середину. Потом все сели на корточки, сел и я.

«Что ж,— говорит один, по кличке Рыжий,— «сучиться» начинаешь, Валек? С капитаном шепчешься, на работу пошел. Объяснись перед народом».

Песни эти я знал давно и разговора такого ожидал. Понимал, что от исхода этой беседы зависит многое, даже моя жизнь. Немало кровавых расправ после такого судилища приходилось наблюдать.

«Нет,— говорю,— «сучиться» я не собираюсь, не из таких, а хочу «завязать» по-честному».

«Объясни,— говорят,— свои мотивы».

Тут я им рассказал и про ранение, и про то, что сын растет на воле, и про свой возраст, который сединой выходит наружу. Вижу, слушают, молчат, не перебивают. Это, думаю, признак хороший.

Потом начались у них прения. Один говорит, что надо разрешить мне отход. Другой высказывает сомнение и опасение, что я их продам с потрохами. Но его не поддержали. Словом, получил я санкцию на отход с предупреждением, что если «ссучусь», то получу «по шапке». Это значит, что убьют меня, если я их выдам.

Ушел я в тот вечер с миром, а они остались и долго еще о чем-то судачили.

На душе у меня легче не стало: от одного отошел, к другому не пристал.

Дня два прошло, вызывает меня к себе Карпов.

«Я,— говорит,— нашел тебе работу поинтереснее. Будешь подциферблатники штамповать». И повел меня в цех.

В цехе гиревых часов была такая машина. В квадратной фанерной дощечке штамп пробивал круглое отверстие для оси, на которую насаживают стрелки. Сперва никак не получалось, не удавалось выполнить норму. Но работал я спокойно, думал больше о том, как повысить выработку и усовершенствовать машину. И придумал. Предложил переделать маховик и ограничители штампа. Карпов поддержал, помог переделать машину. И дело у меня пошло.

На работе я забывал обо всем, а по вечерам мне ни с кем не хотелось разговаривать — брал книгу или газету. Тоска стала понемногу отступать, но не проходила.

\* \* \*

Часто можно услышать, что место заключения — это школа преступности. Юристы даже придумали для этих мест термин «криминогенный», то есть порождающий преступников. Это старый термин. Еще П. Крапоткин в 1880 году писал: «Вор, плут, грабитель, проведшие несколько лет в тюрьме, выходят оттуда еще более готовые приняться за старую профессию. Они теперь лучше подготовлены; они изучили все тайны ремесла и более озлоблены против общества. Они находят теперь лучшее оправдание своему восстанию против его законов и обычаев».

Действительно, если в колонии или тюрьме не ведется с заключенными целеустремленная воспитательная работа, если она предоставлена самим себе, то среди них начинают вести работу главари преступного мира, и колония может превратиться в школу преступности.

Последние годы убедительно показали, что колония может быть воспитательным учреждением, причем таким, которое сумеет поправить ошибки и недоработки, допущенные в воспитании личности, то есть исправить и перевоспитать человека. Но исправительно-трудовые учреждения смогут выполнять эту задачу лишь при наличии научно обоснованной воспитательной системы их работы и специально подготовленных кадров воспитателей. И в последние годы на воспитательную работу в колонии пришло много новых людей.

Обстоятельства сложились так, что Корсаков попал в одну из немногих в ту пору колоний, где руководители понимали свою подлинную задачу и ошупью, вслепую, но настойчиво искали методов ее решения.

Едва ли не самой страшной бедой преступника, с которым мы сталкиваемся сегодня, является то, что он «беден сознанием собственной бедности». Уровень его развития низок, он живет, как правило, интересами небольшой кучки людей, окружающих его, потребности его извращены.

Поэтому повышение сознательности, культурного уровня, политическое воспитание преступника есть важнейшее условие его исправления. Пока преступник не осознает духовной нищеты, всей никчемности своего образа жизни, пока он сам не придет к необходимости покончить с подобной жизнью, перевоспитание невозможно, возможно лишь утешение.

Перелом, который начался у Корсакова, явился следствием того, что он пришел к сознанию собственной бедности. Пришел стихийно. Тут повлияли и лучшие впечатления детства, и немногие дни, проведенные в армии, и совместная жизнь с Лидией, и газеты, в которые он начал заглядывать, и трудовая обстановка в колонии, и беседы с капитаном Карповым. Осознав никчемность и фальшь воровской жизни, он уже не мог безраздельно отдаваться ей. Однако он и не нашел еще нового пути для себя.

То, что произошло с Корсаковым стихийно, должно было произойти организованно, под влиянием разумных и целенаправленных действий воспитателей исправительно-трудового учреждения, и произойти много лет тому назад, после первого грехопадения Корсакова.

\* \* \*

— Никогда не забуду свою первую трудовую вахту. Было это в сентябре тысяча девятьсот пятьдесят второго года. Я перевыполнил тогда норму. На доске у входа в колонию появилась в тот же день «молния» — большой кусок серой оберточной бумаги, на котором красными буквами было написано, что я, Корсаков, хорошо поработал.

Я ходил тогда, как пьяный, и уже не прятался от людей, а, наоборот, шел туда, где много народу, ввязывался в разговор, часто неуместно и неумело. Работал, не считаясь со временем, и не было месяца, чтобы выполнял норму меньше чем на двести — триста процентов. Обо мне уже с похвалой писала многотиражная газета, мне присвоили звание «отличника производства». Начал я регулярно переписываться с Лидой.

Вскоре были введены новшества, которые очень радовали: зачеты рабочих дней, условие досрочное освобождение. Стали избирать в совет актива. Между прочим, я меня избрали в состав совета актива, и тут я опять почувствовал в себе что-то новое.

Раньше я хотя и работал хорошо, но жил тихо, не ввязывался в дела других, помнил воровской наказ. А тут почувствовал, что мне на этот наказ наплевать и что я не могу больше жить в норе, как пескарь. Несколько раз я выступал на общих собраниях. Слушают.

Месяца два назад приезжала ко мне Лида с сыном. Явились они неожиданно. Оказывается, наш замполит послал им письмо, приложил вырезки из газет, где про меня написано, и пригласил в колонию. Семь дней здесь жила.

\* \* \*

Время было позднее. Я крепко пожал Валентину Корсакову руку, и мы с ним расстались.

Тогда его рассказ глубоко тронул меня.

Потом я узнал, что Корсакова освободили и он поступил работать на часовой завод. Недавно пришло от него письмо: жизнь Корсакова окончательно вошла в норму.

Когда я задумываюсь над его судьбой, у меня неизменно возникает вопрос: может ли быть исправлен каждый преступник и что для этого надо делать?

Пример Корсакова и многих других бывших преступников, которых я знаю, убеждает: да, в наших сегодняшних советских условиях можно исправить каждого.

В каждом преступнике есть здоровые черты и ростки, которые в силу сложившихся обстоятельств его индивидуальной жизни не получали развития. Беда, что эти ростки не развивались, а подавлялись, загонялись вглубь, иногда даже отмирали под влиянием «микросреды», стечения тяжелых обстоятельств.

Одним из таких решающих обстоятельств является отношение общества к преступнику. Если оно выражается только в каре, в наказании и преследовании, здоровые задатки не могут получить нормального развития.

Сейчас, когда партия выдвинула задачу резкого сокращения, а затем и искоренения преступности, эта мысль получила у нас полные права гражданства, стала определяющей уголовную политику идеей. В исправительно-трудовом учреждении создаются сейчас такие условия, применяются такие методы воспитательного воздействия, которые поднимают уровень развития осужденного, проводится большая политико-воспитательная работа, организуются общеобразовательные школы, работают клубы, библиотеки, телевизоры и радио. Короче говоря, создается обстановка напряженной и полнокровной трудовой жизни, которая дает осужденному трудовые навыки и опыт работы в коллективе, вооружает его профессией, необходимой для обеспечения честной жизни на свободе, в обществе.

Отношение общества к преступнику в процессе исполнения приговора суда, выраженные в воспитании, в перевоспитании и исправлении,— это единственно правильный путь борьбы с преступностью, который уже сегодня дает замечательные результаты.

Не только в сфере исполнения наказания, но и в сфере судебной произошли аналогичные изменения. Сроки лишения свободы снижены до десяти лет, и лишь в наиболее тяжелых случаях назначается пятнадцать лет лишения свободы. Широкое распространение получили меры уголовного наказания, не связанные с лишением свободы, которые являются, по сути, мерами воспитательного характера. Повсеместное распространение получила практика передачи на поруки впервые совершивших малоопасные преступления. Случись теперь хищение из школьной лаборатории, слесаренок Валька Корсаков едва ли попал бы в «Баню».

Но специфические условия, созданные в колонии, и судебная политика не исчерпывают области отношения общества к преступнику. Отбыв наказание, бывший преступник выходит из колонии, и отношение к нему на этой стадии является не менее важным, чем отношение в колонии. Поэтому решающим в борьбе с преступностью является отношение общественности к людям, сбившимся с пути. Это отношение должно иметь целью воспитание, а не преследование, не возмездие, не ущемление и недоверие. Оно должно способствовать развитию у человека здоровых черт и задатков, которые пробудила колония. Надо помогать таким людям, протягивать им товарищескую руку, поддерживать их, когда они совершают первые, еще неуверенные шаги в обществе. При-

мер такого отношения показал Н. С. Хрущев, рассказав об этом в своей речи на III съезде писателей.

Работа, которую ведет сегодня партия, наша общественность, весь наш народ, вселяет твердую уверенность: преступность мы ликвидируем.

Есть уже немало фактов и симптомов, подтверждающих этот вывод. Все больше становится исправительно-трудовых колоний, которые известны тем, что вышедшие из них люди не совершают больше преступлений, активно участвуют в коммунистическом строительстве. Во всей Челябинской области, например, среди осужденных в 1959 году было лишь пять человек, в прошлом отбывавших наказание в колониях области. За семь месяцев 1959 года из челябинских колоний условно-досрочно освобождено четырнадцать процентов заключенных. Эти люди признаны исправившимися. Около восьмидесяти процентов освобожденных из колоний организованно трудоустроены на предприятиях области.

Одна из наиболее характерных черт современной работы челябинских и многих других колоний — широкое участие общественности, коллективов трудящихся в перевоспитании заключенных. Это новый шаг на пути перехода от гюрем к воспитательным учреждениям, от наказания — к системе мер воспитательного характера. В этом, нам думается, важный залог полного искоренения преступности.

И не требуется для этого ни двадцатилетних сроков лишения свободы, ни саженой толщины тюремных стен, ни изощренных наказаний. Необходимо то, о чем мудро сказал Н. С. Хрущев: «В наших условиях надо подходить к людям чутко, верить в человека, видеть свою конечную цель — борьбу за коммунизм. Надо воспитывать и перевоспитывать людей».



---

С. ПАРТИГУЛ

★

## НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТОРГОВЛИ

*(Размышления экономиста)*

### НА НОВОМ РУБЕЖЕ

**В** наши дни неизмеримо возрастает значение торговли — важнейшей формы удовлетворения растущих личных потребностей трудящихся.

Современный этап развития советской торговли имеет свои особенности. Это своеобразно характеризуется обилием товаров, с одной стороны, и ростом доходов населения — с другой. Никогда еще Советский Союз не располагал такими значительными ресурсами предметов народного потребления, и в то же время никогда еще не была столь велика покупательная способность населения, как в настоящее время.

Не будем иллюстрировать это положение цифровыми данными — они хорошо всем известны. Скажем только, что рост доходов населения означает не только повышение спроса, но и существенное изменение его структуры. В 1959 году население купило мяса и молока примерно в пять раз больше, а хлеба лишь на шестьдесят процентов больше, чем в 1940 году. Покупки продуктов питания возросли по сравнению с довоенным уровнем примерно в два с половиной раза, а промышленных товаров почти в четыре раза, причем преимущественным спросом пользовались предметы культурно-бытового назначения. И очень примечателен тот факт, что сейчас наша деревня покупает более трети всех продаваемых населению радиоприемников, почти половину швейных машин, более половины велосипедов.

В нашей стране последовательно осуществляется проблема обеспечения питания населения в соответствии с требованиями физиологии. Научно обоснованные нормы питания используются при расчетах перспективных планов развития сельскохозяйственного и промышленного производства. Уже на 1965 год определен такой объем производства, который позволяет приблизить питание членов социалистического общества к научным нормам. Так, требования физиологии предусматривают душевое потребление мяса и мясопродуктов 73—91 килограмм; производство мяса к концу семилетки превысит в расчете на душу населения 70 килограммов. Молока и молочных продуктов будет произведено в 1965 году на душу населения 450 килограммов при физиологической норме 292—585 килограммов.

Развитие легкой промышленности также подчинено задаче полностью обеспечить наш народ тканями, одеждой, обувью. Встает вопрос о создании научно обоснованных норм потребления промышленных товаров. Эти нормы, соответствующие культурному уровню и потребностям граждан социалистического государства, должны явиться ориентиром, определяющим планирование производства.

Каково же должно быть соотношение между товарными ресурсами, направленными в торговлю, и спросом населения?

Этот вопрос ставится потому, что в нашей экономической литературе длительное время господствовало представление, будто закономерностью социализма является систематическое опережение платежеспособного спроса над предложением товаров.

Между тем это утверждение несостоятельно ни теоретически, ни с точки зрения хозяйственной или, если угодно, житейской практики.

В самом деле, если население располагает денежными средствами, для того чтобы купить большее количество товаров, чем их имеется в наличии, то в торговле неизбежны перебои со всеми их последствиями — перекупкой и спекуляцией. Правда, в определенных периоды такого рода явления в торговле имели место, но они всегда вызывались специфическими условиями своего времени. Общая же тенденция развития нашей экономики направлена к изобилию товаров. Так, отставание сельского хозяйства неизбежно порождало затруднения в торговле рядом продовольственных товаров; положение радикально изменилось после того, как в результате принятых партий мер был осуществлен подъем сельского хозяйства, преодолено его отставание.

Но разве можно временные диспропорции между спросом и предложением товаров в определенные периоды считать выражением закономерности, якобы присущей нашей экономике? По существу это утверждение как бы оправдывало недостатки в планировании народного хозяйства и в организации торговли. Товаров производится меньше, чем их требуется; объяснение: ничего не поделаешь — спрос обгоняет предложение! В торговле перебои, очереди; что же делать — спрос обгоняет предложение!

Нарушение соответствия между денежными доходами и товарными ресурсами может привести и к более серьезным явлениям — в обращении появятся лишние деньги, которым не противостоит товарная масса.

Вот почему вся система нашего планирования и хозяйствования направлена к тому; чтобы установить соответствие между спросом и предложением, между денежными доходами населения и товарными ресурсами торговли. Возможность инфляции у нас исключена, потому что правильное планирование позволяет сбалансировать денежную массу и массу товаров. На последней сессии Верховного Совета в докладе Н. С. Хрущева было особо отмечено, что мы располагаем в настоящее время достаточными товарными ресурсами для обеспечения платежеспособного спроса населения. В связи с намечасмой отменой налогов значительно возрастет покупательная способность населения, а значит, потребуется большое увеличение товарных ресурсов для рынка. Учитывая все это, на развитие текстильной и обувной промышленности выделено дополнительно двадцать пять — тридцать миллиардов рублей, заблаговременно создается база дальнейшего увеличения производства товаров народного потребления.

В период развернутого строительства коммунизма все более повышается ответственность торговли за удовлетворение запросов потребителей, за то, чтобы доходы трудящихся в полной мере могли быть обращены на покупку нужных товаров. Эта ответственность, конечно, возлагается и на производителей — промышленность и сельское хозяйство; торговля может располагать лишь тем, что произведено в этих отраслях народного хозяйства. Однако торговля не только формальный посредник между производителем и потребителем, в условиях социализма ее обязанности более значительны.

Торговый аппарат, наиболее разветвленный, наиболее близко соприкасающийся с населением, должен знать запросы, вкусы, нужды потребителей. Отсюда важнейшая функция советской торговли — формулировать требования широкого потребителя к промышленности и сельскому хозяйству, добиваться перестройки производства, с тем чтобы своевременно и в необходимых количествах производились нужные товары.

С другой стороны, торговля должна воздействовать на спрос населения, формировать и создавать его. В конечном счете торговля отвечает перед потребителем за производство, качество и ассортимент товаров. Вряд ли кто-либо скажет: «Промышленность производит достаточно товаров»; скорее эту мысль выразят иначе: «В магазинах все есть». Во всяком случае, при нехватке тех или иных товаров упрекут в первую очередь торговлю. Эти упреки отнюдь нельзя считать необоснованными. Передаточный механизм от производства к потребителю, каким является торговля, должен работать так, чтобы товары доставлялись туда, где они нужны, и тогда, когда нужны.

В новых условиях по-новому ставятся проблемы организации торговли. Иначе, чем раньше, складываются связи и взаимоотношения между промышленностью, сельским хозяйством и торговлей.

«В чем же это сказывается, в каких формах проявляется и все ли здесь ясно?»

### ПОТРЕБИТЕЛЬ — МАГАЗИН — ЗАВОД

Установление соответствия между предложением товаров и спросом на них — объективная необходимость при социализме. Но это соответствие отнюдь не устанавливается автоматически. Для правильного соотношения между спросом и предложением нужны прежде всего правильные пропорции в народном хозяйстве в целом, а затем достаточная гибкость промышленности и торговли для того, чтобы производить именно то, что нужно советскому потребителю.

Разумеется, в любом случае решающее значение имеет научно обоснованное предвидение, точное определение перспективы. Иначе может получиться так, что даже значительный рост производства не поспевает за спросом. Как известно, в 1957 году спрос на телевизоры у нас, в общем, был удовлетворен. Но вот введены в строй новые телецентры, круг людей, обслуживаемых ими, резко увеличился, в итоге спрос на телевизоры превысил предложение, хотя за последнее время продажа их возраслась на сотни тысяч штук ежегодно.

Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР об увеличении производства товаров культурно бытового назначения и хозяйственного обихода (октябрь 1959 года) исходит из анализа глубоких изменений в структуре спроса и определяет масштабы производства товаров, соответствующие этим изменениям.

Тканей, одежды, обуви и других товаров в магазинах сейчас вполне достаточно, однако не всегда можно купить платье, костюм или другое изделие нужного фасона, расцветки, размера. Не будет ошибкой утверждать, что в удовлетворении запросов советского потребителя проблема ассортимента одна из наиболее важных.

То, что потребитель предъявляет повышенные требования к ассортименту, это, бесспорно, положительный факт, свидетельствующий о росте народного благосостояния. В практике торговли получили признание требования моды. И это вполне закономерно. Пора отказаться от представлений о моде и модах как категориях капитализма. Другое дело, что социалистическому быту чужды извращения моды, столь типичные для Запада и порождаемые паразитизмом, бессмысленным расточительством правящих классов и другими особенностями быта капитализма. Здоровый, эстетический интерес к модам, появление советских мод — одно из проявлений общей тенденции обогащения вкусов, разнообразия запросов.

Нет нужды доказывать, что за последние годы у нас наряду с общим ростом производства значительно расширился и ассортимент товаров народного потребления. Достаточно пройти по магазинам, чтобы увидеть это. Еще десять лет назад покупателю можно было предложить только три марки наручных мужских часов: «Победа», «Звезда» и «НЧ-43»; сейчас выпускается свыше тридцати марок. Промышленность производит теперь около тридцати типов радиол, а ведь не так давно их было всего три типа. Телезрители раньше знали лишь «КВН» и «Т-2», сейчас у нас производится около пятнадцати марок телевизоров. Значительно обширнее стал ассортимент текстильных изделий, обуви, появилось великое множество новых товаров.

И вот что примечательно: удовлетворить вкусы и запросы советских людей в наши дни куда сложнее, чем раньше. Никакое централизованное планирование не может определить производство товаров в том ассортименте, который желателен потребителю, и централизованное распределение не может служить тем средством, которое покажет, где и на что именно предъявляется спрос. Решающая роль в этом деле принадлежит торговому аппарату, только он в состоянии подсказать, какие конкретные виды изделий надо производить, определить, куда и когда надо доставлять эти товары.

Специальные решения запрещают невыполнять план производства тех изделий, спрос на которые ограничен. Торгующим организациям предоставлено право — более того, вменено в обязанность — не принимать товары, не пользующиеся спросом.

Как правило, в тех случаях, когда производится недоброкачественная продукция и допускаются отклонения от стандарта, роль барьера, преграждающего поступление потребителю негодных ему товаров, выполняется торгующими организациями успешно. Текущий контроль осуществляется при приемке товаров от поставщиков, отбракованные изделия или переводятся в пониженные сорта или же просто-напросто возвращаются

обратно предприятиям. Но бывают и более строгие меры «наказания». В начале этого года, например, была прекращена приемка от Апрелевского завода музыкальных пластинок до тех пор, пока не будет улучшено их качество. Торгующим организациям также было запрещено приобретать многие виды тканей, выпускаемых Первой ситценабивной фабрикой, впредь до устранения производственных дефектов.

Однако надо прямо сказать: работникам торговли следовало бы значительно настойчивее добиваться повышения качества товаров и, в частности, улучшения внешней отделки вещей.

Серьезным упреком в адрес торгового аппарата являются факты неправильного размещения товарных ресурсов по стране. В ряде сельпо месяцами лежат шерстяные ткани типа «метро», «люкс», «ударник», в то время как повышенный спрос на эти товары в крупных городах не всегда удовлетворяется. В южные районы страны завозятся ткани темных цветов, хотя наибольшим спросом здесь пользуются яркие материи с очень броским рисунком. Напротив, в Сибири, на Урале потребитель ищет преимущественно гладкокрашенные и темные ткани. Еще недавно в Прибалтике были значительные запасы габардиновых тканей и ощущался недостаток тонкосуконных тканей для пошива пальто, а в ряде областей Российской Федерации складывалось обратное соотношение этих товаров.

Местные, национальные, климатические особенности — важный фактор формирования спроса, а это зачастую не принимается во внимание. Но дело не только в этом. Доходы трудящихся растут хотя и повсеместно, но не всегда равномерно. Отсюда известные колебания претерпевает и спрос. Между тем в территориальном размещении товарных ресурсов уже отжившие традиции «эпохи распределения» сказываются чаще всего. Ведь нередко на полках магазинов той или иной местности мирно «дремлют» товары, на которые предъявляется повышенный спрос в других областях и городах.

Основа основ советской торговли — это твердое знание сегодняшних и завтрашних потребностей народа в тех или иных товарах. Между тем изучение спроса поставлено в торгующих организациях кустарно.

Изучение спроса и определение заказов промышленности возлагается на товароведов. Однако их оценки спроса должным образом не проверяются. И это очень плохо, так как субъективные мнения отдельных торговых работников являются зачастую источником ошибок в заказах. А ведь это может привести к весьма серьезным последствиям — сокращению производства изделий, которые хочет иметь потребитель, или же, наоборот, увеличению выпуска тех товаров, спрос на которые ограничен.

Вот одна из иллюстраций. В первой половине 1959 года некоторые торгующие организации предлагали сократить производство радиоприемников, радиол, часов и ряда других товаров. Необоснованность этого предложения стала очевидной буквально через несколько месяцев. После снижения цен и организации продажи в кредит спрос на эти товары возрос в значительной мере, и сейчас требуется резкое увеличение их производства.

Изучение спроса должно быть поставлено на строго научную основу. Большое внимание нужно уделять исследованию структуры потребления различных групп населения с разным уровнем доходов. Ведь даже относительно небольшое повышение доходов уже изменяет структуру спроса. Когда в 1956—1957 годах возросла зарплата низкооплачиваемым, повысились размеры пенсий, то тотчас повысился спрос на наиболее ценные продукты питания и на промышленные товары.

Проблема изучения спроса требует анализа множества явлений и фактов. Сюда входят, например, доходы, структура спроса отдельных групп трудящихся, национальные, бытовые и климатические особенности спроса в различных районах страны и так далее, включая такие вопросы, как выявление, какая именно упаковка и какие расцветки товаров пользуются особенной популярностью.

Нет нужды доказывать, как важны в исследовании спроса населения так называемые «мелочи». Но именно в изучении детальных и частных элементов спроса дело обстоит наиболее плохо. Материалы покупательских конференций, опросы покупателей плохо обобщаются, не говоря уже о том, что самый опрос проводится зачастую так бессистемно, что не дает возможности сделать определенные выводы.



Думается, что в современных условиях нам нужно создать систему изучения спроса населения и соответственно этому систему органов, изучающих спрос. Должны широко практиковаться выборочные обследования и специальные наблюдения. Для изучения спроса могут быть использованы, в частности, крупные специализированные магазины, располагающие широким ассортиментом товаров, имеющие кадры опытных работников, а также и оптовые базы.

Формы изучения спроса весьма многообразны, но суть в организации этого дела. Министерства торговли союзных республик, Центросоюз должны стать центром, определяющим программу и систему изучения спроса; но, разумеется, изучение спроса — обязанность всех торгующих организаций.

Небесполезно обратиться и к зарубежному опыту. В США фирмы, продающие потребительские товары, систематически анализируют условия сбыта, причем половина этих фирм имеет специальные бюро по изучению рынка. Эти бюро исследуют и общеэкономические вопросы — доходы населения, вклады в сберегательные кассы и многие другие. Особое внимание уделяется конкретным, частным обстоятельствам, влияющим на спрос населения. Широко используются статистические данные, проводятся опросы покупателей по определенной программе, производятся пробные продажи отдельных партий товаров. Приведем такой пример. Одна французская компания хотела организовать в Париже поиски покупателей для производимых ею холодильников так, чтобы эти поиски обошлись наиболее дешево. С этой целью были использованы статистические данные о распределении квартир по каждому кварталу Парижа в зависимости от наличия различных видов коммунальных удобств — газ, ванная, центральное отопление, электроосвещение. Эти данные, характеризующие местожительство зажиточных семей, позволили фирме наиболее рационально организовать разъезды своих агентов.

Американские фирмы время от времени учитывают, какое количество покупателей выходит из магазина, ничего в них не купив; производятся специальные опросы этих покупателей.

Фабрикант, производящий средства для чистки зубов, установил, что покупатели предпочитают тюбики с зубной пастой стоимостью в двадцать пять центов тюбикам по цене пятьдесят центов. Почему? А потому, что в больших тюбиках паста затвердевает еще до того, как потребитель успеет ее полностью использовать.

Нам нет нужды копировать систему изучения спроса, применяемую на Западе. Кстати сказать, общеэкономические показатели у нас разрабатываются неизмеримо полнее, чем в какой-либо капиталистической стране. Но при всех условиях очевидно, что нужна продуманная, научно обоснованная система изучения спроса. У нас есть возможности создать такую систему, и притом более экономную, чем при капитализме, где изучением спроса занимается множество конкурирующих между собою фирм и агентств. Всесторонне должны быть использованы конкретные методы и приемы анализа спроса, практикуемые за рубежом; значительно глубже и более системно, чем сейчас, нам надо обобщать и популяризировать собственный опыт.

В этой связи хочется сказать о такой форме изучения рынка, как оптовые ярмарки или выставки-продажи, получившей за последнее время широкое распространение. С успехом прошла в декабре 1959 года Всесоюзная выставка-продажа в Москве; ее оборот составил свыше сорока миллиардов рублей, из которых около шестнадцати пришлось на межреспубликанские продажи. В этих выставках или ярмарках участвуют организации оптовой и розничной торговли, которые продают товары, не пользующиеся спросом в одних районах, в другие места, где в них есть потребность.

Наконец, последний по месту, но первый по важности вопрос — о кадрах, занимающихся проблемами товарооборота.

Изучение потребительского спроса не только важная, но и трудная область экономических исследований, и здесь необходимо, так же как и во всех других отраслях народного хозяйства, создавать своих знатоков. Один из видных исследователей рыночной конъюнктуры Шарль Кулидж Парлин говорил, что человек, посвятивший себя

изучению рынков, должен быть одновременно любознательным студентом, великим путешественником и врожденным коммерсантом.

Как и где лучше готовить специалистов данного профиля — особая тема для разговора. Принципиальная же сторона вопроса не вызывает сомнений.

Вернемся к нашей «триаде»: потребитель — товаропроводящая сеть — поставщик.

Древние римляне говорили, что благополучие республики — высший закон. Таким высшим законом для предприятий, производящих предметы народного потребления, является удовлетворение запросов советских потребителей. Этот критерий лежит в основе оценки деятельности предприятия.

Однако нередко на заводе или фабрике происходит своеобразная коллизия между такими факторами, как ассортимент, валовая продукция, рентабельность.

Показателен такой пример. К числу популярных у нас видов шерстяных тканей относится бостон. По ряду причин его производство предприятиям выгоднее, нежели изготовление других тканей, требующих более сложной окраски и обработки. И вот на некоторых фабриках вспыхнуло этакое «бостонное увлечение». Были случаи, когда несколько шерстяных фабрик наметили такой план производства, при котором почти две трети всех костюмных тканей приходилось на бостон, а на долю остальных двадцати шести видов продукции — лишь одна треть. А ведь это чревато весьма неприятными последствиями. В горовле могло создаться, и отчасти создалось, несоответствие — скопление бостонных тканей в размерах, значительно превышающих текущие потребности. После вмешательства торгующих организаций план производства по этим предприятиям был изменен. Подобное положение создается иной раз и в других отраслях промышленности. Шелкоткацкие фабрики, например, стремились выпускать главным образом гладкокрашеное штапельное полотно и штапельную саржу, ничуть не смущаясь тем, что товарных запасов этих тканей имелось на много месяцев торговли.

Выход из этой коллизии в том, чтобы создать такие условия, при которых промышленные предприятия в обязательном порядке строго руководствовались бы требованиями торгующих организаций в части определенного ассортимента. Но при этом должна быть обеспечена гибкость, возможность быстрого изменения производственного плана.

Остановимся на этом вопросе подробнее.

Допустим, в каком-либо совнархозе составляется план производства текстиля. Прежде всего с участием торгующих организаций определяется ассортимент. Соответственно этому разрабатываются план валовой продукции, план рентабельности и поступлений в государственный бюджет, определяются виды потребного сырья и так далее. И вот план утвержден. Однако здесь-то и появляется на сцене злополучное «но». Дело в том, что государственным планом предусматриваются лишь основные показатели: валовая продукция, накопление, процент снижения себестоимости. В каком именно ассортименте выпускать продукцию — это планом не регламентируется. «Ассортимент» как бы незримо присутствует в утвержденном плане, но формально он не обязателен. При условии, что производственная программа успешно выполняется по всем видам изделий, это обстоятельство никого не смущает. Но если на предприятии или в совнархозе возникло напряженное положение с выполнением плана производства или плана накоплений, вот тогда и сказывается с особой остротой отсутствие государственного плана по ассортименту. Во имя пресловутого «вала», то есть выполнения плана по валовой продукции, некоторые предприятия самовольно изменяют ассортимент — производят те виды продукции, которые обеспечивают лучшие показатели плана, причем иной раз это делается за счет более ходких видов.

Возникает вопрос: не следует ли внести изменения в порядок планирования и предусмотреть в плане показатели выпуска изделий по отдельным ассортиментным видам?

Сложнее дело обстоит в тех случаях, когда возникает необходимость производить новые изделия, ранее не предусмотренные планом. Здесь сплошь и рядом тормозом служат местнические, субъективного характера тенденции — нежелание руководителей предприятий или совнархозов переходить на более сложный ассортимент. Это сопротив-

ление подчас в какой-то мере обосновано: перестройка производства на более трудоемкие виды изделий может на этот период поставить предприятие в невыгодное положение с точки зрения выполнения производственной программы или плана накоплений. Значит, надо сделать так, чтобы при перестройке производства в план можно было легко и быстро внести нужные исправления. Совнархозы должны получить право изменять по согласованию с Госпланом план производства (то есть план валовой продукции) и план накоплений в тех случаях, когда изменение плана вызывается необходимостью изменить ассортимент в соответствии со спросом советских людей.

Конечно, потребуется более оперативное руководство как со стороны плановых органов, так и особенно со стороны совнархозов. Но известно, что в самой идее создания совнархозов как раз и лежит возможность гибкого маневрирования.

Есть еще одно важное положение, о котором хотелось бы здесь сказать.

Торгующие организации имеют право отказаться от ненужных им товаров. Отказ от оплаты — мощный рычаг воздействия на производство. Если торгующая организация не принимает товаров, то это неминуемо отразится на финансовом состоянии предприятия; в свою очередь оно не сможет вносить налог с оборота. По существующему порядку налог с оборота поступает в бюджет в момент поставки товаров в торговую сеть бытовыми организациями. Но тут-то подчас и возникает дополнительное обстоятельство. Часть налога с оборота отчисляется на местные нужды. Финансовые органы, особенно на местах, весьма заинтересованы в том, чтобы кругооборот «предприятие — поставщик — торговая сеть» совершался без перебоев, потому что лишь в этом случае регулярно поступают доходы в бюджет и, в частности, в местный бюджет.

Представим себе теперь, что торговля не приняла товара. В кругообороте тотчас же произошла заминка. Финансовые органы должны воздействовать на предприятие и добиться изменения ассортимента в соответствии с требованиями торговли, или, иными словами, с нуждами потребителей. Но частенько бывает и другое. Для того чтобы обеспечить поступление доходов в бюджет в виде налога с оборота, финансовые органы «нажимают» на торгующую организацию, с тем чтобы она все же приняла от предприятия товар, хотя бы для этого и пришлось, как говорится, покривить душой. Что же получается в таком случае? Товар произведен и направлен в торговлю; налог с оборота поступил в бюджет, естественно, что и местный бюджет получил свою долю. Однако это лишь внешнее благополучие — товар, о котором идет речь, очевидно, населением купаться не будет; он омертвевает в запасах; госбанк будет вынужден кредитовать торговлю. И все это в результате недостаточной требовательности, если хотите, отсутствия принципиальности торгующих организаций и местнической политики финансового органа.

Так не лучше ли будет установить, чтобы налог с оборота уплачивался организациями розничной торговли в момент фактической продажи товаров населению? Покупается товар — поступает доход в бюджет; не покупается — поступление в бюджет задерживается. Эффективность контроля рублем, бесспорно, повысилась бы.

Разумеется, такое коренное изменение порядка уплаты налога с оборота провести нелегко. И дело не только в технической сложности определения налога с оборота в рознице. Государственный бюджет должен располагать устойчивым источником доходов. Действующая сейчас система цен характерна тем, что цены на средства производства ниже стоимости, а накопления аккумулируются преимущественно в отраслях, производящих предметы потребления; эти отрасли и вносят основную массу налога с оборота. Если же эту систему изменить, если налог с оборота будет уплачиваться по месту фактического производства прибавочного продукта, то на долю товаров народного потребления придется относительно небольшая часть всей суммы налога с оборота. В этом случае можно будет возложить уплату налога с оборота на розничную торговлю и тем самым создать мощный стимул для торговли и промышленности изучать спрос и удовлетворять запросы покупателей.

Удовлетворение запросов потребителей требует упорной, кропотливой и согласованной работы торгового аппарата и промышленности. Действенным средством тут является непосредственная связь организаций оптовой и розничной торговли с предприятиями. При тесном контакте всегда будет найден общий язык в борьбе за улуч-

шение ассортимента, повышение качества отделки, за то, чтобы вещь вернее служила человеку.

Многое зависит от постановки работы торгового аппарата. Приведем такой факт. В Москве каждая обувная фабрика имеет дело более чем со ста тридцатью магазинами. Швейная фабрика № 2 поставляет костюмы двумстам торговым предприятиям. Конечно, транзитная отгрузка товаров непосредственно в магазин — практика прогрессивная, экономящая издержки обращения. Но зачастую она приводит к неправильному размещению товаров. И вот почему. Процесс изготовления технологически организован так, что на протяжении одного или нескольких дней производится обувь или костюмы одного фасона и размера. Это вполне рационально с точки зрения снижения себестоимости, роста производительности труда. Однако вовсе не рационально направлять двух-трехдневную продукцию фабрики — одинакового типа, фасона, размера — в один магазин. А так бывает, причем довольно часто. Вот и получается, что в каком-либо магазине в излишнем количестве скапливаются такие туфли, ботинки, костюмы, каких не найдешь в других магазинах того же города.

Магазин должен получать товары в определенном ассортименте, так, чтобы у него были, скажем, туфли всех видов и размеров. Кто же сейчас комплектует этот ассортиментный набор? По существу никто. Фабрике это не под силу. На наш взгляд, эту функцию лучше всего передать базам оптовых и розничных организаций. Представляется целесообразным в крупных городах создать мощное опговое звено. В Москве, например, существует база оптовой организации «Рособувторг», кроме того, имеются база розничного «Мособувторга» и склады специализированных обувных магазинов. Нужно ли такое распыление сил и средств? Сомнительно. Если же создать единую базу, на которую будет поступать вся продукция поставщиков, тогда здесь появится возможность сортировать обувь по группам, типам, моделям, фасонам, размерам. Магазины при такой системе получат полный ассортиментный набор, который сможет постоянно возобновляться. База будет в состоянии всесторонне и глубоко изучать потребительский спрос, правильно ориентировать производство товаров, эффективнее воздействовать на промышленность.

Объединение складов розничных и оптовых организаций не везде возможно и не везде целесообразно, но бесспорно, что формы непосредственной связи между промышленностью и торговлей могут существенно различаться в зависимости от конкретных условий.

### ПРОБЛЕМА ТОВАРНЫХ ЗАПАСОВ

Неотъемлемое право покупателя — иметь возможность выбора в магазине. Это означает, что торговая сеть должна располагать в достаточном количестве запасами товаров различных видов.

Любые нарушения пропорций между спросом и предложением находят свое выражение в товарных запасах. Товарные запасы — своеобразное зеркало, в котором очень четко отражаются не только положительные явления — скажем, рост товарных ресурсов, — но и отрицательные: неправильный завоз товаров, непомерный выпуск товаров, пользующихся ограниченным спросом, и так далее.

Расскажем одну печальную, но поучительную историю. Спрос на электроутюги, электрочайники, мясорубки сейчас удовлетворяется не в полной мере. Эти весьма несложные «агрегаты» вдруг оказались редкостью. А ведь всего лишь несколько лет назад их было предостаточно. Что же произошло? Оказывается, что при трогательном единодушии торговых и промышленных работников производство этих изделий было сокращено. И как сокращено! В 1954—1955 годах производилось ежегодно четыре-пять миллионов электроутюгов, а потом стали выпускать только около двух миллионов штук. Так же резко сократилось и производство электрочайников и мясорубок. Конечно, потом форсированно увеличился выпуск как этих, так и всех других предметов бытового обихода. Но как получился такой просчет? Поводом и основанием к сокращению производства было то, что тогда, в 1954—1955 годах, в торговой сети скопились большие запасы электроутюгов и электрочайников.

Сейчас говорят, что «товаробоязнь» — болезнь некоторых торгующих и промышленных организаций. Примером ее может служить рассказанная здесь история. Но где искать корни «товаробоязни»? Видимо, большое значение имеют привычки и традиции многих торговых работников, привыкших торговать в условиях нехватки товаров, в условиях, когда товары раскупаются молниеносно, как говорят, «слизываются с полок».

Всякие обычаи, навыки весьма живучи. Не случайно, что, как только замедляется реализация тех или иных товаров, едва лишь начинают образовываться сколько-нибудь значительные запасы этих товаров, так сейчас же торговые организации спешат с предложениями ограничить или даже сократить производство.

Все же в конечном счете дело не только в традициях и старых представлениях. «Товаробоязнь» имеет и материальную подоплеку. Торгующим организациям устанавливается норматив товарных запасов. Превышают ли запасы установленный норматив или не превышают — это имеет важное значение для оценки деятельности торговых организаций. Если запасов образовалось сверх нормы, возникают затруднения при пользовании банковским кредитом. Отсюда ясно, что нормативы товарных запасов должны определяться из расчета новой обстановки в торговле и необходимости располагать большим и разнообразным выбором товаров. Предложения Министерства торговли и Центросоюза о повышении норматива обычно вызывают возражения финансовых органов. Ограниченный норматив объективно порождает «товаробоязнь». В 1959 году норматив был несколько повышен.

Очень серьезное дело — острый недостаток складских помещений в торговле. По сравнению с довоенным периодом объем товарных запасов в розничной торговле увеличился в семь-восемь раз, а складская площадь — лишь на сорок-пятьдесят процентов. Недостаток складов и вообще торговых помещений прежде всего приводит к тому, что торговые работники неохотно принимают медленно оборачивающиеся товары. Но это еще не всё. Замедляется товарооборот и ухудшается торговое обслуживание. Практически это означает, что товары нельзя должным образом разложить, рассортировать. Иногда отдельные партии товаров в течение нескольких дней и даже недель лежат нераспакованными, хотя потребитель в них нуждается.

Вот почему так ощутима сейчас нужда в широком строительстве складов, подсобных помещений при магазинах и тому подобное.

Ускорение оборачиваемости товаров в торговле требует серьезной перестройки промышленности. Попробуйте, например, пройтись по магазинам весной — вам предложат преимущественно товары весенне-летнего ассортимента, но немалое количество лежит на полках и товаров зимнего спроса. Вероятно, часть их законсервировалась благодаря нераспорядительности торговых работников, однако главная причина в том, что промышленность даже в преддверии весны по инерции все еще выпускала зимние товары. В результате запасы этого ассортимента будут лежать мертвым капиталом по крайней мере до осени.

Есть такое понятие: «неходовые и залежалые товары». Еще не столь давно к этой категории относились преимущественно изделия пониженного качества, как правило, производства местной промышленности и промысловой кооперации. Сейчас положение существенно изменилось: проникновение в торговлю товаров низкого качества — явление относительно редкое. В нынешних условиях к этой категории относятся товары устаревшие по той причине, что они вышли из моды.

Такое «моральное старение» товаров народного потребления само по себе является весьма характерным фактом, оно знаменует рост запросов советских людей, совершенствование вкусов и в конечном счете рост благосостояния общества. А вот для торговых организаций «моральный» износ товаров — подлинное бедствие. Склады забиваются залежалыми товарами, ухудшаются условия хранения, омертвляются оборотные средства. Выход: такие товары продавать по пониженным ценам.

Практика распродаж по низким ценам товаров, вышедших из моды, широко применяется в зарубежных странах и экономически вполне оправдана. Убытков от распродажи при всех условиях меньше, чем от омертвления оборотных средств. Уценка залежалых товаров производится и у нас, но не всегда дает должные результаты. Такие

операции производились редко, лишь по специальным разрешениям, размер уценки был весьма небольшой; во всяком случае, магазины и палатки, где продавались уцененные вещи, особой популярностью не пользовались.

Но вот в 1959 году была произведена значительная уценка, и немалые запасы залежалых товаров были моментально распроданы. Ныне установлен такой порядок, при котором сами торгующие организации имеют право в определенных пределах производить уценку. Однако вопрос еще нельзя считать полностью разрешенным. Все дело в размере суммы, ассигнованной на уценку товаров. От этого зависит, во-первых, количество товаров, подлежащих уценке, и, во-вторых, размер самой уценки. Залежалые товары, уцененные всего лишь на пять — десять процентов, вряд ли вызовут ажиотаж покупателей; уценка же в размере двадцати и более процентов требует больших ассигнований.

В настоящее время торгующие организации имеют право использовать для уценки две десятых процента товарооборота. Достаточна ли эта норма, покажет практика. Эта норма соответствует расходам на уценку за прошлые годы. Однако теперь нужно подумать и о другом. Очевидно, что с ростом запросов советских людей «моральное старение» товаров будет не сокращаться, а увеличиваться. Доля товаров, вышедших из моды, будет возрастать. Отсюда возникает необходимость в самом ближайшем времени повысить процент товарооборота, идущий на уценку товаров, по сравнению с тем, как это практикуется сейчас.

Социалистическая система хозяйства создает такие возможности ускорения оборачиваемости, которых не знает капиталистическая торговля. У нас нет кризисов сбыта, анархии обращения, а значит, отпадает необходимость в наличии множества промежуточных звеньев между производителем и потребителем. В наших условиях дело решает правильная организация торговли в целом.

Производство товаров в соответствии со спросом населения, правильное размещение товарных запасов — все это позволит ускорить оборачиваемость товарных потоков в торговле.

### ДЛЯ УДОБСТВА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Задачи нашего торгового аппарата могут быть коротко выражены в простой, но очень емкой формуле: значительно улучшить торговое обслуживание покупателей. Именно такие требования предъявлены решениями XXI съезда КПСС.

Материальной основой торгового обслуживания нужно считать торговую сеть. Она у нас недостаточна. Сейчас, когда товаров стало много, с таким отставанием мириться уже нельзя.

Любопытно сопоставление с зарубежными странами. С учетом численности населения у нас значительно меньше магазинов, столовых, ресторанов. В СССР на десять тысяч жителей приходится в среднем свыше двадцати пяти магазинов и палаток, а в США, Англии, ФРГ, Италии — семьдесят пять, сто и даже больше. Но должны ли мы догонять капиталистические страны по этому показателю? Вряд ли. Разветвленность торговой сети при капитализме — результат обостреннейшей конкуренции, погони за деньгами потребителя, свидетельство нерациональной с общественной точки зрения организации обращения. Нам нет смысла «соревноваться» с США по показателям обращения. Однако развивать торговую сеть и делать это форсированно — крайне необходимо. Одна справка. Объем товаров, проданных в последние годы населению, возрос по сравнению с довоенным периодом в три раза, а число магазинов и палаток — лишь на сорок процентов. Конечно, новые магазины крупнее довоенных, но при всех условиях бесспорен факт отставания торговой сети от роста товарооборота.

Улучшение торгового обслуживания складывается из великого множества частных, деталей, мелочей, причем все они важны и необходимы. Для того чтобы осуществить обширный комплекс мероприятий, из которых складывается улучшение торгового обслуживания, нужна большая организационная и техническая подготовка.

Торговля расфасованными товарами создает много удобств для покупателя. Ускоряется процесс покупки, он занимает буквально одну-две минуты; гарантируются точный вес, хорошая упаковка. С другой стороны, предварительная расфасовка позволяет

обходиться меньшим числом продавцов, означает рост производительности труда. Современный уровень техники создает возможность заблаговременно расфасовывать почти все продовольственные товары.

У нас заметно увеличилось число магазинов без продавцов и магазинов фасованных товаров. Однако нужды потребителя все еще плохо удовлетворяются. Прежде всего, мало расфасованных товаров. Даже сахар, мука, крупа в относительно небольшой мере продаются в расфасованном виде, а для того, чтобы организовать расфасовку мяса, жиров, картофеля, овощей, предприняты только первые шаги. Расфасовка товаров организована кустарно. В основном ее производят сами торгующие организации, нередко даже магазины. Между тем одно только сосредоточение расфасовки на промышленных предприятиях даст большую экономию и позволит расширить масштабы выпуска фасованных товаров. Расфасовка тонны сахара-рафинада в заводских условиях обходится дешевле, чем в магазине, на семьдесят рублей, а тонны сливочного масла — на четыреста рублей. Наконец, заводская расфасовка позволит сделать упаковку более удобной по размерам и весу, значительно улучшит ее внешний вид.

Думается, что нужна развита фасовочная промышленность начиная от цехов при предприятиях и кончая специализированными фасовочными фабриками в районах концентрированного спроса.

В практике промтоварных магазинов применяется так называемая открытая выкладка товаров. Ткани не лежат на полках, как обычно, а развешиваются полотнищами; другие товары раскладываются так, чтобы покупатели имели к ним доступ. Эта форма торговли, как и другие, определяется новыми условиями. Когда тканей было мало, а ассортимент их был ограничен, никого не затрудняло то, что ткани лежали на полках. Сейчас их много, и надо выставлять напоказ. Открытая выкладка товаров создает беспорядочные удобства для покупателей, позволяет им быстро ориентироваться и находить то, что нужно. Но как медленно внедряется эта форма торговли!

Развернутая торговля требует рекламы. Наивно представление, будто реклама нам «противопоказана». Напротив, только в условиях социалистической торговли реклама становится тем, чем она объективно должна быть, — добросовестной информацией о товарах, новых и старых. А этой информации нет или, точнее, ее очень мало.

Реклама зачастую ведется крайне примитивно. Призывы покупать зеленый горошек, сообщение розовощекого младенца: «А я ем повидло и джем», оформление витрин — вот по существу к чему сводится у нас массовая реклама товаров народного потребления. Это ли требуется покупателю?

Вы входите в магазин тканей. Вашему вниманию предлагают новые виды плательных тканей — креп-твил, фэй-креп ацетатный. Ну, а чем эти ткани отличаются от других, в чем их достоинства? Чем примечательны новые марки фотоаппаратов, часов, пылесосов? Если вы не выписываете журнал «Новые товары» или не знакомитесь регулярно с аналогичными изданиями, мудро получить ответ на эти вопросы.

А ведь именно информация о товарах-новинках и должна привести потребителя в магазин. Нам нужно издавать массовым тиражом бесплатные проспекты, афиши о товарах. Формы рекламы могут быть весьма многообразны. Но нужны материальные предпосылки для развития рекламы. Расходы на рекламирование товаров у нас ничтожно малы; они составляют около полупроцента издержек обращения.

Разумеется, при всех условиях нам незачем тратить на рекламу очень большие суммы. Но ясно одно: увеличение средств на рекламу нужно прежде всего в интересах и потребителя и развития торговли. Ведь отсутствие серьезной рекламы задерживает продажу многих полезных вещей, о которых потребитель и знать ничего не знает. Ускорение оборачиваемости с лихвой окупит увеличение расходов на рекламу.

Продавец!.. В конечном счете от него зависит, как реально будет улучшено торговое обслуживание потребителей, как будут удовлетворяться их запросы. Но, увы, жалоб на продавцов становится все больше. Требовательность советского покупателя возросла, вот в чем дело! А продавец пока еще не подтянулся.

Подмосковный совхоз вырастил артишоки, спаржу, сельдерей и завез их в магазины. И тут произошло нечто странное: эти овощи покупали мало. Нельзя сказать, что покупатели не заметили этой зелени, напротив, интерес к малораспространенным ово-

шам был. Но никто из продавцов не мог рассказать, что из себя эти овощи представляют, как их употреблять, готовить к столу. Факт, к сожалению, весьма характерный для всех отраслей торговли. Продавец должен знать потребительские качества и свойства отпускаемых им товаров; только при этих условиях он будет помощником, советчиком покупателю.

Конечно, у нас много добросовестных, знающих торговых работников, они составляют основной костяк аппарата советской торговли, знание дела обычно сочетается с внимательным отношением к покупателю, пониманием его запросов. Но как часто мы сталкиваемся с беспомощностью продавца, его неосведомленностью в особенностях товаров, предлагаемых покупателю. А с этим непосредственно граничит равнодушие к нуждам потребителей. В молочном магазине продавец не знает, какой сыр относится к острым, а какой можно рекомендовать как диетический продукт. В магазине тканей продавец не расскажет, чем отличается новый вид, скажем, шелковых тканей от прежних. В книжном магазине он обнаружит незнание последних новинок, а иногда и смутное представление об основной литературе по тем или иным вопросам.

Требования к продавцу расширяются в связи с расширением ассортимента товаров, их разнообразием. На страницах газеты «Советская торговля» излагается опыт лучших продавцов, помещаются теплые отзывы покупателей в адрес тех продавцов, которые помогли выбрать платье, пальто, костюм нужного фасона, ткань подходящей расцветки, давали квалифицированные советы. Но надо признать, что очень большая часть продавцов далеко не на высоте тех требований, которые им предъявляются.

За последние годы все отрасли народного хозяйства получили серьезное, весьма квалифицированное подкрепление. Несколько миллионов молодых людей с десятилетним и семилетним образованием пополнили кадры работников промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта. А на долю торговли из этого пополнения пришлось немного, точнее — очень мало.

Девушки и юноши, избирая профессию, специальность, не идут в торговлю. Много причин этому. Стародавнее предубеждение против торговли как неполноценной отрасли труда и, в частности, против продавца.

Заработная плата продавца меньше, чем рабочего в промышленности, в строительстве, на транспорте. Не следует ли подумать об изменении системы оплаты продавца и приближении его заработка к зарплате рабочих других отраслей?

Текущее среди торговых работников, особенно продавцов, большая. Отсюда важнейшее, может быть решающее, значение приобретают вопросы подготовки кадров. Программы школ, техникумов, курсов торгового ученичества предусматривают ознакомление с основами товароведения. Но этого мало; нужно систематическое расширение и углубление этих знаний, повышение квалификации продавцов.

Главное, конечно, воспитание продавца, работника торговли в духе понимания его ответственности перед советским человеком, гражданином социалистического общества.

Решения июльского Пленума ЦК КПСС ставят задачу — всемерно расширять производство товаров народного потребления, полнее удовлетворять непрерывно растущие запросы советских людей. Пленум потребовал от всех руководителей промышленных предприятий, совнархозов, плановых и торговых органов «внимательно и всесторонне изучать спрос населения на товары народного потребления, быстро перестраивать производство на выпуск новых добротных и красивых тканей, моделей одежды, обуви и трикотажа, более совершенных изделий культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода, своевременно снимать с производства товары, которые население не покупает».

В осуществлении задач, поставленных партией в деле дальнейшего повышения благосостояния советского народа, почетная роль принадлежит работникам торговли.





---

---

# В МИРЕ НАУКИ

Профессор С. БРАЙНЕС, инженер В. СВЕЧИНСКИЙ

★

## КИБЕРНЕТИКА В БИОЛОГИИ И МЕДИЦИНЕ

**О**дной из характерных особенностей развития науки в последнее время является то, что отдельные, ранее никак не связанные между собой области исследования оказываются тесно переплетенными. Возникли они на грани двух или даже нескольких наук. Так появились физическая химия, биохимия, биофизика и другие молодые науки. Для самых различных, казалось бы, объектов изучения устанавливаются общие законы. Особенно отчетливо это проявилось в биологии и медицине.

Как это ни покажется необычным и странным, но точные методы математики могут помочь врачу или биологу.

Хотя медицина и биология науки не новые и развиваются уже давно, однако на многие вопросы они ответить еще не в состоянии. Наиболее важный круг вопросов связан с работой головного мозга, мышлением, сознанием. Развитие современной науки убедительно свидетельствует о торжестве материалистического понимания природы психических процессов. Основу объективного изучения работы головного мозга заложил в своих трудах великий русский физиолог И. П. Павлов. Его учение об условных рефлексах открыло новую страницу в познании высшей нервной деятельности животных и человека.

И все же, несмотря на всю важность этих работ, головной мозг изучен еще не полностью. Сам И. П. Павлов со свойственной ему гениальной интуицией предвидел необходимость применения математических методов при изучении проблем физиологии. Но в то время математика и техника не достигли еще необходимого уровня.

В наши дни предвидение И. П. Павлова начинает осуществляться. Разработка высочайших вычислительных машин натолкнула на мысль, что принципы, по которым строятся системы управления в машинах и живых организмах, имеют много общего. Это важное положение, подтвержденное экспериментом, и легло в основание кибернетики, которая обобщает законы управления и распространяет их на все системы — живые и неживые, в которых имеют место процессы переработки информации.

Много писалось о грандиозных успехах кибернетики в области технических наук, о быстродействующих электронных вычислительных машинах, производящих сотни тысяч сложнейших вычислительных операций в секунду, и так далее. В самое последнее время ученые начинают применять принципы кибернетики в биологии и медицине. На этом пути уже достигнуты некоторые успехи, о которых и будет рассказано в этой статье. Нужно предупредить читателей, что изложение новых открытий очень трудно сделать простым и доступным. Приходится оперировать мало известными широкому кругу читателей понятиями, далеко не все еще ясно и самим ученым, которые лишь начинают применять математические формулы к тончайшим проявлениям психики животных и человека.

### СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ В ОРГАНИЗМЕ

В организме имеется очень много систем управления начиная от центральной системы управления — центральной нервной системы — и кончая более простыми, например такими, как система регулирования температуры тела.

Конечно, и до возникновения кибернетики физиологи высказывали различные взгляды на механизмы управления в живых организмах. Однако отсутствие общей теории управления, незнание с математическими методами, применяемыми кибернетикой, затрудняло решение ряда актуальных задач физиологии. Часть исследователей вообще отказалась от мысли синтезировать громадное количество отдельных фактов, накопленных биологией, вскрыть взаимозависимость между ними. Это удалось сделать лишь в результате содружества двух наук — биологии и кибернетики.

Одним из основных понятий кибернетики, которое играет важную роль как в технике, так и в биологии, является понятие обратной связи. Она обязательное условие процесса автоматического регулирования.

Поясним это на простом примере. Пусть мы имеем термостат, температура в котором должна оставаться постоянной. Для этого в термостате должен находиться термометр, а также какой-то прибор, позволяющий изменять температуру, например печка или вентилятор. Если ртуть в термометре опустится ниже определенного уровня, включается печка. Ртуть начнет подниматься, и, когда достигнет нужного уровня, она выключит печь.

Здесь мы имеем замкнутую систему регулирования — систему с обратной связью. В такой системе имеются три основных элемента: датчик, исполнительный орган и объект, который должен поддерживаться в определенном состоянии. Элементы образуют замкнутый контур: датчик — исполнительный элемент — объект — датчик. Связь объект — датчик и будет обратной связью.

В замкнутой системе регулирования имеется еще один элемент — «уставка». В приведенном примере ею будет тот определенный уровень, на котором должна поддерживаться температура.

Это примитивная система автоматического регулирования. Такие системы могут быть гораздо более сложными, содержать не один контур, а много.

Для нас важно, что эти системы существуют и в живом организме.

Известно, например, что температура человеческого тела постоянна. В настоящее время еще не представляется возможным точно воссоздать замкнутую систему регулирования температуры тела, однако можно указать на некоторые элементы ее.

Так, обнаружены особые нервные образования, называемые центрами терморегуляции. Нагревание или охлаждение этих центров приводит к повышению или понижению теплоотдачи. Кроме этого, под кожным покровом имеются нервные окончания — датчики температуры. В организме есть также различные «исполнительные элементы», позволяющие менять теплоотдачу или теплопродукцию. Конечно, контур регулирования температуры тела не столь прост, как в примере с термостатом. Это очень сложная многоконтурная система.

При изучении живого организма нельзя рассматривать отдельные системы — например, систему регулирования температуры, систему регулирования давления и т. д. — изолированно. Все они тесно связаны между собой и оказывают влияние одна на другую.

Кожные кровеносные сосуды являются общими регулирующими органами для двух систем — системы регулирования температуры и системы регулирования давления. Если, например, при высокой окружающей температуре производится интенсивная мышечная работа, то система регулирования давления стремится сузить сосуды, тогда как система температурной регуляции стремится их расширить. В результате происходит резкое падение кровяного давления (коллапс), так как система терморегуляции начинает преобладать.

В связи со всем этим, естественно, возникает ряд вопросов. Почему температура тела человека поддерживается всегда около 36—37 градусов, чем определяется вели-

чина кровяного давления, содержание сахара в крови и так далее, то есть что определяет «уставки систем регулирования»? Известно также, что при различных физиологических состояниях организма — при сне и бодрствовании, приеме пищи — внутренние органы изменяют режим своей работы.

В трудах ряда ученых рассматриваются системы регулирования, поддерживающие в организме постоянную температуру, давление и так далее. Эти системы рассматриваются как самостоятельные, не связанные с центральной нервной системой. Хотя само по себе такое изучение очень важно, оно не дает ответа на многие вопросы, например, почему температура тела равна именно 36—37 градусам.

Работы И. П. Павлова, К. М. Быкова, В. Н. Черниговского и других ученых показывают, что в управлении физиологическими процессами значительную роль играет центральная нервная система, головной мозг. Нами, совместно с А. В. Напалковым, была сделана попытка связать все эти работы в единое целое и представить себе общую структуру системы управления физиологическими процессами в организме. Эта система, представляется нам, состоит из трех уровней.

Первый уровень — это системы регулирования, например температуры, давления и так далее. Все они тесно связаны между собой, а отдельные их звенья могут быть общими для нескольких систем. Их совокупность и образует первый, низший уровень системы управления.

Он представляет собой самонастраивающуюся систему. Однако самонастройка происходит вслепую. Это значит, что система переходит из одного состояния в другое, пока не окажется наконец в устойчивом состоянии. Английский психиатр У. Р. Эшби создал интересную модель такой самонастраивающейся системы, которую он назвал «гомеостат». Если какое-нибудь воздействие извне выведет гомеостат из состояния равновесия, то посредством нескольких случайных «проб» он вновь находит устойчивое состояние и остается в нем. Для систем такого типа характерно, что путь к устойчивому состоянию не фиксируется и каждый раз ищется заново. Эти системы не обладают памятью.

Второй уровень системы управления воздействует на «уставки» систем регулирования. Этот уровень изменяет режим работы организма при различных физиологических состояниях — при сне, бодрствовании, приеме пищи и других. Принципы работы этого уровня отличаются от первого. Элементы, образующие второй уровень, находятся в головном мозгу, и его нервные центры должны, очевидно, обладать способностью к действию по определенной программе. Она заложена в них заранее (безусловные рефлексы, наследственность) или носит условно-рефлекторный характер. Так, при попадании нового вида пищи в организм он приспосабливается к лучшему усвоению ее, то есть перестраивает работу внутренних органов. Такая перестройка в дальнейшем будет происходить лишь тогда, когда появляется именно этот вид пищи. В подобной перестройке и участвует механизм второго уровня. Он обладает уже памятью, которая позволяет в кратчайшее время приводить систему первого уровня в устойчивое состояние.

Кроме перечисленных, имеется и третий уровень системы управления. Он обеспечивает приспособление физиологических процессов во внутренних органах к внешним условиям. Например, при возникновении опасности организм перестраивается таким образом, чтобы избежать ее. Деятельность третьего, высшего уровня носит, вероятно, условно-рефлекторный характер.

Все три уровня системы управления связаны между собой. Подобное представление о системе управления подтверждается рядом фактов, известных науке еще ранее. Все же полностью доказанным его считать нельзя, пока не будут проведены специальные эксперименты.

Попытка представить общую структуру системы управления физиологическими процессами в организме очень полезна, так как открывает перед медициной интересные перспективы. Ведь большинство болезней вызвано именно расстройством систем управления. Комплексный подход к организму как единому целому, понимание, что расстройство того или иного звена в системе управления влечет за собой те или иные симптомы, значительно облегчит задачу лечения.

И. П. Павлов рассматривал заболевание как сложную систему процессов, протекающих в организме, и считал, что нельзя понять механизм развития заболевания без изучения тех систем управления, которые в обычных условиях имеют большое приспособительное или защитное значение.

Кибернетика подтверждает эти взгляды гениального ученого.

### ИЗУЧЕНИЕ ПРИНЦИПОВ РАБОТЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА

Мы видим, что при изучении функционирования внутренних органов возникает задача изучения работы головного мозга как центральной управляющей системы в организме.

Изучение головного мозга очень важно и само по себе. Головной мозг животных и человека — наиболее совершенная самонастраивающаяся и самоорганизующаяся управляющая система, известная человеку, однако человек до сих пор еще мало знает о его устройстве и принципах работы.

Дело в том, что успешное изучение головного мозга невозможно без использования идей кибернетики, в частности общей теории управления. Предпосылки для материалистического изучения работы головного мозга создали великие русские физиологи И. М. Сеченов и И. П. Павлов.

При изучении головного мозга кибернетика опирается на учение Павлова об условных рефлексах, применяя математические методы для изучения проблемы управления в головном мозгу. Мы постараемся рассказать о некоторых работах в этой области.

Сейчас едва ли не каждому известно понятие «условный рефлекс», каждый знает о знаменитых опытах Павлова по искусственной выработке условного рефлекса у собак. Явление образования условного рефлекса с внешней стороны достаточно хорошо изучено. Однако остается недостаточно выясненным, каковы конкретные механизмы образования условного рефлекса в головном мозгу, по каким нервным волокнам проходит возбуждение, почему рефлекс образуется после многократного совпадения условного и безусловного раздражителей, как соединены нервные клетки в головном мозгу.

Для исследования этих вопросов кибернетика применяет метод моделирования, который в сочетании с математическим аппаратом, употребляемым для анализа систем управления, позволяет выдвигать соответствующие гипотезы. Они должны быть проверены постановкой ряда новых опытов над животными.

Головной мозг состоит из множества нервных клеток — нейронов. Оказывается, нейрон обладает относительно простыми свойствами, и те способности, которыми наделен человеческий мозг, могут проявиться только в некоторой системе нейронов, определенным образом соединенных между собой. В головном мозгу существуют определенные структуры, определенные сети, построенные из нейронов. Эти нервные сети, по-видимому, лежат в основе определенного поведения, например условно-рефлекторного.

Для выяснения этого вопроса в кибернетике наметилось направление, которое называют «теорией нервных сетей» и которое занимается тем, что изучает, какие модели нервных сетей обладают тем или иным поведением.

Первую попытку такого рода сделали в 1943 году Мак-Каллох и Питтс, применившие методы математической логики. Мы не имеем возможности остановиться здесь на этой работе подробно, так как она слишком специальна.

Некоторые ученые предложили автоматы, моделирующие условный рефлекс. Наиболее известный из таких автоматов — «черепашка».

Конечно, когда мы говорим «моделирование условного рефлекса», мы имеем в виду лишь информационные связи и не рассматриваем сложные энергетические, биохимические процессы, лежащие в основе функционирования нейрона. Аналогично этому при создании автомата нас не интересует, какие энергетические процессы происходят в лампе или полупроводниковом приборе, — для нас важна лишь функция той или иной схемы с точки зрения процесса переработки информации.

Подход к проблеме изучения головного мозга как системы управления позволяет использовать математические методы, давно уже применяющиеся в технике. Создание автоматов, моделирующих некоторые стороны функционирования головного мозга, подтвердило, что законы управления и переработки информации имеют много общего и в машинах и в живом организме.

Построение модели позволяет создать некоторые гипотезы о структуре нервных сетей, лежащих в основе того или иного акта поведения, а также, что очень важно, о механизме того или иного психического заболевания.

Как мы уже говорили, изучение головного мозга базируется на основе павловского учения об условно-рефлекторной деятельности. В последующих работах наших ученых выяснилось, что могут образовываться не только простые, одиночные условные рефлексы, но и «цепи» условных рефлексов.

Чтобы более глубоко изучить механизмы образования цепи условных рефлексов, была предпринята попытка моделировать это явление.

В физиологических экспериментах с собаками в лаборатории патофизиологии Института психиатрии Академии медицинских наук СССР выяснялась внешняя картина образования цепи условных рефлексов у собаки. Эта работа была доложена советскими учеными на Международной конференции по кибернетике, организованной ЮНЕСКО в Париже (июнь, 1959).

Создание модели, названной «обучающийся автомат», проводилось совместно с Московским энергетическим институтом.

Автомат моделирует выработку цепи условных рефлексов; он может совершать три действия самостоятельно (они выражаются в зажигании одной из трех лампочек). Автомат имеет четыре кнопки, нажатие которых имитирует появление того или иного условного раздражителя. Имеется еще одна кнопка — «подкрепление», нажатие которой эквивалентно появлению пищи для животного. В автомат заложена возможность образования временной связи между любой кнопкой и любой лампочкой; кроме этого, он различает условные раздражители во времени, когда цепь рефлексов выработана.

Вначале, когда автомат еще не обучен, он совершает случайные действия, то есть зажигает лампочки в случайном порядке и не реагирует на нажатие кнопок. Необученная собака ведет себя примерно так же: не зная, как получить пищу, она совершает различные действия в случайном порядке.

Если в дальнейшем при зажигании какой-нибудь лампочки (например, лампочки № 2) окажется нажатой какая-либо кнопка (например, кнопка № 1), а также будет одновременно нажата кнопка «подкрепление» и такое совпадение повторится несколько раз, то образуется непосредственная связь между кнопкой № 1 и лампочкой № 2. Теперь при нажатии кнопки № 1 будет зажигаться лампочка № 2 — рефлекс выработан. Если этот рефлекс не будет подкрепляться, то есть будет нажиматься кнопка № 1, зажигаться лампочка № 2 и не будет нажиматься кнопка «подкрепление», то при повторении такой ситуации несколько раз автомат вернется в первоначальное необученное состояние — рефлекс угасает.

Подобным же образом ведет себя и собака во время опытов по выработке у нее условных рефлексов. Если заменить слова «нажатие кнопки № 1» словами «включение красного света», а «зажигание лампочки № 2» — «нажатие лапой на педаль», то описание работы автомата совпадает с описанием физиологического эксперимента. Таким образом, наблюдается внешняя аналогия в принципах функционирования автомата и собаки.

После выработки такого одиночного рефлекса возможна выработка следующего условного рефлекса, для которого подкреплением будет являться уже не только кнопка «подкрепление», но и кнопка № 1. Так происходит выработка цепи условных рефлексов.

Описанный автомат демонстрировался на ВДНХ в 1959 году и был награжден дипломом.

Создание этого автомата позволило высказать ряд гипотез о структуре нервных сетей, лежащих в основе условно-рефлекторного поведения. Это послужит также пред-

посылкой для создания более сложной модели, которая обладала бы способностью к выработке нескольких цепей рефлексов, позволяла бы наблюдать процессы распространения возбуждения по системам рефлексов и т. д., то есть была бы более близка по функционированию к головному мозгу животных.

В книге «Кибернетика» Н. Винер рассматривал механизмы некоторых психических заболеваний с точки зрения кибернетики. Он исходил из того, что имеется аналогия между вычислительной машиной и головным мозгом. Винер указывал, что в основе многих заболеваний лежит нарушение процессов переработки информации.

Ученый делает предположение, что в головном мозгу имеется два вида памяти — краткосрочная, в основе которой лежит циркуляция импульсов по замкнутой цепи из нейронов, и долговременная, при которой изменяется проницаемость синапсов<sup>1</sup>, то есть изменяются условия возбуждения нейронов.

В обычных условиях циркуляция импульсов изменяет проницаемость синапсов и прекращается. Однако возможен случай, когда циркуляция не только не прекращается, но, напротив, захватывает все больше и больше нейронов. Так как кратковременная память требует гораздо большего количества нейронов, чем долговременная, то расширение замкнутой цепи, по которой циркулируют импульсы, ведет к нарушению нормального функционирования головного мозга. Это проявляется в виде бредовых, навязчивых воспоминаний, причем мозг теряет способность правильно реагировать на некоторые воздействия, так как значительная часть нейронов охвачена такой губительной циркуляцией. Поскольку при этом изменяется и проницаемость синапсов, то есть остается след в долговременной памяти, то небольшое вначале расстройство может превратиться в тяжелое психическое заболевание.

Кибернетика теоретически намечает некоторые пути борьбы с этим видом заболеваний. Для этого надо разрушить замкнутую цепь циркуляции импульсов, что можно сделать, вызвав глубокий длительный сон. К выводу о целесообразности применения сна для терапии пришел И. П. Павлов еще много лет назад, исходя из своих концепций.

Мы привели один из примеров, показывающих, каким образом с помощью кибернетики можно, по-видимому, подойти к объяснению возникновения некоторых психических расстройств. Нам кажется, что построение специального автомата, моделирующего некоторые стороны деятельности головного мозга, намечает пути подхода к изучению психических симптомов.

Если гипотеза о принципах организации нервных сетей в головном мозгу, реализованная в автомате, верна, то, изучая неправильное функционирование автомата, можно выяснить, какое нарушение организации нервной сети ведет к тому или иному патологическому симптому. Таким образом, законы управления и переработки информации можно изучать в машинах, что, конечно, гораздо легче, чем изучать их непосредственно в живом организме.

Между прочим, здесь возникает интересная философская проблема. Математическая логика показывает, что вычислительная машина не в состоянии разгадать свой собственный шифр. Так как существует некоторая аналогия между работой вычислительной машины и деятельностью мозга, то возникает вопрос: может ли мозг познать самого себя? Этой проблеме посвящена работа академика чехословацкой Академии наук Э. Кольмана «Кибернетический парадокс и самопознание мозга», опубликованная в журнале «Высшая нервная деятельность» (Прага, 1960). В работе Э. Кольмана ставится вопрос о том, какими путями кибернетика может содействовать выяснению сущности перехода внешнего раздражения в факт сознания.

Не может быть сомнения, что эта проблема будет решена наукой, исходящей из единственно правильного диалектического понимания объективного мира и сущности психических процессов как формы существования материи. Основы для решения проблемы мы черпаем в философских трудах В. И. Ленина.

<sup>1</sup> Синапсы — области соприкосновения разветвлений отростка нервной клетки с другими клетками.

## КОДИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ В ЖИВОМ ОРГАНИЗМЕ

До сих пор мы рассматривали общие законы переработки информации. Но, чтобы хранить ее или переносить из одного места в другое, информацию необходимо определенным образом кодировать.

Информация в живом организме переносится импульсами, которые носят электрохимический характер. Кодирование информации с периферийных рецепторов можно определить как частотную модуляцию. Поэтому процессы, протекающие в организме, имеют не только цифровой, но и непрерывный характер. Однако в головном мозгу существуют гораздо более сложные формы кодирования информации, которые пока еще мало исследованы.

Головной мозг является весьма надежной системой по сравнению с машинами, созданными человеком. В самом деле, достаточно потерять в ходе вычислений в цифровой машине хотя бы один знаковый разряд (импульс), чтобы все результаты были безвозвратно искажены. В то же время потеря одного нервного импульса в головном мозгу не вызовет неправильностей в его работе. Даже удаление части нейронов не приведет к необратимым нарушениям в его функционировании. В головном мозгу имеются какие-то иные принципы организации отдельных элементов, устойчивые к помехам.

Тенденция рассматривать мозг лишь как цифровую машину не выдерживает никакой критики.

Теория информации, являющаяся одним из разделов кибернетики, рассматривает различные помехоустойчивые коды. К сожалению, применение полученных выводов к проблемам изучения головного мозга еще не приобрело достаточно широкого размаха.

## КИБЕРНЕТИКА И ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

Мы являемся свидетелями непосредственного проникновения кибернетики не только в биологию, но и в медицину. На основе кибернетики создаются различные электронные приборы для протезирования некоторых органов, для замены органов в процессе проведения операции, для помощи врачу, например при постановке диагноза.

Одним из первых аппаратов, созданию которых помогла кибернетика, был так называемый аппарат «сердце — легкие». С его помощью стали возможными очень сложные операции, связанные с временным выключением сердца и легких из системы кровообращения. Аппарат вместо них удаляет из крови избыточное количество углекислоты, обогащает кровь кислородом, поддерживает нужные давление и температуру.

В Советском Союзе операция с применением этого прибора была впервые сделана профессором А. А. Вишневым. Она продолжалась тридцать минут при полностью выключенном сердце и завершилась успешно. В настоящее время такие приборы уже широко применяются и у нас и за границей.

Обширные исследования ведутся в области замены потерянных органов принципиально новыми протезами. Дело в том, что обычные, известные нам протезы непосредственно никак не связаны с организмом человека. Это, естественно, не дает возможности полностью восстановить утраченную способность к действиям.

Изучение систем управления в живом организме с помощью кибернетики навело на мысль использовать биотоки для управления протезами, которые более полно могли бы восстановить функции потерянных органов.

Биотоки в мышцах отличаются значительно более простой формой, чем биотоки мозга, и поэтому удалось разработать метод улавливания и расшифровки их. Оказалось возможным по амплитудной и частотной характеристике биотоков судить о том, какая команда получена мышцами от мозга.

Выявление этих закономерностей и послужило основой для создания активного, управляемого биотоками протеза. В Центральном научно-исследовательском институте протезирования и протезостроения СССР в 1959 году была разработана первая модель

искусственной руки, управляемая мыслью человека. Она демонстрировалась на Брюссельской всемирной выставке 1958 года. Хотя модель сделана с упрощениями — она позволяет только сжимать или разжимать пальцы, — однако была доказана принципиальная возможность создания активных протезов для людей, перенесших ампутацию верхних или нижних конечностей.

Исследования на основе кибернетики позволяют возвращать человеку и утраченную способность к восприятиям.

В этой области усилия направлены в основном к возвращению зрения. Работы Н. Зворыкина и Мак-Каллоха в основном сводятся к перекодированию печатной информации в звуковую.

В приборе Мак-Каллоха имеется фотоэлемент и разворачивающее устройство, основанное на том же принципе, что и развертка в телевизоре. При пересечении световым лучом темной черты контура буквы фотоэлемент включает звуковой сигнал. В наушниках будет слышна определенная комбинация звуков различной продолжительности для каждой буквы.

Автор прибора утверждает, что навык в распознавании букв по звукам приобретается очень быстро. Недостатками этого прибора является необходимость строго определенной формы букв и длительность процесса чтения.

Другая система (предложенная Н. Зворыкиным) также читает текст, но произносит название каждой буквы. Названия всех букв алфавита записаны на магнитных лентах, и сигнал с читающих фотоэлементов включает ту или иную ленту. Таким образом, машина Н. Зворыкина читает по буквам, как первоклассник, не соединяя их в слова, что является очень сложной задачей, особенно в языках, где слово чаще всего читается не так, как пишется.

Ведутся также работы над созданием приборов, которые дадут возможность глухим «слышать» с помощью осязания. В Массачусетском технологическом институте при участии Винера сконструирован аппарат, превращающий звуки в колебания магнитных вибраторов.

Приборы, заменяющие утраченную человеком способность к восприятиям, пока еще находятся в стадии разработки, однако можно не сомневаться в том, что успешное решение этой проблемы — дело ближайшего будущего.

Возможны и другие способы использования биотоков в медицине, например в лечебной практике.

## МАШИНА СТАВИТ ДИАГНОЗ

Известно, что постановка правильного диагноза — наиболее ответственный этап в излечении заболевания. Часто неправильный диагноз является следствием того, что врач не может вспомнить в нужную минуту все симптомы того или иного заболевания, особенно если оно сравнительно редко встречается. Здесь на помощь врачу приходят автоматические вычислительные машины.

В приближенной форме процесс машинной постановки диагноза можно представить так. В запоминающее устройство вводятся все симптомы некоторого класса заболевания и диагнозы, соответствующие каждому сочетанию симптомов, а также программа, которая позволяет оценивать симптомы по их важности для того или иного заболевания. Затем вводятся симптомы заболевания, диагноз которого надо определить. Машина оценивает их соответствующим образом и сравнивает с имеющимися в ее памяти. Если сочетание введенных симптомов совпадает с каким-либо сочетанием симптомов в памяти машины, то она печатает диагноз, также хранящийся в ее памяти.

Таким образом, в постановке диагноза обеспечивается надежность и быстродействие, а врач освобождается от большой чисто технической работы. Часто врач не в состоянии перебрать все возможные варианты диагноза, чтобы остановиться на одном наиболее вероятном. Поэтому нередки случаи, когда различные врачи приходят к различным выводам в отношении одного и того же заболевания. Применение автоматических вычислительных машин позволит врачу надежнее решить все эти задачи.



Электронные машины принесут большую пользу и в случаях массового профилактического обследования населения, когда требуется большое количество квалифицированных врачей.

Однако на пути создания диагностических машин имеется немало трудностей. Что-бы машина работала, в нее необходимо заложить точные сведения о заболеваниях и их симптомах. В настоящее время в медицине еще мало таких полных диагностических таблиц, особенно в области психических заболеваний.

В машину должна быть заложена программа, которая позволила бы сравнивать симптомы, оценивать, какие из них важны, какие нет, и т. д. Предложено уже несколько вариантов таких программ, но все они недостаточно полны. Дело, очевидно, в том, что процесс постановки диагноза еще сравнительно мало изучен. Однако во всем мире проводятся работы по изучению этого процесса, и можно ожидать, что задача близка к разрешению.

Еще одно препятствие к широкому применению диагностических машин состоит в том, что в настоящее время для опытов по автоматическому диагнозу используются универсальные вычислительные машины. Они громоздки, очень дороги и мало приспособлены для решения подобных задач, так как в основном предназначены для применения в других областях. Возникает проблема создания специализированных вычислительных машин для целей автоматического диагноза.

Учитывая трудности в составлении программы для оценки симптомов и вводе в память машины диагностических таблиц, было бы целесообразно сделать такую машину обучающейся. Возможно, здесь будут применимы принципы, которые легли в основу описанных выше опытов по созданию «обучающегося автомата». Диагностическая машина проходила бы «курс обучения» у лучших врачей и сама составляла бы в своей памяти полную диагностическую таблицу. Важно также, чтобы в процессе работы машина накапливала новый опыт и вносила коррективы в старый.

Мысль о том, что диагностическую машину целесообразно сделать обучающейся, в последнее время высказывают также многие зарубежные исследователи. Работы по автоматической диагностике еще только начинаются, хотя уже сейчас имеются значительные успехи как в Советском Союзе, так и за рубежом.

Мы вкратце рассказали об общей проблеме постановки диагноза, однако в этой области есть и частные случаи, например постановка диагноза сердечных заболеваний путем исследования электрокардиограмм на вычислительных машинах.

Было выяснено, что врач при визуальном анализе электрокардиограмм далеко не всегда может обнаружить некоторые нарушения сердечной деятельности. Автоматическая вычислительная машина обнаруживает даже малейшие отклонения в электрокардиограммах, а также электроэнцефалограммах. Использование специальных методов, реализуемых лишь в машинах, позволяет обнаружить такие нарушения в работе сердца и в центральной нервной системе, которые врач не смог бы определить при визуальном методе расшифровки.

Работы по автоматическому диагнозу еще далеки от завершения. Было бы целесообразным объединить усилия и инженеров и медиков в этой области.

Кибернетика — молодая наука, и прозникновение ее в биологию и медицину началось совсем недавно. Однако успешные работы в этом направлении, позволяющие яснее представить себе функционирование головного мозга, внутренних органов, успешное моделирование ряда проявлений живого организма говорят об исключительной плодотворности содружества этих наук.

Создание искусственных систем управления и изучение совершеннейших естественных самоорганизующихся и самонастраивающихся систем управления, каким является головной мозг животных и человека, — одно из прогрессивнейших направлений современной науки.



---

---

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

## Обсуждаем проблемы современного романа

Г. БЕЛАЯ

★

### В ПОИСКАХ «СКРОМНОГО НОВАТОРСТВА»

**В** разногласии споров и мнений сегодняшних дискуссий о романе, в попытке найти виновных того печального факта, что, несмотря на обилие «эпопей», послевоенная литература еще не создала выдающегося монументального произведения, все чаще мелькают слова «панорамность», «глобус», «эпическая широта». За ними встает представление о романах, авторами которых сильнее всего движет желание открыть роман «всем ветрам эпохи» (Мехти Гусейн. «Мысли о современном романе», «Литературная газета» от 18 августа за 1959 год). Критикам эта тенденция кажется узвнмой.

Статья эстонского писателя Р. Сирге «Из-под слуда на чашу весов» (в приближенном переводе), опубликованная в декабрьском номере журнала «Лооминг» за 1959 год, выпадает из общего ряда статей стремлением теоретически обосновать слабость «эпопейных романов», вскрыть истоки промахов эстонских писателей и предложить им иной путь — тот, который сам автор называет «скромным новаторством». К сожалению, и контуры этого новаторства, и путь, предложенный автором статьи, оказываются значительно уже закономерностей развития современной литературы.

По мнению Р. Сирге, в современной литературе противостоят друг другу два типа романа. В мировой литературе, по его словам, доминирует такая форма, которая содержит всего несколько сот страниц; в центре повествования находится один или несколько героев, духовная жизнь которых всесторонне и основательно анализируется. Так достигается «верная, плотная психологическая ткань,

централизованная композиция». Советские романисты, считает Р. Сирге, пошли в основном другой дорогой — по линии «широкоохватывающего» романа, «гигантского словесного панно», со многими героями, конкретным историческим фоном, иногда даже с сюжетными ходами, в которых главный акцент падает больше на социально-бытовое, нежели на индивидуально-психологическое. Особенно резкие возражения вызывает у Р. Сирге та форма романа, где в пределах четырехсот — пятисот страниц развивается многослойное внешнее действие, «движутся большие массы действующих лиц».

Этот «широкоохватывающий» роман, контуры которого несколько огрубленно намечает Р. Сирге, действительно существует в нашей литературе, и в конкретном литературном разговоре определение «широкоохватывающий» можно было бы принять, несмотря на его приблизительность. Но в статье широта охвата, множественность героев служат отправным пунктом для теоретических обобщений, сближающих позицию Р. Сирге со взглядами тех, кто в широте охвата склонен видеть основную причину несовершенства таких романов, как «Истоки» Г. Коновалова и других.

Между тем в многоликом явлении, которое затушевано сегодня «широкоохватывающими» определениями, можно уловить несколько сторон.

Широта охвата может быть связана с «международной» темой, «международной» линией в сюжете или с перипетиями жизненных судеб героев, как в романе В. Закруткина «Сотворение мира». Ее появление не всегда предполагает в замысле автора стремление нарисовать общую кар-

тину мира. Для того чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить роман «Истоки» Г. Коновалова, где внимание писателя направлено на раскрытие внутреннего мира сравнительно небольшой группы людей, а перенос действия из одной страны в другую мотивируется изменением жизненных коллизий каждого из них, причем выходы автора в широкий мир не всегда органично связаны с судьбами героев.

Но иногда «широта охвата» выступает и в другой роли — как элемент художественного видения писателя, определяющий структуру романа в целом. Эта философская «широта охвата» может совпадать со стремлением к «обзору мира», как в романе И. Эренбурга «Буря», но может и не иметь внешних территориальных примет всемирно-исторического размаха, как в романе «Падение Парижа» того же автора. Условно этот тип романа можно назвать «панорамным», чтобы подчеркнуть специфику художественного видения — стремление создать общую картину, охватывающую «весь круг горизонта», нарисовать полотно, которое не только подводит к обобщению, но и материализует его. Авторы «панорамных» романов, по справедливому утверждению Г. Владимова (неправоммерно только адресованному роману В. Закруткина), действительно «уже в исходном пункте имеют в виду весь мир, рассматривая своих основных литературных героев как его малую частицу» («Деревня Огнищанка и большой мир», «Новый мир», № 11, 1958). Этот тип романа находится сегодня в процессе становления, и если соотносить его с уже знакомыми образцами, то в какой-то мере он оказывается внутренне близким типу романа-обозрения. В то же время эта форма имеет и свои особенности, которые требуют прояснения и анализа.

Отмечая заслуги классического романа, Р. Сирге закономерно ставит вопрос о том, должны ли люди, живущие в другом веке, в других условиях и другом темпе, повторять старые приемы искусства или нужно искать новые. Такая постановка вопроса — в общей форме — вполне естественна. Удивляет другое — тот путь, который предлагает Р. Сирге, то понимание современности искусства, которое вытекает из высказываний эстонского писателя.

Пытаясь сохранить объективность, Р. Сирге закономерность возникновения романа «широкого охвата» связывает с возросшей ролью масс в классовой борьбе. Однако, исходя на словах из опыта классического романа XIX века, признавая большие возможности сочетания социального и психологического в современном романе, Р. Сирге своим призывом создавать романы небольшого объема с небольшим количеством страниц и сосредоточенностью на характере возвращает нас к опыту XVIII — начала XIX века. И почему, декларируя разнообразие форм в качестве высшего образца, автор предлагает только одну, не покрывающую все возможные художественные решения литературную форму? Не вернее ли было бы вести разговор о современной форме, отталкиваясь не от «чувства формы», как это делает Р. Сирге, а от специфики современного художественного мышления?

Развитие современного общества привело к невиданной ранее всеохватности народов едиными социальными конфликтами. Историческая жизнь каждой страны все более теряет черты своей национальной замкнутости, и на ее месте появляется всесторонняя связь и всесторонняя зависимость наций друг от друга.

Расширяется представление о связях человека с миром. Мышление «целыми народами», напряженный интерес к событиям, происходящим в мире, осознание советскими людьми своей ответственности за спасение человечества от угрозы гибели и разрушения — все это составляет один из существенных моментов нашего сознания.

В противовес тому, что повседневная жизнь другого народа скрыта от нас за весом языка, незнанием быта и условий его существования, что отдельные люди в своей повседневной жизни подчас утрачивают ощущение единства происходящего, многие большие писатели пытаются преодолеть кажущуюся раздробленность жизни.

«В том самом году, — писал А. Фадеев в зачине пятой части «Последнего из Удэге», — когда Аахенский конгресс скрепил «Священный союз» царя России и королей Англии, Австрии, Пруссии, Франции против своих народов, в году, когда студент Занд убил Коцебу и Меттерних готовил Карлсбадские постановления «против возмутителей общественного спокойствия», и в воз-

духе пахло манчестерской бойней и хиосской резней, и правительство Англии готовило свои «шесть актов о зажимании рта», а Шелли — «Песнь к защитникам свободы», в году, когда родился Карл Маркс, а Дарвин начал ходить в школу, а Виктор Гюго получил почетный отзыв французской академии за юношеские стихи... в эти самые времена и в этом самом году, холодной осенью, среди людей, не знавших, что такое происходит на свете,— родился на берегу быстрой горной реки Колумба, в юрте из кедровой коры, мальчик Масенда, сын женщины Сале и воина Актана из рода Галондика».

В этом сведении воедино событий всемирной общественной жизни и соотносении их с жизнью человека, который и не подозревает о том, что совершается в мире, мы улавливаем стремление как бы материализовать связь между движением истории и судьбой человека, сделать ее зримой для тех, кто не видит «связь времен».

По своему построению — сцеплению далеких картин в единое целое, в «образ мира» — эта фраза напоминает стиль Эренбурга. Правда, его стремительная манера подачи материала, сближающая воедино события, одновременно совершающиеся на дальних расстояниях, манера, особо памятная с военно-публицистических статей писателя, как будто заслонила то большое, сложное, что сближает Эренбурга с развитием современной советской литературы. Она как бы вобрала в себя всю его оригинальность и позволила и достоинства и слабости стиля писателя выводить из его редкого публицистического дара. Между тем созвучную Эренбургу структуру фразы мы встречаем не только в «Последнем из Удэге» А. Фадеева, но и в таком романе, как «Заговор равнодушных» Б. Ясенского: «31 декабря 1934 года на четверти земного шара лежал снег... В Польше, в Домбровском бассейне, шел снег. У ворот шахты «Баська» всю ночь до утра толпились женщины, много женщин в платках. На шахте происходили странные вещи...

В городе Саарбрюккене царило в эту ночь необычайное оживление. Все «истинные германцы» приветствовали новый год как год освобождения Саара от французской оккупации и приобщения его к единому телу праматери Германии...

В Союзе Советских Социалистических Республик, в городе Москве, происходила

в это время радиопередача для зимовщиков Арктики».

То, что эти отрывки принадлежат перу зрелых и больших писателей, исключает мысль о сознательной ориентации на единый стиль. Улавливаемая общность перестанет казаться случайной в том случае, если за нею искать не стилевое совпадение, а созвучие в типе художественного мышления. Очевидно, методологически прав А. В. Чичерин, автор интересной книги «Возникновение романа-эпопеи», который анализирует язык поэзии и прозы не только как «совокупность приемов и особенностей», но и как отражение свойств мышления писателя. Именно по этому пути идет и А. Метченко, видя в зачине пятой части «Последнего из Удэге» не только «особую манеру письма», но и новое «направление художественной мысли» — «стремление осмыслить судьбу одного из героев в аспекте всемирной истории...» («Об искусстве художественного синтеза», «Звезда», № 5, 1959). С этой точки зрения, то общее, что проступает за обнаженным скелетом фразы А. Фадеева, Б. Ясенского или И. Эренбурга, можно сформулировать не как общность стиля или темы, а как тенденцию к раскрытию сложной системы связей человека с миром, с историей, стремление раздвинуть рамки человеческой жизни и ввести в нее не только непосредственные связи человека с теми людьми, которые его окружают, но и те не видимые отдельным людям нити, которые связывают их, несхожих и далеких друг от друга, в единое целое — общество.

Это расширение связей человека с обществом и развитие наших представлений об этих связях является той объективной основой, которая порождает так называемый «панорамный» роман. За этим словом стоит стремление писателей дать синтетическую картину мира, времени — явление гораздо более широкое по своему масштабу, чем те рамки, в которых ведет разговор о современном романе Р. Сирге.

Таким образом, изменения в форме романа являются следствием расширения социального опыта и обогащения художественного мышления, и возможные его перспективы находятся в тесной связи с дальнейшим развитием того и другого.

С этой точки зрения отчасти прав итальянский литературовед Карло Салинари, присоединяясь к тем, кто считает, что «роман

XIX века соответствовал такому отношению между человеком и реальностью, которое сегодня в том или ином плане глубоко изменилось...». «Ведь масштабы этой реальности,— пишет К. Салинари,— сегодня несравненно значительнее, и люди, с надеждой глядящие вперед, переживают сейчас напряженное и острое время, пытаются понять новую реальность и видя, как изменяются традиционные горизонты умственной жизни» («Проблемы романа», «Иностранная литература», № 3, 1960).

Однако действительное расширение связей человека и общества вовсе не означает отказа от тех методов познания индивидуальной психологии, которые достигнуты предшествующим развитием искусства, в частности классическим романом XIX века. Именно поэтому оказалось возможным сосуществование в пределах творчества одного писателя таких произведений, как «Разгром» и «Последний из Удэге» А. Фадеева. Именно поэтому перспективно существование в пределах современной литературы такого типа произведений, как «Судьба человека» М. Шолохова или повести Ю. Бондарева, где к большим мыслям о человеке и человечестве читатель приходит через глубины обобщений, заключенных в отдельных, выпуклых человеческих характерах; поэтому интересен и тот путь, продолженный недавно Г. Березко в романе «Сильнее атома», где автор пытается раскрыть связь человека с миром, оставаясь на позициях, говоря словами Р. Сирге, «индивидуально-психологического видения» человека, хотя можно представить себе роман, в котором будет более органично сочетаться глубина изображения характеров с «кинохроникой мировых событий» и обобщающим авторским комментарием. И, конечно, прав Р. Сирге тогда, когда он защищает право писать романы об одном или о нескольких героях, четко и остро их очерчивая. Но так же, как эти формы романов, отражающие пути художественного мышления, закономерны и такие книги, как «Заговор равнодушных» Б. Ясенского или романы Эренбурга сороковых — пятидесятых годов, авторы которых пытаются сочленить процессы, протекающие одновременно в различных точках мира, вскрыть их единство, внутреннюю связь, нарисовать «полотно, которое дает обобщение» (Серафимович).

Эта форма романа закономерна в своем

возникновении и перспективна в своем развитии; она связана с глубочайшими социальными процессами нашего времени. Отрицание и зачеркивание ее возможностей под предлогом появления романов, в которых мы сталкиваемся с искусственно раздутой широтой, приводит к тому, как показала статья Р. Сирге, что вместе с водой мы выплескиваем и ребенка и оказываемся безоружными тогда, когда обнаруживаем факты зарождения и становления новых элементов литературной формы.

Если рассматривать современную «панорамность» в связи с историческим развитием художественного мышления как форму романа, где в познании человека на первом плане система его связей с миром, то как предшествующий этап, естественно, выступает та линия советской литературы, которая в нашем сознании представлена «Железным потоком» А. Серафимовича или романом А. Веселого «Россия, кровью умытая» — произведениями, подобными мозаике, где конкретные человеческие судьбы лишь элементы, грани, зерна целого.

При всей внешней парадоксальности этого сближения, особенно резкой на фоне тех поисков разнообразия, которыми мы неустанно занимаемся, действительная близость этих романов к современным «панорамным» произведениям все же, на наш взгляд, несомненна. Она подтверждается и направленностью авторского внимания и характером тех трудностей, которые писателям пришлось преодолевать при воплощении своих замыслов.

В романе «Россия, кровью умытая» А. Веселый развернул перед нами панораму развала царских фронтов, революционного перерождения солдат в дни Октября — процесса, огромной волной прокатившегося по всей России, тем более широкого по своему масштабу, что даже темные и полуграмотные солдаты ощущают свое единство с врагами турками: «За что же нам друг на друга злостью калить и зачем неповинную кровь лить? Не одна ли нас вошь ест и не одну ли мы гложем корку хлеба?»

За исключением Максима Кужеля — центральной фигуры романа, поездка которого с фронта до родной Кубани через бурлящую и клокочущую страну и дает автору внешнюю возможность как-то свя-

зять происходящие события,— в романе А. Веселого нет четко очерченных героев. Автор как будто боится задержаться на каждом из них и торопится уловить многоголосый говор толпы. Да и Максим Кужель очерчен колоритными, но обрывистыми и скупыми штрихами. Поэтому прав М. Чарный, автор монографии об А. Веселом, видя в Кужеле яркий характер, но отрицая за ним «звание» главного героя. Одна из особенностей романа «Россия, кровью умытая», считает критик, «в том, что основным героем романа является масса, множество, многоголосый хор революционного народа. Артем Веселый не столько выявляет общее через индивидуальное, сколько обращается непосредственно к этому общему». Этим роман «Россия, кровью умытая» близок, с одной стороны, своему предшественнику «Железному потоку», с другой — в нем можно увидеть сходство и с современным панорамным романом в творчестве Эренбурга, где достигнута уже более высокая ступень индивидуализации характера. Удивительно различны стилиевые манеры этих художников, и, конечно, в романах Эренбурга мы не слышим колоритного многоголосья Веселого или мягкого юмора Серафимовича. Но сходным остается стремление к «общему», попытка нарисовать полотно, «которое дает обобщение» и в котором каждый из героев составляет зерно мозаики.

«Мозаика» не только броский образ. Она связана с внешней раздробленностью эпизодов, с кажущейся несвязанностью отдельных героев, с многофигурной композицией. Как правило, авторам мозаик отказывают в умении и возможности создавать характеры. Этот упрек предъявляет и Р. Сирге.

Действительно, перед писателями, объятами стремлением раскрыть сложную взаимосвязь человечества, в новом повороте встала проблема — «судьба человеческая, судьба народная». Как найти их органическую связь? Как, не раздробляя и не схематизируя характеры героев, показать их включенность в мировое движение?

В многоплановом романе переплетенность и взаимосвязь образов должны дать общую картину действительности. Однако плацдарм, отведенный на долю каждого из героев, при этом, естественно, уменьшается. «В художественном произведении, так же

как и в доме или квартире,— шуточно сказал однажды Фадеев,— на каждого героя полагается определенная жилищная площадь: нужно иметь время и место для того, чтобы его охарактеризовать и показать в действии». «Расширенное» содержание не вмещается в рамки того романа с несколькими героями, пристальным интересом автора к движению и истории их характеров, на который ориентируется в своих обобщениях Р. Сирге. И когда писатель, как это сделал В. Закруткин, пытается решать синтетический замысел способами обычного психологического романа, тогда из-под его пера выходит произведение, дающее новые козыри тем писателям и критикам, которые причиной всех бед считают «широту охвата».

Это мнение действительно может казаться справедливым, но только в том случае, если подходить ко всем характерам с меркой произведений, в центре которых находится «история роста и организация характера», где внимание писателя направлено в глубь внутреннего мира немногих героев, а логика жизни прослеживается через логику отдельных характеров. Но полнота и тщательность изображения характеров не должны быть для нас каноном; главное, как точно определял Гегель, лишь «выразительно существенное», «энергичное», «выпуклость» запечатлевшейся (в произведении) духовной жизни общества, человека. Следовательно, основным художественным критерием является энергия выразительности, а пути достижения ее могут быть различны.

Показательно, что даже такие писатели, как А. Серафимович или А. Фадеев, которые свои предыдущие вещи («Город в степи» или «Разгром») строили на взаимоотношениях детально разработанных характеров, ощущают, что установка на «синтез» требует «других методов обрисовки» (А. Серафимович).

Следы этой внутренней борьбы мы видим в творчестве А. Фадеева. Так, на взгляд А. Бушмина (автора книги «Роман А. Фадеева «Разгром»), в романе «Разгром» писатель мог «подолгу и со вниманием испытывать и выпытывать отдельную личность»; в процессе создания «Последнего из Удэге» «композиция многотомного романа потребовала, как показывают варианты очередных публикаций, больших усилий в области внешней архитектоники целого,

отвлекая анализирующий дар писателя в сферу, чуждую его призванию». При этом А. Бушмин исходит из того, что «чем меньше пространственные и хронологические рамки события и количество вовлеченных в действие лиц, тем плодотворнее работа художника Фадеева, заинтересованного в поэтическом раскрытии отдельной типической личности».

Об отказе в «Последнем из Удэге» от испытанных приемов изображения характера пишет и автор одной из новейших диссертаций о Фадееве — Л. Киселева. По наблюдению Л. Киселевой, в первых двух частях романа «реальные события как бы не движутся. Они сосредоточены, в основном, вокруг двух героев (Сереза и Лена Костенецкие). Постепенно и многосторонне раскрываются перед нами характеры героев, их настоящее и прошлое. Сюжет первых двух частей — это в основном «история характеров»... В то же время А. Фадеев начинает понимать, что «раскрывающиеся до бесконечности» характеры героев не дают возможности охватить все, синтезировать, воплотить замысел. И вот в III и IV частях начинается огромное движение действий, событий, характеров, как будто кто-то все стронул с места. Сюжет III и IV частей уже не представляет собой исключительно логики характеров».

С аналогичным явлением мы сталкиваемся и в творчестве А. Серафимовича. В отличие от таких произведений, как «Город в степи», где внимание автора было сосредоточено на небольшой группе людей, основу «Железного потока», как говорил А. Серафимович, составляет «жизнь огромного коллектива». Это и повлекло писателя к отказу от всесторонней обрисовки героев. Место детально разработанной характеристики заняла форма «резкого, ударного, впечатляющего рисунка».

Для анализа обрисовки характера в панорамном романе интересен и творческий опыт Эренбурга, писателя, которого чаще других упрекали в неумении создавать характеры. Эренбург отказывается от образного изображения прошлого своих героев. Персонажи вводятся на ходу, и появление их сопровождается лаконичным представлением автора, суммарной пометкой биографии, портрета и психологии героя — несколькими штрихами, карандашным наброском. Первое знакомство с героем должно в основном наметить тот комплекс психологи-

ческих особенностей персонажа, который подведет читателя к восприятию характера в момент его изображения. То, что автор прибегает к описанию, заключая жизнь персонажа до нашей встречи с ним в рамки сдержанного рассказа о герое, мотивировано необходимостью, ибо в противном случае размеры романов возросли бы во много раз. Эта необходимость особо остро ощущается при чтении романа В. Закрыткина, где автор не сжимает, а беллетризует совсем второстепенные эпизоды из жизни основных героев.

Однако, как бы ни была необходима автору описательность, она, тем не менее, всего лишь подступ к изображению характера. В поле зрения Эренбурга попадают только те периоды душевного напряжения героя, от исхода которых зависит его будущее. Из суммы его поступков и переживаний Эренбург отбирает высшие точки нравственных кризисов, которые суммируют душевный опыт героя и определяют его дальнейшее движение. Даже рисуя своих любимых героев, жизнь которых сложна и полна внутренней динамики (Мадо, например), Эренбург не останавливается на этапах формирования, не прослеживает те мельчайшие нюансы, те коррективы, которые вносит жизнь в представления Мадо и которые давали бы картину неуклонного и последовательного развития характера. Писатель намечает только основные вехи, наиболее ответственные для жизни своей героини. В этом Эренбург перекликается не только с приемами авторов многоплановых романов, но и с поисками многих литераторов иного типа, иного плана — с В. Пановой, например. «В завихрениях бытия сознание писателя выделяет какие-то уплотнения, какие-то опорные точки, вокруг которых завязывается замысел», — говорит писательница сама в прошлогоднем интервью корреспонденту «Литературной газеты».

В этих опорных точках Эренбург уже отказывается от описания, но и не прибегает к заманчивой полноте и тщательной обрисовке характера. Его «живописный» стиль давно уже получил название «штрихового письма». Из множества чувств, волнующих героев, Эренбург оттеняет одну сторону, одну грань, остальное должно домыслиться читателем.

Применение «широкого штриха» в романах панорамного типа глубоко закономер-

но. Оно выступает как своеобразное противоядие в борьбе с «забывающей детализацией», и к нему приходят даже те писатели, которые, как мы видели, склонны к спокойной пластике. «Мое произведение,— писал о «Железном потоке» А. Серафимович,— конечно, выиграло бы, если бы я дал более широкое полотно, обрисовав и бытовые черты героев. В сущности говоря, персонажи «Железного потока» мало разработаны. У них оттенены только ударные стороны». Серафимович пишет «мало разработаны», но для него «мало» не значит «плохо», так как, подводя итоги работы над романом, писатель приходил к выводу, что его характеры изображены «сравнительно неплохо, местами довольно выпукло». Выпуклость, выразительность, емкость психологической характеристики — вот те критерии, та мера, тот закон, который избрал художник «над самим собой».

Если мы отвлечемся от субъективной стороны признания Серафимовича, от его сомнения в себе, его самооценки, то совершенно закономерной станет связь «оттенения ударных сторон» и «панорамного» замысла автора. Его приемы индивидуализации характера, конечно, отличны от эренбургских, но стремление «подчинить детали общей идее произведения», сопротивление бытовой детализации оказывается сильнее несхожести этих писателей между собой.

Случайно ли это совпадение? Да, случайно, если речь идет о тождестве, о занесении обоих писателей в списки единой школы, в ряды единого стилевого направления. И не случайно, если говорить о глубокой закономерности, которая определяла поиски и Серафимовича, и Фадеева, и Эренбурга и которая с необходимостью вытека-

ла из замыслов их работ. «Панорамное» видение мира порождает, требует особой формы изображения характера.

«В наш век, век радио и электроники, необычайно сближаются люди, народы, страны,— справедливо говорит Назым Хикмет,— наглядно обнаруживается взаимосвязь событий, отдаленных во времени и пространстве. Чем дальше, тем больше каждое событие в той или иной стране получает всемирное значение. Эти особенности нашего времени требуют нового синтеза в искусстве».

Этот синтез не может быть достигнут только за счет «индивидуально-психологического видения характеров», замкнутых в рамках психологического романа. Его создание может идти и иным путем, в частности за счет «резкого, ударного, впечатляющего рисунка». Ориентировать молодых писателей только на «короткие, с узкими рамками, но с глубоким социальным подтекстом» романы Г. Грина, видя в этом «скромное новаторство» уже потому, что эта форма с ее сосредоточенностью на немногих героях дает возможность подолгу всматриваться в каждого отдельного человека,— значило бы суживать те задачи, которые время ставит перед литературой. В этом Р. Сирге и солидарные с ним критики действительно неправы.

На место упреков писателей в том, что они уже «в исходном пункте имеют в виду весь мир», должен стать анализ тех, быть может, еще не познанных и не открытых внутренних закономерностей, тех художественных решений, которые дадут возможность создать тип глубокого социально-философского романа и тем ответить на насущную потребность жизни в художественном осмыслении единства мира.





В. НАЗАРЕНКО

★

## НЕ ЗАБЫВАТЬ О ГЛАВНОМ!

### 1. ВОПРОС, ТРЕБУЮЩИЙ ПОСТАНОВКИ

**В** статье М. Кузнецова «О путях развития современного романа» много спорного. Но, по-моему, прежде всего надо спорить с автором по тому вопросу, который имеет особо широкое значение для практики и теории. Что я имею в виду?

Характеризуя наш метод, мы неизменно подчеркиваем: правдивое изображение жизни должно сочетаться с задачей воспитания в духе коммунизма. Именно в таком сочетании — социалистический реализм. Это — не приходится доказывать — приобретает новую важность сегодня в широких трудах по воспитанию коммунистического человека.

Но уделяют ли необходимое внимание литературная практика, критика и теория этой важнейшей стороне творчества?

Чаще всего мы сосредоточиваемся на том — со всей детальностью разбираемся в том, — правдиво или не правдиво литературное изображение. Но о воспитательном значении художественного произведения обычно говорим в общей форме, не детализируя, словно бы опасаясь отождествить искусство с педагогикой.

Справедливо отвергая «нравоучительность» слащавую, назидательность педантичную, мы, однако, еще мало раскрываем ту подлинную и высокую нравоучительность, ту пламенеющую и могучую назидательность, которую все величайшие мастера искусства считали своей первейшей задачей, целью своей жизни и творчества.

Воспитательное значение художественной литературы порой усматривается лишь в поучительности судеб героев книги. Путь такого-то героя верен и прекрасен; и в

этом, как говорится, пример для подражания. Путь такого-то персонажа превратен, жалок, отвратителен; и в этом горький урок. Но такой поучительности сюжета и судеб еще недостаточно для реальной воспитательной значимости книги. Это только лишь (если позволительно употребить сравнение из сельскохозяйственного обихода) урожай на корню. А урожай реальный, урожай «амбарный» — это реальное воздействие писательского труда на душу читателя.

Реальная воспитательная значимость неотделима от реального воздействия книги на читателя. И, значит, от уровня художественного мастерства. Но мастерство мастерству рознь. Толстой бился над заострением формы, чтобы содержание проникло. А какой-нибудь эстет, не заботясь о содержании, размалевывает самое по себе форму.

Мы еще мало думаем о мастерстве как путях проникновения содержания. Между тем именно этот угол зрения на мастерство решающе важен в работах о наибольшей воспитательной действенности искусства. И это именно — особый угол зрения.

Одно дело просто мастерство изображения. Другое дело — мастерство воздействия изображением. Поясню это примером.

Одна из глав романа В. Закруткина «Сотворение мира» начата такой картиной:

«Фиолетово-черный, с вороненым подгрудьем грач каждое утро раскачивался на вершине корявого вяза. Влажный апрельский ветер обдувал грача со всех сторон, лохматил мягкое, с дымчатым пухом подхвостье, валил птицу с тонкой ветки. Переступая чешуйчатыми, крытыми жесткой ро-

говинкой лапами, гибко сжимая когтистые пальцы, грач цепко держался за ветку, горланно кричал в небо. Железного оттенка, острый, как нож, клюв, белесые залысины до самых глаз — след долгой работы землекопа — говорили о том, что крепкая, выдавшая виды птица не первую весну встречает в этих, чуть всхолмленных покатыми высотками, изрезанных балками и синими перелесками полях».

Это, безусловно, очень точное изображение. С тонким знанием изображаемого и с несомненным мастерством создана эта картина. Тем не менее она не производит целостного впечатления, не несет в себе единого воздействия. Продолжая чтение главы, понимаешь, в чем тут дело. Далее глава переходит к живописанию весеннего житья-бытья мальчуганов — Андрея и Ромки. Картина с грачом призвана быть как бы вступлением, образным показом наступившей в природе весны. Эта картина, конечно, оказывается полезной, играющей свою роль в повествовательном движении. Но, однако, не строго обязательной, не незаменимой в принципе чем-либо другим. Наступление весны могло быть выражено и другой картиной природы; могло быть и просто отмечено авторским словом. В общем, говоря языком театра, «сверхзадача» картины с грачом слишком невелика — всего лишь обозначить весну. Поэтому изобразительное мастерство в этой картине направлено, так сказать, внутрь самой картины. Наше восприятие получает грача, и только грача. Подробности картины не участвуют в решении никакой другой «сверхзадачи», кроме той, чтобы обозначить весну. Вникая, замечаешь: писатель и не строит картину так, чтобы воздействовать на нас, он ограничивается заботами об изображении.

А вот другая картина природы, начинающая другую главу этого же романа:

«Зима началась рано. По первопутку ровной пеленой легли глубокие снега, потом неделями дул северный ветер, бешеная пурга намела в полях сугробы, а к январю ударили свирепые затяжные морозы. Старые люди говорили, что таких морозов не было давно. Звери попрятались в норы, залегли в логовах по лесным оврагам, зарылись в снег. Птицы жалась к деревенским избам, искали затишка на гумнах, под скирдами. Скованные обжигающим морозом, жалобно скрипели деревья. Над звеня-

шей, как железо, землей, над обледенелыми натеками у дорог, над селами и деревнями низкая, бесшумная клубилась, бесновалась белесая мгла...»

Эта картина тоже создана с большой точностью. Но направление мастерства в ней резко отличается от первой картины. Не потому, конечно, что там была весна, а тут зима. Нет, самое направление изобразительных усилий тут другое. Передавая жестокость зимы, писатель здесь — ясно ощущается — видит свою задачу не в одном этом. Проследив движение образности, видишь, как стремится автор к нарастанию впечатления, к воздействию на нас возникающим настроением. Читая даже сам по себе этот отрывок, никак не найдешь его самодовлеющим; он вызывает чувство тревожного ожидания, беспокойства.

И — стоит отметить — при этом сама по себе картина природы оказывается здесь более целостной и сильной, чем в вышеприведенном весеннем пейзаже. «Сверхзадача» заставляет образную мысль писателя с особой точностью и остротой отбирать подробности и строить картину.

И хотя в этой картине зимы нет никакой символики, никакой патетики, но она оказывается очень сильным эмоциональным началом главы, повествующей о кончине Владимира Ильича Ленина.

Мне кажется, эти два примера как-то показывают два направления в мастерстве, два его, так сказать, уровня: мастерство всего лишь изображения и мастерство воздействия изображением. И в практике и в критике мы еще недостаточно различаем это, готовы довольствоваться одним мастерством изображения. Я привел два малых пейзажных отрывка. Но те же различия налицо и во всех измерениях мастерства. Замечу: художники театра подчас более внимательны к этому. А. Попов в одной из своих книг пишет: «Сколько мы видим на сцене отдельных правдивых действий: люди одеваются, согреваются, войдя в теплое помещение, правдиво говорят по телефону, просто и естественно произносят фразы из своей роли и в то же время все это вместе взятое выглядит фальшиво, потому что не связано с главной мыслью». Помоему, это сохраняет всю свою силу и для литературы. Заметим, в самих по себе упомянутых А. Поповым «отдельных действиях» нет ничего фальшивого, они правди-

вы и, значит, сами по себе изображены с большим мастерством. Но эти правдивые куски приобретает фальшь в контексте, потому что не связаны с главной мыслью, являются, так сказать, праздным топтанием на месте, не включены в единый поток художественного воздействия. Ясно, что такие куски должны переорганизовываться; самое направление мастерства должно быть иным.

Будь здесь больше места, можно было бы проследить это и применительно к композиции, сюжету, изображению характеров и т. д. Всюду в повествовании подстерегает опасность неприметно перейти к простому, самодовлеющему изображению вместо изображения работающего.

Мне представляется очень важным поставить этот вопрос о двух направлениях мастерства. Усилиями нашей критики и литературной теории, в общем, навсегда развенчаны антиреалистические приемы изображения. Какой-либо декадентского толка выверт сегодня, в общем, так же быстро попадает под обстрел критики и сатиры, как и любая безвкусица, пошлость.

Но определенной помехой на пути дальнейшего расцвета социалистического реализма остается недостаточность представлений о мастерстве. Именно потому «серые», тусклые книги пишутся иной раз авторами отнюдь не бездарными. В таких книгах нет пошлостей, нет декадентских выкрутасов, все как будто есть и как будто мастерски изображено. «А в целом — вот как несъедобно...» В таких случаях критики не знают, что делать, говорят: не за что «ухватиться». А суть дела в том, что у такого автора задача идейного и эмоционального воздействия осталась лишь в общих намерениях, не пронизала собой, не определила писательский труд.

## 2. НЕКОТОРЫЕ ПЛОДЫ ОДНОСТОРОННОСТИ

Статья М. Кузнецова позволяет со всей необходимой энергией выдвинуть этот вопрос. Ибо как раз под углом зрения реальной действительности не рассматриваются проблемы романа М. Кузнецовым. Самые слова «коммунистическое воспитание» нелегко найти в этой обширной статье. Дело, однако, не в словах. Дело в точке зрения.

Обозревая не одну какую-то книгу, а в целом «пути развития...» естественно и не-

обходимо расценивать явления и возможности мастерства писателя-романиста тоже не иначе, как в их реальной действительности, их реальной полезности для художественного познания жизни в единственно верном, коммунистическом духе. Как неверно оценивать самое по себе психологическую характеристику вне общего контекста и главной цели произведения — так неверно расценивать и сам по себе тот или иной вид романа вне «контекста» литературного движения и главной цели этого движения.

Но, к сожалению, М. Кузнецов рассматривает романы именно вне такого «контекста»; интересуется почти исключительно тем, что отражено или может быть отражено в романе; и мало интересуется путями и особенностями реального воздействия средствами романа.

В этом плане характерно, например, следующее.

Статья М. Кузнецова начинается замечаниями о кризисе романа на Западе, очень верным утверждением, что «золотой век романа» прошел для буржуазной литературы. И тут же, в начале, справедливо говорится о том, что социализм, напротив, создает все условия для цветения искусства романа. Это, однако, в начале.

А вот под конец статьи звучит нечто вроде мнения, что «золотому веку романа» как бы не время и в нашей литературе. Говорится, например, так: «Показательно, что наибольшие успехи... сегодня скорее можно отметить в жанре повести, нежели романа. За последние два-три года повесть явно выдвинулась на первое место». Затем утверждаются преимущества повести: «...чуткие, наблюдательные художники стремятся запечатлеть черты времени прежде всего в более оперативном, более подвижном жанре — повести». А затем поддерживается мнение Ю. Бондарева и его словами намечается, так сказать, литературно-историческая перспектива: «Мы должны запечатлеть правдивые детали жизни, события и «воздух» эпохи. Впоследствии по нашим книгам будут написаны великие эпопеи».

Но правильно ли так оценивать работу наших современных писателей? Будто уж эта работа сводится к неким заготовкам для неких гениев будущего? И не лучше ли тогда назвать статью не «О путях развития современного романа», а «О путях и способах заготовления материалов для по-

следующего их использования будущими писателями?»

Почему такой поспешный и неверный вывод из факта появления «за последние два-три года» хороших повестей? Именно из-за невнимания к задачам воздействия художественной литературы. Иначе М. Кузнецов учел бы тот важнейший факт, что различна природа духовного обогащения читателя, возможность художественного воздействия — в романе и повести. Даже сотни наилучших повестей не заменяют в этом смысле одного романа.

Приведу еще пример односторонности подхода к литературе в статье М. Кузнецова. По ходу дела автор задается вопросом: что такое роман? И не может ответить на свой же вопрос.

Один за другим отбрасываются разные признаки. «...Нельзя сводить признаки романа только к объему», «Не может быть единственным критерием и только соответствие жизненной правде», нельзя ценить роман и «только за его познавательное значение». Ну хорошо, а что можно? Что же является характерной особенностью романа?

Тут с удивлением узнаешь, что все дело в «индивидуальном художественном видении». С изумлением читаешь: «Единство картины мира в романе или в произведении другого жанра выступает как единое художественное видение данного писателя». Почему с удивлением? Да потому, что налицо, собственно, отказ от определения особенностей романа. А почему с изумлением? Да потому, что тезис об «индивидуальном художественном видении» сам по себе не содержит ничего определенного, может быть повернут в любую сторону.

Не приходится доказывать, что каждое замечательное произведение возникает путем «индивидуального художественного видения». Человек художнически незрячий не создаст художественного произведения. И, конечно, его «видение» не может не быть индивидуальным, поскольку он не машина, а человек, индивидуальность. Однако ценность произведения определяется не самим по себе наличием «видения», а тем, что и как видит писатель, насколько оно жизненно-правдиво и нужно людям.

А вот всякого рода декаденты придавали и придают самодовлеющую ценность этому самому «индивидуальному видению». «Я так вижу!» — надменно и категорически

отвечает такой литератор критику и читателю.

Как я вижу — становится у такого литератора главным. Что я вижу — несущественным. В эстетской и формалистской литературе наблюдалось и наблюдается искусственное, натужное раздувание «оригинальности» видения. Это находит и теоретическое обоснование. В формалистском литературоведении двадцатых годов в моде был тезис о так называемом «остранении». Важным считалось, чтобы все предстоящее в повествовании, было «странным». «Остранение» было в моде и в практике некоторых писателей. Оно причиняло немалый ущерб, скажем, ранним вещам Ю. Тынянова.

А в западной литературе «остранение» и до сих пор широко бытует. «Индивидуальное видение» в понимании литераторов — эстетов и формалистов означает, собственно, определенную систему в «странностях». Найти определенный общий «принцип» выверта, излома, экивока значит — для многих западных писателей — найти «свою манеру» и стать автором, котирующимся в известных кругах.

Вот почему в борьбе с пережитками и влияниями эстетства и формализма необходима точность в оперировании термином «индивидуальное видение».

Возводимое в главные достоинства, оно легко оборачивается манерностью. И, не подозревая того, литератор впадает в подражание формализму, хотя стремится, казалось бы, всего лишь к «индивидуальному видению».

Заведомо далек от осознанного формализма совсем молодой литератор В. Губин, напечатавший в сборнике «Начало пути» («Лениздат», 1960) рассказ «Свой свет». В этом коротеньком рассказе — некой как бы притче — угадывается живая мысль. Но как он написан? Например, так: «...в несовершеннолетних прозрачных лучах лампы Вася Барабанов сочиняет стихи о любви». Немножко странно сказано, не правда ли? С таким вывертом. Это не оплошность. Это вроде системы. Далее читаем: «Вася Барабанов искал сплошные мужские слова о любви». Далее читаем: о «бабочке, которая... с размаху села на Васино чистое лицо» (хотя Васино опрятность в сюжете не играет роли). Далее читаем о поэтах, которые «...писали стихи о любви, когда кругом

опасно гремели грома». Ограничусь этим. Даже в этом заметна как бы система странностей. Наивность, неловкость выражения возводятся в принцип, создающий для автора иллюзию «индивидуального видения».

Такая манерность (и порой доводная до «виртуозности») бывает заметна подчас в работе и куда более опытных литераторов — естественно, снижая реальное воздействие таких произведений. Но как раз такую манерность поощряет М. Кузнецов, прославляя и не поясняя пресловутое «индивидуальное видение».

Так получается опять же потому, что автор статьи сосредоточивается на самом по себе литературном изображении, не рассматривая его в работе, в действии.

Иначе он не мог бы забыть, что в реальном воздействии книги главное состоит не в самом факте наличия у автора «индивидуального видения», а в том, что и как видимо художественным зрением.

Односторонность подхода, неприметно для М. Кузнецова, резко сужает его понятие о том, что может быть видимо посредством романа.

### 3. НЕОСНОВАТЕЛЬНАЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТЬ

Из статьи М. Кузнецова можно узнать, что романы бывают разные. Например, «роман событийный» и «роман характеров». Однако пальму первенства критик стремится отдать «роману характеров».

При этом мысль попадает в водоворот противоречий. Надо ведь куда-то определить, пристроить к какому-то делу и «роман событийный». И ему то отводится роль начального этапа во всем развитии советского романа («Можно сказать, что линия развития советского многопланового романа шла на слияние воедино истории и героя»), то роль первого этапа в пределах каких-то исторических периодов («Первые романы о революции и гражданской войне должны быть отнесены к «событийному» типу... в романах об Отечественной войне происходит тот же процесс...»), а то отмечается «переплетение, параллельное развитие разных типов романа» (и все это подряд, на стр. 233—234).

В общем же «роман событийный» — как бы «пасынок» для авторской мысли-мачехи, которая всю любовь отдает «роману характеров», постоянно повторяя: «к наибольшим

завоеваниям нашей литературы относятся те произведения, где великие события эпохи раскрыты в органическом единстве с историей больших и глубоких характеров современников». Кажется бы, надо сделать прямой вывод: «роман событийный» поглощен «романом характеров»; произошло то «слияние воедино истории и героев», которое предопределено «линией развития». М. Кузнецов почти и делает такой вывод, утверждая, что «наш современный роман» — «сейчас уже не столько событиями, сколько проблемными».

Тем не менее авторская мысль не решается сдать в архив «роман событийный». Авторская мысль словно бы ощущает, что той «событийности», какая, конечно, бывает в «романе характеров» при «слиянии воедино истории и героя», вроде бы недостаточно, если думать об отражении жизни в целом — в масштабах литературы в целом. И М. Кузнецов неожиданно произносит такую речь: «Сегодня мы на таком рубеже в своем бурном развитии, когда все острее и острее ощущается нехватка произведений, в которых были бы собраны не отдельные черты нашего развивающегося бытия, а сделана попытка взглянуть с исторического перевала на пройденный путь, дать панораму преодоленного горного хребта, вершин и долин, ущелий и взнесенных вывес гордых пиков».

Что эта метафорическая тирада, как не декларация необходимости именно «романа событийного» — сугубо «событийного», более «событийного», чем, допустим, «Война и мир» или вообще чем любая эпопея прошлого. (Говорил же Маяковский: «битвы революций посерьезнее «Полтавы».)

Тем не менее тот же М. Кузнецов основным пафосом статьи нацеливает писателей лишь на такой вид романа, «где великие исторические события раскрываются через судьбы центральных героев, где индивидуальные истории характеров являются не эпизодом, а главным связующим элементом сюжета». Автор статьи, конечно, не может не понимать, что, каков ни будь «центральный герой», сколько бы ни раскрылись в его судьбе великие исторические события, все же физически невозможно одному герою побывать на всех тех «пиках», «хребтах», «вершинах», во всех тех «долинах» и «ущельях», необходимость панорамного обозрения которых в едином произведении признается тем же автором.

Тем не менее на шит упрямо поднимается «роман характеров», а «роман событийный» определенно ходит у М. Кузнецова в пазыньках.

Отчего все эти противоречия?

И главное, зачем нужно во что бы то ни стало стремиться определить, какой вид романа лучше? Не резоннее ли, напротив, считать, что хороши все виды, которые служат коммунистическому воспитанию? И думать о том, как лучше достигается эта цель своеобразными средствами каждого из видов романа?

Однако в статье М. Кузнецова заметна причина, по которой он стремится к исключительному превознесению «романа характеров». Это опять-таки односторонний подход к литературе. И на этот раз сказывающийся в одностороннем понимании того важнейшего и справедливейшего тезиса, что человек, внимание к человеку, забота о человеке есть самое главное в нашей жизни и литературе.

В статье не раз повторяются призывы: «раскрыть богатый духовный мир сегодняшнего советского простого человека», показать, «каков стал советский человек сегодня», дать «историю больших и глубоких характеров современников». Это, конечно, в высшей степени правильно и совершенно необходимо.

Конечно, на этих верных положениях и основывает М. Кузнецов превознесение «романа характеров». И впрямь: где, как не в «романе характеров», можно с особой полнотой сосредоточиться на «раскрытии богатого духовного мира сегодняшнего советского простого человека»? Разве в «романе событийном», по самой природе жанра, не происходит, как замечает М. Кузнецов, некое «принесение в жертву историческому сюжету личных судеб»?

По-видимому, именно такова логика М. Кузнецова. Во всяком случае, при такой логике объяснимы иные из странностей статьи.

Вот, например, автор статьи хочет, чтобы в литературе изображалось «поступательное движение «большой истории»; ему симпатично «поэтическое видение истории». И он горячо одобряет лирические отступления, набранные курсивом в конце глав романа Г. Березко «Сильнее атома». Но тот же М. Кузнецов не одобряет стремления В. Закруткина сделать «поэтическое видение истории» основой романа, построить

весь сюжет на «поступательном движении «большой истории». Почему так? Потому, что эта дерзновенная задача не вполне решена В. Закруткиным? Нет, не потому. Ведь в романе Г. Березко М. Кузнецов пламенно приветствует даже «пусть не во всем удачные попытки».

Дело, по-видимому, для М. Кузнецова в «пропорциях». Картины «поступательного движения «большой истории» должны быть лишь некими прослойками в повествовании (хорошо, если отделенными даже и посредством курсива), должны не мешать «роману характеров» оставаться «романом характеров». (А то как бы не вышло «принесения в жертву историческому сюжету личных судеб».) Разве это не разумно с точки зрения заботы о человеке?

Надо сказать со всей прямотой: это односторонняя забота. Ведь для чего пишутся книги о нашем простом человеке? Конечно, не для того, чтобы в издательских и журнальных планах проставить «галочки»: дескать, отображен наш простой человек. А для чтения этих книг этим самым простым человеком. Вспомнив эту элементарнейшую истину, вспомнишь и то, что задача литературы не только с вдохновенной силой показывать нашему человеку, каков он есть, но еще и вести его дальше, воспитывать далее и более, обогащая и обогащая духовно. М. Кузнецов же ограничивается той стороной социалистического реализма, которая требует правдивого отражения жизни, а та сторона нашего метода, которая требует коммунистически-воспитательной деятельности, словно бы выпадает из поля зрения критика.

Иначе он не забыл бы, что задача писателя — не только изобразить характеры своих героев, но — главное — достигать силою художественного слова определенного преобразования характера читателя в направлении коммунистического идеала характера.

Роль изображения характеров, значение «романа характеров» бесспорны и огромны в коммунистическом воспитании художественной литературой. Но не всё — в этом.

Почему велик читательский интерес, например, к хорошим историческим романам? Они не раскрывают характеров наших современников, но они участвуют в формировании характера нашего современника — читате-

ля. Заставляя образно переживать прошлое, они расширяют бытие читателя за пределы его личной биографии, дают ощутить кровную связь его личного бытия с великой биографией народа и человечества. Так, по своему, обстоит дело и с романами научно-фантастическими. И с хорошими очерками, и с хорошими мемуарами. Бесконечно многообразны пути расширения духовного кругозора, которое ведь решающее необходимо в коммунистическом воспитании.

Возможности отдельного произведения литературы неизбежно ограничены. Немыслима книга, которая была бы одновременно и «романом характеров», и романом научно-фантастическим, и всем, что возможно, из жанров творчества. По самой природе искусства неизбежно определенное «разделение труда» между жанрами. Но тем важнее, думая о литературе в целом, как о своего рода едином, гигантском, коллективном художественном творении, заботиться о его наибольшей многосторонности.

Проявив такую заботу, М. Кузнецов не мог бы низвести «роман событийный» на положение пасынка, а, напротив, должен был бы уделить ему серьезнейшее внимание. Мы живем в такое время, когда огромные исторические процессы, судьбы народов, характеры событий стали для самых широких масс не менее наглядными, образно-ощутимыми, захватывающе волнующими, чем процессы индивидуально-психологические, судьбы и характеры отдельных людей. Эта новая потребность нашего читателя, конечно, находит удовлетворение и посредством «романа характеров» (ибо и он немаловажен сегодня у нас вне «событийности»), но нуждается и в особом жанре, стремление развить который так заметно у многих писателей, тяготеющих именно к эпосе.

Это тяготение не может быть не заметно и М. Кузнецову, констатирующему в начале статьи, что «тенденция к социальному роману, с эпической полнотой осмысливающей действительность,— характерная черта нашей современности».

Однако, констатировав оное, критик стремится как бы «охладить» эту тенденцию, заметив: «Формирование такого романа сегодня происходит далеко не просто» (как будто бы что-нибудь в искусстве формируется «просто»), а затем, утверждая, что напрасно, дескать, захвалены такие-то и такие-то книги с упомянутой тенденцией, а затем и вовсе «спуская на тормозах»

«тенденцию к эпосе», превозносит исключительно «роман характеров».

В крайнем увлечении этим последним М. Кузнецов — может, и не замечая того, — впадает в явную несправедливость полемики и оценок.

#### 4. НОВОЕ НАДО ПОДДЕРЖИВАТЬ

Так, например, не особо праведный суд вершится над романом В. Закруткина «Сотворение мира». Критик считает возможным посвятить этой книге не больше строк, чем сочинению Б. Иванова «Даль свободного романа». Две полукolonки журнального текста. К чему сводится конкретный разбор произведения? К одному примеру. М. Кузнецов находит, что строки из описания похорон Ленина в романе напоминают строки поэмы Маяковского. На мой взгляд, не напоминают вовсе, и крайне отличны художественные особенности стиха Маяковского от особенностей прозы Закруткина. Но допустим даже — напоминают. Но это же одиннадцать строк из романа в 758 страниц! И больше ничего конкретно не говорит М. Кузнецов. Все остальное на этих двух полукolonках общего свойства восклицания: то-то воспринимается, мол, так-то, от такого-то, дескать, впечатления «не можешь отделаться» и прочее — чему, конечно, никто не обязан верить на слово и что вполне возможно отнести к субъективным особенностям вкусов критика, а не к реальности критикуемой вещи.

Ко многим романам проявляет М. Кузнецов мягкость и снисходительность. «...Пусть вызывают улыбки забавная терминология автора «Туманности Андромеды», надуманные имена, ряд наивностей, но при всем этом...», «...пусть в чем-то и ошибочный, но собственный взгляд... Можно говорить, что те или иные образы не удалась Симонову, упрекать его за язык, за многословие... но совершенно очевидно...»

И только говоря о том направлении романа, которое избрано В. Закруткиным, М. Кузнецов обретает железную твердость требовательности: «Но ведь мало «благих порывов», нужно полноценное художественное решение».

Полноценное решение! Шутка сказать! Но ведь замысел романа В. Закруткина столь дерзновенен по своему размаху, что получи он «полноценное решение» — и вы-

шла бы книга, превосходящая все, когда-либо написанное величайшими писателями. Возможности автора, конечно, уступают размаху замысла. Но в данном случае и самый размах очень важен. Это отнюдь не праздный «благий порыв».

Вообразим, в свое время к Циолковскому пришел бы некто и сказал: давайте сию минуту «полноценное решение», пусть сию же минуту будет полет на Марс. Не может? Значит, у вас только «благие порывы». И нечего этим заниматься...

Я далек от мысли сравнивать гений Циолковского с талантом В. Закруткина. Но его роман по-своему тоже смелое дерзание на путях освоения мира человеческим познанием.

На мой взгляд, этот роман разрабатывает пути того нового жанра, который со временем станет столь же привычным, как «роман характеров». Новые жанры формируются постоянно. Ведь вот приветствует М. Кузнецов «скрещивание» романа и очерка. А роман Закруткина, по-моему, находится на путях «скрещивания» романа и поэмы, прозы и поэзии.

Так взглянув на эту книгу, видишь в ней совсем не те недостатки и не те достоинства, что М. Кузнецов. Коротко скажу об этом.

Вот одно из «ключевых» мест романа, особенно выделяющих общие художнические намерения автора:

«В то время мыкался, скитался по земле бедствующий народ. Тысячи немцев, чехов, австрийцев, китайцев, болгар, эстонцев бежали за океан, в Америку, а там их томили в карантинных тюрьмах на острове Эддис-Айленд, прозванном «Островом слез»... Тысячи эмигрантов — итальянцы, японцы, французы, ирландцы, сербы — умирали от дизентерии в Бразилии, Канаде, Аргентине. Тощие, как скелеты, покорные судьбе, тысячами гибли голодные индусы. Мексиканцы, негры, поляки откочевывали в Оклахому, Техас, Миссури, жили в товарных вагонах, умирали под мостами от тифа. Американцы батраки бродили по картофельным полям Вайоминга и Монтаны, ползали в воде на плантациях Хеммонтона, питались гнилой требухой, спали в ящиках на берегу озера Мичиган.

Многие люди верили в то, что всемогущий бог в незапамятные времена сотворил мир. Они читали священные книги, в которых было написано, что бог создал мужчи-

ну и женщину и сказал им: «Наполните землю, и господствуйте над ней, и обладайте рыбами морскими, и зверями, и птицами небесными, и злаком, порождающим семя, и деревом плодоносящим».

Однако люди не обладали ничем — ни землей, ни рыбами, ни злаками. Всеми богатствами владели немногие, те, у которых были деньги и власть. Для того, чтобы удержать в своих руках земные блага, эти немногие сталкивали народы, затевали войны, убивали, калечили, грабили, истязали людей.

Устами своих священников, философов, учителей они внушали людям, что существующий строй установлен господом богом, и сотни миллионов бесправных людей долго и тщетно искали выход.

Выход был найден в России. Русская революция зажгла для человечества первую путеводную звезду».

По-моему, только литературный сноб может не оценить неподдельную вдохновенность таких строк. (И по совести говоря, я не могу считать, чтобы такие вот места романа В. Закруткина уступали «лирическим отступлениям» романа Г. Березко. Напротив, я нашел бы, что «отступления у Г. Березко чуть-чуть приторны, порой словно бы «заэстетизированы»: «...на островах, омываемых Гольфштремом, и на коралловых островах, подобных огромным пальмовым коронам, которыми увенчал себя Тихий океан...»).

Мне представляется, роман В. Закруткина и задуман как панорама, развивающая то, что сжато высказано в таких вот авторских монологах. Художественная задача состояла в том, чтобы сделать сразу вместе, на одном полотне, образно-видимым происходящее в различнейших концах света. Это требовало, конечно, особого характера образности. И писатель достигает очень часто высокого мастерства «общих планов» — если говорить языком кино. Вот, например: «Всю весну на юго-востоке страны не было дождей, посевы взошли скудно, редкими, слабыми ростками. Потом стало немилосердно жечь солнце, задул горячий, иссушающий ветер. Придавленный бессильем и тоскливой яростью, в надежде хотя на каплю дождя, часами смотрел в безучастно спящее небо волжский мужик. За понами, за иконами и хоругвями шли в поля старики и старухи просить далекого бога о



ниспослании дождя. Попы истоиво размахивали кадиллами, люди поднимали вверх покрасневшие от пыли глаза, а вокруг на тысячи верст лежала сухая, как камень, исполованная трещинами, раскаленная, темная земля, на которой нккла, сохла, сгорала каждая былнка...»

Замысел требовал далее возникновение в таких панорамах определенных «крупных планов», тех или иных человеческих судеб, но, однако, так, чтобы развитие «общих планов» все время шло, не прерывалось особо надолго. И вот тут автор не оказался достаточно последовательным. Он словно проявил непомерную жадность изображать, словно захотел совместить несовместимое: обобщенность романа-поэмы — и бытовую детализацию. И, вопреки мнению М. Кузнецова, как раз сцены огнишанской жизни зачастую тормозят роман, рвут его единство своей обстоятельностью и самодовлеющей картинностью. В. Закруткин словно не вполне осознал, что главная сила такой книги именно в постоянных и крутых переходах из конца в конец земли. В том, как переносит нас повествование из Огнишанки в Геную, из Болгарии в Америку, от одних людей и событий к другим событиям и людям, выстраивая и выстраивая единую панораму эпохи.

«Баллада — скорость голая» — этот известный афоризм Н. Тихонова характеризует

особенности эстетического воздействия баллады. Можно бы сказать, что и в таком романе, какой задумал В. Закруткин, непрерывность движения имеет существеннейшее значение.

Невозможно даже и предвидеть, сколько еще предстоит работы писателю, чтобы образность его романа обрела характер и строй, соответствующий динамике замысла. Это книга из тех, над какими работают даже всю жизнь. Перед нами, по сути, первый вариант. Но и в этом первом варианте книга обладает немалой энергией коммунистически-воспитательного воздействия. Потому что она резко и страстно целеустремлена в своем движении. «Глыбы» чересчур детальных огнишанских глав делают подчас угловатым это движение, но определенной «питательностью» для ума и чувства обладает здесь все, и читатель, берущий книгу как она есть, а не оглядывающий ее с колоколын предвзятых мнений, очень многим обогатит свой ум и чувства.

Я, впрочем, здесь не ставил себе задачей рецензировать этот роман. Отрывочные замечания о нем имели целью лишь еще раз подчеркнуть необходимость постоянно помнить о главной цели нашего литературного движения и бесплодность какого бы то ни было ограничения путей к этой главной цели.



И. СОЛОВЬЕВА

★

## ГЕРОИ И ТЕМЫ ВИКТОРА РОЗОВА

**В**иктор Розов работает ровно, вдумчиво. В этом писательском покое большое обаяние. Манера у Розова слегка старомодная, традиционность формы вовсе не тяготит его. Напротив, драматургу было бы непривычно и неловко, если бы его вздумали ставить на поваторский лад. Перенести его пьесы на обнаженную сценическую площадку или в условные декорации, вероятно, вполне возможно; но это ни к чему.

Ремарки, указывающие обстановку действия, Розов пишет не слишком пространно, тем не менее его пьес не понять без бытовых красок. Нужно точно представить себе просторную квартиру, недавно полученную профессором Авериним, ее новенькое, еще необжитое благополучие, старательную чистоту, гулкий бой старинных часов, которые, однако, попали сюда не по наследству, а из комиссионного магазина. Нужно увидеть комнату в семье Савиных, с высокими потолками, с зеленоватым выгоревшим абажуром, оттянутым с середины куда-то вбок: все вещи сдвинуты, чтобы дать место чужой нераспакованной мебели, и абажур откочевал следом за обеденным столом. Цветные стеклышки крытой террасы, деревянные резные балясины, высокие вогнутые печи, лавочка во дворе под хорошими деревьями, еще не оттесненными стройкой, — коммунальная квартира в особняке, какие еще часто можно сыскать в замоскворецких или пресненских переулках... Эту обстановку (не оговоренную автором) «придумали» в Центральном детском театре, но, не увидев ее, не увидишь чего-то очень существенного в пьесах «В добрый час!» и «В поисках радости». Нужно увидеть и квартиру Бороздиных в «Вечно живых», как увидели ее в театре «Современник», —

квартиру военной поры, запущенную, попорченную копотью от времянки, заставленную так, что не видать стен и кажется, что комната отгорожена только шкафами. А в общем, мебели тут не замечаешь, она стоит, поскольку надо же куда-то поставить Медицинскую энциклопедию и некуда девать громоздкий семейный буфет, где на полках довольно сиротливо лежат выкупленные по карточкам крупа и сахарный песок. Негде повернуться, но вот здесь поселяются еще двое — и место откуда-то берется, даже оказывается, что всем удобно. Должно быть, о такой вот комнате, где они жили прежде, помянет Петр Иванович Аверин в новом доме, когда Анастасия Ефремовна совершенно ясно докажет ему — практически некуда поместить племянника Алексея, если он придет в Москву к родне: «Ну хорошо, давайте вот здесь, на середине, кровать поставим!»

Розов любит обстоятельность, любит житейские подробности; вообще он автор «бытовой» и жить не мог бы без «бытовой» режиссуры, без сценических дополнений, без того воздуха, который дает его пьесам театр.

В традиционно-бытовой манере Розова лежит начало его современности; он внимателен к жизни хотя бы в силу признанных им над собой драматургических законов; он точен. И мерой житейской точности его наблюдений впрямую обусловлена жизненная значимость его раздумий.

Именно преданность «бытовому», желание житейской верности с самого начала уберегли Розова от тематической фальши. Первые его пьесы — «Ее друзья», «Страница жизни» — вовсе не были выдающимися художественными явлениями. Сейчас даже

трудно понять, почему «Ее друзья», чувствительная история десятиклассницы Люси Шаровой, которой грозила слепота,— история, изложенная вполне примитивно, приблизительная по психологическим объяснениям,— увлекла театры. Сам Розов достаточно простосердечно рассказал однажды, как была написана эта драма: был уволен из труппы, семья маялась без денег, за полмесяца написал пьесу, как пишут их многие и многие, соблазненные слухами об авторских.

Составляя однотомник<sup>1</sup>, Розов не включил в него «Ее друзей» и поступил правильно. Но что-то было же в этом слабом произведении, если театры запомнили имя писавшего, захотели поддерживать связь с ним.

Розов признается, что начал литературную деятельность ради заработка. Может быть. Но он хотел зарабатывать вполне честно. Он пришел без своей темы, но он не брал и чужих тем, хотя бы той дежурной, к которой обращалась почти вся тюзовская драматургия в сезоны, когда шли «Ее друзья» и «Страница жизни». Школьник-индивидуалист, задетый тлетворным влиянием, вступивший в конфликт со здоровым классным коллективом, бывал побиваем на сцене камнями общественного порицания едва ли не ежевечерне. Сурово перевоспитывали Сашу Новикова за то, что сочинял печальные стихи («Настоящий друг»); драили с песочком индивидуалиста Листовского («Аттестат зрелости»)… Розов ни с кем не собирался полемизировать — он вообще в литературе не спорщик. Он обращался к самой действительности, пусть еще не умея разобраться в ней как следует, но все-таки желая воспроизводить ее, а не какие-то установленные нормы ее изображения на сцене. Он еще не был зорек, но был добросовестен; он не совершал еще открытий, но и не утверждал мнимостей.

Что спорить, авторы «Аттестата зрелости» и «Настоящего друга» не отрывались от действительности, изображая «проработки» в среде школьников… Но Розов не был убежден, что именно в этой драматической ситуации раскрываются какие-то существенные жизненные столкновения, к ко-

торым всего более надлежит быть внимательным. Он пишет о другом.

Кажется, что ранние пьесы Виктора Розова гораздо менее конфликтны, чем драмы, названные выше. В «Ее друзьях», как и в «Странице жизни», вообще нет ни одного отрицательного персонажа. Вроде бы никто ни с кем не воюет, никто никого не обличает. Он пишет об очень хороших юных людях — преимущественный интерес к хорошему в человеке вообще раз и навсегда отличает Розова. Если что его беспокоит, то самые житейские вещи. Вот в «Ее друзьях» девочка из состоятельной семьи, Света, растет белоручкой, весело командует мамой и домработницей; в «Странице жизни» возникает пикировка между рабочим парнем Костей Полетаевым и десятиклассником Димой Крыловым, который с увлечением рассказывает о своей поездке по Волге на собственной — купленной отцом — лодке. «Да, хорошо, когда денег много», — в пространство роняет Костя. «Собственно, у меня ни копейки. Все расходы легли на плечи отца». — «Еще лучше», — так же флегматично и безотнотительно произносит Костя. «Не понимаю». — «Чего же не понимать?»

Дима Крылов отвечает искренне и достойно, так, что неловко становится схлестнувшемуся с ним Косте. «Мой отец не капиталист, не вор; дни и ночи он на заводе, в конструкторском бюро или на испытании моделей… Все, что я сейчас от него получаю, рассматриваю как аванс». — «В кредит, значит, живешь, а я — за наличный расчет. Пойми разницу!» — горячится Константин. Но тут на него все напустятся: «Научился бы разбираться в людях». — «У тебя, Костя, какие-то допотопные взгляды». Спор снимается с повестки.

Розов еще вернется к нему, но в ту пору, когда писалась «Страница жизни», он сам еще не слишком был склонен доверять своим тревогам. Чтобы исправить лентяйку Свету, достаточно директору школы поговорить с ее мамой: пусть девочка сама штопает себе чулки; Дима Крылов легко гасит спор и остается в полном сознании своей правоты.

Малая зоркость, «нефокусное» изображение, лишенное четкости и резкости, — все это в первых пьесах Розова не столько примета литературного ученичества, сколько следствие того, что самые процессы, за-

<sup>1</sup> Виктор Розов. В поисках радости. Страница жизни. В добрый час! Вечно живые. Пьесы. «Советский писатель». М. 1959.

интересовавшие писателя, еще только начинались в послевоенной действительности. Должно было пройти время, отделяющее «Ее друзей» от «В добрый час!», — сорок девятый год от начала пятьдесят пятого, — чтобы не только драматург успел научиться мастерству, но чтобы приобрели определенность какие-то жизненные движения, к первым же признакам которых был внимателен Розов.

Дима Крылов, конечно, огорчен резко-стью случайного собеседника, но его само-го нисколько не царапает ни существование в кредит, ни та легкость, с какой ему достаются лодка или фотоаппарат, ни то, что к священным берегам Сталинграда он приплывает обеспеченным туристом. Свою дальнейшую жизнь он планирует без за-тей: буду конструктором, как отец. Дима Крылов едва ли понял бы Андрея Аверина, если бы они могли встретиться. Но в жи-зни этим юношам и нельзя было встретиться как ровесникам: они существуют не только в разных пьесах, но и на различные годы пришлось пора их возмужания, в раз-ное время выходят они в жизнь, и разное время отложилось на их нравственном об-лике.

Для Димы Крылова все ясно. Когда он будет держать экзамены в свой корабле-строительный институт или будет оформ-ляться без экзаменов (он ведь круглый отличник), его совершенно не встревожит, что, допустим, Костя Полетаев не только в институт не попадет, но и средней шко-лы окончить не имел возможности; и уж во всяком случае Дима не уйдет с экзаме-нов, поддавшись странному настроению, какое заставит Андрея все бросить посре-дине оттого лишь, что перед сдачей он увидит, как трясутся губы у девчонки, ря-дом с ним томящейся в предэкзаменацион-ном беспокойстве. Дима не поймет, почему у его дурашливого и говорливого сверстни-ка любимым словом стало «тоска», не поймет, почему Андрей так вял и вызыва-юще безразличен в очень ответственный момент, когда как раз собрался бы, под-нажать, чтобы попасть в вуз. По своей воспитанности он, вероятно, не устроит Андрею проработки, но просто не поймет его и с ним не согласится.

А в самом деле, что происходит с Ан-дреем Авериним? Что знаменуют собой те изменения, которые отличают Андрея от его

однолетков — друзей Люси Шаровой и школьной компании Димы Крылова?

«Поколение с червоточинной», — считает дядя Роман из «Неравного боя». Старший Лапшин из «В поисках радости» говорит примерно теми же словами: «Молодежь по-шла — дрянь!» «Дрянь!» — с увлечением со-глашается его собеседница. «Пыль!» — «Пыль!» — «Умные!» — «Вот, вот, точно, умные!» И, не участвуя в этом разговоре, не опровергая, а словно бы про себя, произ-носит Клавдия Васильевна Савина: «Не знаю, может быть, я неправа, но всем серд-цем люблю их».

«Не знаю, может быть, я неправ», — с этой интонации начал и драматург в пьесе «В добрый час!», вглядываясь в черты моло-дежи, о которой дядя Роман и Лапшин от-зываются так неодобрительно. Из всех на-ших драматических писателей Виктор Розов наиболее последователен в своем интересе к новому поколению. Он следит за его фор-мированием вот уже лет семь, то есть, соб-ственно, с самого начала, с того момента, когда театр вообще стал присматриваться к изменению облика юношества. Не обратить внимания на эти изменения было бы про-сто невозможно — они давали знать о себе самым откровенным образом. Не заметить было невозможно, но судить об увиденном можно было по-разному.

Примерно одновременно с пьесой «В доб-рый час!» — немного раньше, немного позже — в репертуар вошел «Чудесный мальчик» Евг. Рысса, «Милочка» М. Шаро-новой, «У опасной черты» В. Любимовой и множество сходных пьес, так или иначе трактовавших угрозу «плесени», осуждав-ших маменькиных сынков, клеймивших сти-ляжничество. Нельзя отказать этим драмам в известной жизненности, как несомненна и добросовестность писательской тревоги. Но все эти пьесы удивляюще невниматель-ны к реальным чертам вновь формирующе-го поколения.

Даже после того, как Розов написал свое-го Андрея Аверина, то есть после того, как на театре было сделано открытие нового психологического типа и появился первый объективный портрет юноши нового поколе-ния, — это было оценено не сразу. Препода-ватель С. Езерский, соглашаясь, что «В доб-рый час!» — вещь талантливая, журил авто-ра за непонятную терпимость: «Не окру-жать ореолом надо Андрея, а развенчивать его». «Я понимаю чувства и состояние Пет-

ра Ивановича, когда он гневно бросает в лицо родному сыну: «Дрянь!.. Дрянь!..» Да и Вы, должно быть, понимаете это, раз вложили эти слова в уста профессору Аверину».

«Дрянь!.. Дрянь!..» Учитель Езерский не выражается так резко, но, приглашая рассмотреть характер Андрея «резво и вызыскательно», сняв «флер очарования», он приходит к выводу, что юноша Аверин «объективно — милый бездельник, веселый тунеядец, благодушный лодырь». Он сравнивает Андрея с его отцом и говорит с осуждением: «Почему он не хочет подражать ему?»

Плохо, что Андрей не хочет подражать отцу... А в чем — только конкретно! — должно бы выразиться желаемое подражание? Взять отцовскую профессию? Это же невозможно, талант не наследуется. То есть возможно, но вовсе не так уж красиво — пойти в вуз, где одно имя отца, без дополнительных звонков, становится для поступающего льготой. Андрей не хочет получить место в жизни по наследству, как может получить по наследству отличную квартиру, заслуженно отведенную в новом доме профессору Аверину. И неужели так трудно понять, что Андрей именно тогда близок отцу, тогда «подражает» ему (если уж без этого слова невозможно), когда ему становится скверно в этой благополучной квартире, когда он начинает думать о своей «точке в жизни», когда он ищет самостоятельности...

Лодырь?.. А разве лучше было бы, если бы Андрюшка вызубрил все, что надобно к экзаменам (при его отличных способностях это вполне возможно), набрал потребное количество очков и попал в Бауманское, обеспечив себе диплом и высокое звание в дальнейшем? Неужели предпочтительнее работоспособность Валима Розвалова, который проявит максимум усидчивости и непременно получит место в облюбованном Институте внешней торговли, добьется всего, что для него связуется с понятием «большой цели»...

Между прочим, вся аргументация педагога, корректно поддерживавшего обвинение в адрес юноши Аверина («Дрянь!.. Дрянь!..»), держится лишь на том, как себя аттестует Андрей. Но неужели же если человек доволен собою — он хорош и целостен, а недовольство собой — знак ущербности? Да, Андрей недоволен собой и отзы-

вается о себе нелестно. Но предположим, что С. Езерский писал бы не о скромном персонаже тюзовской пьесы, а, к примеру, о Гамлете: неужели же на основе собственных показаний героя, оценив их искренность, но сняв «флер очарования», он признал бы принца Датского «холопом и негодяем», «тупым и жалким вырожденком», слоняющимся в сонливой лени, раскисшим, как уличная тварь?

Высота спроса с себя, высота ответственности — личной ответственности за то, каким ты будешь, — вот чем определено настроение Андрея Аверина.

Недовольство собой, тревога — что же я такое? — полная откровенность в изъяснении этой тревоги. жажда жизненной проверки всего, что было усвоено с голоса, — это не только более или менее случайные черты нравственного облика одного героя, но и определенные приметы поколения. Приметы поколения, а не приметы порчи поколения!

Розов первый распознал пришедшее новое просто как новое, а не как искажение или нарушение. Новый характер героя (а образ Андрея Аверина, повторим, значителен прежде всего тем, что это драматургическое открытие типа) в самом деле вовсе не совпадает с приметам положительного героя, каким он сложился в предыдущее время; однако ж он не антипод его, не противопоставление, а продолжение Исторического продолжение.

В жизнь приходит новое поколение. Для Розова в том нет сомнения. Поколение «разное». «Думаю, и тогда у вас не одинаковые были», — мягко замечает Славка в «Неравном бое», когда Тихон Тимофеевич с привычным сомнением отзывается о нынешней молодежи («разные теперь...») и вспоминает, какие отличные ребята учились с ним когда-то в стройакадемии. Славка как бы не принимает «обобщающей» интонации собеседника, отвечает, не переводя разговор в более широкий план. В самом деле, ведь и двадцать пять лет назад молодежь тоже была «разная». «В общем, да», — сконфуженно кивает Тихон Тимофеевич. Правда же! И ведь это так неумно, просто неумно — все эти самоуверенные речения о «червоточине», все эти значительные вздохи: «Беда... с молодым нашим поколением, беда! Не нравится оно мне, прямо говорю!»

Славка в «Неравном бое» говорит как-то

очень простодушно: «Сейчас тоже хорошие, я на приемных экзаменах видел». Простодушные этой фразы характерно «розовское». Розов мог бы так сказать и от себя. Он заинтересованно следит за формированием положительного типа современного характера. Именно с этой точки зрения особенно любопытны и Андрей Аверин из «В добрый час!», и Олег Савин из «Понск радости», и Святослав Заварин из «Неравного боя».

Розов видит, что в какой-то момент, обусловленный временем, свойством положительного персонажа становится внимание к сложности жизни и к сложности собственного внутреннего мира, желание самостоятельности и нежелание брать без раздумий то, что тебе предлагают старшие — всяческие старшие, открывшие тебе материальный и нравственный кредит, заботящиеся о тебе и освобождающие от ответственности за твою собственную судьбу и за твои собственные мысли.

Как раз Андрей Аверин, которого и в пьесе и в рецензиях столько раз укоряли в легкомыслии и безответственности, — как раз Андрей Аверин первым из молодых героев драматической литературы (да и не только драматической) не согласился на это освобождение от ответственности.

Точнее, у него все начинается именно с откровенной, почти вызывающей безответственности. «Растет оболтус, в голове — каша», — раздраженно говорит о нем, и сам он словоохотливо аттестует себя подобным же образом. В школе все больше «скакал по верхам», что дальше делать — неясно; мать хочет, чтобы он поступил в Бауманское, говорит — солидно. Андрей пожимает плечами — с чего она взяла, что я туда попаду, — но готовится держать в Бауманское; выйдет — ладно, не выйдет — в какой-нибудь другой пристроюсь.... «А сам бы ты куда хотел?» — «Никуда». «Все сам знаю, — вяло огрызается он, когда его начинают товарищески прорабатывать. — Чего вы от меня хотите? Учиться? Иду учиться. Кончу институт — буду работать, приносить пользу. Устраняет?»

Почему тут слышится усталое раздражение? Андрей пользуется против желания словами, которые сами по себе и благородны и хороши, только два года назад именно их торжественно произносил в девятом классе какой-то Володька Цепочкин: «Кем бы ни быть, лишь бы приносить пользу ро-

дине». «А этот Володька был, есть и будет подлецом первой марки: подлипало и прихлебало!» Андрей не хочет выгоды от красивых слов; он отказывается от них не потому, что сам не думает так, а потому, что не хочет извлекать из них житейскую корысть. Он достаточно ясно понимает: вот смуталдычат, что он должен идти в институт и приносить пользу, а кому же польза будет, если он станет дипломированным и бездарным инженером? Ему — да, ему самому польза будет в виде весьма простых благ: должность, оклад, звание. «Если мы сейчас, именно сейчас, не будем мечтать о чем-то крупном, большом, из нас ничего потом не получится», — с привычным жаром говорит одноклассник Андрея Вадим Розвалов, и простодушная Анастасия Ефремовна, согласно кивая («Ты умник, Вадя, умник!»), житейски расшифровывает в назидание непутевому сыну: «А вот увидишь: Вадя будет занимать крупный пост. У него будет квартира, большая зарплата...»

Смелая мечта, разговор о воле, об упорстве в достижении своей цели («Кажется, этому нас в школе учили и в комсомольской организации», — скажет Вадим, и кто-то из спорящих с ним кивнет: «Это верно») — неожиданно за всем этим встает иное: достижение своей цели.

«Практическая сторона меня мало интересует, Анастасия Ефремовна», — возражает Вадим и, вероятно, не жлет: в семнадцать лет едва ли имешь в виду размеры зарплаты и квадратные метры квартиры. И все же его мечта корыстна. Маршалский жезл, без которого для Вадима плох солдат и без которого он не согласился бы взвалить на спину солдатский ранец, — это его маршалский жезл. И за программой дерзкого наступления на будущее, какую увлеченно развертывает Вадим, тихонько встает программа завоевания своего места в этом будущем, программа собственного благополучия.

«В добрый час!» — пьеса, предназначенная зрителю-подростку, который требует полной и подкрепляемой фактами доказательности. В разгар Вадимовых разглагольствований, когда Алексей злится, что не может заглянуть за высоченный забор, нагороженный Вадимом из хороших слов, Галя Давыдова «подсадит» его. Она с раздражением скажет, что речам Вадьки небольшая цена; мечта, упорство, а у самого — полная уверенность, что для него в

институте откроется особая дверка: академику Розвалову не откажут, сына академика как-нибудь примут и вне очереди...

Вероятно, в тюзовской пьесе такое прямое доказательство «отрицательности» персонажа в самом деле необходимо. Но не случайно в дальнейшем оказывается, что отец Розвалов не дает сыну никаких спасительных записок. Отказывает наотрез. И Бадим не скисает, он поладает-таки в облюбованный им Институт внешней торговли, тогда как Андрей бросает сдачу экзаменов посреднице, а Алексей, мечтающий о Тимирязевке, не выдерживает конкурса.

Дело не в блате, не в чистоте или занятости способов, к каким обращается юный сонскатель «маршалского жезла». Дело не в том, как я добьюсь своего, а в том, что же это для меня — это самое «свое», чего я хочу в жизни.

Когда друзья Люси Шаровой рассуждали, что ждет их за порогом десятилетки, вопрос выбора пути сполна сливался с вопросом о выборе вуза и решением его исчерпывался. Ребята, у которых «росли года», беспокоились лишь о том, «чем заниматься». Андрей Аверин тоже, естественно, обеспокоен, «чем заниматься», и даже очень обеспокоен. Но тема пьесы «В добрый час!» шире, чем вопрос о трудоустройстве после школы, и даже шире, чем тема творческого призвания.

В самом деле, отъезд Андрея и его решение поработать вместе с Алексеем на машинно-тракторной станции под Иркутском вовсе не разрешение вопроса о призвании. Анастасия Ефремовна, напуганная и горько плачущая, будет повторять, что вот и в Москве есть же огромные заводы, новая техника: «Серп и молот», «Шарикоподшипник», если уж Андрюша не хочет работать в Ботаническом саду, куда можно бы его устроить... Мать будет заливаться слезами — «не пушу!» — и пустит при условии, что Андрей возьмет с собой в Сибирь валенки, термос и зеленое ватное одеяло. Но однако ж почему, в самом деле, МТС и почему не «Шарикоподшипник»? Андрей Аверин не говорит: «Я там нужнее»; да он там и не нужнее. Призвание? Но если у Андрея нет склонности к труду инженера, каким он стал бы, окончив Бауманское, то нет у него и сколько-нибудь наметившейся склонности к работе механизатора, которую он сможет получить там, под Иркутском.

Почему он едет? Потому что для Андрея поиски своего места в жизни — это прежде всего поиски самого себя; а такие поиски практически очень трудно вести в большой аверинской квартире. Он не хочет жить за чужой счет в самом общем плане, но начать надо с того, чтобы не жить за чужой счет в самом прямом, узком значении слова. Андрей действительно «запутался», как он сам говорит, и хочет все распутать до первых, первейших азбучных элементов жизни. Он хочет узнать азбуку, чтобы, так сказать, самому начать складывать слова, а не пользоваться готовыми. В азбуку же входит всякое: дальняя дорога, в которую отправляешься один; отсутствие опеки; первая реальная вещь, сделанная собственными руками; цена хлеба; усталость рабочего дня. Он сам хочет понять, что ему надо и чего ему не надо в жизни.

На скромные и негромко поставленные вопросы Андрея Аверина неожиданно отвечает герой другого писателя — полковник Березкин из «Золотой кареты» Леонида Леонова. (Любопытно, между прочим, что эта драма, десять лет или около того пролежавшая в письменном столе автора, снова заинтересовала и его самого и театры в то же время, когда появились «В добрый час!», а затем «В поисках радости», пьесы приблизительно той же проблематики.) «Сперва — чего не надо», — с суровой весомостью говорит Березкин. — «Человеку не надо дворцов в сто комнат и апельсиновых рощ у моря. Ни славы, ни почтения от рабов ему не надо. Человеку надо, чтоб прийти домой... и дочка в окно ему навстречу смотрит, и жена режет черный хлеб счастья».

«Поиски радости», которыми заняты герои пьес Розова, по существу своему близки тревогам выбора, который стоит перед героями «Золотой кареты», как ни различны жизненные обстоятельства, в которых находятся персонажи, и авторская тональность.

«Золотая карета» — или «черный хлеб счастья». У Леонова вопрос поставлен именно так: или — или. И у мягкого, вовсе не философски настроенного Розова та же внутренняя категоричность: или — или; категоричность, заданная не свойствами таланта писателя, а объективной резкостью, с какой этот вопрос возникает в жизни.

Выбор «золотой кареты» либо «черного хлеба счастья» у Леонова не потороплен

чрезвычайными обстоятельствами боя: время действия падает на послевоенные дни. Этот выбор — целиком вольное дело души. Марька в праве, нравственно вправе избрать спутником жизни Юлия Кареева, влюбленного в нее сына академика. Если она ступит на подножку предложенной им золотой кареты, это не будет ни предательством по отношению к собственному сердцу, ни, того менее, продажей самой себя на выгодных условиях. Чтобы укорять Марьку за то, что она решается остаться со слепым Тимошей не в первом, а в последнем акте драмы, чтобы возмущаться поведением ее матери, которая не хочет и боится этого брака, надобно быть не только ханжой, игнорирующим живые соображения жизни, но человеком, мало разобравшимся в замысле писателя. Ведь Леонов ставит девушку не перед выбором: любимый, но бедный и увечный Тимоша, либо нелюбимый, но богатый Юлий Кареев; он написал Марьку еще не любящую, а только готовую полюбить. И не случайно Леонов, столь склонный к многообразно расшифровываемым символическим подробностям, заставил Юлию звать Марьку на Памир. Не в столицу, не на Ривьеру, не на профессорскую дачу, а на кручи дальних гор, на крышу мира.

Леонов вовсе не говорит, будто золотая карета — поддельная, облезлая под первым дождем, что она привезет того, кто поспешит сесть на ее подушки, в обывательский тупичок. Нет, она воистину золотая и привезет именно туда, куда обещано, — на крышу мира, к высотам жизни, к славе, власти, успеху, к тому, что не может не быть желанно.

Когда полковник Березкин сурово утверждает, что человеку не надо апельсиновых рощ у моря, это вовсе не аскетизм, не нравственное юстничество. Просто автор и герой отдают себе отчет в том, что плата за проезд в золотой карете чересчур высока и душевных средств на «черный хлеб счастья» не остается. Или — или. Поэтому так настойчиво повторяется в «Золотой карете» мотив выбора. Выбирай! Это обращено не только к Марьке; это отзвук вопроса, когда-то стоявшего перед учителем Кареевым и матерью Марьки, Машенькой Порошиной; не случайно также драматург вводит почти сказочный мотив «распутья», когда демобилизованного сер-

жанта зовут к себе разные колхозы («налево пойти — богату быть...»).

А ведь возвращающийся сейчас в разоренный войной родной город учитель Кареев, кичливый и ущемленный, обделенный «черным хлебом счастья» и тешащий себя воспоминанием о груше, съеденной где-то на Елисейских полях, — Кареев когда-то отправился за золотой каретой не из жадности и не из славолюбия, а именно потому, что хотел по существу «черного хлеба счастья», только был уверен, что без кареты не будет вдоволь его, этого «хлеба». Учитель Кареев, теперь обернувшийся академиком Кареевым, считал, что одно совместимо с другим, что, добываясь одного, он одновременно обеспечивает себе и другое — главную свою цель. И то, и другое... Оказывается, невозможно. Или то — или другое. Или — или.

Конечно, в пьесах Розова многое иначе. Светлее, проще, непосредственнее. Но у Розова есть то же настороженное и недоверчивое отношение к «золотой карете», та же уверенность, что за проезд в ней взимается плата непомерно высокая, что человек, заплативший за нее, нищает. Это-то душевное разорение тревожит обитателей дома Савиных, когда они думают, как складывается жизнь Федора, самого «кудавшегося» из сыновей Клавдии Васильевны («В поисках радости»).

Если разобраться по-житейски — а пьесы Розова очень располагают именно к такому подходу, — то что же тут может тревожить мать, сестру и братьев Федора? Молоденькая Федина жена все домашние трения объясняет традиционной неприязнью семьи к ней. Может быть, в какой-то мере она права. Конечно, есть и обычное обострение отношений, и раздражение от купленных Леночкой вещей, совершенно загроздивших общую комнату, и оттого, что Леночка держит ветчину у себя в холодильнике — в своей спальне — для своего и Фединогo завтрака; за столом подчеркнуто нейтрально размышляют вслух, что вот, наверное, гонорар за ближайшую статью Федор потратит наконец на платье матери, а не на туфельки для Леночки... В том-то и дело, что есть и это, а значит, есть и повод сослаться на это; отодвинуть то, что составляет предмет беспокойства Клавдии Васильевны, объяснить ее недовольство сыном причинами будто бы самыми близкими, но **вовсе не самыми существенными...**



У Федора успех. Прекрасная защита диссертации. Многочисленные приглашения печататься — и он пишет теперь легко, ему дается; все блага, связанные с признанием и со званием: к осени получит квартиру в ведомственном доме (потому-то Леночка с утра пораньше отправляется на разведку в мебельные магазины); денег много, хотя, сказать правду, летят они страшно, расходы огромные. Раньше, когда бюджет был куда скромнее, укладываться было как-то легче.

Вообще раньше было как-то легче. И Федор мог бы спросить всех, с кем складываются странно напряженные отношения: в чем, собственно, дело? Чем во мне вы недовольны? Я же чувствую, что недоволен. И я знаю, что вы ко мне хорошо относитесь — стало быть, это не зависть (он еще не говорит сам себе, что это зависть, вульгарное недоброжелательство по отношению к человеку, которому везет). Я не зазнался, не обленился — работаю, как вол, устаю, голова трещит... «Слава богу, я не пройдоха, не жулик», — обиженно говорит он, и это чистая правда. «Федор зарабатывает самым честным трудом. Кажется, мы живем не какими-нибудь махинациями и спекуляциями», — говорит Леночка, и опять же это чистая правда. Когда-то примерно теми же словами отвечал Дима в споре с Костей Полетаевым: «Мой отец не капиталист, не вор», — и мы помним, что этого ответа казалось довольно. С ним соглашались. Сейчас Федор тихонько останавливает жену, возражающую на упреки свекрови: «И все-таки, Леночка, мама говорит правильно».

«Что правильно, что?» — возмущенно допытывается Лена. И Клавдия Васильевна повторяет: «Я говорю, Леночка, о том, что человек может иногда продать в себе нечто очень дорогое, что он уж никогда не купит ни за какие деньги. Продать то, что представляет истинную красоту человека. Продать свою доброту, отзывчивость, сердечность, даже талант». — «Но кто же из нас продает что-нибудь, кто?» И Клавдия Васильевна снова пытается сделать понятным Лене то, что для нее самой так ясно. «Разве я против материального благополучия?.. Что вы!.. Когда я осталась с ними, четверыми, одна, — поверьте, я знала, что такое «трудное житье». И когда я выкрячила, помню, Федору на первый в его жизни костюм, — он тогда в университет пошел, —

поверьте, я была гораздо больше счастлива, чем он сам». — «Ты не обижайся, мама, но мне тогда это было решительно безразлично», — улыбнется Федор, и мать кивнет согласно: «Конечно, тогда ты искал других радостей жизни...» — «Меня и сейчас интересуют совсем не вещи». — «А что?»

«Мама, Федя действительно сейчас имеет много дополнительной работы, но нам надо купить и то, и другое, и третье... Мне самой его жаль, но это временно, — когда мы заведем все...»

Верит ли Леночка, что «это» в самом деле временно, — неважно; Федор верит. Когда будет куплено «и то, и другое, и третье», когда он «разошется» с текущими делами, когда наладит свою жизнь и окончательно «выработает поведение», — тогда он засядет за свою «заветную». «Я еще покажу им себя! Я докажу...» — «Ничего и никому ты уже не докажешь, Федя», — грустно, больше себе, чем ему, возразит мать. Слишком дорого заплачено за место в золотой карете. Не осталось на жизнь.

И вот оказывается, что выбор «или — или», перенесенный с философских леоновских высот в жилую обстановку пьесы Розова, стоит с той же непреклонностью. Судьба Федора чем-то совпадает с судьбой Карева. Жить ему становится все лучше, но и все острее недостает ему «черного хлеба».

Дело в Леночке — уверенно объясняют пьесе Розова во многих театрах, да и во многих критических статьях. Это — продолжение розовской антимещанской темы. Между тем автор предвидел именно такое поверхностное понимание и заранее отвел его. Когда Таня Савина размышляет о том чужом, что появилось в их доме, ее соседник договаривает полувопросительно: «Зовут это чужое — Леночка?» — «Не знаю, — отвечает девушка (Розов дает ремарку «подумав»). — Скорее — Федор».

Что ж Леночка... В конце концов она только просит подвезти ее в золотой карете — и недалеко, до ближайшего мебельного магазина. И за место в золотой карете платит ведь не она, платит муж. Что страшно в Леночке? То, что ей очень много нужно? Да нет же, наоборот, ей, в сущности, необыкновенно мало нужно. Гораздо меньше, чем всем остальным обитателям дома, даже меньше, чем пятнадцатилетнему Олегу. Тому нужна и поэзия, и путешествия, и полное собрание сочинений Джексона

Лондона — не на полку, а читать до четырех часов утра, — нужна любовь, пусть это пока лишь любовь к Вере, к Фире или, на худой конец, к Инночке-блондинке из школьной редколлегии. Клавдия Васильевна, вдова, в одиночку поставившая на ноги четверых, должна была приучиться урезать во всем, но не в своих представлениях о том, что истинно нужно человеку. А Леночка, в общем, несчастная. К осени переберется в новую квартиру, и выяснится, что у соседней обстановка не в пример лучше и вообще кто же теперь покупает чешские серванты, у всех красное дерево... И Леночка проклянет свою несчастную жизнь и пустится по коммиссионным магазинам за «Павлом Первым»... Но, повторим, дело не в Леночке, не в ее душевной обделенности, когда человек просто не успел вырастить сам в себе настоящих духовных потребностей, а материальные возможности его резко возросли. В подобной ситуации, когда благосостояние человека растет, а сам он не становится внутренне богаче, человечнее и умнее (это же не приходит само собой, с одним лишь ростом материального благополучия), Леночкина сердечная скудость очень естественна.

«Временно, — повторяет себе Федор. — Это временно».

Притом у него есть очень высокое оправдание: если он и отложил до срока свое «заветное», ту работу, в которую должен был вложить всего себя, то ведь это ради Леночки. Это ради любви. «До сих пор считалось, любовь — это одно из высоких и чистых чувств, всегда возвышающих человека», — почти высокомерно произносит Федор. Клавдия Васильевна удивительно тихо, подумав, отвечает ему: «Это неправда, Федя».

Розов всегда настойчиво внимателен к тому, что принято называть азбучными истинами. Иногда даже кажется, что ему вредит тюзовская привычка к подтверждению прописей. Но такое впечатление поверхностно. Азбучность психологической проблематики у Розова имеет свой очень существенный смысл. Это не повторение, а проверка элементарных нравственных установлений, их испытание фактами и размышлениями над живым материалом. И если в большинстве случаев Розов дает положительные итоги проверки, он так же честен и при обнаружении снюшенности и истощенности какой-то литеры нравствен-

ного букваря. «Очень часто любовь принижает человека, разрушает его жизнь. Я даже не знаю, совершенно ли во имя любви на земле больше высоких поступков или подлых». (Так скажет Клавдия Васильевна, а через несколько часов стрясется беда в квартире рядом, уведут в милицию спекулянтку Таисью Николаевну, и ее дочери запомнится только жалкий и облезлый выкрик: «Дядя тебя ведь, Маринка, старалась, для тебя!»)

Федор еще не сделал в жизни того, что принято называть «первым шагом по дурному пути». Он не интригует, не пишет беспринципных статей, не подсиживает сослуживцев — словом, не совершает ничего, что было бы подсудно хотя бы этическому суду. Не говоря уже о том, что он, как возмущенно говорит Леночка в ответ на беспокойство матери, «зарабатывает самым честным трудом», а не живет со спекуляции. История соседки Савиных в пьесе — это меньше всего предупреждение Федору: вот, дескать, до чего доводит корысть, бросишь науку и пойдешь наживаться на «закорыстных рубашенциях». Розов нарочно сблизжает случай с Таисьей Николаевной и случай с ученым-химиком Савиным, чтобы лишний раз согласиться с Леночкиными утверждениями: тут сходства нет; Федор не какой-нибудь мошенник и не будет им; Клавдия Васильевна берет через край, говоря: «Можешь им стать». Опасность вовсе не в этой перспективе.

Опасность как раз в том, что по сравнению с Таисьей чувствует себя на зависть порядочным не только Федор Савин, но и, например, Иван Никитич Лапшин. Его не уведут милиционеры в отделение, а если у него есть привычка путать собственные деньги с казенными, так никто его на этом не ловил и не поймает. Лапшин отрешивается даже от знакомства с Таисьей Николаевной: «Чего ты выдумала? И никаких отношений у нас с ней не было... Вы тут меня не путайте!» Точно так же ответит Леночка, если кто-нибудь приравняет ее поведение к поведению жадюги и грубияна Лапшина: «Вы тут меня не путайте!»

Розов и не «путает». Он только ставит вещи в один ряд, ничем не подчеркивая своих сопоставлений. Он вовсе не хочет, чтобы зритель воскликнул «ага!», «вот оно!», если в первом акте Федор пожалуется на осложнившиеся отношения в институте («хоть уходить оттуда...»), а под ко-

нец пьесы Иван Никитич, до сих пор тянувший и тянувший свою московскую командировку, срывается с места и торопится к себе в район («под меня там копают, на мое место зарятся»). Автор не ждет этого «ага!» и по тому поводу, что поначалу Олег с мучением глядит на Генку Лапшина: как это можно, чтобы отец бил сына, муж бил жену, а потом разыгрывается сцена — Леночка с палкой гоняется за набедакурившим Олегом и наконец, отвешивает пощечину мужу...

Автор сближает интеллигентного Федора и цивилизованную Леночку с вульгарно-корыстным Лапшиным словно бы невзначай и по наивности. (В розовских пьесах вообще настолько натуральна житейская обстановка, настолько непосредственны бытовые впечатления, что о конструктивных соображениях писателя не думается.) Так, в ответ на недоумение Олега, зачем это людям требуется столько барахла, Геннадий Лапшин снисходительно и невесело поясняет: «Для удобства жизни. Отец тоже все в дом ташит». Вот это ненароком оброненное «тоже ташит», попросту и неосудительно ставящее на одну доску примитивное стяжательство Лапшина и заботы Леночки, как создать достойную домашнюю обстановку мужу-ученому, — для Розова очень важно.

Однажды пожелав «удобств жизни», человек платит за них сполна, хотя всякий раз иной монетой. В конце концов прощсе всего расплата Таисьи: отсидит несколько месяцев, если не снизойдут к тому, что у нее маленький ребенок. Но придется платить и Федору.

В том, что нельзя же впрямую приравнивать поведение кандидата наук Федора Савина к уголовному делу Таисьи Николаевны, — постоянный оправдательный мотив. Существуют градации. Существует великое множество способов сохранять уважение к самому себе, когда это уважение уже где-то подточено.

Федор Савин из «В поисках радости» раздраженно твердит, что он не пройдоха и не жулик. В пьесе «Вечно живые» даровитый пианист Марк Бороздин будет также возмущен, если его поставят на одну доску с развешшейся, вороватой Нюркой-хлеборезкой. Но есть своя логика в том, что Марк оказывается за одним столом с Нюркой и должен слушать ее горластную «Рябинушку»

под аккомпанемент патефона, тянущего совсем не тот мотив.

«Вечно живые» занимают особое место в драматургии Розова. Когда пьеса была напечатана, сложилось мнение, будто это произведение на самом деле — первенец автора. Мнение, очевидно, ошибочное: «Вечно живые» написаны иной рукой, чем первые пьесы Розова, мастерство построения тут подчас утонченное. (Вспомним хотя бы стык финала первого действия с началом следующего: несостоявшиеся проводы любимого, запруженные улицы Москвы, людской поток, который сносит по течению человека, пытающегося пересечь его напрямик, несчастные пакетики в руках Вероники — в дорогу Борису, любовь, смятение, всегдашняя неожиданность военных разлук — и потом тишина, скудное эвакуационное чаепитие, «совершенно чужая комната» и Вероника в своей любимой позе с ногами на диване, и необязательный вечерний разговор, и мельком, как об известном: «Ваш муж очень практичный человек». Борис пропал без вести, а Вероника замужем за Марком. Вот так случилось. Это ничем не подготовлено, и в самой этой неподготовленности разительная сила; это так же случайно, как то, что на войне убили такого-то — мог бы и вернуться живым...) Но «Вечно живые» в самом деле воспринимаются как предисловие ко всему творчеству писателя, как обнародование его заветных тем, как первая и наиболее общая заявка на рассмотрение моральных вопросов, составляющих постоянный предмет розовского анализа. Притом оговорим вот еще что: «Вечно живые» — это также и историческое «предисловие» к остальным пьесам, время действия которых отделено полутора-двумя десятилетиями от лет войны.

В первом варианте «Золотой кареты» отвоевавшийся полковник Березкин уходил поводырем Тимоши — астронома, которому выжгло глаза на фронте. Они пойдут по вагонам, каждый день обращаясь к людям с напоминанием: «Мы — война!» Не выдерживая проверки бытовой логикой (почему, вероятно, и был снят драматургом первоначально предположенный оборот судеб героев), леоновская концовка философски оправдана. Леонов хочет будоражить память о войне — великую «проверочную» память народа. Это не только память подвига, предостерегающая от трусости в быту и в общественной жизни. Это память о

высших духовных критериях, о чрезвычайности и общепринятости таких этических норм, когда требования простой честности обязывали к героизму, самоотвержению и диктовали неотъединенность собственной судьбы от суровой судьбы народа.

В этом же качестве память о войне приходит и в драматургию Розова.

Юноша Борис Бороздин поясняет взволнованной, растерянной Веронике, как случилось, что он подал заявление добровольцем на фронт: «Как же я мог иначе?.. Если я честный, я должен..» Борис не вкладывает в свое «если я честный» никакого убеждающего напора — он просто называет слово, которое само по себе довод и обладает властью убедительности.

«Если я честный...» Этот вопрос всегда серьезен и значителен для любимых героев Розова. Отвечая на него, Борис Бороздин уходит добровольцем на фронт. Для Андрея Аверина, для Олега Савина, для Святослава Заварина вопрос не обострен войной, но стоит он все так же: «если я честный...» Требования честности формулируются, естественно, по-разному, время меняет их и ставит совсем иные; не всегда требования честности обязывают непосредственно к поступкам; иногда честность требует прежде всего работы мысли, чувства душевной ответственности, последовательности анализа. Если я честный, я должен узнать, понять, докопаться до истинного в жизни...

Розов пишет, как говорят у нас, «на морально-этические темы». Но для него — в этом сила его драматургии — вопросы морали не существуют вне вопросов гражданских. Герои Розова стесняются высоких слов («По-моему, есть такие чувства — они высокие, благородные, — но их обязательно надо хранить в тайне», — скажет застенчивая Катя в пьесе «В добрый час!»), и Розов разделяет это их свойство; не произносит высоких слов даже Борис Бороздин, хотя у него больше прав на них, чем у его младших товарищей — Андрея или Олега; он не говорит вслух, что честность — это прежде всего служение родине, единство с народом, готовность и желание разделить его труд, его бедствия, его подвиг.

Леоновский образ «золотой кареты», перенесенный в розовские пьесы, приобретает очень простую наполненность, открывается как образ не национальной жизни, как образ персональной удачи, безразличной к счастью или несчастью народа.

Юноши из пьес Розова, казалось бы целиком занятые решением своих «личных» вопросов, — по сути, люди очень «общественные», и вопрос честности, такой острый для них, меньше всего вопрос соблюдения личной душевной опрятности. Для того же Андрея Аверина, с его тревогой «каким я буду», ощущение собственной ценности проверяется тем, насколько нужен либо не нужен будет он людям. Маленький школьный демагог Володька Целочкин восклицал: «Кем бы ни быть, лишь бы приносить пользу родине!», оставаясь «подлипалой и прихлебалой»; Андрей, который как раз больше всего думает именно о том, чтобы быть настоящим, хорошим человеком для людей, «приносить пользу родине», понимает, что от «прихлебалы» пользы родине ни на грош, какие бы речи он ни произносил.

Строить себя как достойного человека — это, если угодно, тоже вклад в строительство коммунизма, и достаточно существенный. Коммунизм — это еще и люди коммунистического общества. Розов об этом помнит.

Итак, честность. В «Вечно живых» этому слову возвращена нерастяжимая точность. Честность ведь не вяловатая, бездейственная антитеза моральному жульничеству. Честность требует от человека активности, она не знает попустительства, она невозможна про себя и в укромном месте. Есть сто тысяч способов казаться честным и только один способ быть честным: быть честным.

Казаться честным лестно и привычно многим. Даже обнаглевшая, разжиревшая хлебоборозка Нюрка, спекулянтка и халуга, жаждет соблудности ощущение своей порядочности. В минуту сердечной откровенности Нюрка вполне искренне скажет: «На нервах живешь... на нервах!.. Несу хлеб, а сама оглядываюсь, будто воровка какая...» Будто воровка! Нюрка произносит эти слова с чувством незаслуженной обиды. Нюрка себя воровкой не считает; у нее кругом ажур — не только перед несмышлеными ревизоршами с косичками, но и перед самой собой. Она, пожалуй, про себя называет сама себя честной, благо уж так растяжимо это понятие: в доме у Монастырской, куда она звана на именины, она ведь не стащит ложечек...

Нюрка будет возмущена, когда ее приравняют к карманнице, корректный делец Чернов пожмет плечами, если его прирав-

няют к заворовавшейся хлебобрезке, пианисту Марку искренне противен полезный человек Чернов, «устроивший» ему броню, и его в свою очередь шокирует, если между ними не заметят разницы. Возникает своего рода лестница. Люди, стоящие на верхней и на нижней ее ступенях, кажутся вовсе несопоставимыми, но несопоставимость эта мнимая, потому что, повторим, существует сто тысяч способов казаться честным и только один способ быть честным. И сколь ни различны пределы, до которых растягивают понятие честности хлебобрезка Нюрка и музыкант Марк Бороздин, сколь ни различны избираемые ими средства сохранять или добиваться «удобства жизни», — разница не столь существенна.

Спускаясь по шкале «растяжимой» честности, человек кончается. («Вот ведь не стреляли в человека, а убили, наповал убили!» — вздыхает о Марке бабушка.) Логика же подлинной честности естественно и неизбежно ведет к героике. Так приходит к подвигу Борис Бороздин.

...Маленький «типовой» обелиск. «Здесь другие хлопцы». И вот над этой чужой могилкой Вероника падает на землю, целует ее: «Боря!.. Мне так хочется поговорить с тобой». (Это пронзающее житейское «хочется поговорить» найдено драматургом удивительно!)

Вероника говорит Борису, что уже не помнит его лица, удерживает и не может удержать в памяти его черты, но это ничего, «ты становишься для меня еще более красивым, чем был...» Память о Борисе для нее всегда вопрос о том, как она живет, как живем все мы, «кому ты и другие отдали свои недожитые жизни... Как мы живем?»

Этим вопросом кончается пьеса.

Борис Бороздин — человек того же поколения, того же душевного и исторического склада, что капитан Новиков из «Последних залпов» Ю. Бондарева, что солдат Алеша из «Баллады о солдате» Г. Чухрая. («Ты становишься для меня еще более красивым, чем был», — могли бы повторить создатели этого фильма, в котором тоже точность живых черт порой размывается, и герой живет прежде всего как легенда о нем, как память об удивительно чистом и честном человеке.) Это один из тех людей, о ком — применительно к своим сверстникам — написал Борис Слуцкий:

Та линия, которую мы гнули.  
Дорога, по которой юность шла,  
Была прямою от стиха до нуля —  
Кратчайшим расстоянием была.

Человек «кратчайшего расстояния», характер совершенной прямооты и цельности, Борис Бороздин легко и, кажется, даже обязательно мог быть противопоставлен Андрею Аверину и его сверстникам, как и его героическая судьба — их нравственным неурядицам. Тем более, что Розов сам относится к поколению Бороздина, а не к поколению Аверина.

Но драматург отказывается противопоставить характеры Бориса и Андрея — характеры двух поколений — во имя прославления одного из них и перевоспитания другого («Мы не такими были в ваши годы!»). Розов написал эту — или схожую — фразу, но произносит ее в пьесе не кто-либо из персонажей, кому автор склонен доверять свое выношенное, а Иван Никитич Лапшин («Беда, Клавдия Васильевна, с молодым нашим поколением, беда!.. Не простое растет, с вывертом...», «Вопросы они там задают! Знаем, что это за вопросы!»), или дядя Роман из «Неравного боя» («Что говорить — поколение с червоточиной!»). Это он, Лапшин, — единственный в пьесах Розова — ткнет в портрет погибшего отца пятнадцатилетнего Олега: «Отец твой героем погиб, саблю именную имеет, а ты...»

Действительно, у Андрея Аверина и даже у подростка Олега множество вопросов. Простым его, это поколение, в самом деле нельзя назвать. Андрею Аверину присуще напряженное самоуглубление (очень парадоксально, но и очень естественно сочетающееся с полнейшей, до дерзости, откровенностью), повышенная неприязнь к фразе, интерес к «азбуке», резкая конкретность размышлений — в противовес «общим словам», усвоенным со слуха и чрезмерно выгодным в употреблении. Да, это характер сложный. Но Розов не видит в этой сложности беды, он воспринимает ее как черту историческую.

В одной статье, клеймя Женьку Шульженко, фабричную девчонку того же поколения, критики Л. Барулина и П. Демин бросали драматургу Володину: «Забыли вы, когда писали пьесу, обо всем хорошем, свитом, что возвышает нашу молодежь. Вы только умилаетесь естественности... Женьку Шульженко, ее стремлению «жить, как хо-

чется». Но вы забыли, как по мерзлой дороге босыми ногами шла к своей смерти и бессмертию рядовая советская девушка Зоя Космодемьянская!»

Розов тоже говорит о святой памяти тех, кто сложил голову за Родину, и тоже видит в их подвиге нравственную меру нынешней жизни. Об этом — «Вечно живые». Тот же мотив чуть слышно пройдет и в «Неравном бое», в строках из Твардовского, которые повторяет Лиза: «Снег шершавый, кромка льда... Кому память, кому слава, кому темная вода!..» Но при всем том он отказывается побивать одно поколение примером жизни другого и предоставляет говорить об испорченности молодежи, желающей «жить, как хочется», Лапшину. Странно предположить, что Розову нравится сложность больше, чем цельность, Андрей Аверин — больше, чем Борис Бороздин. Неверна самая постановка вопроса: нравится — не нравится, как странен и совет «не окружать ореолом... а развенчивать». Розов не занимается ни тем, ни другим, он занят более стоящим делом: непосредственным анализом нового характера, сложившегося в новых и достаточно сложных исторических обстоятельствах.

Пьесы Розова, с их мягкой манерой и с их несниженным этическим спросом, полны очень серьезного и очень основательного доверия к молодому поколению. Тема доверия к юности — центральная тема его последней пьесы, в сборник, о котором идет речь, не вошедшей. (Она напечатана в 1960 году в журналах «Театр» и «Юность».)

«Неравный бой» — вещь в самом деле для писателя новая, в чем-то «пробная»; критик Н. Лордкипанидзе в статье «Юность выигрывает бой» уже говорила: новизна этой пьесы тем своеобразнее, что, по всей видимости, Розов придерживается своей обычной тематики, своей обычной манеры, своего обычного круга материала. Новизна, очевидно, в особой «вместительности», «емкости» бытовой драмы, в лаконичности, граничащей с условностью и в то же время соединенной с полной натуральностью. Как обычно у Розова, мысль здесь растворена в потоке житейских событий. Но раствор оказывается небывалой крепости, резкой концентрированности. Писатель по-прежнему чуток к житейской сложности изображаемого, по-прежнему изыщен психологический анализ, а вместе с тем появляется то, что можно бы назвать «фронтально-

стью»; обобщения сугубо слиты с наблюдениями.

«Это, в общем, смешно, что они нам ключей от двери не доверяют», — не подымая глаз от маленьких шахмат, говорит Митя. «Дико!». Артист ЦДТ, играющий Святослава, произносит это «дико» без восклицательного знака, который стоит в тексте, скорее снисходительно, чем возмущенно. В самом деле, с точки зрения Розова смешно не доверять Славке и в том маленьком вопросе, который так страстно обсуждается героями пьесы, и в гораздо более существенном.

Доверие и интерес к тому новому, что несет в жизнь новое поколение, в высшей степени присущи писателю. При этом его доверие к молодежи вовсе не основывается на том, что с годами они пообломаются, станут «как все». «Погоди, жизнь-то тебе углы пообломает, сделает кругленькими... Погоди!» — и обозленно и умудренно пророчит племяннику Антошкина. Святослав сухо соглашается: «Подожду». Но Розов ценит своих героев вовсе не в этой предсказанной Антошкиной перспективе, он не «прощает» им угловатости, не заявляет с терпеливостью, что юности извечно свойственны крайности, вообще не говорит, что молодежь всегда такая, спокон веков, но опознает характеристические черты именно нынешнего юношества.

Как все новое, это поколение требует понимания. Его надо знать. Оно уже реально существует, у него свои требования, свои нравственные отличия, и во всем этом надо уметь разобраться. Нельзя проблемы, связанные с этим новым поколением, отбрасывать с такой же неосновательной уверенностью, как отбрасывает книжку по кибернетике сосед Заваринных: «Черт-те что! Ни одного слова не поймешь!.. Белиберда!» Нельзя считать «белибердой» либо «червоточинной» все, что просто не уложилось в твое понимание. Нельзя встречать юность недоверием. Тем более, что юность практически этого доверия заслуживает.

В «Неравном бое» Митя рассказывает, кто из их выпуска куда попал из десятилетки: Левка, Тося, Петров, Игорь уехали на Иркутскую ГЭС, Софка на днях замуж вышла, «высший класс показал Славка» — попал в университет... В пьесе очень важна эта интонационная легкость, с которой Митя говорит вместе и о товарищах, отправившихся на стройку в Сибирь, и о влюбчивой

Софке, и о главном герое пьесы. Левка, Тося, Петров, Игорек, Славка — один выпуск, одна жизненная формация, одно поколение. Если бы в центр внимания Розова попал не Заварин, а отсутствующие на сцене Петров или Тося, мы убедились бы в единстве психологического типажа. И Тося и Петров — тоже не «кругленькие», тоже «задают вопросы»...

Розов предпочитает писать о том, что знает досконально, он не решится перенести действие из знакомой ему до мелочей среды в обстоятельства производства, известные ему понаслышке или по самым кратким впечатлениям. Но вот писатель Анатолий Кузнецов, человек иной биографии и иного жизненного опыта, свой на сибирских новостройках, пишет «Продолжение легенды», и в герое, от чьего имени ведется повествование, в семнадцатилетнем бетонщике Толе, мы узнаем черты московского юнца Андрея Аверина. Это вовсе не след литературного воздействия Розова на Кузнецова. Манера одного не имеет сходства с манерой другого. Но есть совпадение типажа, есть общие черты поколения, равно

проступающие в Андрее и в Анатолии, в юношах разного склада и разной судьбы.

Виктор Розов провожает своих героев до порога. Андрей Аверин и Святослав Заварин становятся взрослыми, они входят в жизнь, как становится взрослым и входит в жизнь поколение, к которому они принадлежат. О них еще будут писать. Напишут, наверное, более драматично, с большим публицистическим накалом, с большим общественным охватом — хотя бы на том основании, что герои, взрослея, соприкоснутся с более широкой общественной проблематикой, им предстоит реализовать себя и свою этическую программу «вне дома». Но о том, что они представляют собой «на пороге», с чем они приходят, Розов заговорил первый. Написал своих молодых героев, доверяя их честной юности, не спеша к ним с наставлениями, пусть самыми доброжелательными. «Пусть поищет!..» — задумчивыми словами отца Аверина кончается «В добрый час!», и в этой фразе, соединяющейся с благожелательным заглавием пьесы, — весь Розов.



# КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ

★

### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

**А. Турнов.** О времени и о себе...— **О. Михайлов.** Синее и голубое — **И. Андреева.** Земля, где ты живешь.— **С. Ларин.** «Волшебные очки» Януша Осенки.— **Лев Копелев.** Проблемы реализма.— **Г. Трефилова.** Одна серьезная поема.— **Юрий Полетика.** Конец доктора Уинслоу.

### ПОЛИТИКА И НАУКА

**О. Войтинская,** кандидат философских наук. Полезное исследование — **П. Ильин.** Массовая библиотека рабочего.— **Г. Миньковский, М. Рагинский,** кандидаты юридических наук. Государство без права.— **В. Тулов.** Джунгли американского расизма.

## Литература и искусство

### О времени и о себе...

**В**ышел двухтомный сборник автобиографий советских писателей.

Разные поводы и обстоятельства, которым обязаны эти автобиографии своим появлением, предопределили их крайнюю разнородность.

У тех, к кому недавно обратились составители сборника с просьбой рассказать о своем пути, естественно, возникло желание оглянуться на свою жизнь как на частицу литературного процесса и — даже шире того — жизни всего народа.

Другие уже никогда не смогут вернуться к торопливому — по необходимости, — напоминающему то ли анкету, то ли памятную записку отрывку, чтобы пояснить и расширить его. И рука друга или биографа старалась дополнить эти скудные строки, прибавляя к ним (по своему вкусу) отрывки из произведений автобиографического характера, статей, писем, воспоминаний современников. Все это неминуемо сообщило сборнику заметную пестроту.

**Советские писатели. Автобиографии в двух томах. Том I. 704 стр. Том II. 760 стр. Составители Б. Брайнина, Е. Никитина. Редактор А. Дмитриева. Гослитиздат. М. 1959.**

Но мы не так уж богаты подобными книгами, систематизирующими хоть в какой-то степени путь, пройденный советской литературой и ее творцами, чтобы с педантической важностью судить только о принципе, который положили составители Б. Брайнина и Е. Никитина в основу своей работы. Труд, ими проделанный, заслуживает живейшей признательности. (Отметим, однако, такой промах, как отсутствие в сборнике автобиографии Багрицкого — пусть неоконченной, черновой, но, бесспорно, представляющей большой интерес.)

Далеко не все автобиографии, включенные в сборник, являются художественными произведениями, какими, как скажем, отрывки из книг С. Маршака «В начале жизни». К тому же многие из них давно известны (например, «Я сам» В. Маяковского или автобиографические статьи ряда писателей, многократно перепечатывавшиеся в их однотомниках, двухтомниках и собраниях сочинений). Поэтому вряд ли читатель будет читать эту книгу запоем, страницу за страницей.

Но, обращаясь к сборнику по мере надобности, вычлывая из него подробности жизни то одного, то другого писателя, посте-



ленно перестаешь видеть в этом издании только справочник, и почерпнутые тобой сведения начинают складываться в картину великого времени.

Сказочному богатырю Гераклу еще в колыбели пришлось схватиться с двумя огромными змеями. Так и новорожденная Советская республика вынуждена была защищаться от белогвардейцев и интервентов. Ее морили голодом и душили блокадой. И в первые годы после гражданской войны врагам мерещилось, что вот-вот совсем прервется слабое дыхание заводских труб, остановятся моторы, угаснет жизнь.

Но этим надеждам не суждено было сбыться. Молодая Страна Советов вышла победительницей из навязанных ей войн, справилась с разрухой и приступила к социалистическому строительству. Гигантские творческие силы, раскованные революцией, действовали во всех областях жизни; один за другим являлись талантливые люди, которые прежде, принадлежа к «социальным низам», или пропали бы (что бывало чаще всего), или потратили бы зтому времени и усилий, чтобы пробить себе дорогу.

Сходные процессы шли и в литературе. Революция не только придала силу многим звучавшим и раньше голосам, но и вызвала к жизни дотопе не известные таланты. В новых книгах читатель ощущал масштаб совершающихся перемен, различал черты нового героя. Левинсон, Чапаев, партизаны Всеволода Иванова — эти образы, созданные писателями, «революцией мобилизованными и призванными», вместе с монументальной фигурой Кожуха, этой вершиной творчества Серафимовича, по праву всегда вспоминаются нам как первые победы советской литературы в деле освоения новой действительности.

Время великих перемен отразилось не только в творчестве, но и в самих биографиях писателей.

Аркадий Гайдар, ставший в семнадцать лет командиром полка, заметил, что это была «обыкновенная биография в необыкновенное время».

Многообразны пути, какими различные литераторы пришли к революции, сделались творцами молодой советской литературы. «Жизненных опытов» не было много. Смутно помню я большие петербургские квартиры с массой людей, с няней, игрушками и елками — и благоуханную глушь нашей маленькой усадьбы».

Такова была атмосфера детства Александра Блока. И, перечитывая эти строки, по-новому воспринимаешь позднейшую дневниковую запись автора «Двенадцати»: «...человеческая совесть побуждает человека искать лучшего и помогает ему порой отказываться от старого, уютного, милого, но умирающего и разлагающегося в пользу нового, сначала неуютного и немилостивого, но обещающего свежую жизнь».

А рядом — тяжелейшая обстановка в семье Придворовых, по сравнению с которой будущему поэту кажется раем даже жизнь «казеннокоштного» воспитанника.

«Когда мне предлагают написать об «ужасах» военного воспитания, — вспоминал Демьян Бедный, — то мне становится просто неловко. Какие там ужасы, когда я в школе впервые почувствовал себя на свободе. Высокие белые стены, паркетные полы, ежедневно горячие обеды — да мне такое и во сне не снилось никогда».

«С обиды... началась моя жизнь», — свидетельствовал Сулейман Стальский.

Так не похожи друг на друга уже сами «исходные точки» жизненных дорог!

И если впоследствии некоторые пути удивительно прямы и ясны, как, например, судьбы Гайдара, Островского, Фурманова, то другие могут быть охарактеризованы словами И. Эренбурга: «...вместо прямой дороги, передо мной оказался клубок тропинок».

О, безобидные с виду тропинки, медленно, но верно отвещающие от больших дорог и не раз заводившие беззаботных путников в непроходимую глушь или даже в трясину! Их много появилось в ночь после битвы», как превосходно назвал Воронский эпоху после поражения революции 1905 года.

«Если школьные годы нашего поколения были отмечены подъемом революционного настроения, то годы университетские совпали с тяжелой реакцией. И это резко отразилось и на моем развитии как писателя», — так рассказывает М. Шагинян о «настоящем и глубоком идейном кризисе», который она в ту пору переживала.

Суровый отрезвляющий опыт вынесли из этих горьких лет многие советские писатели и навсегда приобрели «иммунитет» к микромам безыдейности и формализма.

«Моя практика в лоне эго-футуризма позволяет мне сегодня с несравненным чув-

ством превосходства смотреть на подвиги литературных и художественных «новагоров» Запада. Мне смешно видеть, как эти замшелые провинциалы беспомощно и жалко воскрешают пережитое нами полвека назад, выдавая прелесть духовную заваль за новые откровения», — писал Борис Лавренев.

Наивно полагать, что те, кто прежде заблуждался, в первое же за революцией утро проснулись готовыми советскими писателями.

Революция — это суровая и трудная школа классовой борьбы, сопряженная с неизбежной переоценкой множества взглядов и понятий. Не сразу постигали многие писатели истинную суть происходящего, подчас увлекаясь преходящими частностями и принимая их за главное.

Со страниц сборника доносятся отголоски ожесточенных литературных боев и стычек, отчаянных споров, громокипящих деклараций, сопровождавших рождение советской литературы. Здесь были и глубоко принципиальные дискуссии, во многом определившие дальнейшие пути нашего искусства, и крикливые перебранки пыжащихся изо всех сил доморощенных гениев; в гул строительных работ врывались отголоски недавних декадентских шабашей, и даже прекрасные, бесконечно преданные революции люди сгоряча поддакивали нелепым архилевым лозунгам в искусстве. («Скажите рабфакам «красота», и они — свистут, как будто их покрыли матом, — писала в те годы Лариса Рейснер. — От «творчества» и «чувства» — ломают стулья и уходят из залы».)

Большинство же творцов нового искусства, при всех частных разногласиях между ними, один за другим выходили на единственно плодотворную дорогу — активного участия своим пером в жизни народа, какие бы, казалось, сложные опосредствованные формы это порою ни принимало.

Этот процесс с небывалой силой проявился уже в годы гражданской войны в творчестве Демьяна Бедного, В. Маяковского, А. Серафимовича и многих других, приравнявших себя к рядовым солдатам революции.

Все глубже и шире развивался этот процесс и в годы мирного восстановления, а в эпоху первых пятилеток приобрел поистине громадный размах.

«Пятилетки! Какие великолепные книги были написаны в эти дни и какие еще напишутся!» — благодарно восклицает Всеволод

Иванов, оглядываясь на то героическое время.

«Осуществление первой пятилетки неотразимо изумляло нас своею социалистической новью, своим дерзновенным превращением общенародной мечты в невиданные до той поры живые формы. То, что я увидел, было действительно небывалым. Темпы громадного строительства разительно отражались на людях, ломали их, и я чутьем проникал в существо какого-то не очень понятного мне тогда значительного процесса, полного динамичности противоречий, внутренней диалектики...» — вспоминает Николай Подгунн, сделавшийся, по его словам, драматургом после поездки на строительство Сталинградского тракторного завода.

Как об «открытии новых людей» вспоминает В. Каверин о своем пребывании летом тридцатого года в зерносовхозе «Гигант», в результате чего родилась «маленькая, но очень дорогая» для автора книга рассказов «Пролог».

В еще большей степени воспринимали совершающееся как пролог новой истории своих народов писатели различных национальностей, населяющих нашу страну. О том, как претворилась в их собственной жизни прежде горькая, а ныне радостная судьба родного народа, мы и раньше немало знали, как как жанр автобиографической повести — один из самых распространенных во многих национальных литературах, где раньше почти или даже целиком отсутствовала проза. Назовем хотя бы известные книги Айни и Салчака Тока. Но из многих помещенных в книге автобиографий можно почерпнуть интереснейшие факты, характерные для нашего времени.

Главным из впечатлений является ощущение теснейшей взаимосвязи, в которой развиваются литературы народов СССР, и огромного благожелательного интереса друг к другу. Недаром, при всей краткости его автобиографии, Микола Бажан не может не упомянуть о «радости от познания упорно не замечавшихся старым миром сокровищ так называемых «малых» народов». Недаром и Георгий Леонидзе значительную часть своей автобиографии посвящает Маяковскому, Есенину, Тихонову и их дружбе с грузинскими поэтами. Знаменательно также, что во многих автобиографиях содержатся, где пространнее, где более скупые, упоминания о занятиях переводами с языков дружественных народов.

Эта дружба выдержала проверку железом и огнем, когда разразилась война. Из летописей Великой Отечественной войны неизгладим день появления на стенах города-героя послания Джамбула «Ленинградцы, дети мои!» Но немногие знают, что сын казахского акына погиб под Сталинградом.

«Литышские стрелки сражались против фашистов плечом к плечу с литовцами и эстонцами; русские, украинцы, и белорусы — все советские народы сражались вместе с ними за Латвию, Литву и Эстонию», — свидетельствует Ян Судрабалс.

Значение вклада, который сделала советская литература в дело победы, общепризнано. У многих писателей мы находим горделивые воспоминания о том чувстве особой, кровной близости к читателю, которое они испытали, когда он благодарно отзывался об их стихах, статьях, рассказах, как о новом, добротном оружии, как о горячей пище, доставленной в только что захваченный окоп вовремя (с точки зрения фронтовиков, в последнем сравнении не только нет никакой обиды, но, напротив, содержится величайшая похвала).

«Последнюю корреспонденцию из Праги, где, уже после того как Москва дала «большой салют» победы, все еще продолжались яростные сражения с гитлеровцами, я передал в редакцию открытым текстом по повстанческой радице из подвала под зданием Пражского розгласа, — пишет Борис Полевой. — Эту корреспонденцию, которую пришлось кричать прямо в микрофон, имея перед собой лишь заметки, сделанные на

папиросной коробке, я считаю лучшим из всего, что мною было напечатано в газетах за всю войну. Настоящий репортаж...»

Естественно, что послевоенные годы освещены в автобиографиях более скупое, временами протокольно. Все более и более беглыми штрихами очерчивают писатели пережитое ими за это время.

Что ж, это понятно. Рассказывая о прошлом, авторы имеют в виду целые поколения, выросшие с тех пор и требующие, чтобы их посвятили в «дела давно минувших дней». По-новому рисуются в исторической перспективе многие лица и явления, и даже собственные старые книги и нозиции уже нуждаются в комментариях. Говоря же о недавних событиях, авторы часто полагаются на читательскую память, на то, что они высказали в книгах и статьях последних лет.

Есть и еще одна причина, которая названа К. Фединым: «чем объективнее хочет быть писатель, тем, очевидно, больше его автобиография должна перерасти в повествование», превращаться из личной биографии в картину времени.

Но картина сегодняшнего дня, повествование о современности, разумеется, уже требует для своего воплощения других жанров, нежели автобиография.

И читатель не будет в обиде на писателю за то, что недосказанное ими в автобиографиях предстанет на страницах будущих книг.

**А. ТУРКОВ.**

★

## Синее и голубое

Мы сталкиваемся с интересными людьми и фактами, зачастую просто не обращающая на них внимания. Мы проходим иногда мимо поучительных событий, не задерживаясь. И вдруг книжка, чужой опыт заставляют нас зорко, по-новому оглянуться вокруг, сказать себе: «Да, я встречал их — и такого грубовато-неотесанного, нагло-красивого и застенчивого в душе парня, как Володька Левадов; и такую милую девунку, глядящую на распахнувшийся перед ней мир с изумлением и добротой, как Ирочка Польшкова, — персонажи романа Николая Погодина «Янтарное ожерелье».

**Николай Погодин, Янтарное ожерелье. Роман. «Юность», №№ 1—3, 1960.**

Знакомясь с их судьбами, мы постепенно убеждаемся, что эти судьбы интересны и поучительны, правда, не столько сами по себе, сколько благодаря «рикошетным» проблемам, возникающим невольно при чтении романа.

Доверие, какое поначалу вызывает к себе «Янтарное ожерелье», объяснимо уже бытовым правдоподобием романа. Быт, реальный, всамделишный, сегодняшний, пронизывает собой авторские описания, отражается в репликах героев, создает их живую среду. Может быть, бытовые подробности не всегда достаточно точно мотивированы. Так, к примеру, запутаться в корпусах «нового города» Москвы легко, но не потому,

что все они напоминают друг друга «необъятными размерами», а потому, что они, к сожалению, довольно однообразны, стандартны. Так, школьная подруга Ирочки, вульгарная Дуська-Светлана из шоколадного цеха, вряд ли выражала свое восхищение новой Ирочкиной квартирой с помощью «таких общеупотребительных слов», как «сила», «мирово», «порядок», по той несложной причине, что слова-то эти взяты из одновременных речевых пластов и Дуська-Светлана могла бы услышать и собрать их, будь ей не девятнадцать, а сорок лет. Так, наконец, сложность установки телефона в коммунальной квартире сводится к тому, что «жильцы не смогли договориться, как кому платить»: в старом московском доме, как правило, вообще невозможно добиться проведения телефона, если, конечно, в нем не живет какой-либо известный деятель науки, техники или литературы.

Герои романа, по авторскому замыслу, воинственно противопоставлены штампу. Володька Левадов, «интереснейшая», — по словам автора, — личность с задатками гражданина будущих коммунистических времен», работает пескоструйщиком, а проживает в бараке, с тремя соседями по комнате. Мы узнаем кое-что о них из его размышлений. Первый — Сережка Чувилип. «Мечтатель, видишь ли! Профессия сварщика-строителя его не удовлетворяет... А тянет его, по мелкому счету жизни, в ресторан «Балчуг» играть по вечерам в оркестре на аккордеоне... Или взять Тпхона Стражникова. Он не дает ребятам спать по ночам, все читает политические брошюры. Где-то за городом, на своем строительном участке ему пришлось недолго замещать кого-то из начальников. Потом он вернулся к своему обычному делу, но вкус к руководящей работе остался. Теперь целыми ночами читает. Хоть бы в кружки ходил, ума набирался, а то читает неизвестно что... Третий в их комнате — Емельян Пряников. С этим комедия!.. Пряников добивается серьезного знакомства с интересной дамой, имеющей хорошую отдельную квартиру». Это в общежитии. А на работе, где молодой мастер «обстирывает дома», всем верховодит бригадир Кормилицын, «усатая жаба», хитрый кулачок, который всю берет взятки и пристает к девушкам.

Что ж, может статься, все эти персонажи — люди ущербные и Н. Погодину надо

бы беспощадно бичевать их? «Чепуха! — как бы отвечает на это Володька, говоря о своих соседях.— А главное, что всем им осточертело кочевать по казенным общежитиям, где весь твой дом — койка». С неотвратимой и наивной решимостью «беспощадно разоблачить дядю Дему» шла Ирочка на свидание с нелепо влюбленным в нее Кормилицыным. Но «от этого намерения не осталось и следа», потому что Ирочка увидела не голько хищника-бригадира, злоупотребляющего своим положением, а жалкого, «побитого войной и несурдного человека».

Парадоксов, психологических и бытовых, в романе «Янтарное ожерелье» немало. Но довольно часто это выраженные в слове парадоксы самой жизни. Ивану Егоровичу, дяде Ирочки, коммунисту с семнадцатого года, было под силу установить в свое время Советскую власть. Однако за тридцать лет он так и не смог установить доверительных, человеческих отношений с женой, которую «глухо и тайно презирал». Жена его — Нина Петровна — сварливая, злая мешанка «с желтым морщинистым лицом» и «бледными, как бы лишенными губ очертаниями рта», душе всего ненавидящая счастливых людей. И она же лучшая медсестра больницы, выхаживающая таких «смертников», на которых махнули рукой профессора. Во всех этих случаях Н. Погодин стремится осветить человеческий характер исподволь, не навязчиво.

«Не спешите с выводами», — как бы говорит автор, знакомя со своими персонажами читателей. Относится это в первую очередь к главным героям. Что бы осталось от «интереснейшей личности с задатками гражданина будущих коммунистических времен» Володьки Левадова, доверься мы первому впечатлению, когда, заявившись к Ирочке, уверенный в своей неотражимости, он без околичностей переходит от слов к делу. Воспитанная своим дядей Иваном Егоровичем в мире возвышенном и чистом, Ирочка даже не понимает сперва, чего добивается Володька, а потом с гневным возмущением осекает его. И вот ответная реакция:

«— Не гуляла, что ли? — до оторопи деловито спросил он и полез в карман за папиросами». Сам Володька до дружбы с Ирочкой с беспечностью красивого парня «сходил» с девушками, не терзая себя понапрасну вопросом, любит он или нет.

Взаимоотношения Ирочки, Володьки и красавца спортсмена Ростика — узловая проблема произведения. Узловая потому, что роман «Янтарное ожерелье» посвящен молодежи, выявлению ее мыслей и чувствований, ее забот и волнений, ее психологии, ее быта. Отсюда острота житейских подробностей. Отсюда же и попытки заглянуть в духовный мир современной молодежи, упоминания о «Тихом Доне» Шолохова и «Старике и море» Хемингуэя, «любимой» Ирочкой «Комсомольской правде» и «любимом» негре, исполняющем «Сал-лун-блос».

Писатель хочет рассказать об очищающем воздействии большого, настоящего чувства к Ирочке, какое вырезает в душе Володьки Левадова. Полуграмотного, нетесанного парня, который засыпал над газетой и давал взятки бригадиру, это чувство должно встряхнуть, заставить переосмыслить собственную жизнь и отношение к людям. Оно даже делает его на время поэтом, когда на даче Володька и Ирочка идут купаться: «Синия синь лета наполняла душу Володьки. Синей была казавшаяся безбрежной Москва-река, синим был ближний ивняк, в тени которого плавала Ирочка, синими были дальние леса, синим был самый воздух, струившийся по лугам. Весь мир был синим. Синяя радость поднимала Володьку над синим миром». Этот несколько навязчиво выраженный поэтический дальтонизм, эта ослепленность любовью лучше всего говорит о силе смятенного чувства Володьки. И вот в ту пору, когда любовь Володьки была в самом зените, перед Ирочкой появился Ростик. Появился и... победил.

«Взглянув на него и на мгновение внутренне застыв, Ирочка сразу же подумала, что именно этот неизвестный и угрожающе-красивый парень по-настоящему послан ей богом... В своем небесно-голубом костюме, с мерцающими любопытством глазами Ростик, несомненно, был послан Ирочке тем же литературным богом, какого сотворил лукавый гений Пушкина». Что же произошло? Почему Ростик мгновенно ошеломил Ирочку и вытеснил Володьку, с которым ее связывали интересы не только «личные», но и «общественные», интересы по работе? Ведь не Кормилицын же в конце концов своими нелепыми ухаживаниями оттолкнул ее от пескоструйщика? И временная победа Ростика начинает приобретать более

значительный для романа смысл, чем тот, который мы было собирались дать ей.

«Не под стать синему кафтану голубой подбой» — гласит старая поговорка. Ирочка была поставлена перед выбором: Володька или Ростик. Перед читателем такой дилеммы как будто бы не возникает — так симпатичен и жизнен в начале романа Володька и так бездушен, манекенен во всех своих поступках Ростик. Правда, в этом сопоставлении мы вместе с автором не совсем объективны, потому что Володька показан и на работе и дома. Не тогда ли он захватил наши симпатии, когда, держа тяжеленный аппарат, «обстирывал» дом и вдруг как снег на голову пал в комнату Ирочки? О Ростике мы даже не знаем, кто он. Футболист, спринтер-легкоатлет, волейболист? Или, быть может, мастер настольного тенниса? Он капитан спортивной команды, и только. Мы встречаем его прилетевшего из-за рубежа, мы видим его танцующего танго. Кроме того, мы слышим о нем много нехорошего. В спорте это бы назвали нечестными соревнованиями.

Ирочка не подозревает о натянутых отношениях, какие установились у Ростика с автором. После знакомства с Володькой, захваченная новыми для нее переживаниями, она боится поверить в них. Временами Володька кажется ей слишком будничным, а его любовь к ней — бумажными цветами. Выросшая в «крошечной и не очень светлой комнатке», «во дворе-колодце», видевшая каждое утро один и тот же унылый интерьер — линялую репсовую ширму, за которой спит Иван Егорович, — Ирочка ждет от жизни чего-то необыкновенного, совершенно не похожего на то, что ее окружает. Она страшится, что «синяя» Володькина любовь выливается, как репсовая ширма, что эта любовь обернется скукой заурядного, как у их старых соседей по коммунальной квартире, брака.

Вот почему Ирочка так поверила в Ростика, голубоглазого, в голубом костюме. И когда Иван Егорович, негодуя, спрашивает ее: «Неужто ты неравнодушна к голубому?» — автор вынужден добавить: «Иван Егорович забывал, что Ирочка могла полюбить Ростика именно за то, что он голубой».

Голубой свет фальшивой Ростикиной красоты кладет на Ирочку новые блики. Но, как это бывает не только в сказках, фальшь рождает подлинное чувство, игра трипични-

ков-мещан в «изящную» жизнь вызывает ответное желание жить по-настоящему красиво, наполненно, интересно. Пусть Ростик быстро разоблачит себя, свою опустошенность, неспособность к любви. Пусть, оправившись от двойного отравления — Ростиком и рыбными консервами, — Ирочка стремительно уедет «по контрактику в Сибирь-матушку». Понески Ирочкой подлинной красоты, красоты чувств, поступков, быта, — эта проблема — наиболее жизненное в романе, важное и нужное сегодняшнему молодому читателю.

К сожалению, проблема эта художественно «недовоплощена». Она намечена как бы пунктиром, причем разрывы в пунктирной линии достаточно велики.

Поместив на Ирочкином пути цельноотрицательного героя, Погодин, очевидно, стремился лишь контрастнее оттенить привлекательные черты героя другого, настоящего — Володьки Левадова, но это сразу и значительно упрощает анонсированную полемику со штампом.

Как только на сцену выступает семья Крохиных — Ростик и его мать Елена Васильевна, врач-гомеопат, «шарядная женщина с головой дорогой и красивой куклой», — Погодину вдруг отказывает его умение выводить характер из действия, из поступков персонажей, он сбивается на ненаатуральный, фельетонный слог.

Еще до того, как Ростик появился на страницах романа собственной персоной, автор, словно опасаясь, как бы его герой своей прекрасной внешностью, своей сдержанностью и тактом (черты, которые так ценили у него, представлявшего советский спорт за рубежом, официальные руководители) не очаровал читателя, торопится предупредить это впечатление: «Ростик с детских лет научился распознавать вопиющее притворство, с которым его мать произносила самые правильные и примерные слова, нисколько в них не веря и не собираясь им следовать. С годами он перенял, впитал в себя это притворство и даже усовершенствовал его... А уж Ростик у никак нельзя было не поверить, хотя бы из-за его привлекательного, юношески-свежего лица, из-за его больших голубых со сталью глаз, как бы излучавших ясный свет». Своим лицемерием, полнейшей аполитичностью, беззаветной увлеченностью импортными тряпками Ростик обязан собственной матери. В романе Елене Васильевне также адресо-

вано немало разоблачительных отступлений типа: «Ей не интересно, кто теперь правит Францией и за что борются там миллионы людей. Во Франции мосты над Сеной, Собор Парижской богородицы, люневильский шелк... Этого для нее было достаточно, как и для тех людей, которые в свое время выводили из себя великого Грибоедова».

А ведь именно Ростик и Елене Васильевне, этим двум легкомысленным персонажам из воскресного фельетона, суждено сыграть нешуточную роль во всамделишной драме, которую переживает Ирочка.

Приблизительно с середины романа тот фельетонный ключ, в котором лапы Крохины, мало-помалу начинает определять тон всего «Янтарного ожерелья». Интересные и глубоко подмеченные проблемы как бы оставляются на полпути, сюжет плавно входит в знакомую колею. И тогда в романе предательски проступают черты даже не условно-литературной, а условно-театральной схемы, с которой внутри произведения борется проблемный материал. Героям навязываются привычные амплиа, приспособленные для несложно-разнообразных актерских данных: симпатичный положительный молодой человек; красавец, отрицательный молодой человек; дядюшка героини, мудрый пенсионер; молодая соседка, плегущая интриги, и т. д.

Черты назидательности, лобовые характеристики (чего стоят, к примеру, фамилии героев, прозрачно намекающие на их пороки, — взяточник Кормилыцын, тряпичница Крохина), не так заметные раньше в столкновении острых проблем, выступают на первый план в постепенно мелеющем романе. Начинаешь обращать внимание и на то, что некоторые против излишне восторженных авторских оценок. Отчасти это уже случается с Володькой Левадовым, по отношению к которому умиленность писателя далеко опережает к концу произведения истинные заслуги этого персонажа.

Конечно, Ростик, говоря языком Дуськи-Светланы, никак не герой Ирочкиного романа, он кумир Дуськи. Но герой ли Во-

лодка? Он привлекателен тем, что весь такой земной, настоящий, такой непохожий на «житийных» великопостных персонажей, которых иные писатели тшятся выдать за людей «с задатками граждан будущих коммунистических времен», искусственно поддерживая в них постоянное пафосное напряжение. У Володьки есть эти задатки. Однако только задатки. Свое развитие они, очевидно, получают уже вне поля нашего зрения, далеко за пределами романа. И задумываешься над тем: что же дает Володька Ирочке сегодня?

В споре с Иваном Егоровичем, всюю отстаивающим Володьку, Ирочка в раздражении воскликнула: «Что Володька, что Володька?! Что в нем есть, кроме грубой силы? Заехать по физиономии, пустить по матушке — это он может. А что он умеет? Если отдых, — значит, непременно четвертинка... Газет не читает, на читках сидит, как слепой старик. Ну, хорошо, положим, я вышла бы за Володьку. Скажи, какое это будущее? Пришли с работы, закусили, он — на койку, я — стирать, готовить еду на завтра, убирать комнату. Театр он презирает. В кино любит приключения. Книг не читает... Мне так хочется, чтобы было красиво... Но если теперь, когда мы молоды, некрасиво, то чего же ждать дальше?»

Ирочкины опасения не так уж неосновательны. Ирочка и впрямь не удовлетворится существованием своих приемных родителей, Ивана Егоровича и Нины Петровны, а оно гордо повторяется с Володькой во всей своей красе — с воскресным пирогом, так вкусно описанным Погодиным, с непременною праздничной четвертинкой, с ядовито-розовыми львами на ковре и клочком дачного участка.

Как видим, тот Володька, которого нам аттестует писатель, и тот, который действует в романе, — родственники, но отнюдь не близнецы. В еще большей степени разминусся с автором, с его декларациями, Ирочкин дядя Иван Егорович.

Он встречается с нами, прямолинейно честный и добрый, бережно и трогательно любящий Ирочку. И вместе с Ирочкой мы безоговорочно принимаем поначалу все установки Ивана Егоровича. Примиряемся с существованием Нины Петровны, отравляющей его жизнь. Потому что самая мысль о разводе ужасает Ивана Егоровича. «Как можно?!... — отчитывает он Ирочку. — Она

есть жена, супруга. Ты понимаешь эти слова или не понимаешь?! В них — корень человеческой жизни». Целомудренный до аскетизма, Иван Егорович утверждает незыблемость семьи и брака, как и незыблемость чередования работы, отдыха, праздников в быту людском.

«Он знал, что люди, пресыщенные удовольствиями или безнадежно серые, равнодушны к праздничным дням. Другое дело люди нормальные, ничем не пресыщенные и живые душой... Он удивительным образом постиг истину о бесконечности человеческих потребностей и возможностей. Он презирал людей, у которых потребности шли впереди возможностей». Эти слова уже настораживают. Не слишком ли велик круг людей, которых «презирает» Иван Егорович, людей, живущих в социалистическом обществе, где всемерно растущие потребности являются главным стимулом развития? Столь строгие взгляды на жизнь Иван Егорович хотел бы привить Ирочке, и до поры до времени она покорно следует установленному ритму.

Иван Егорович, стало быть, не только отвлеченно рассуждает. Он стремится воплотить свои взгляды в действительность. Когда он видит Ирочку вместе с Володькой, то тотчас решает: «стать между ними... не для того, чтобы непременно разбить, но чтобы, может быть, правильно соединить». И он активно выступает против всяческой кривды. Узнав от племянницы, что бригадир Кормилицын берет с рабочих денежную дань, он сразу отправляется разоблачить взяточника. Только один досадный штришок нарушает общую гармонию его характера: за что бы ни брался Иван Егорович, из этого не выходит ровно ничего путного.

Вот он появляется перед «дядей Демой», который принимает его за очередного челобитчика. Кормилицын «думал лишь о том, выгодное или пустое дело у старика.

— Давай знакомиться, — чуть внушительнее, чем до сих пор, сказал Иван Егорович, — зовут меня Иван Егоров... В партии коммунистов состою с семнадцатого года.

Дядя Дема поехал. Ждал дела с наваром, а тут партийный стаж с семнадцатого года...

— Очень приятно. Я помоложе. В сорок третьем году вступил на Курской дуге. Перед атакой».

А когда Иван Егорович выпаливает свое «Взятки берешь!», то окончательно проигрывает свою «атаку». Бригадир мигом раскусил Ивана Егоровича. Пенсионер из заслуженных, такой же неопасный, как те детишки, что бегают вокруг».

Столь же малоудачно вмешательство Ивана Егоровича в личную жизнь племянницы. Еще бы! Совершенно не искушенный, не ведавший, что такое настоящая любовь к женщине, он явно выбирает себе дерево не по плечу, намерсываясь «правильно соединить» Ирочку с Володькой. К тому же «воспитание чувств», какое исподволь преподает молодым людям старый пенсионер, передано Погодиным, как говорится, «не лучшим образом»: «Иван Егорович видел, что Володька любит Ирочку светло и целомудренно, как умеют любить русские люди... Занимаясь своими сокровенными наблюдениями, Иван Егорович подробно рассказывал о (!) клубнике».

Принципиальный, благожелательный, он беспомощен перед хитросплетениями жизни, не способен сделать ничего целесообразного. Даже Нина Петровна, пораженная мизантропией, мелочная и нудная, даже она, шутка сказать, выхаживает смертельно больную Ирочку. Да что Нина Петровна! Даже откровенно презираемая автором Крохина и та вносит свою положительную лепту, помогая спасти Ирочку. Доброта же

Ивана Егоровича светит, но не греет. Остаются только незабываемые принципы и презрение к людям, у которых «потребности шли впереди возможностей».

Но ведь как раз-то к этим людям и принадлежит его любимая племянница Ирочка. По сути дела, роман, если говорить о его лучших страницах, посвящен именно этой молодой, здоровой неудовлетворенности, поискам настоящей красоты: падает голубая картонная фигурка Ростика, не принимается «синяя» любовь Володьки. У автора оказалось достаточно художественного такта, чтобы не обузить роман поспешным выбором.

«Недовоплощенность» взятых проблем — и достоинство погодинского романа (лучше ведь недоговорить, чем дать обедненное окончание) и его слабость. И потому ценность его главным образом в том «будительном» материале, который он содержит, который толкает нас на раздумья. В романе символично янтарное ожерелье, красивая вещьца, давшая название всему произведению. В первой главе это ожерелье дарит Ирочке Иван Егорович. В конце романа Володька берет забытое Ирочкой ожерелье, чтобы вернуть ей уже в Сибири. Но примет ли она это ожерелье? Быть может, ее выбор и не ограничится двумя цветами: голубым и синим...

О. МИХАЙЛОВ.

★

## Земля, где ты живешь

« — Земля! — закричал с реи матрос, и темная полоска показалась на горизонте».

Этих строчек нет в рассказе А. Мошковского «Земля, где ты живешь». Проридиктованы они памятью детства. Верно, у каждого начальные годы жизни оставили в душе след этого взволнованного ожидания надвигающихся открытий. В детстве оно конкретно и настойчиво. И не домработница Глаша, а это напряженное чувство ожидания будили по утрам Алика, героя рассказа А. Мошковского.

«Когда Алик открыл глаза, на стене ше-

веллись причудливые, сказочно красивые тени райских птиц с пышными хвостами, испанских каравелл с надутыми парусами, кокосовых пальм с тропических островов Океании...»

Алик открыл глаза, но он еще в полудреме ожиданий, которых не удастся спугнуть обычными домашними нареканиями: «Я, кажется, просила тебя. Глаша, купить курицу помоложе!» Он не принимает скучного «взрослого» утра, обыденно врывающегося в комнату с кухонными разговорами и запахом жареного лука. «Ох, как не хотелось расставаться с теплым одеялом, с дремотными силуэтами каравелл и кокосовыми пальмами на стене!»

Только для взрослых Алик делает вид, что уходит из своего мира, на самом деле невидимые для взрослых чудеса продолжаютя: в комнате мальчика подстере-

А. Мошковский. Три белоснежных оленя. Редактор С. Миримский. Детгиз. М. 1960.

Анатолий Мошковский. Скала и люди. Редактор С. Миримский. Детгиз. М. 1958.



гает кит — «когда открывалась крышка, рояль еще больше походил на кита», — а машина, увозящая Алика с отцом в порт, «взревела и, как леопард, прижимаясь к земле, длинными упругими скачками помчалась...»

А. Мошковский не первый познакомил нас с Аликом, такие герои встречались уже в детской литературе. Новое здесь, пожалуй, отношение автора к своему герою. Писатель не умиляется забавным, выдуманым детским миром, он скорее насторожен. Мошковский не отнимает у Алика права на чудеса, на открытия. Но ему не терпится вырвать мальчика из убаюкивающей сказочной полудремы. Он хочет поставить его на ноги и сказать: вот она — земля. Земля, где ты живешь и будешь жить долго. Земля, на которой ждут тебя подвиги, трудности и открытия. Я хочу, чтоб ты узнал и полюбил ее.

В обычном и неприметном хочет он научить своих читателей видеть новое. Такими словами в критической литературе обычно характеризуют многих писателей, даже таких, творческие манеры которых совершенно различны. В самом деле, «Дальние страны» А. Гайдара оборачивались ближними селами и знакомыми людьми. В обычном умел раскрывать необычное М. Светлов. Но из обычных дней и событий М. Светлов строит сказку. «Сказкой» называется одна из лучших его молодых пьес. Бродят сказки и ходят люди по его произведениям, сказки и люди — обычно и просто, рядом и на равных правах.

«Необычное» А. Мошковского грубее, проще и требует иных средств выражения. Интерес писателя к будням, умение выхватывать и поставить как бы под увеличительное стекло обычный день во всей его необычности особенно ярко проявилось, когда А. Мошковский обратился к теме Севера, издавна получившей в русской литературе романтическое освещение. Север, яркие и сдержанные краски тундры манили к себе закоренелых горожан таинственностью и непохожестью на все прежде виденное. «Тундра, бесконечная и непонятная», — так писали о ней всегда, и еще раз пишет А. Мошковский. Но он тут же добавляет: «Из тундры дуло, как из трубы». И вот уже снят экзотический колорит, и тундра кажется такой же понятной и видимой, как двор, по которому ты ходишь каждый день.

Нарочито обыкновенны, даже обыденны в его рассказах люди, слова, которыми они перекидываются, события, но именно эта обычность в глазах мальчика, который живет в условно-фантастическом мире, оканчивается необыкновенной, непонятной и интересной.

Оказывается, «взрослый» мир, от которого привычно отмахивался Алик, вовсе не так прост и скучен. В «страну взрослых» Алик попал совершенно случайно. Отца его, хорошего инженера, посылают на строительство Ангарской ГЭС, и он берет с собой сына, потому что где-то там, в деревне, живут Аликины дедушка и бабушка.

Деревня и дед, похожий на «рыночных» мужиков, Алику не понравились. «У Алика что-то застряло в горле. Лишь сейчас понял он со всей определенностью, что этот дед совсем не родной ему. Его слегка покорибили и выгоревшая косоворотка без пояса, и эти таежные «тенирича» и «али», и ком навоза, прилипшего к его сапогу...» Все в избе кажется мальчонку скучным и «неродным», и он с радостью соглашается уехать отсюда — хотя бы с теткой на летние пастбища. Ехать приходится в карбасе по «сумасшедшей», ревущей воде, в лесах гремят взрывы — так здесь прокладывают дорогу, — и лес по берегам такой густой и высокий, что, кажется, так и идет он стеной по всей земле. И какое-то странное, незнакомое чувство значительности этих мест охватывает Алика. И некрасивые женщины, с темными морщинистыми лицами, ведущие карбас, кажутся вдруг мальчику такими большими, что он съезживается. Он, который так много читал и знает, тут чувствует себя маленьким. Маленьким среди богатырей.

Чувство растерянности не проходит и тогда, когда Алик возвращается в избу к «неродному» деду:

«И Алик тоже сказал: «Здравствуйте», но голос у него прозвучал как-то растерянно, заискивающе...

— Так вот он какой, ваш богатырь! — сказал молодой парень, державший на коленях баян, потрянул огромной шапкой вьющихся русых волос и медленно развернул баян, наполняя избу волною переливающихся звуков.

Парень так же медленно сложил растянутые мехи, собрав в баян все разлетевшиеся по избе звуки...

— ...Выходи первый — я поиграю.

— Я не умею, — сказал Алик.

— Ну тогда ты поиграй, а я половицы погну... Вот это игранни-ка! — И Санька бешено рванул баян, и изба, казалось, качнулась от бури звуков».

Каким-то почти сказочным богатырем предстает перед Аликом этот Санька, шофер на Ангарской ГЭС, человек, «строящий» море. Что-то от ловкого фокусника есть в том, как он одним движением собирает разлетевшиеся по избе звуки.

Алику нравится Санька. Почему же, глядя на него, он так жалко улыбается, почему растерянно-заискивающе звучит его голос? Грандиозность, размах, величие этих мест и людей ошеломили мальчика? Да, и это. Но не только и даже не главным образом это. В своих мечтах Алик привык общаться с богатырями, он совершал самые невероятные подвиги, он привык жить в сказке. Ему легко освоиться с мыслью, что человек строит море, летит на Луну, — с самой дерзкой, фантастически смелой мыслью. Но в жизни подвиг раскрывается перед ним совсем не таким, каким рисовался в мечтах.

Вот после разудалой пляски Санька «вытер ладонью мокрый, как после тяжелой работы, лоб, подошел к столу, залпом выпил кружку браги, поставил ее на стол и сверкнул глазами:

— Ну, батя, я двинулся».

Этот нарочито прозаический отрывок с последовательным перечислением самых простых, обыденных движений «богатыря» очень характерен для А. Мошковского. Герои его не красавцы. Как это ни парадоксально, красивы, тщательно выглажены и застегнуты на все пуговицы только недруги писателя, те, кто прекрасно умеет «сохраняться», то есть ухороняться, уклоняться от жизни. Иначе должен выглядеть человек, который всегда идет навстречу ветрам и трудностям: у такого загорелое, обветренное почти до красноты лицо, как у деда Альки, как у оленевода Ардеева, а руки «короткопалые, толстые, в рубцах, буграх и порезах».

И эта будничная одежда подвига, то, что «строят» море и перекраивают землю простые «рыпочные» мужики и женщины в деревенских платочках, оказалась для Алика совершенно неожиданной. Если бы они были красивыми, как полагается героям в книжках, и говорили пусть бы даже стихами,

только бы не корявыми «теперича» и «али», это было бы легче понять Алику. Ведь в представлении мальчика и его сверстников высокие чувства требуют возвышенных слов. В обычной жизни им подчас не хватает приподнятости, театральности. И сколько из-за этого возникает недоумений, растерянности, непонимания, обид, особенно между ребятами и взрослыми.

Столкновение детства, простых и наивных его представлений с жизнью — снова и снова возвращается к этой теме писатель. Момент этот кажется ему особенно важным в формировании характера героев. Сумеют ли они понять, что высокое вовсе не обязательно должно быть возвышенным, что не все оказывается на самом деле таким, каким представляется на первый взгляд, — от этого зависит многое.

Ничего удивительного нет в том, что Алик растерялся. Он не мог не растеряться. Надо только, чтоб растерянность не породила неверных представлений о людях, о мире. И вот тут-то на помощь Алику приходит писатель. Он всегда оказывается рядом, когда герой не находит ответа на свои вопросы, когда одному ему трудно разобраться в сбивчивых первых впечатлениях о жизни.

Но, к сожалению, растерялся не только Алик, а еще и взрослый критик: какие вопросы могут быть у мальчика, засомневался он, по возрасту ли ребенку ворошить такие «психологические глыбы»?

«Не по возрасту» — так и называлась статья Г. Новогрудского, напечатанная около года назад в «Литературной газете». Но хотя с того времени прошел довольно большой срок, с автором статьи хочется поспорить, потому что речь в статье идет по существу не о возрастных рамках, а о характере детской литературы.

Интересно, что под обстрел критика попали именно Р. Погодин и А. Мошковский, писатели, близкие по своим устремлениям. Оба стараются сделать более понятным для ребят мир взрослых, раскрыть сложность и увлекательность обыкновенной жизни. Это то правдивое изображение жизни в детской литературе, задумчиво-вопросительная интонация некоторых рассказов, попытка нарисовать сложные человеческие характеры и испугали критика. Слишком буднично, слишком сложно, дети не поймут, сокрушается Г. Новогрудский, дети таких книг читать не будут, да и не выдер-

жат они соперничества с телевизором. Оказывается, в соперничестве этом могут устоять только веселые тома «Библиотеки приключений», «Дорогие мои мальчишки» Л. Кассиля, «Приключения капитана Врунгеля» А. Некрасова и т. д.— то есть главным образом остро сюжетные, приключенческие книги. (Правда, Г. Новогрудский ссылается еще и на «Голубую чашку» А. Гайдара как на удачный опыт решения «житейского», «взрослого» в детской литературе, но забавно, что именно к этой вещи А. Гайдара критика в свое время предъявляла те же претензии, обвиняя ее в излишней психологической усложненности, непонятности, обыденности.)

Смешно спорить, веселые приключения всегда будут с интересом читаться ребятами всех возрастов, и без них невозможно представить себе детскую литературу, но ограничить ее только увлекательными приключениями — значит донельзя сузить круг ребячьих интересов и представлений о жизни и людях, их окружающих.

Занимательность — вот основное требование, которое предъявляет Г. Новогрудский к детской книжке. Не просто острый сюжет — «скорость голая», чтобы все время держать читателя в напряжении, не отпустить к телевизору. Все, что тормозит действие, — настроение, размышления, то, что мы называем неопределенным словом «подтекст», — объявляется критиком излишним, ненужным. Писать интересно — значит, в представлении Г. Новогрудского, писать занимательно.

Именно над таким отношением к детской литературе как средству развлечения, как к литературе, которая якобы должна рисовать особый «детский» мир, лишенный сложности и глубины, смеялся Б. Житков: «Спросили бы, скажем: — Есть у вас пистолет? — Да, только детский. — Писатель вы? — Да, только...»

А так ли уж серьезны эти опасения: дети не поймут? Надо ли точно подгонять книгу под определенный возраст? (Речь идет главным образом о книгах для среднего школьного возраста.) Думается, что нет. Каждая хорошая детская книжка пишется «на вырост», с запасом, вот почему к ней хочется и можно возвращаться.

Очень интересны в этом отношении воспоминания К. С. Станиславского о том, с какой радостью они ждали в детстве цирковых представлений; цирк был праздни-

ком, в оперу же ходили неохотно, но настоянию родителей. Но, как ни странно, память вынесла из детства впечатления о посещении оперного театра, впечатления живые и интересные, а все, связанное с цирком, забылось. И с большой благодарностью думает Станиславский о родителях, заставлявших его слушать оперу: она воспитывала в детях чувство цвета, ритма, чувство прекрасного. — незаметно, исподволь. И эта способность подростка незаметно, неосознанно впитывать глубокие впечатления от всего подлинно настоящего разве не должна учитываться детскими писателями?

Г. Новогрудский представляет себе читателя «неопытным, непоседливым, нетерпеливым». В общем, это Алик из рассказа Мошковского. Но дело в том, что А. Мошковский пишет об Алике для того, чтобы сделать его иным: умелым, настойчивым и мужественным. Любимый герой А. Мошковского другой — это мальчик, на глазах которого проходит трудная и мужественная жизнь взрослых и который, как может, участвует в этой жизни. Разные у него имена, русские, ненецкие, а характер один: по выдержке, по определенности характера мальчишка этот не уступает взрослым. Не довольствуясь отведенной для игр площадкой, ни даже лесами, в которых можно ловить бурундуков и собирать орехи, ни речкой, в которой так хорошо купаться, он во что бы то ни стало хочет занять свое место в большой взрослой жизни. Но если в стремлении к серьезному делу героям книги «Скала и люди» приходится преодолевать недоверие и скептицизм родителей, взрослую трезвость, то маленьких ненцев отцы сами посылают ловить оленей для упряжки, ставить чумы и т. д. Именно здесь, на Севере, увидел писатель своих маленьких героев естественно включенными в жизнь взрослых, сама жизнь дает им «уроки труда».

И тут с какого-то момента невозможным становится общий разговор о двух книжках А. Мошковского, потому что, кроме одинаковой направленности, общих тенденций, у каждой из них есть и свои особенности. Прежде всего это определяется своеобразием темы сборника рассказов «Три белоснежных оленя», своеобразием северного материала.

«Граница» — так называется рассказ о том, как хотелось писателю войти в жизнь,

в быт ненцев, поближе познакомиться с ними. Что он только ни делал для этого: старался поправиться, улыбался, рассказывал о строительстве Ангарской ГЭС, о Падуне, но все это были способы, принесенные из другого мира, и здесь, «в чуму» (ибо, как моряк не скажет «компас», ненцы не говорят «в чуме» — «в чуму»), они теряли силу. Ненцы слушали, улыбались и тут же, как бы отгораживаясь от постороннего, выключая его из своей жизни, оживленно начинали говорить между собой по-ненецки. Упрямо перепробовал он все способы и все-таки заработал себе право принять участие в разговоре: работой, умением, тяжелой усталостью. Потеплели жесткие лица, раздвинулся круг около огня — ненцы стали говорить между собой по-русски. Так сломалась граница.

Сломалась, но не исчезла до конца. Невидимый след ее пролегает в чувствах, мыслях, восприятии мира северян и коренного горожанина. Человек, любовавшийся оленями только в зоосаде и на картинках, не может спокойно отнестись к тому, что их приходится убивать, тем более быть свидетелем убийства. А бригадир Ардеев, который, жалея оленей, прыгивал с нарга и о характере каждого мог рассказать интереснейшую историю, говорит об этом просто: работа («Работа»). Олень — это его еда, одежда, жилище, это вся его жизнь, и было бы противоестественно, если бы всякий раз, снимая с оленя шкуру, он испытывал чувство утраты или даже жалости. Эту непохожесть восприятия людей разного образа жизни и необыкновенную близость их, в стремлении к которой они умеют ломать и переступать самые разные границы, топки и лирично сумел передать А. Мошковский. Пожалуй, именно эти рассказы от лица автора наиболее интересны в сборнике «Три белоснежных оленя», но по тонкости мыслей и сложности настроения они рассчитаны на ребят старшего возраста. И тут надо признаться, что в одном, вероятно, упреки Г. Новорудского справедливы: направляя книжку в ребячий адрес, Детгиз порой путает адреса. Беда эта, конечно, не так уж велика: хорошая книга всегда найдет своего читателя. Но, очевидно, правильно адресовав книгу, Детгиз мог бы ускорить встречу автора с читателем.

Остальные рассказы сборника «Три белоснежных оленя», к сожалению, часто выглядят чересчур облегченными, они как-то обмелели, потеряли подводное течение, их легко свести к очень нехитрой формуле: не сори («После нас»), не ссорься («Вражда») и т. д. Очевидно, ощущение это остается еще и потому, что на страницах новой книжки Мошковского мы почти не встречаемся с теми живыми, из плоти и крови, мальчишками, с которыми крепко подружил нас сборник рассказов «Скала и люди». Они уступили место некоему условному, обобщенному образу мальчика ненца. Алика, Мишу, Афоньку и других героев книжки «Скала и люди» А. Мошковскому не приходилось выписывать со скучной тщательностью: во что они одеты, какие у них нос, глаза, волосы; писатель стремился передать самую манеру их видения мира, характеры, какие-то особенно выразительные черты внешнего облика. Теперь же, всякий раз представляя нам героя, автор самым тщательным образом одевает его в малицу (или паницу, если это девочка), перпиччи тобоки и т. д. Особые приметы их настолько похожи, что порой кажется: по рассказам бродит один герой под разными псевдонимами — низенького роста, широкоскулый, слержанный и обязательно черноглазый («девчоночья мордашка с бойкими черными глазками» в «Лебедином крыле», «яркие черные глаза», которые «смотрели прямо и весело» в «Яшке», «круглые черничины глаз» в «Трех белоснежных оленях», «совсем молодые черные глаза», что «вспыхивают» в «Поездке в Санкт-Петербург», и т. д. и т. п.). Так, может быть, незаметно для самого писателя произошла подмена: общие черты национального типа он выдал за индивидуальные.

Может быть, о новой работе А. Мошковского мы судим несколько пристрастно, но ведь иначе и невозможно говорить с автором, героев которого успел полюбить. Обидно, если в поисках неоткрытых земель писатель уйдет в сторону от другой области неиссякаемых открытий: открытие жизни в самых разных и сложных ее проявлениях, открытие характеров, своего стиля.

И. АНДРЕЕВА.

### «Волшебные очки» Януша Осенки

У польского сатирика Я. Осенки, сборник рассказов которого «Ухо жирафа» появился недавно в русском переводе, есть юмореска «Волшебные очки». В ней изображен директор завода, равнодушный и недалекий человек. Чтобы не замечать недостатков в работе своего предприятия, он приобретает особые — волшебные — очки. С их помощью он может теперь видеть исключительно только хорошие дела, пребывая «в блаженстве и удовлетворении».

Можно сказать, что Осенка тоже является обладателем своего рода «волшебных очков». Правда, у самого автора они иного свойства. Сквозь них Осенка умеет увеличенно, укрупненно видеть и подмечать вокруг многое из того, что скрыто от обычного взгляда. В пустынной, казалось бы, трамвайной сценке, мимолетном разговоре со случайным прохожим Осенка способен ухватить много своеобразного, яркого, запечатлеть определенный характер. В этом и есть отличительная черта подлинного писательского таланта, который, как заметил однажды Чехов, состоит в том, чтобы в окружающей жизни «уметь отличать важные показания от неважных, уметь освещать фигуры и говорить их языком».

Этим умением отличать важное от неважного владеет и Осенка. А сквозь его «волшебные очки» изображаемое проступает в первую очередь в смешном, комическом виде. Даже свою автобиографию, жанр, в котором и писатели-юмористы стремятся обычно соблюсти солидность и многозначительность, польский сатирик ухитрился изложить по-своему, по-осенковски. «Почему я родился именно 13 сентября 1925 года? С какой целью принялся посещать среднюю школу?.. Что заставило меня обратиться к сатире, а издательство «Искры» выпустить мой нынешний сатирический сборник? — шутивно недоумевает Осенка в послесловии к польскому изданию «Уха жирафа». — На все эти недоуменные вопросы, — заканчивает он, — предпочитаю ответить с глазу на глаз. Молодым и хорошеньким женщинам автор оказывает явное предпочтение».

Такой шутивно-иронический стиль весьма характерен для Осенки. И хотя он по роду

своих занятий сатирик, хотя перо его призвано разить, он избегает резких, грубых штрихов, «лобового» обличения. Это не значит, конечно, что Я. Осенка как сатирик слишком мягок, либерален, что он воздерживается от прямых оценок всего отсталого, заплесневелого, что тянется из старого в новую жизнь. Ничуть не бывало. Просто он обличает по-своему: ненавязчиво, тонко. И мы не можем никак согласиться с переводчиком и автором предисловия Н. Лабковским, когда он высказывает уверенность в том, что если читатель узнает себя в каком-либо из персонажей книги Осенки, то «мысленно пожимает автору руку и скажет: «Да, хорошая сатира — она всегда на пользу...»

Думается, что Н. Лабковский слишком идилично смотрит на сатиру Осенки. Его «ключие строки» меньше всего рассчитаны на услаждение слуха и тем паче на благодарность тех, против кого они направлены. А у его сатиры достаточно широкий адрес. В «параде диковинок», устроенном Осенкой (кстати, напрасно этот раздел при переводе превратился в «Музей диковинок». Парад имеет иной смысловой оттенок. Этим как бы подчеркивается мысль, что все участники парада выхвачены из гуши жизни, что многие из них еще отнюдь не в музее восковых фигур), мы видим и довольно зло очерченный автором портрет хапуги, и лисью мордочку подхалима, униженно выслуживающегося перед начальством, и тонко запечатленный Осенкой облик мрачного скептика и брюзги, недовольного всем и вся, и фигурку словоблуда-оратора, распираемого жадой выступить где угодно, хотя бы на собрании глухонемых...

Осенка, как уже говорилось, избегает грубых и резких красок. Его излюбленное оружие — тонкая ирония. И обращение к ней во многом оправдано самим жизненным материалом рассказов. Внимание сатирика в условиях современной Польши, естественно, сосредоточено на том, что мешает, противится становлению новых, социалистических порядков в стране. Понятно, что в нынешней польской действительности «герои» Осенки — бюрократы, мелкие собственники, равнодушные чиновники, подхалимы и просто жулики — вынуждены так или иначе маскироваться, прикидываться другими, чем они есть на самом деле. И тут ирония, ко-

Януш Осенка. Ухо жирафа. Перевод с польского Н. Лабковского. Редактор М. Юнева. 128 стр. Издательство иностранной литературы. М. 1959.

торой Осенка так охотно и так разнообразно пользуется, дает ему возможность особенно выпукло, броско вскрыть подлинную, тщательно скрываемую сущность той или иной натуры. Эта ирония полчас бывает глубоко спрятанной, выступает только в подтексте или яркой вспышкой сверкнет лишь в самом конце рассказа, как бы осветив его по-новому, так, что все предыдущее внезапно откроется читателю с другой, ранее невидимой — настоящей — стороны.

В рассказе «Бывший директор», например, Осенка намеренно устраняется от собственной оценки происходящего. Оттого-то директор Шихович, которого только что освободили от занимаемой должности «в связи с переходом на другую работу», человек с печалью во взоре, выглядит вначале фигурой явно страдательной. Мы уже, кажется, почти готовы симпатизировать ему: мало ли чего не стряслется с ближним! Но вот его случайный разговор с продавцом сигарет, две-три брошенные фразы — и как все перелачивается!

«— Пап директор — веселый человек», — отвечает продавец на шутку Шиховича, стремящегося держаться так, как будто ничего и не случилось. — «Жалко, что пап директор уходит отсюда.

— Откуда вы знаете?..

— Я сам догадался. Когда вы были директором, вы за сигаретами всегда присылали курьера...»

Последняя фраза начисто смывает весь наигранный директорский демократизм. Сразу угадывается многое, что не названо автором, но стоит за одной этой фразой, угадывается весь «стиль жизни» Шиховича, который привел его к закономерному финалу.

Самораскрытие другого персонажа, героя рассказа «Кася», происходит иначе. Вначале перед нами предстает вполне добропорядочный семьянин. Он весьма обеспокоен тем, что его домработница Кася собирается пойти на производство («Говорит, что у нас слишком много стирки...») — сообщает ему испуганная жена). И подлинный, остро-сатирический портрет этого человека постепенно вырисовывается перед нами из несоответствия между «высокими» словами, которые говорит «товарищ Садлович», и целями, ради которых они произносятся.

«— Я нанималась с постирушкой», — сказала Кася, — а о большой стирке не было речи... С меня хватит. Руки отваливаются от лоханки.

— Разве Кася не знает, что передовой токарь Пепек начал недавно выполнение норм третьего года пятилетки?» — парирует «товарищ Садлович», ничуть не чувствуя неуместности данного сравнения, приводящего к опошлению тех высоких вещей, о которых он говорит с хорошо наигранным пафосом. «— А разве Кася выполнила хотя бы свой план прошлой шестилетки?» — и т. д. и т. п.

И все эти фразы о сознательности, благородные слова о трудовом порыве польской рабочей молодежи говорятся ради достижения весьма неблагородной цели — ради того, чтобы удержать Касю от ее «рокового» решения уйти работать на Новую Гуту. Портрет Садловича завершается последним энергичным мазком: через несколько минут опытный демагог, уговорив домработницу остаться, возвращается к жене, довольно потирая руки. «Мы, представители рабочего класса, — хвастливо поясняет он, — всегда найдем общий язык!»

Осенка очень разнообразен в пределах избранной им сатирической интонации: тут и легкая шутка, и неожиданный парадокс, и короткая (в одну фразу) пародия на посредственный детектив: «Когда агент И-13 вынул глаз, в котором должен был находиться шифр, то внутри ничего не оказалось, так как по ошибке он извлек не тот глаз». Как правило, любая, самая нелепая ситуация для Осенки не просто повод посмеяться — за этим стоит острая мысль, чувствуется неравнодушная авторская позиция.

Пожалуй, только в новеллах из цикла «Любовь арлекина», где осмеиваются разного рода любовные недоразумения, автор изменяет себе, размещается на пустячки. Весь смысл такой, например, новеллы, как «Поцелуй в темноте», сводится к тому, что робкий влюбленный не решается на первый поцелуй, потому что парк, в который он пришел с девушкой, слишком хорошо освещен. Рассказ «Одолжение», где действует простак, околпаченный предприимчивой девицей, и вовсе не поднимается над уровнем избитого, банального анекдота. К тому же оттенок грубоватого фарса, который здесь чувствуется, вовсе не в манере Осенки. Он сатирик более тонких и мягких тонов.

Для дарования Осенки более примечательны те его вещи, в которых внешне спокойная, сдержанная ирония писателя переходит в иное качество. В рассказе «Крылья», «Краса города», «Бодрость ду-

ха» человеческая ограниченность, косность, мешанское самодовольство не вызывают у Осенки обычной мгновенной и насмешливой реакции. В них чувствуется какая-то горькая нота. Но в этих рассказах яснее видишь и то, что удел Осенки отнюдь не простая насмешка, вышучивание чужих недостатков. Здесь мы как бы застаем автора наедине с самим собой, когда он, задумавшись, снимает свои «волшебные очки». В этот момент мы видим его глаза — живые, с лукавым огоньком и немного грустные, — глаза сатирика, который не только смеется, но и серьезно задумывается над судьбой своих героев.

Появление «Уха жирафа» на русском языке хочется только приветствовать. Тем более, что переводчик Н. Лабковский сумел сохранить своеобразие манеры Я. Осенки, донести все оттенки и нюансы его юморесок. Жаль только, что переводы отдельных рассказов («На отдыхе», «Ухо жирафа») выполнены явно ниже возможностей переводчика. В самом деле: «в окрестностях головы...», «в связи с этим я отказался от

сна...», «пара лет» — все это очень небрежно сказано по-русски, переведено, как в подстрочнике, начерно.

Конечно, такие огрехи легко исправимы при перендании. А оно, вероятно, потребует, так как «Ухо жирафа» быстро исчезло с прилавков. И это понятно: у нас любят хорошую, остроумную книгу. Издательству стоит подумать и над тем, чтобы шире познакомить читателя с юмором наших польских друзей. Пусть наш читатель узнает и сочный, живой язык варшавских предместий, так мастерски схваченный в новеллах Веха, пусть оценит по достоинству тонкий сарказм С. Мрощка, милую, добрую улыбку Ст. Гродзенской, посмеется над «Непричесанными мыслями» С. Леца!

К сожалению, наши издатели еще очень медлительны, если говорить о переводах с польского. Правда, Осенке повезло. Знакомство советского читателя с ним состоялось почти сразу после выхода его новой книги на польском языке. Хорошо, если бы это «приятное исключение» стало правилом.

С. ЛАРИН.

★

## Проблемы реализма

Сравнительно небольшая книга В. Днепрова «Проблемы реализма» посвящена многим серьезным вопросам, возникающим в развитии современной советской и зарубежной литературы, искусства и эстетической теории.

В пяти главах-статьях разрабатываются четко определенные темы: «О формах художественного обобщения», «Роман — новый род поэзии», «Реализм и художественное новаторство», «О творческом методе и художественных стилях», «Многообразие стилей в реалистическом искусстве».

Однако ни один из этих разделов не ограничен только эстетической проблематикой.

Все общие и частные вопросы теории литературы, изобразительных искусств и музыки, возникающие в ходе исследований В. Днепрова, рассматриваются им прежде всего как вопросы современной идеологической борьбы в их общесоциальном и непосредственно политическом значении. Вместе с тем все теоретические разработки

Днепрова и неотделимый от них анализ конкретных произведений художественного творчества являются боевыми полемическими выступлениями против буржуазной реакции и декаданса, против теории и практики современного ревизионизма и сектантского догматического вульгаризаторства.

В первой главе, «О формах художественного обобщения», именно так всесторонне и пристально рассмотрены те особенности художественного образотворчества, которые определяют различия между историческими эпохами в развитии искусства и между творческими методами. Сопоставляя принципы идеализации, характерной для классицизма и романтизма, с принципами типизации, присущими реалистическому искусству, В. Днепров приходит к очень интересным выводам, имеющим непосредственное значение для творческой практики советской литературы, для наших сегодняшних споров со всяческими «неспровергателями» социалистического реализма.

На конкретных примерах из произведений Фурманова, Н. Островского, Макаренко, Фадеева, Шолохова, Полевого убедительно

В. Днепрова. Проблемы реализма. Редактор А. Минин. 352 стр. «Советский писатель». Л. 1960.

доказывается, что в отличие от всех иных творческих методов «искусство социалистического реализма вперевые не иужда ет с я больше в идеализации, чтобы изобразить положительного героя»<sup>1</sup>.

Глубоко и в основном правильно исследуя закономерности идеализации и типизации как двух форм художественного отражения действительности, В. Днепров, однако, иногда забывает о выразительных функциях искусства, которые могут воплощаться и в таких образах, к которым не применимо ни то, ни другое понятие. Ведь художественное творчество не только отражает, воспроизводит явления окружающего мира, но еще и выражает отношение художника и вдохновляющих его общественных сил к этим явлениям или к производным от них идеям и отвлеченным проблемам.

Произведения настоящего искусства всегда возникают из живого — то есть внутренне противоречивого, но органически неразрывного — единства отражения объективного мира и выражения субъективного творческого мировосприятия. В. Днепров прав, когда он отвергает претензии на «чистую выразительность» декадентского лжеискусства и спорит против идеалистических взглядов Кроче. Однако зачем же вместе с мутной водицей выплескивать и живого младенца? Зачем, справедливо отвергая субъективистскую эстетику, несправедливо пренебрегать той творческой субъективностью, без которой вообще нет искусства?

Второй раздел — статья «Роман — новый род поэзии» — содержит ряд оригинальных литературно-исторических наблюдений, которые служат автору для остро злободневных выводов. Используя обильный и многообразный фактический материал из истории русской и мировой культуры, В. Днепров анализирует развитие романа как жанра. Основываясь на фактах прошлого и современности, на мыслях и наблюдениях Маркса, Энгельса, Гегеля, Белинского, Фокса, исследователь показывает необычайно возросшее значение романа в литературе XIX и XX веков. Этот наиболее емкий и гибкий из жанров все более универсализируется, включая, присваивая себе функции многих иных видов искусства слова: драмы и лирической поэзии, публицистики, сатиры, а также и функции исторической летописи, философских или иных научных трактатов.

<sup>1</sup> Выделено везде в подлиннике. — Л. К.

При этом Днепров на многих конкретных примерах очень убедительно доказывает, что в отличие от реалистической литературы прошлого, а также от современных произведений критического реализма, в которых главное значение имеют проблемы развития отдельных людей, становления личности как таковой, роман социалистического реализма «обращается к важнейшим процессам роста и созревания индивидуальности в массе, в толще народа».

Третья глава — «Реализм и художественное новаторство» — особенно остро полемична. И это по-настоящему наступательная полемика, которая разворачивается на очень широком фронте и, так сказать, на территории противника. Днепров доказательно разбивает ревизионистские концепции некоторых польских и югославских литераторов. Подробно исследует он ряд конкретных проявлений теории и практики модернистского субъективизма. Советский критик раскрывает всю несостоятельность тех ревнителей современного декаданса, которые тщетно стараются похоронить идейно-творческие традиции реализма во имя мнимого новаторства. Им противопоставляется широкая многоцветная картина действительного и плодотворного новаторства в литературе не только социалистического, но и критического реализма.

Как и в предшествующих разделах, Днепров спорит во всеоружии фактов. Он тщательно и глубоко разбирает отдельные произведения Хемингуэя, Ремарка, Т. Манна, А. Моравиа и этот подробный анализ дополняет беглыми, но очень точными характеристиками некоторых явлений в творчестве Флобера, Горького, Дж. Лондона, Маяковского, Элюара, Арагона, Голсуорси, Роллана, Лакссенса, Фейхтвангера, Пруста и других. Он широко использует оригинальные и хотя иногда и спорные, но всегда остроумные и плодотворные сопоставления литературных фактов с проблематикой изобразительных искусств и музыки.

Четвертый раздел — «О творческом методе и художественных стилях» — посвящен уже непосредственно исследованию и утверждению идейно-творческих принципов социалистического реализма.

Таким образом, книга, охватывающая очень широкий круг эстетических и историко-литературных проблем, подчинена единому стройному плану.



Начало посвящено основным проблемам художественного отражения действительности — самым общим закономерностям и вместе с тем непосредственно конкретным формам художественного обобщения в различных видах искусства в различные исторические эпохи. Тема следующего раздела — уже только роман, определенный жанр в определенный исторический период. Но это не столько сужение, сколько углубление основной проблематики. Прежние и новые, возникающие в ходе исследования вопросы рассматриваются более подробно и разносторонне. При этом факты давнего прошлого иногда неожиданно, но всегда обоснованно сопоставляются с новейшими и непосредственно современными явлениями искусства. Первые разделы, естественно, приводят к проблеме художественного новаторства в ее общем виде и во всей ее конкретной злободневности. Из этого, в свою очередь, необходимо возникает вопрос о соотношении стиля и метода в искусстве, о том, что именно различает художественные средства и формы разных социально-исторических эпох.

Определение понятий метода и стиля — казалось бы, узкая, чисто терминологическая проблема. Однако Днепров так ставит и решает эту проблему, что и выбор аргументов и простое изложение фактов, приводимых в качестве примеров, оказываются оружием идейной борьбы против ревизионистских и догматических кривотолкований особенностей нашего искусства и принципов нашей эстетики.

Уже самые первые страницы книги, посвященные общим эстетическим проблемам, являются одновременно резкой полемикой против буржуазных и ревизионистских критиков социалистического искусства, которые приписывают социалистическому реализму глубоко чуждые ему черты неоклассицистской идеализации и дедуктивной схематики.

В разделе о методе и стилях, так же как в непосредственно вытекающем из него заключительном разделе («Многообразие стилей в реалистическом искусстве»), эта полемика расширяется. И в то же самое время именно полемика помогает автору более глубоко, более тонко исследовать ряд творческих проблем. Заключительные разделы книги будут особенно полезны мастерам искусства и литературы, ибо они не могут не возбудить серьезных раздумий о задачах и средствах художественного творче-

ства, раздумий плодотворных даже при несогласии с теми мыслями, которые их непосредственно возбудили.

Нам представляются спорными некоторые положения В. Днепров и, в частности, его, пожалуй, слишком категорическое и потому упрощенное противопоставление утверждающей силы социалистического реализма критицизму реализма критического. Увлечшись полемикой против ошибочных взглядов зарубежных критиков, он сам впал в противоположную крайность и начал конструировать жесткую догматическую схему. «Критика перестает быть центром художественной системы... она подчинена главной задаче: выявлять положительное содержание новой действительности».

Такое положение ограничивает проблематику и сюжетные возможности искусства социалистического реализма. С другой стороны, такая схема столь же несправедливо обедняет критический реализм, лишая его утверждающих положительных начал.

Трудно согласиться и с таким решительным, чтобы не сказать повелительным, требованием В. Днепров: «Художник социалистического реализма обязательно предлагает определенные исторические решения».

Более правильным было бы сказать, что наш художник знает, понимает и чувствует настоящие правильные решения определенных исторических проблем и что именно это понимание и ощущение определяет его художественное творчество — выбор тем и героев, точку зрения на события и людей и, наконец, все нравственные критерии, воплощенные в том, как и о чем он пишет. Ведь именно в этом, а не в «предлагании определенных решений» заключен социалистический реализм «Клима Самгина», «Петра Первого», «Тихого Дона», драматургии Брехта и Хикмета, лирики Неруды.

Разумеется, и публицистические и непосредственно образные формы решительно «предлагаемых», «определенных исторических решений» обогащают и расширяют пределы художественной литературы. Но это вовсе не привилегия литературы социалистического реализма. Так, например, остро публицистичны многие страницы романов Л. Толстого и Гюго, Достоевского и Томаса Манна, и у них не бывало недостатка в предложениях «определенных», хотя чаще всего и неправильных «исторических решений»...

Заключительный раздел — «Многообразие стилей в реалистическом искусстве» — еще более тесно, чем предшествующие, связан с практическими насущными проблемами нашего искусства. Все общие историко-философские и эстетические умозрения и все неразрывно связанные с ними конкретные литературоведческие наблюдения, которые охватывают снова необычайно многообразный материал разных эпох и разных стран, последовательно подводят к одному выводу, простому, легко обозримому и очень плодотворному.

«Реализм уничтожил господство общих стилей и выдвинул вперед стили индивидуальные».

Эта истина доказывается многими примерами, смелыми, но вполне обоснованными сопоставлениями творчества поэтов, скульпторов и живописцев античности, ренессанса, классицизма, барокко и разных периодов становления реалистического искусства. В. Днепров неопровержимо доказывает, что господство жестких канонических норм в эстетике и «самодержавие» одного общего стиля — это характерные свойства дореалистических, нереалистических и антиреалистических творческих методов.

В противоположность им, как свидетельствует вся история реализма в русской и мировой литературе — от Сервантеса, Дилро, Пушкина, Бальзака, Гоголя, Тургенева и до Горького, Чехова, Хемингуэя, Томаса Манна, — индивидуальные стили художников-реалистов отличаются беспредельным многообразием в исканиях выразительных средств и новых форм образотворчества и свободной от жестких косных эстетических норм и канонов.

Переход от истории к современности, подкрепленный короткими, но также достаточно убедительными ссылками на творческий опыт Маяковского, Брехта, Неруды, Хачатуряна и Шостаковича, становится прочным фундаментом для выводов-обобщений.

«Социалистический реализм опирается на всю сумму... реалистического художественного новаторства, он использует все богатство созданных реализмом индивидуальных стилей и идет в п е р е д, разворачывая и умножая это богатство, смело творя новые формы, соответствующие невиданно новому содержанию». «Стертость, безличность и по-дражательность стилей мешает развитию искусства социалистического реализма, и мы

должны, понимая всю жизненную важность этого, сознательно культивировать своеобразие индивидуальных стилей, смелость художественных исканий. Наиболее сплоченное по методу наше искусство должно одновременно быть самым многообразным по стилям».

«Чем ближе будем мы подходить к коммунизму, тем многообразнее, ярче, определеннее будут становиться индивидуальные стили, опирающиеся на величайший расцвет личности в новом обществе».

Этими словами заканчивается книга, которая и сама уже может служить живым примером их реальности и непосредственного осуществления, так ярко и определенно ее индивидуальный стиль.

И характеристика «Проблем реализма» будет неполной, если умолчать о стилистических особенностях.

«Художник ищет истину на глазах читателей, а не излагает ее как нечто готовое; нас захватывает в произведении не только образно-эмоциональное, но и интеллектуальное напряжение, мы увлечены не только ходом событий и действий, но и приключениями бесстрашной мысли».

Это определение, которое Днепров дает одной из существенных особенностей современной художественной литературы, непосредственно применимо и к его собственному творчеству. Он тоже «ищет истину на глазах читателя». Каждый новый раздел, каждое очередное исследование у него становится увлекательным и для автора и для читателя «приключением бесстрашной мысли». При этом автор не только отлично понимает и очень тонко чувствует особенности и оттенки художественного творчества в литературе, в изобразительном искусстве и в музыке, но и сам уверенно владеет живой, выразительной речью. Так, очень значительно по глубине мысли и вместе с тем поэтично — как по существу, так и по форме — сравнение «художественного образа времени» у Горького и Хемингуэя.

«У Горького настоящее набухло будущим. Будущее присутствует в настоящем как неустранимый вопрос, как томление и мечта, как задача и цель, как красота, как могущественнейшее влечение человека, как борьба и реальное движение массы угнетенных. А у Хемингуэя настоящее обрублено, и человек заперт в нем, как в

клетке. У Горького настоящее, сколько оно ни тяжко — вспомним душераздирающие «Страсти-Мордасти!» — открыто в будущее, а у Хемингуэя — это закрытое от будущего настоящее. Поэтому так близко подступает образ небытия, конца — смерти... Поэтому самый процесс времени распадается на

ритмически сочлененные куски настоящего — кадры-действия, кадры-состояния».

«Проблемы реализма» — остро злободневная книга. Но ее теоретическое и литературное значение выходит далеко за пределы сегодняшних споров.

Лев КОПЕЛЕВ.

★

### Одна серьезная помеха

Когда книга о творчестве писателя всего лишь первая разведка темы, когда она первая попытка малоискушенного исследователя — счет к ней один. Но если у нее есть предшественники, а ее автор — опытный литератор, наделенный хорошим вкусом и завидным критическим чутьем, — счет совсем иной. В таких случаях снисходительность не положена, и это справедливо.

Довольно много работ известно об М. М. Пришвине: статьи, брошюры, диссертации, комментарии. Естественно поэтому, что критика, с интересом и вниманием встретив новую книгу Т. Хмельницкой «Творчество Михаила Пришвина», не замедлила предъявить к ней свои немалые требования. Это видно уже из рецензии И. Мотяшова в первом номере «Вопросов литературы» за нынешний год.

Конечно, не все упреки в адрес любой книги бывают равно заслужены и не все достоинства ее сразу оказываются на виду. Так же и И. Мотяшову следовало бы сказать, и сказать не между прочим, о том, что книга Т. Хмельницкой с первой и до последней страницы — пример живого, незасушенного, невывученного слова о писателе, произнесенного человеком, искренне увлеченным и неподдельно эмоциональным. Здесь каждая глава — свидетельство свободного владения текстом, здесь много архивных разысканий, смелых — пусть и рискованных в ряде случаев — сопоставлений и ассоциаций, в целом, несомненно, обогащающих представление читателя о традициях, которые унаследовал Пришвин и которые создал он сам. Здесь — интересные и верные стилистические замечания, ощущение художественной формы, тонкое чувство языка, столь необходимые нашим критическим трудам и столь редкие в них.

Здесь — если не считать нескольких нежелательных штампов и жаргонизмов профессионально-литературной среды («настоячиво обыгрывает», «ехать на материал», «абсолютный серьез») — высокая культура речи. Книга рассматривает деятельность писателя многосторонне и последовательно, освещая достижения Пришвина-очеркиста, раскрывая историческую основу его автобиографического цикла «Кашеева цепь», оставившаяся и на последующих произведениях.

Или глава о языке. Она отнюдь не представляет собой того унылого словаря охотничьих терминов, каким ее рисует И. Мотяшов. Как и во всех главах книги, в ней есть много любопытных, порой очень остроумных наблюдений, есть несколько попыток их систематизации. Другое дело, что она не выходит за рамки «стилистического импрессионизма». Но разве это беда или вина одной Т. Хмельницкой? Давно известно, что в исследовании языка литературоведение в целом страдает произвольностью и случайностью своих «открытий», тогда как систематизация лингвистов большей частью абстрактны и растворяют специфику художественного слова в общей стихии языка.

Казалось бы, немало. Сколько найдется критических очерков и монографий, не обладающих и половиной всех этих достоинств! И так как за каждым из них большой труд и большая любовь к своему делу, их надо ценить.

Однако и в данной рецензии речь пойдет главным образом не о достоинствах, которые очевидны, и вот почему. В работе Т. Хмельницкой, на наш взгляд, легко уловимо противоречие между тем, что автором обещано во введении, и тем, что получено в результате. Нет ничего досаднее обманутых ожиданий. Исходя из темпераментно написанного предисловия, мы ищем в книге многогранную фигуру природоведа и философа, большого знатока

Т. Хмельницкая. Творчество Михаила Пришвина. Редактор М. Динман. 284 стр. «Советский писатель». Л. 1959.

людей и жизни, сложного, глубокого и самостоятельного в своих открытиях художника в его постоянном движении, развитии, совершенствовании. Мы очень хотим увидеть еще не раскрытое в полной мере своеобразие Пришвина, правильно понять суть и значение лучших его произведений. Ручка Т. Хмельницкой воинственно поднята на тех, кто создает легенду об умиротворенном и благодушном Пришвине, и мы приветствуем эту воинственность.

Но чем далее, тем более оказывается, что автор ведет нас не туда, куда звал, и рисует не то, что хотел.

То тут, то там на страницах книги мелькали и скрывались точно подмеченные автором отдельные черты дарования писателя. Отчего же портрет в целом оказался все же неглубоким, а кое-где словно написан с кого-то другого?

Внимательно вглядываясь в построение книги, угадывая ее замысел, понимаешь, что дело не в частности, не в штрихе, не в мелочи. Дело в том, что Т. Хмельницкая оказалась во власти одного все еще очень распространенного методологического предубеждения и доверилась ему больше, чем своим собственным наблюдениям, которые противоречили ему.

Предубеждение, о котором идет речь, обязывает исследователя-литературоведа приписать на верность догмам: эпос — лучший вид реализма; лучший же его жанр — роман, и как можно более историчный. С этого все и начинается...

Между тем теория «реализм — эпос — роман», если ее абсолютизировать, превращается в схему; она скрывает тогда от ученых и критиков другие, более опосредствованные формы и связи реализма. Есть писатели фантасты, сатирики, лирики, философы. Есть Шедрин, Тютчев, Франс, Уэллс. Как быть с ними? Лучшие они или не лучшие? Каково их отношение к реализму и художественности?

Эта же схема оказалась неприложимой и к творчеству Пришвина.

Попробуем уловить основную нить рассуждений Т. Хмельницкой. По видимости наиболее «эпическим» и традиционным из всех созданий Пришвина является его «Кашеева цепь»: в ней отражено много событий, действующих лиц, есть хронология, есть отголоски истории. Следовательно (!), привычно и заранее умозаключает

критик, это — его высшее достижение, его вершина. Отсюда и название центральной главы у Хмельницкой — «Осмысление себя». Следовательно, все предшествующие произведения писателя суть подступы к вершине, пока еще неведомой: «В поисках неведомого» (название первой главы). И все последующее — уже известный спад: мастер не удержался на вершине и, несмотря на новые небезуспешные попытки, уклонился от цели, кое-где разменялся на мелочи. Так в соответствии с последовательной концепцией книги «неведомое» оказалось «рядом» — только рядом! — с писателем, о чем автор не может не пожалеть.

И вот уже нельзя в полную меру — как подсказывает непосредственное, достаточно развитое у критика эстетическое чувство, — нельзя восхищаться «Черным арабом». Эта поэма, выросшая когда-то из путевого очерка, написана Пришвиным еще до революции. Она была и осталась одним из малых шедевров писателя. Но критику приходится всячески оговариваться, осторожничать, в чем-то оправдывать писателя («открытие новых мест», каноны «библейского» стиля), за что-то пожуричь его («экзотика», «эстетизм»). И за библейским стилем, эстетизмом, поисками отношения к материалу становится не виден гуманистический пафос произведения, поднявшего на вершины поэзии быт угнетенного степного народа, тех самых тесных царскими колонизаторами киргизов, по поводу которых, как процитировано у Хмельницкой из Пришвина, дано было по-шедрински выразительное правительственное предписание: «в случае крайности не щадить». Их не щадил; и к «библейству» писатель прибегнул не ради одних красот стиля, а прежде всего ради утверждения братства, вечности, общности жизни, а следовательно, и равенства всех народов земли, прошедших, настоящих и будущих времен. Подход к этой повести-поэме оказался неплодотворным, потому что был всего лишь стилистическим.

С позиций автора нельзя стало быть, считать чем-то значительным и полноценным художественным столь характерные для Пришвина так называемые «фенологические» циклы, законченные и специально обработанные дневниковые миниатюры. Это же «малый жанр» и «рабочая философия», это все либо «подступы», либо «отступления».

Бросающаяся в глаза преемственность ряда мотивов «Кашеевой цепи», «Женьшенья», «Фацелии» начинает в конце концов раздражать критика, видящего в ней «ограниченность» и «круженис» на одном месте, но почему-то не заметившего, что это и непрерывное разглядывание новых глубин открывшегося явления, и проверка своих открытий на более поздних жизненных этапах, уже с новых позиций, и, кроме всего, настойчивые призывы писателя, полные внутренней силы и убежденности, обращенные к «неведомому другу», которого непременно надо уберечь от возможных ошибок и уже исхоженных дорог. Пришвинская «лейтмотивность», истолкованная как повторение, делает фигуру писателя статичной, а это не соответствует действительности.

В совершенном недоумении останавливается автор монографии перед сложными, интереснейшими повестями последних лет жизни писателя, еще не освоенными критикой («Корабельная чаша», «Повесть нашего времени», «Осударева дорога»). Эти повести-сказы, на такой высокой, вполне «восходящей» и гражданственной ноте завершающие лирическую песнь творчества Пришвина, оказываются опять-таки всего лишь мудраватой стилизацией, которая как будто и «не к лицу» такому «патриарху нашей современной литературы». «Зачем,— красиво пишет автор,— величавому, всеми почитаемому старейшине рода... прицеплять поддельную бороду...» и т. д. Но красноречие не избавляет от необходимости аргументировать; напротив, лишь при таком условии оно обретает подлинную силу. Почему сказовый стиль «Повести нашего времени» как-то устраивает критика, стилизация же «Осударевой дороги» и «Корабельной чаши» коробит его? Где критерий, где мера ее целесообразности? И что она такое? Вопрос нелегкий. Возможно, что ответа еще никто не знает. Но тогда и суждения, не подкрепленные детальнейшим и тонким анализом, не могут быть столь категоричны.

Наконец, о «Кашеевой цепи». Над этим самым большим своим произведением Пришвин трудился не один десяток лет. У Т. Хмельницкой оно называется «ключом ко всему... творчеству» писателя. Что ж, из всех возможных ключей выбран далекий не самый худший. Как мы помним, для

критика это центр, вершина, авторское «осмысление себя».

«...Невольно становится жалко,— пишет исследователь,— что эти его богатейшие возможности в изображении человека и времени проявились только в одном-единственном романе, а дальше Пришвин их уже никогда не применял». «Надо прямо сказать,— еще раз сожалеет критик,— что ни до этого романа, ни после него Пришвин никогда не достигал такой вершины творческого раскрытия героя, такой широты и сложности видения мира и человеческих взаимоотношений, как в «Кашеевой цепи».

Итак, в творчестве писателя «Кашеева цепь» есть нечто выходящее из ряда вон. И если мы не читали романа, какой огромной, необозримой, многогранной эпопеей предстанет он перед нами со слов критика. Всего в нем изображенного не перечесать, такой там «большой социальный, исторический и психологический охват событий». Вот один только список, приводимый Хмельницкой на стр. 110 (а есть два списка поменьше — на стр. 119 и 122): эпоха, среда, социальная обстановка; семья, товарищи, воспитатели в их индивидуальной характеристике и классовой типичности («отсюда многогранность каждого образа»); колоритная фигура дяди, который сродни горьковским первоначальникам; широкий социальный, исторический и бытовой фон: «Убийство Александра II, крестьянские бунты, подпольные политические кружки, споры народников с марксистами, русское студенчество за границей, мешански ограниченная среда немецких социал-демократов, сановно-бюрократический Петербург, предгрозовая атмосфера начала XX века, подготовка революции, с одной стороны, тщательно разработанная система сыска, доносов, охранительных мер и репрессий — с другой», — словом, «большое социальное полотно».

— Да полноте! — скажет читатель. — Так ли это? Нарисовать это «полотно» под силу только литературе в целом; с ним не справился бы, пожалуй, и Лев Толстой.

Когда мы обратимся к самому Пришвину, мы не увидим этих необъятных полотен. В сравнительно небольшом, очень уплотненном произведении есть отношение героя к упомянутым событиям и вопросам, есть отклики на них, есть чувства и переживания, с ними связанные, есть их признаки, штрихи, детали, частности — но полотен

нет, не было и быть не могло: не та у Пришвина задача, не те и средства. Кригик в этом случае смешивает содержание произведения со способом изображения, поэтому любая социальная, политическая или историческая проблема, интересующая писателя, чудодейственно превращается в картину.

Т. Хмельницкая утверждает также, что лишь в «Кашеевой цепи» достигнута небывалая у Пришвина «индивидуализация типического образа». Но надо еще доказывать и доказывать, что индивидуализация образа марксиста Несговорова или купца Астахова в «Кашеевой цепи» качественно выше и значительнее, чем, например, образ Алеши или Вани в «Повести нашего времени», относящейся к эпохе Великой Отечественной войны. И нет ли предвзятости в том, что созданные Пришвиным характеры названы «типическими»? «Образ революционера-ортодокса», «образ купца-первоначальника» — именно как социальные типы они для нас уже не новы. Не случайно тут же упомянут Горький. Характеры «Повести нашего времени» в применении к советской литературе — в гораздо большей степени открытие самого Пришвина, хотя, не вызвав привычных литературных ассоциаций, они остались незамеченными. Интересно, однако, что и в этом случае Пришвин не идет по пути создания социального типа; опять-таки не те у него способы, цели, не тот род таланта и свое толкование типического.

Ради окончательной канонизации «Кашеевой цепи» как социально-исторического романа Т. Хмельницкая называет ее «своего рода «Былыми и думами» в «ключе Пришвина». Так как «пришвинский ключ» остается фразой (каков он, этот ключ?), то действительна лишь первая половина высказывания. Но от такого сравнения «Кашеева цепь» лишь проигрывает, ибо глубина и осмысленность изображения объективно-исторической действительности у Герцена были куда значительнее — и потому, что оказались его собственным художественным первооткрытием, и потому, что они были счастливо обусловлены самой общественной позицией Герцена, его ролью в русском революционно-демократическом движении. «Кашеева цепь» в этом отношении несравненно уже и литературно опосредствованнее. С гражданской, социально-исторической точки зрения «Осударева до-

рога» Пришвина с полным правом может поспорить с «Кашеевой цепью» и превзойти ее.

Всячески вознося объективное, эпическое начало «Кашеевой цепи», домысливая его и там, где оно отсутствует, критик в своих обобщениях вольно или невольно игнорирует субъективный ее пафос. Т. Хмельницкая чувствует, как много личной страсти, личного душевного и жизненного опыта вложено писателем в эту книгу. Она знает, как часто Пришвин проводил параллель между переживаниями его героя Алпатова и своими собственными. Весь этот эмоциональный, личный, лирический комплекс обозначен у Хмельницкой словом «автобиографизм». Каких только оговорок ей при этом приходится делать, в какие дебри противоречий она не впадает! Однако она остается при убеждении — «Пришвин автобиографичен во всем». Но в этом термине лишь полуправда, не более. Он, конечно, легко послужит концепции критика, он тоже позволит искать в романе преимущественно мемуары, «увязать» произведение с реальным бытием (что может быть реальнее «всамделишной» биографии!). Но как много существенно важного для Пришвина уйдет из книги, когда хозяином в ней делается это приблизительное слово. Да и что оно доказывает? Автобиографична и даже исторически конкретна (тоже в своем «ключе») и «Незнакомка» Блока и вся лирика Пушкина. Все же дать к ним реально-исторический комментарий — задача вполне почетная — значит ли определить их идейную суть, равно как и художественную природу? Система мыслей и образов Пришвина интересует Т. Хмельницкую только в применении к его же собственной биографии и творческому пути. А писатель-то, конечно, придавал ей значение куда более универсальное. Он просто не состоялся бы как большой художник ни в «Кашеевой цепи», ни где бы то ни было, если бы, как иные полагают и до сих пор, все писал бы и писал о себе, все малевал бы «свой портрет»,

Как будто нам уж невозможно  
Писать романы о другом,  
Как только о себе самом.

«Кашеева цепь» — совсем не «осмысление себя», не повесть о том, как писатель Пришвин сделался писателем Пришвиным. «Кашеева цепь», конечно, создавалась на

основе личного опыта, но написана о том, как эмоционально и духовно развитый человек ищет, должен искать себя, постигать смысл жизни, найти свое место в обществе рядом с другими людьми. Этот обобщающий план и есть главный, определяющий план в книге Пришвина. Он диктует все те вынужденные оговорки о символике, лирическом герое, психологизме, многослойности, широте охвата и т. д., которыми Т. Хмельницкая сопровождает термин «автобиографичность». Он же обуславливает и жанр романа не как историко-бытового, а как лирико-философского, неразрывно связанного этим своим качеством со всеми другими произведениями Пришвина. Ибо что есть и все его творчество в целом, если не глубокое и непрерывное осмысление не только себя, но и человека вообще, русского и советского человека в частности, а более всего — художника, творца, преобразователя жизни в их отношении к миру природному и миру социальному, в их самоопределении в этом мире.

Таким образом, Т. Хмельницкая ясно видит Пришвина там, где он выступает как продолжатель традиций классической прозы, как борец с декадансом, как тонкий психолог, «плерист» и мастер очерка, там, где он оздоровитель книжной атмосферы, «озон», «кислород» нашей литературы. И за это мы благодарны критике.

Но Т. Хмельницкая не хочет видеть в целом творчестве Пришвина обобщенную, философски и лирически осмысленную карти-

ну духовных исканий человека его времени, видеть эстетическое отражение тех решений, к которым известными прослойками русского и советского общества шли через трудную внутреннюю борьбу, через срывы и заблуждения, через искусства ложных путей.

Способность крупных эпических талантов перевоплощаться, жить судьбами десятков людей, создавать множество социальных типов Пришвину дана не была. Но ему удалось единственное в своем роде умение понять мир и человека «через себя», освоить его лирико-философски и тем навсегда проложить себе путь к «другу читателю».

Что помешало Т. Хмельницкой строить свою концепцию, опираясь на множество своих же верных наблюдений? Камнем преткновения оказался «всего-навсего» чисто теоретический предрассудок, имеющий на первый взгляд так мало отношения к конкретной работе практического критика.

Монография Т. Хмельницкой — бесспорно талантливо написанная книга. Ее интересно прочесть, ее интересно оспорить. Но слишком много усилий затрачено в ней на доказательство недоказуемого. И довериться выводам автора нельзя. Они убеждают в одном: в необходимости смелее и самостоятельнее судить о разнообразных формах и средствах изображения действительности в нашей литературе, переходя от живой практики советского искусства к нерешенным вопросам теории социалистического реализма.

Г. ТРЕФИЛОВА.



## Конец доктора Уинслоу

Когда-то в юности Джеймс Уинслоу прочитал роман Синклера Льюиса «Эрроусмит», и это заставило его задуматься над подвигом ученого. Он поверил, что «долг, святая обязанность каждого человека — сделать мир лучше, чем он был раньше», и стал микробиологом. Он сам совершил такой подвиг, найдя метод массового получения стерильного пенициллина, и спас сотни тысяч жизней во второй мировой войне. Наградой ему была «не власть над людьми — власть над природой. Ради этого стоило жить... по-настоящему стоило».

Джейс Дайс. Крупная игра. Роман. «Иностранная литература», №№ 1—3, 1960.

Об истории доктора фармакологии Джеймса Хауэлла Уинслоу, его необыкновенном возвышении, величии и трагическом конце рассказывает роман современного американского писателя Джея Дайса «Крупная игра».

Мы застаем Уинслоу в правлении крупнейшей в США фармацевтической фирмы «Объединенная компания Фабер-Кинг». Он приехал из провинциального филиала самовольно, с твердым намерением добиться программы действительно научных исследований или уйти из промышленности в университет. Ему надоела «одна и та же осточертевшая программа» компании, «он и так ждал слишком долго».

В правлении его настаивает «чудо»: он разминутся с посланным ему вызовом! Компания ассигновала пять миллионов долларов на проведение новой программы научных исследований. Нужен новый антибиотик с самым широким антибактериальным спектром действия. На отыскание его будут брошены все научные силы. Уинслоу предлагают стать «личным представителем» президента компании по осуществлению программы.

«Подумайте, что принесет компании — и всему человечеству — открытие нового средства, излечивающего корь, свинку, грипп, обыкновенный насморк и даже эн... эн... энцефалит!» — соблазняет его не слишком образованный, но зато всесильный президент компании Сондерс.

Многое смущает Уинслоу в лестном предложении. Найдет ли он общий язык с Сондерсом, которого интересует только «огромный коммерческий потенциал» нового антибиотика? И неопределенность своего личного положения после завершения программы. И то, что он будет «плеткой» президента и должен «гнать вовсю» (Сондерс бросил ему это прямо в лицо). И унизительная реплика Сондерса о «бойких парнишках», которых нанимают для науки. И фамилярный тон... Но какая возможность! «Успех означал новую веху в развитии науки».

Уинслоу дает согласие. И слышит ошеломляющие слова: ему будут платить отныне двадцать пять тысяч долларов в год! Сказочные деньги! Неважно, что Сондерс будет называть его не Хауэллом, а просто и «по-деловому» Джимом! Он был Джимом, когда мыл автомобили и заправлял их бензином, но теперь у него три ученые степени... А впрочем, «пусть будет Джим, если вам так хочется... В конце концов 25 000 долларов — большие деньги, как бы вас при этом ни называли. А возможности для научной работы — просто несравненные...»

Роман Дайса вторгается в особую сферу: компания выпускает лекарства, жизнь и здоровье американцев зависят от ее продукции. Руководители компании охотно говорят о «великой задаче оградить человеческую жизнь», о своем долге «внести величайший вклад в борьбу за благо человечества», о счастье «зарабатывать свой хлеб, помогая людям».

Что скрывается за этими декларациями человеколюбия?

Дайс отвечает на этот вопрос вполне определенно: ни полезность того или иного лекарства, ни здоровье человека сами по себе не имеют никакого значения для монополий. Им важен вопрос прибыли: сколько и как скоро они ее могут получить?

«В нашем деле важна не польза, которую приносит лекарство, важно, чтобы оно было новым! Новизна — вот что обеспечивает сбыт нашего товара», — так вправляет мозги своему личному представителю Сондерс.

«Держатели акций должны получать дивиденды. Вот наш первый долг, и этого нельзя забывать. Они предоставили нам возможность работать, и они должны получить денежное вознаграждение», — так говорит публично руководитель научного отдела компании доктор Моррис.

Рассказанная в романе история поисков, нахождения, испытаний мультициллина, волнующая мощью человеческого ума и сравнительно научного коллектива, одновременно потрясает своим шизмизмом и бесчеловечностью: мультициллин выпущен в продажу без надлежащих клинических испытаний; его экспортируют для внутривенных вливаний, хотя в месте укола образуются кисты; его целебные свойства резко преувеличиваются, а вредные последствия замалчиваются. Сделано все, вплоть до подкупа, чтобы обеспечить мультициллину самый широкий сбыт... И он дал огромную прибыль, но вызвал у части больных холероподобные заболевания со смертельным исходом.

Насколько достоверна действительность, показанная в романе? Она бесспорна и даже на два года опередила жизнь: этой зимой комиссия американского конгресса установила, что фармацевтические монополии наживаются до пятисот — шестисот процентов прибыли на каждый затраченный доллар и выпускают лекарства часто сомнительной полезности ради увеличения сбыта.

Жизненно достоверны и художественные образы романа.

Современная монополистическая демократия США под пером Дайса оказывается наследственной олигархией. При формальном равенстве вершину общественной пирамиды занимает потомственная денежная аристократия — потомки финансово-промышленных кондотьеров, которые создали первые монополии и основали свои династии. Таковы образы Фредерика Эндрю



Бейкера III, доверенного банковских кругов Калеба Херберта и «легендарного» банкира Генри Рулара, своего человека в Белом доме.

Наиболее типичен из них и детализирован писателем образ Бейкера. Его дед и отец раньше других поняли будущее химической промышленности и вложили в нее большие капиталы. Их внук и сын, Фредерик Эндрю Бейкер III, владеет крупным пакетом акций Фабер-Кинга — настолько крупным, что в делах компании «глас Бейкера — глас божий». Как человек Бейкер — само ничтожество, бездарное и бесцветное, но благодаря своим акциям он занимает пост вице-президента и административного директора. «Все... принадлежало ему по праву рождения. И с момента рождения, как прежде его отцу и деду. Он был отпрыском американской аристократии, и, хотя у него не было громкого титула, он так же хорошо чувствовал барьер, отделяющий его от обыкновенных смертных, как какой-нибудь феодальный сеньор в своем замке. Этим барьером было богатство — огромное богатство».

Ни Бейкеры, ни Херберты сами не в состоянии вести дела фирмы, руководить и созидать хотя бы в капиталистическом понимании этого слова. Почему же их монополии не разваливаются, не прогорают? Ответ на этот вопрос дает другой типический образ романа, написанный сочно и с блеском, образ всемогущего президента компании Джорджа Т. Сондерса. В области производства «он обладал истинным талантом, нет — гением, ибо начал с того, что произвел самого себя». Начав работать семнадцатилетним подсобником, он прошел все ступени административной лестницы и стал президентом компании. Теперь он стремился к мировой монополии. Ему «уже виднелся рах амерісапа (он прибегал именно к этому термину) под эгидой американских вооруженных сил, когда Южная Америка и страны Дальнего Востока войдут младшими братьями в семью сорока восьми штатов». Под руководством Сондерса «компания становилась государством внутри государства, миром внутри мира».

Сондерсы и подобные ему талантливые выходцы из народа, соблазненные американским образом жизни, являются цепными псами монополий, обеспечивают им рост и процветание. Это мажордомы некоронованных королей Америки. Бездарные и без-

цветные Бейкеры и Херберты вынуждены подыскивать для управления монополиями и капиталами талантливых Сондерсов, платить им огромные деньги, вручать руководство предприятиями, терпеть их рядом с собой. В то же время они люто ненавидят и боятся Сондерсов — так бездарный хозяин ненавидит и боится талантливого приказчика. И мы видим в романе, что при первой же ошибке хозяева монополий вышибают Сондерса и заменяют его более молодым и более знающим Уинслоу. Он кажется им инициативнее и надежнее, но еще важнее, что им легче держать его в своих руках...

Ниже Сондерса на разных ступенях общественной лестницы стоят современные рабы монополий. Наиболее ценные работники компании — ученые — получают меньше денег, чем производственники — инженеры и техники, чем администраторы, чем бытовики, чем рекламисты. Вот Херберт представляет Рулару доктора Уинслоу. «Я же сказал тебе — доктор Уинслоу, — говорит Херберт. — «Мистером» можно назвать финансиста или дельца. А эти ученые страшно держатся за свои звания...» — «Потому что зарабатывают куда меньше», — шутит Уинслоу. Дайс вскользь рисует существующие в недрах компании нравы: подхалимничанье, прислужничество, страх и молчаливость одних, подслушивание, шпионаж, пришибеешину, расизм и откровенный фашизм других. Компания устраивает массовые прогулки для рабочих, банкеты для старослужащих, одаряет нужных людей подарками, но о ее порядках дает представление следующая тирада Сондерса: «Самый здравый курс — время от времени кого-нибудь увольнять: остальные господа интеллигенты поджимают хвосты и меньше увлекаются радикальными идеями». Дайс говорит обо всем этом мимходом. Его задача иная — его интересует тип ученого, пошедшего на службу к монополиям. Как доходят до жизни такой?

История возвышения доктора Уинслоу — это «обыкновенная история». Обыкновенная для американского образа жизни... Но Дайс вносит в нее несколько новых черточек.

Двойственность положения терзает «личного представителя». «Почему он не в лаборатории, почему сидит в кресле административного работника?» — задает себе вопрос Уинслоу, чтобы сейчас же оправдать

измену науке самыми благородными побуждениями: в кресле административного работника «его возможности удвоились. Теперь он сможет помогать движению всего научного процесса». Столь же благородными побуждениями он оправдывает каждую новую измену, каждый поступок, противоречащий этике ученого и морали человека, а ему много приходится делать таких поступков, поднимаясь по лестнице успеха. Уинслоу походя жлет другим, жлет себе — он боится сказать правду даже самому себе, боится утратить самоуважение.

Уинслоу — сын своей страны и своего времени. Легенда об Успехе и о Великой Возможности, поджидающей каждого деловитого американца в мире «честного бизнеса», впитана им с детства. «Червячок жажды богатства и власти денег», страха перед бедностью и зависти к тем, кто деньгами огражден от всех случайностей, червячок, точивший Уинслоу еще с юных лет, набросился на него, когда он стал администратором, когда ему открылась возможность «пробиться в число немногих избранных». Пожиремый этим червячком, «оглушенный, покорный, словно у него не было сил самостоятельно избрать путь», Уинслоу поднимается по «лестнице успеха», думая, что это «лестница жизни», и не замечая, как в нем постепенно умирает ученый и рождается делец, prostituteирующий собой и наукой ради богатства и власти.

Великая Возможность, настигшая Уинслоу, вызвала кристаллизацию отрицательных черт и превратила человека, которому следовало ненавидеть американский образ жизни, в поклонника и носителя этого образа. Что ж! Страх и зависть могут стать питательной средой для беспринципности и карьеризма у малокультурных людей. Культурен ли Уинслоу, имеющий три ученые степени? Нет! Он только «спец» и никогда не задумывался над «контрастом между сияющей белизной, суперстерильными лабораториями, где мы производим опыты, чтобы нести людям здоровье, и этими замусоренными, полными крыс трущобами, где мы обрекаем людей на болезни». Это же только «социология»!

Правдиво, с зоркостью клинициста, регистрируя стадии постепенного перерождения Уинслоу, Дайс беспощаден в раскрытии образа ренегата, изменившего своему призыванию.

Характер Уинслоу безусловно типичен для определенной части ученых США. Но его молниеносная карьера не слишком правдоподобна и даже условна. Быстрое повышение Уинслоу заставляет вспомнить о волшебном куске шагреновой кожи, обладавшей чудесным свойством исполнять желания, сжимаясь в размерах, и соответственно укорачивать жизнь владельца талисмана. Бальзак видел в этой восточной сказке «формулу нашего теперешнего века, нашей жизни, нашего эгоизма». Дайс видит в ней формулу американского образа жизни и личной судьбы Уинслоу: каждое повышение «личного представителя» снижает научный потенциал доктора Уинслоу, каждая нить, связывающая его с административной элитой, рвет нити, соединяющие его с призванием ученого.

В американскую литературу Джей Дайс вошел как наследник Синклера Льюиса. Стремясь продолжать его традицию, он обличает умственное убожество и творческую импотенцию современной монополистической олигархии США, обличает цепкую власть доллара, порабащившую свободную мысль и коверкающую человеческую личность. От Синклера Льюиса идет и холодная, издевательская улыбка Дайса над дикостью и бесчеловечием американского образа жизни. Под сценами коммерческой конференции агентов по сбыту мог бы, пожалуй, подписаться автор «Бэббита» и «Гидеона Пленниша». Полуголые девицы, прославляющие в бездарных куплетах мультициллин, — да это же практика незабвенного доктора Альмуса Пикербо! И чем сам Уинслоу отличается от Рипплтона Холлаберда? Менее пышной фразеологией и большей удачей...

Даже выход, указываемый Дайсом, это синклер-льюисовский выход: положительные герои романа (обе женщины-ученые — Эбби Паркер и Айрин Крэггер), подобно Эрроусмиту, бегут от «зла» — от работы в промышленности. Они заняты личным спасением и умывают руки в отношении общих порядков.

Но изменилось время и изменило декорации: Дайсу ясно то, что было неясно Синклеру Льюису. Его краски резче, определеннее, понятия более четки. Бег времени изменил «филантропов» Мак-Герков империалистически хищными Сондерсами, вельречивых Холлабердов цепкими Уинслоу, талантливых Каупервудов Драйзера — вы-

рождающимися Бейкерами III. Время изменило образ современника, не изменив почвы, на которой они выросли, и это сказало на позиции самого Дайса. В наши дни, когда буржуазные идеологи США навязывают современной американской литературе апологетизацию героя-бизнесмена, эта позиция полемична и потому прогрессивна. Но прогрессивность Дайса ограничена: повисают в воздухе благочестивые пожелания Эбба Паркера, чтобы все рождалось богатыми, потому что ее не волнует вопрос, как этого добиться.

Мы прощаемся с Уинслоу в апогее его величия. Он получил все, чего добивался; он богат, вышиб Сондерса, занял его место, женился на богатой, красивой, нелюбимой кукле. И едет доложить акционерам о повышении акций компании втрое. Почему же его «охватило чувство одиночества? Что

порождало в нем эту ужасающую тоску? Болота?.. Кладбище?.. Заброшенность?..»

Спасаясь от мрачных мыслей, он диктует по радиотелефону вставку в доклад акционерам — вставку, которая когда-то вызвала негодование доктора Уинслоу: «Добавьте туда: «Наш первый долг — блюсти интересы держателей акций, именно они имеют право на вознаграждение...» И поражен, когда в трубке вместо привычного «доктор Уинслоу» слышит «мистер Уинслоу».

«И вдруг его словно ударило. — Мистер Уинслоу? — вслух сказал он. — Мистер Уинслоу... — И еще раз негодуяще повторил: — Мистер Уинслоу!»

Он понял, что доктор Уинслоу умер. Остался делец — мистер Уинслоу.

Юрий ПОЛЕТИКА.

★

## Политика и наука

### Полезное исследование

Публицистическое искусство В. И. Ленина неразрывно связано с его деятельностью основоположника, вождя и георетика партии нового типа. Публицистическое звучание присуще всем ленинским работам на политические, экономические, философские и эстетические темы. Точнее, оно присуще всему литературному наследию Ленина — этому неиссякаемому, живогворному источнику коммунистического мировоззрения.

Таковы исходные идейные позиции книги Б. Яковлева «Ленин-публицист», выпущенной недавно Государственным издательством политической литературы.

В статье «Партийная организация и партийная литература», программной для всего нашего идеологического фронта, Ленин обосновал необходимость развития партийной литературы, служащей миллионам и десяткам миллионов трудящихся, оплодотворяющей «последнее слово революционной мысли человечества» живой практикой освободительного движения рабочего класса, создающей постоянное взаимодействие между научным социализмом и «опытом настоящего».

Б. Яковлев. Ленин-публицист. Редактор В. Гуревич. 539 стр. Госполитиздат. М. 1960.

Эти и многие другие основополагающие идеи Ленина имеют огромное значение для публицистического жанра нашей литературы. По ленинскому определению, «постоянное дело публицистов — писать историю современности», приносить посильную помощь героям пролетариям, всем участникам борьбы за социалистическое преобразование мира. Отсюда и высокая оценка боевых возможностей партийной публицистики, с ее близостью современности, георетическим обоснованием революционных выводов, точным прицелом на идеологию империализма и его ревизионистских пособников.

Девятнадцатый век был богат литературой, связанной с народно-освободительным движением. Вспомним о замечательных трудах первых учителей Ленина — Белинского, Герцена, Чернышевского, Добролюбова, Писарева — и об определивших его мировоззрение Марксе и Энгельсе. Наследие истине великое, проложившее путь публицистике нового типа. Но в ту пору, когда начал писать Ленин, оно по ряду общезвестных причин скрывалось от широкого читателя, а нередко и искажалось.

Ленин впервые открыл роль этого наследия в развитии передовых идей, в борьбе словом. Значение этого открытия несо-

менно для любого читателя, сколькимбудь знакомого с историей общественной мысли.

Есть еще одна особенность публицистики Ленина, определяемая характером его творческих интересов и устремлений.

Владимир Ильич имел особую склонность к этому рода борьбе. Недаром в ряде дореволюционных анкет он скромно причислял себя к числу «журналистов», «литераторов», «писателей». А впоследствии, уже будучи главой Советского правительства, он на вопрос анкеты делегата IX съезда партии «Какие специальности знаете?» ответил: «Публицист». Примечательно и то, что Владимир Ильич одним из первых вступил в Союз журналистов.

Публицистика была одним из любимых занятий Ленина. Это, естественно, повышает наш интерес к публицистической стороне его творчества. Прав Луначарский, утверждавший, что нужно изучать ленинский журналистский стиль, «приемы, убедительность и вместе с тем его стойкость... Все это представляет собой огромные объекты для изучения». Прав он и в том, что работы такого рода требуют, чтобы их авторы не только владели революционной теорией, но и были «достаточно вооружены знанием вообще всевозможных приемов в журнальной технике», являясь «вместе с тем достаточно подкованными знатоками стилей и в известной степени филологам»<sup>1</sup>.

В книге Б. Яковлева читатель найдет квалифицированный обзор материала, порой новую, заслуживающую обсуждения постановку проблемы, и — главное — она написана с той увлеченностью, я бы сказала, влюбленностью в тему, которая возникает только в результате серьезного, долготного труда.

Я далеко не во всем согласна с Б. Яковлевым, но почти все высказанное им в этой книге мне представляется интересным. Впервые в литературоведческом аспекте исследуются такие животрепещущие вопросы, как предмет и содержание ленинской публицистики, многообразие ее жанров,

<sup>1</sup> См. стенограмму лекции А. В. Луначарского «Ленин как редактор», прочитанную на курсах марксизма 13 марта 1931 года. Впервые опубликована в 1960 году в сборнике «Ленин журналист и редактор», стр. 332—333.

публицистическое искусство Ленина, принципы композиции его статей.

В первой главе наиболее существенным мне представляется анализ «Заметок публициста» и столь ярко проявившихся в них принципы литературной деятельности Ленина. Здесь, как и во всей книге Б. Яковлева, проводится мысль о сочетании партийности с научностью в ленинской публицистике, мысль, побудившая исследовать своеобразие и новаторство этой стороны деятельности Ленина. Весьма актуальна критика Б. Яковлевым ошибочных понятий о марксистской публицистике как о чем-то, якобы имеющем возможность существовать независимо от научного мышления, его полемика в этом аспекте.

И. А. Портянкин, издавший в 1959 году свои лекции о редакторской и публицистической деятельности Ленина, утверждает, что в публицистических статьях научно-теоретического характера «первой и основной отличительной особенностью... является их научная марксистская глубина и теоретическая обстоятельность. В обычной, более широко распространенной публицистической статье эта черта чаще всего отсутствует как необязательная для нее. С такими статьями мы иногда встречаемся и в Ленина»<sup>1</sup>. Этот плохо продуманный и нечетко сформулированный тезис может привести к выводу, что некоторым публицистическим выступлениям Ленина якобы не свойственна «марксистская глубина». Что это не так, нетрудно убедиться, проследив все работы Ленина — от брошюры, впервые марксистски исследующей фабричное законодательство в царской России, до столь богатого научными открытиями «Материализма и эмпириокритицизма». Отличные друг от друга типы и цели этих работ, разумеется, сказались на их содержании и стилистических особенностях. Различны и функции публицистики в агитационной брошюре и полемическом философском труде. Но Ленин всегда руководствовался научными критериями в оценке явлений современности, исторического процесса в целом. В этом жизненная сила его идей и градаций. Прав Б. Яковлев, утверждающий, что ленинская публицистика всегда теоретиче-

<sup>1</sup> И. А. Портянкин. Редакторская и публицистическая деятельность В. И. Ленина. М. 1959, стр. 70.

ски обоснована и научна. На примере особенно актуальной в наши дни брошюры «Великий почин» он показал, что в анализе действительности Ленин выступал как историк современности, идеолог научного коммунизма. В этом и состоит новаторство Ленина-публициста, по замечательному определению Р. Роллана — «мастера действия», направлявшего и поддерживавшего «непрерывный поступательный ход человечества». Тем самым утверждается неразрывное единство Ленина-ученого и Ленина-публициста.

Мне представляется существенным это обстоятельство, и не только в теоретическом аспекте. Оно имеет непосредственное отношение и к постановке практических задач публицистики и партийной пропаганды в наши дни. Нужно ли доказывать, что, размышляя о ростках нового и возглавляемой партией народной инициативе, современный публицист обязан рассматривать их с высот коммунистического строительства, призван руководствоваться теорией научного социализма. Книга Б. Яковлева потому и заслуживает положительной оценки, что она полезна в знакомстве с основами публицистической деятельности Ленина. И если в первой главе читатель найдет материал для раздумий об особенностях этой смыкающей искусство с наукой области литературы, то в остальных главах его внимание привлечет анализ жанров и стиля ленинской публицистики. Наиболее удачными мне представляются главы вторая и пятая, посвященные многообразию жанров публицистического творчества Ленина и его полемическому искусству.

Весьма злободневна, хотя, на мой взгляд, и недостаточно разработана трактовка автором в ряде глав особенностей языка, образности ленинских статей. Тема рецензируемой книжки открывает огромные возможности для исследования созданной Лениным публицистики нового типа, обращенной к сознанию и инициативе народа. И очень жаль, что небольшой объем книги помешал Б. Яковлеву шире и глубже осветить этот важнейший поворот темы. Очевидно, та же причина обусловила беглость изложения некоторых поднятых автором

вопросов. Порой Б. Яковлев коснется интереснейшей проблемы, но только коснется. К таким своевременно выдвинутым, но недостаточно развитым мыслям я отношу суждение автора о своеобразии созданных Лениным публицистических образов и типов (см. стр. 65—70, 196—198 и другие).

Верно характеризуя идейно-воспитательную роль публицистических типов у Ленина, Б. Яковлев осветил далеко не все богатство этого раздела ленинского наследия. Жаль, например, что, не включив в книгу анализ речей Ленина, автор не счел нужным касаться его выступлений о Свердлове и Калининe. В этих речах Лениным были высказаны чрезвычайно важные мысли о характерах и типах деятелей коммунистического движения. Да и само понятие типа в публицистике, его отличия от других форм художественного обобщения недостаточно выяснены автором. Между тем его мысль о существовании такого типа в литературе верна и требует дальнейшего развития и обоснования.

Неполно определено и значение статьи Ленина об Энгельсе как пропагандистской. В ней впервые показан переход Энгельса от революционного демократизма к научному социализму, дана периодизация истории возникновения и обоснование марксистской теории. Рассматривать ее надо в ряду таких, имеющих и публицистический прицел работ Ленина, как «Карл Маркс», «Три источника и три составные части марксизма». Нельзя согласиться с утверждением Б. Яковлева, что «многочисленным русским экономистам-публицистам были совершенно чужды и недоступны философские обобщения». Сказано это мимоходом, скороговоркой и явно неверно. Достаточно сослаться на труды Чернышевского, столь счастливо сочетавшего выдающиеся экономические открытия с философскими. Да и в литературном наследии Герцена немало интереснейших рассуждений на экономические темы. Нет, здесь Б. Яковлев явно не продумал свою формулировку. Следовало бы более обстоятельно проследить проходящую через книгу мысль о развитии Лениным на новой, марксистской основе великих традиций русской передовой публицистики.

Хотелось бы при переиздании этой полезной книжки дополнить ее главой, сопоставляющей различные рукописные варианты одной и той же работы Ленина, анализирующей принципы и приемы его авторской правки. Это глубже ознакомило бы читателя с особенностями литературной деятель-

ности Владимира Ильича. Нужно ли доказывать, сколь важно такое исследование не только для писателей и журналистов, но и для всех изучающих ленинизм!

**О. ВОИТИНСКАЯ,**

*кандидат философских наук.*

★

## Массовая библиотека рабочего

**К**ультурный и духовный уровень рабочего класса Советского Союза растет из года в год. У нас уже есть целые отрасли промышленности, где преобладающая масса рабочих — люди с семилетним или средним образованием. Сотни тысяч рабочих учатся в учебных заведениях и в университетах культуры, стремятся глубже разобраться в вопросах экономики производства, техники, науки, искусства.

Хорошим помощником в этом благородном деле может и должна стать «Массовая библиотека рабочего», к выпуску которой Профиздат приступил с прошлого года. Это — важное и полезное начинание, заслуживающее внимания, поддержки и пропаганды.

Тематика нового издания широка и разнообразна. Главная задача книг серии — отразить черты советской эпохи, показать нашего современника и тем самым содействовать коммунистическому воспитанию масс. Таково главное направление «Библиотеки». Так оно было сформулировано руководителями издательства на собрании секции очерка и научно-художественной лите-

ратуры московского отделения Союза советских писателей.

Остановимся на некоторых из вышедших книг (а их набралось уже несколько десятков), чтобы на их примере попытаться оттенить сильные и слабые стороны серии.

Марка «Массовая библиотека рабочего» ко многому обязывает. Отрадно отметить, что среди авторов книг мы видим крупных ученых, новаторов, изобретателей.

Важнейшему социальному завоеванию посвящена книга академика С. Г. Струмилина «Рабочий день и коммунизм». В ней раскрывается закономерность перехода на укороченный рабочий день в СССР. Автор приводит интересные статистические данные о бюджете времени советских рабочих, делится интересными мыслями о росте их культурных запросов. Вместе с читателем рассматривает он пути перерастания социализма в коммунизм, формы распределения материальных благ.

С большим интересом читается книга В. Гагановой «Не ради корысти». Исчерпывающую оценку инициативы вышневолоцкой ткачихи дал, как известно, Н. С. Хрущев. У Гагановой теперь много последователей. Можно не сомневаться, что число их увеличит и живое слово самой Гагановой, ее рассказ о том, как она пришла к мысли перейти в отстающую бригаду. Точными черточками нарисованы члены бригады. Тепло и непосредственно написана глава «С верой в человека». Очень хорошо говорит Гаганова: «Конечно, коллектив мой был крохотный, но волновалась я ничуть не меньше начальника какой-нибудь енисейской или ангарской стройки». Это сказано искренне, не ради красного словца.

И все же записанный и литературно обработанный В. Кривенченко рассказ В. Гагановой нельзя считать полностью удавшимся. Книга несколько перегружена техническими описаниями. Редактор не проявил достаточной требовательности к языку.

**Академик С. Г. Струмилин. Рабочий день и коммунизм. Редактор А. В. Анисимов. 64 стр. Профиздат. М. 1959.**

**В. Гаганова. Не ради корысти. Литературная запись В. В. Кривенченко. Редактор Д. М. Хвостова. 88 стр. Профиздат. М. 1959.**

**Д. Киселев. Поиски конструктора. Литературная запись А. Млынен. Редактор Д. М. Хвостова. 191 стр. Профиздат. М. 1960.**

**М. Васильев. О машинах, которые есть и которые будут. Редактор Д. М. Хвостова. Профиздат. М. 1959.**

**К. Лисовский. Утро Сибири. Редактор Г. А. Зеленко. 120 стр. Профиздат. М. 1959.**

**Игнатий Рождественский. Богатырский край. Редактор Д. М. Хвостова. 151 стр. Профиздат. М. 1959.**

**Я. Фоменко. Прометеев огонь. Редактор М. И. Корнилова. 152 стр. Профиздат. М. 1959.**

Плодом творческого содружества представителя техники и профессионального литератора является книга Д. Киселева «Поиски конструктора» (литературная записка А. Млынек). Это удача «Библиотеки». В издательской аннотации говорится: «Есть у В. В. Маяковского известная статья «Как делать стихи». А как делаются изобретения?..»

Об этом и рассказывает книга. Носящая форму записок, она раскрывает внутренний мир изобретателя, вводит в его творческую лабораторию, показывает путь настойчивых поисков нового в борьбе за технический прогресс.

События начинаются в мало кому известном городке на Урале — Верхних Сергах. На старом, существующем с демидовских времен заводе в годы войны изготовляли боеприпасы. После войны завод вернулся к своей основной специальности — к производству долот для нефтяного бурения. Инженер Киселев твердо решает уйти с завода: «Не оставаться же, в самом деле, штамповать эти долота». Но оказывается, что в этих долотах таятся огромные возможности для технического творчества. И вот читатель вместе с автором книги попадает на нефтяные промыслы Башкирии, как бы становится участником поисков Киселева, следит, как он преодолевает инерцию привычек, активно и целеустремленно борется с косностью и рутинной.

В книге раскрыты движущие силы, составляющие советского человека не только изобретать, быть новатором, но и со всей принципиальностью отстаивать свои позиции. Автор пишет: «Неизменно помогали мне внутреннее ощущение нераздельности с коллективом, сознание того, что я его представитель и решаю задачи, которые стоят перед всем заводом, перед государством. Счастливо одаренный с первых шагов верой товарищей и их помощью, я... неизменно понимал, что то, чем заняты мы на заводе, что волнует наших рабочих и инженеров, — дело общее, очень важное для государства и партии. И если мы ошибаемся — нас поправят, а если будет трудно — выслушают, защитят и помогут».

Все дальнейшие события подтверждают эти слова. В минуты самых тяжелых испытаний (от нервного напряжения и переутомления Д. Киселев заболел и на некоторое время потерял зрение) изобретателя поддерживает то, что с ним коллектив. Дружья

приносят ему овеществленный образец задуманной им новой шарошки.

Книга показывает нашего современника, человека-борца. Партийная и боевая, она утверждает, что путь изобретателя нелегок, но благороден и увлекателен. И несомненно она воодушевит новаторов производства — рабочих и инженеров — на новые достижения.

Научно-популярным очерком является книга М. Васильева «О машинах, которые есть и которые будут». Она знакомит читателя с вопросами технического прогресса, с достижениями науки. Тут и нераскрытые тайны металлов, и полимеры, и рассказ о водородной плазме и о том, как обогатится человечество, когда удастся наконец победить «водородное пламя».

Две книги посвящены Сибири — «Утро Сибири» К. Лисовского и «Богатырский край» Игнатия Рождественского. Каждый из авторов по-своему рисует этот огромный район, разбуженный советскими людьми от долгой спячки. Обездвигивший Сибирь вдоль и поперек, Лисовский тепло и лирично повествует о Байкале и Крайнем Севере, знакомит нас со старожилами Сибири и с ее новоселами — ивановскими ткачихами, приехавшими на строительство Красноярской ГЭС и полюбившими эти новые для них места. А народ все прибывает и прибывает... И уже тесен стал только что построенный клуб в Ските, ныне получившем название Дивногорск, и уже мало здание школы. Люди отвоевывают у тайги новые плацдармы, они селятся здесь надолго, прочно, чтобы по-хозяйски овладеть природными богатствами края.

Страстно звучит призыв Игнатия Рождественского к труженикам разных профессий приехать в Сибирь, где они найдут работу по сердцу. Интересен очерк «Сибирская елка ждет». Рассказывается в нем вовсе не о лесорубах, а о химиках и ткачах, о заводе искусственного волокна, в цехах которого собрались люди из текстильного Иванова, из таежных деревень Сибири, из Ленинграда. Растет новое поколение — сибирских ткачих.

«Библиотека рабочего» еще молода, и не удивительно, что у нее есть не только удачи, но и просчеты. Например, в книге Я. Фоменко «Прометеев огонь» поверхностен очерк, носящий то же название. Автор рассказывает о сталеварах металлургического завода в городе Днепродзержинске и,

в частности, о Герое Социалистического Труда Викторе Канарейкине. Однако за чисто внешними описаниями читатель не видит производственного процесса, не поймет, как же трудится Канарейкин, в чем «секрет» его успеха. Не помогло автору и присутствие на плавке. Он не забывает описать свой приход в цех, рассказывает, как выбрал место, откуда удобно наблюдать. Но что же он увидел? «Канарейкина трудно было узнать. Вместо светло-серой пиджачной пары на нем был, как и на подручных, рабочий костюм, такие же рукавицы». Вот почти и все, что подметил очеркист. В конце очерка мы узнаем, что Канарейкин был в Чехословакии, помог чешским сталеварам сварить «плавку дружбы» и те признали, что «это не сталевар, это — большой мастер». Читатель этого не может «признать». Ему приходится верить автору на слово.

Примерно на таком же уровне и другие очерки. В одном из них («Вокруг Бугульмы») автор восклицает: «Я видел героизм!.. Настоящий героизм!» Но читатель остается равнодушным.

В заключение несколько слов о наболевшем вопросе — о тиражах. «Библиотека» названа массовой, и по содержанию она такой и является. Но издания серии далеко не всегда дойдут до читателя. Трудно поверить, но тиражи книг не превышают тридцати тысяч экземпляров, а чаще ограничены шестью — пятнадцатью тысячами. Тут есть над чем подумать и ВЦСПС, и Профиздату, и в первую очередь Книготоргу, который призван продвигать книги в массы. Это в высшей степени странное положение должно быть решительно исправлено.

П. ИЛЬИН.

★

## Государство без права

Пожалуй, будет очень трудно отыскать хотя бы одну статью или речь официальных пропагандистов Бонна, в которой не упоминалось бы по любому поводу, что ФРГ является «правовым государством», что в Западной Германии господствует право и только право, что все — от канцлера до последнего полицейского — руководствуются исключительно законом и правосудие бдительно стоит на страже справедливости.

И это говорится о стране, в которой господствует режим клерикально-милитаристской диктатуры наиболее реакционных слоев монополистической буржуазии и где всячески преследуются сторонники мира, поощряется разнузданная шовинистическая и реваншистская пропаганда, а антифашистов объявляют изменниками!

«В условиях, которые созданы в Западной Германии, — говорится в послании Н. С. Хрущева канцлеру Аденауэру, — начали активизироваться и во все большей

степени проявляют себя фашистские, гитлеровские элементы. Они распространяют яд ненависти, антисемитизма. Вновь пауки свастикки выползают из норы. Это вызывает возмущение народов».

Вот этого-то возмущения народов и страшатся лица, стоящие у власти в Бонне. Сознывая, что сегодня массы не потерпят открыто фашистских порядков, западногерманские правящие круги пытаются придать своим действиям хотя бы видимость законности, легализовать произвол и террор в отношении всех инакомыслящих, пытаются одеть беззаконие в пристойные юридические одежды. И вот на первый план в качестве одного из главных орудий реакции выдвигаются именно органы юстиции. По ироническому замечанию прогрессивного немецкого публициста Квидама, «дело идет как в хорошо сыгранном ансамбле: в Бонне задают тон, федеральная судебная палата (верховный суд ФРГ.— Авт.) творит мелодию «именем закона», а хор нижестоящих судов подхватывает ее».

Нужно признать чрезвычайно актуальным выход в свет книги «Государство без права», подготовленной группой видных ученых-юристов ГДР и посвященной разоблачению позорной роли юстиции ФРГ. Основное достоинство книги — ее убедительность.

*Staat ohne Recht. Verfasser: Prof. Dr. H. Gerats, Dr. G. Kühlig, Dr. K. Pfannenschwarz, Dr. E. Buchholz, H. Creuzburg, Dr. M. Nast, J. Noack. Berlin, 1959 (Г о с у д а р с т в о б е з п р а в а. Составители: проф. д-р Х. Гератс, д-р Г. Кюлиг, д-р К. Пфанненшварц, д-р Э. Бухгольц, Х. Кройцбург, д-р М. Наст, И. Ноак. Берлин, 1959).*



Составители собрали огромный материал. «Исследуем факты!» — вот их девиз, который они в полной мере осуществили. Политически острый и в то же время скрупулезно точный анализ текста законов, отчетов о заседаниях бундестага, многочисленных приговоров судов позволил нарисовать подлинную картину деятельности западногерманской юстиции во всей ее неприглядности.

Книга читается с неослабевающим интересом. Уже первые ее страницы открывают завесу над тем, как создавалось новое уголовное законодательство ФРГ, какие истинные цели преследовали его творцы, как последовательно отвергались любые предложения, которые хотя бы в малейшей степени могли затруднить достижение целей, поставленных реакцией. Показательно, например, что в ходе обсуждения законопроектов были быстро и бесшумно похоронены предложения установить ответственность за преследование антифашистов, а также за действия, направленные против мира. «Эти вопросы, — последовало циничное разъяснение, — не столь уж важны и актуальны».

Наряду с этим были даны нарочито расплывчатые, кавчуковые формулировки так называемых «изменнических преступлений», чтобы обеспечить возможность объявлять «изменником» любого противника ремилитаризации и уничтожать элементарные демократические свободы. Характерно, что ряд статей уголовного законодательства ФРГ в этой части т е к с т у а л ь н о совпадает с гитлеровским законодательством. Это не удивительно, если вспомнить, что к составлению законопроектов «правовое государство» сочло необходимым привлечь комментаторов фашистских законов.

Элементарным принципом уголовного права является положение о том, что преступным и наказуемым может быть лишь определенное действие. На принципиально иной позиции стоит западногерманское законодательство. Фактически объявившее, как и во времена гитлеровского рейха, преступным самый образ мыслей, не соответствующий политической линии правящей клики. Нельзя не вспомнить в этой связи заявление кровавого президента гитлеровского чрезвычайного судьи (так называемой «народной судебной палаты») Фвайслера: «Нало карать не только за деяния, но прежде всего за убеждения».

Сходство концепций вряд ли требует комментария!

Простые люди Западной Германии очень метко и точно охарактеризовали сущность нового законодательства, окрестив его «закон-намордник». Впрочем, достаточно откровенную его оценку можно найти и в высказываниях боннских правителей. Представитель правительственного большинства Хааслер прямо заявил в бундестаге 8 февраля 1957 года, что уголовные законы являются «оружием, которое мы выковали, чтобы вести «холодную войну».

Книга наглядно показывает, кому доверено это оружие «холодной войны», кто непосредственно пускает его в ход всякий раз, когда это требуется для расправы с противниками гибельного курса Аденауэра.

Судебная система ФРГ отличается пестротой, обилием судебных инстанций. Вращение бесчисленных колес этой судебной машины и призвано создать видимость «господства права» в стране. Что собой представляет это право — ясно. Ответ на вопрос: «А судьи кто?» — не менее показателен.

Семьдесят процентов западногерманских судей в прошлом преданно служили Гитлеру. По данным, опубликованным уже после выхода книги, только 1146 бывших активных нацистов, творящих ныне «правосудие» в ФРГ, вынесли во времена «третьей империи» свыше шестидесяти тысяч смертных приговоров! Председателем третьего сената федеральной судебной палаты — высшей судебной инстанции ФРГ по политическим делам — являлся д-р Э. Кантор. С 1936 года он играл руководящую роль в создании и укомплектовании гитлеровских военных судов, а с 1943 года был высшим военным судьей в оккупированной Дании. Кантор непосредственно ответственен за 103 смертных приговора датским патриотам, с его ведома было убито и замучено на допросах еще 383 человека.

В распоряжении правительства ФРГ, руководителей Баварии, Баден-Вюртемберга и других западногерманских земель уже давно находятся неопровержимые доказательства чудовищных преступлений, совершенных многими служителями боннской Фемиды. И тем не менее убийцы в судейских мантиях и сегодня «именем народа» — таква лицемерная вступительная фраза приговора западногерманских судов — отправляют в тюрьму антифашистов.

Но не только кадры роднят западногерманскую юстицию с гитлеровской; по образцу и подобию нацистской чрезвычайной юстиции построена система судов по политическим делам. Правда, конституция ФРГ в статье 101 прямо запрещает создание каких бы то ни было чрезвычайных судов. Однако в Бонне не очень-то считаются даже с собственной конституцией.

Начиная с 1951 года в Западной Германии действуют чрезвычайные суды по политическим делам. Эти суды уполномочены карать за так называемую государственную измену и за «посягательства на конституцию». Большое издевательство над идеей правосудия трудно представить, ибо сама организация чрезвычайных судов является грубым нарушением конституции ФРГ.

О размахе судебных репрессий, которые обрушились на сторонников мира и демократии, свидетельствует тот факт, что, по далеко не полным данным, в Западной Германии только с 1 января 1952 года по 30 июня 1958 года было проведено 52 тысячи политических процессов, в результате которых пострадало более двухсот тысяч человек. В одном 1957 году согласно официальной статистике состоялось 12 642 процесса по делам об «измене». С 1958 года правительство больше не рискует публиковать такие сведения.

Какие проступки квалифицируются в ФРГ как «измена», за что «провинившемуся» грозит сегодня особо строгое наказание в западногерманском суде?

Приведенные в книге многочисленные приговоры и выдержки из протоколов судебных процессов дают ясный ответ на этот вопрос. Оказывается, достаточно высказаться в пользу заключения мирного договора или против ремилитаризации, встретиться с немцами из ГДР или принять участие во Всемирном фестивале молодежи, чтобы быть осужденным к тюремному заключению.

Вот несколько примеров. По поручению Общества германо-советской дружбы К. Шлюше демонстрировал советские документальные и научно-популярные фильмы. Этого оказалось достаточно для суда Люненбурга, чтобы засадить его за решетку по обвинению в подрывной деятельности.

В июле 1959 года был осужден как политический преступник молодой профсоюзный активист Р. Лаймер, вся вина которого

заключалась в том, что он посетил ГДР и встречался со своими профсоюзными коллегам.

Дюссельдорфские судьи и прокуроры, однако, сумели перешеголять своих собратьев: достаточным основанием для предъявления обвинения в «противоконституционном собиравании разведывательных сведений» послужило для них то, что беседа одного из жителей города с профсоюзным активистом из ГДР касалась вопроса о высокой стоимости картофеля.

Для политических судилищ Западной Германии безразличны семейное положение и возраст их жертв. В марте этого года в Дюссельдорфе брошена в тюрьму мать девяти детей Е. Бот только за то, что она выступала против атомного вооружения бундесвера. Окружной суд Дортмунда приговорил к тюремному заключению восьмидесятипятилетнего Ф. Вертенбаха за участие в 1955 году в работе местной группы Общества германо-советской дружбы.

Подобным фактам поистине нет числа.

Во всей неприглядности показаны в книге методы, к которым прибегают суды «правового государства».

Всячески покрывают западногерманские служители правосудия беззакония политической полиции, за деятельностью которой призваны осуществлять надзор. Длительное (больше года!) содержание под стражей без предъявления обвинения; массовые обыски, избивания на допросах — все сходит с рук полицейским чиновникам. Даже тогда, когда доведенный до отчаяния бесчеловечным обращением профсоюзный активист П. Мюллер, от которого добивались показаний для провокационного процесса над группой граждан ГДР, пытался покончить в тюрьме самоубийством, виновники остались безнаказанными.

Обыденным явлением стал и допрос в суде в качестве свидетелей обвинения платных шпионов так называемого «ведомства по охране конституции» (западногерманской охраны), подделка доказательств, фактическое лишение адвокатов и самих обвиняемых возможности осуществлять защиту на суде, грубое нарушение процессуальных норм. Достаточно сказать, что главным свидетелем на процессе двенадцати коммунистов в Дортмунде выступал штатный осведомитель, который к тому же, как выяснилось на суде, являлся... душевнобольным.

Если же не хватает и подобных «источников» доказательств, применяется несложный трюк: клеветнические домыслы против подсудимых объявляются «общезвестными фактами», не подлежащими обсуждению. Большинство приговоров по политическим делам так и начинается: «Общезвестно, что Союз свободной немецкой молодежи — антиконституционная организация» или «что цель КПГ — ликвидация конституционного строя Федеративной республики» и так далее. Такая конструкция дает возможность автоматически осудить любое неудобное правящей клике лицо, объявив его членом одной из двухсот прогрессивных организаций, запрещенных в ФРГ, вопреки конституции. При этом в качествеотячающего обстоятельства рассматривается тот факт, что обвиняемый подвергался преследованиям при Гитлере за антифашистскую деятельность «Обвиняемый является убежденным коммунистом и должен понести наказание за это», — цинично говорится в одном из приговоров.

Приговоры по политическим делам неизменно возлагают на осужденных большие суммы судебных издержек, лишают их пенсий, запрещают после отбытия наказания участвовать в выборах, выступать в печати. Так, бывший коммунистический депутат К. Шаброд, осужденный за то, что вновь выставил свою кандидатуру на последних выборах в ландтаг, не только был лишен пенсии в сорок шесть марок, которую получал, но с него взыскиваются все суммы, полученные им с 1 января 1949 года, — около шести тысяч марок. И в то же время военному преступнику Лауцу — бывшему главному прокурору гитлеровской «народной судебной палаты», осужденному в 1947 году на десять лет тюремного заключения, — решением суда от 11 апреля 1958 года назначена пенсия в 786 марок в месяц! В 1959 году было официально объявлено также, что расследование по восьми уголовным делам, возбужденным против Лауца, прекращено, так как смертные приговоры, которые были вынесены с его участием, «не противоречат праву». В старину говорили: если бы среди судей уселся дьявол, самым

добродетельным оказался бы он. Применительно к современному западногерманскому «правосудию» справедливость этой поговорки не вызывает сомнений.

Ожесточенное преследование и подавление любой оппозиции реакционному курсу правительств Аденауэра органически сочетаются в деятельности западногерманской юстиции с созданием атмосферы безнаказанности для гитлеровских военных преступников, для участников фашистских провокаций, антисемитских и реваншистских вылазок. В книге приводятся яркие факты преступной деятельности фашистских молодчиков, уверенных, что ни один волос с их головы не упадет.

Было бы наивно ожидать от служителей западногерманской Фемиды другой линии поведения, когда бесчинства шовинистических элементов стали составной частью политики «правового государства».

Как видно, свободу в ФРГ имеют только враги свободы. И не случайно на одном из происходивших в 1959 году сборищ эсэсовцев их главарь нагло заявил: «Мы больше не стоим за дверью. Да, мои боевые соратники, Федеративная республика — это наше государство».

В условиях Западной Германии в последние годы появился даже новый вид мошенничества — кое-кто выдает себя за бывшего эсэсовца, за награжденного гитлеровскими орденами «ветерана» и т. п. Кинофильм «Капитан из Кельна» вовсе не является сатирическим преувеличением; он типичен для современной западногерманской действительности.

Большая заслуга авторов книги «Государство без права» состоит в том, что они сорвали с западногерманской политической юстиции маску законности и правовой государственности, показали ее антинародную деятельность. В то же время авторы подчеркивают еще одну очень важную мысль: движение за мир и демократию невозможно подавить, ибо оно выражает самые сокровенные надежды немецкого народа.

**Г. МИНЬКОВСКИЙ, М. РАГИНСКИЙ,**  
*кандидаты юридических наук.*

## Джунгли американского расизма

Ровно сто лет назад Авраам Линкольн был избран президентом Соединенных Штатов Америки. Это привело — после гражданской войны — к 13-й поправке к конституции страны, поправке, сделавшей всех американцев, независимо от их расы, свободными. Но то, что было проведено Линкольном в порядке закона, еще и сейчас далеко от своего претворения в жизнь. Расовое неравенство стало, быть может, еще более острой проблемой, чем прежде. Это убедительно подтверждает «Путеводитель по расистским США», сослагательный прогрессивным американским писателем и журналистом Стетсоном Кеннеди.

Существует множество путеводителей по США, безудержно восхваляющих американский образ жизни. Книга Кеннеди показывает жизнь как она есть. «Путеводитель» издан в Лондоне не случайно. После опубликования хорошо известной советскому читателю книги того же Кеннеди «Я был в ку-клукс-клане», клановцы города Атланты обещали вознаграждение в тысячу долларов за каждый фунт тела автора — в живом или мертвом виде. В «свободной» Америке для подобных книг и, разумеется, их авторов места нет.

Совершим с помощью «Путеводителя» воображаемое путешествие по современным «Соединенным Линчующим Штатам», как с горечью назвал свою родину Марк Твен. Вряд ли великий писатель думал, что его определение сохранит свою силу на протяжении вот уже более полувека.

Путешествие начнем со столицы страны — Вашингтона. Здесь управление осуществляется непосредственно федеральными органами; законы отдельных штатов не властны над главным городом штата капитализма. В Вашингтоне возвышается символ американской «демократии» — Капитолий, где принимаются законы. В них слово «негр», вопреки всем правилам английской грамматики, пишется с маленькой буквы: расисты-законодатели подчеркивают свое презрительное отношение к цветным соотечественникам. Под сенью Капитолия столичным жителям-неграм запрещается посещать парки, гостиницы, зрелишные пред-

приятия. Негритянские дети учатся здесь в особых школах; больные лежат в особых больницах. Установлено правило, согласно которому «на собачьем кладбище запрещается хоронить собак, принадлежавших черным, на одних участках с собаками, принадлежавшими белым».

В соседнем штате Мэриленд, под боком у столицы, закон устанавливает наказание от полутора до пяти лет тюрьмы для белой женщины, забеременевшей от негра.

Теперь проедем в джунгли американского расизма, на юг страны, в штат Северная Каролина. Вот небольшой городок Монро, каких тысячи. Здесь в начале минувшего года произошло «преступление», которое могло случиться только в «Соединенных Линчующих Штатах». Два восьмилетних негритянских мальчика, Ганновер Томпсон и Фуззи Симпсон, были арестованы и приговорены судом к заключению в исправительной школе только за то, что одного из них поцеловала во время игры белая девочка.

Но бывают вещи и похуже. Не только поэтический вымысел лег в основу стихотворения Ричарда Дэвидсона «Суд Линча»:

Там, где сквозь прерии к морю  
Рена Миссисипи бежит,  
В южном прекрасном небе  
Негров чета молодая висит.  
Медленно вверх,  
Медленно вниз  
Тела их качает ласковый бриз.  
Кровь на дереве.  
Кровь на земле.  
Капли кровавые всюду.  
Везде.

Вот штат Арканзас, город Литтл-Рок. Он теперь известен всему миру. Здесь негритянские дети, осуществляя свое право на совместное обучение с белыми, живут в постоянном страхе в любую минуту быть линчеванными.

Следующий штат — Алабама. Один из крупных промышленных центров штата город Бирмингем. Газета «Нью-Йорк таймс» в апреле этого года указывала, что отношения белых к неграм определяются крайней степенью расизма, «подкрепленного кнутом, бритвой, револьвером, бомбой, факелом поджигателя, дубинкой, кинжалом, действиями толпы, полиции и административных органов этого штата». Сегрегация рас-

Stetson Kennedy. *Jim Crow Guide to the U. S. A. London. 1959* (Стетсон Кеннеди. Путеводитель по расистским США. Лондон. 1959).

пространяется на городские парки, такси, не говоря уже о ресторанах и кафе или о городском транспорте. Даже для того, чтобы прокатиться по детской железной дороге в зоопарке, дети негров и белых должны приобрести билеты в двух разных кассах и сесть в разные вагончики.

А другая газета, «Ивнинг стар», поместила выразительную фотографию: негритянская женщина съезжилась от страха в то время, как белый расист бьет ее по голове палкой для игры в бейсбол. Это произошло среди бела дня первого февраля этого года на улице города Монтгомери (штат Алабама). Из подписи явствует, что бандит не был даже арестован. На фото видно много других людей, но никто не вступился за беззащитную женщину. Ведь она негритянка...

Едем дальше на юг. Вот штат Флорида. За прекрасный климат местное побережье называют «земным раем». По законам штата к цветным относятся лица, имеющие одну шестнадцатую негритянской крови «в четвертом поколении». Иначе говоря, если ваш прапрадед был негр, подумайте хорошенько, прежде чем ехать в «земной рай»...

Недаром во время второй мировой войны, когда в Америке любили рассуждать о том, какому наказанию следует подвергнуть Гитлера, если удастся захватить его живым, негры — солдаты американской армии — предлагали: «Надо выкрасить Гитлера в черный цвет и заставить его прожить остаток жизни на Миссисипи!»

Недавно закончилась проводившаяся негритянским населением южных штатов широкая кампания «сидячих» забастовок против расовой сегрегации. Молодые негры бо-

ролись за право не только называться, но и быть людьми. «Сидячие» демонстрации охватили девять штатов — от Виргинии до Техаса. Они заключались в том, что негры приходили в закусочные, где отказывались обслуживать цветных, и, заняв столики, часами здесь просиживали. Бывший президент США Трумэн так комментировал «сидячие» забастовки: «Если кто-нибудь пришел бы в мою закусочную и уселся за стол, я вышвырнул бы его вон». Трумэн, однако, добавил, что у него нет доказательств того, что «сидячие» демонстрации организуют коммунисты. Об этом экс-президент, видимо, очень сожалеет.

Волна «сидячих» забастовок совпала с расстрелом негров в Южно-Африканском Союзе. В то время как передовые люди во всем мире осудили кровавую расправу, законодательное собрание штата Миссисипи приняло резолюцию, приветствующую правительство Южно-Африканского Союза за его «упорную политику сегрегации», а губернатор штата Луизиана, расист Лонг, с удовлетворением заявил, что в Африке «цветные имеют не больше привилегий, чем хороший мул в Луизиане».

В. И. Ленин еще в 1913 году с возмущением писал:

«...Положение негров в Америке недостойно цивилизованной страны: капитализм не может дать полного освобождения ни даже полного равенства...

Позор Америке за положение негров!..»

Правдивая книга Кеннеди убеждает в том, что многомиллионное негритянское население Соединенных Штатов и сейчас живет на положении рабов.

**В. ТУЛОВ.**



## ПОСЛЕДНЯЯ РЕЧЬ ДЖОНА РИДА

Как-то осенью 1917 года, попав на митинг в цирке «Модерн», я оказалась рядом с высоким светлоглазым человеком в рубашке с открытым воротом. Мы сидели, плотно сжаты с обеих сторон. Мой сосед все время озирался и безуспешно пытался привстать, чтоб получше рассмотреть происходившее кругом. В нем чувствовался человек нездешний, ни на кого не похожий. Но я, наверно, забыла бы об этой случайной встрече, если бы потом не познакомилась с этим человеком. Это был Джон Рид.

Ныне имя Джона Рида широко известно в нашей стране. В Советском Союзе вышли три его книги: «10 дней, которые потрясли мир», «Избранные произведения» и «Восставшая Мексика». В процессе своей журналистской работы, столкнувшись лицом к лицу с двумя мирами — миром капитализма и миром социализма, — Рид понял, на чьей стороне правда, и из бунтаря-одиночки, сочувственно-созерцательно описывавшего страдания народов, сформировался в революционера, борца, коммуниста.

Именно поэтому он и создал книгу, которую В. И. Ленин «от всей души» рекомендовал рабочим всех стран. Именно поэтому недавно Н. С. Хрущев, говоря о том, что коммунистические идеи определяют самое прогрессивное, самое верное направление развития общества, вспомнил Рида. Он сказал: «Лучшие американцы, такие, как Джон Рид, автор книги «10 дней, которые потрясли мир», поняли великое значение этих идей. Джон Рид был большой умница. Он ведь не родился коммунистом, а пришел к коммунизму во время Октябрьской революции и умер коммунистом».

Сам Рид, вспоминая пору своих юношеских блужданий и определяя, какую роль сыграла в его жизни Октябрьская революция, говорил, изъясняясь при этом на причудливой смеси английских и русских слов, называя верх «топом», низ — «боттомом»: «Моя гоулова перевертайлаз з боттома на

топ», что означало: «Я прежде представлял себе все шиворот-навыворот, а теперь все вижу правильно».

Поэтому представляет большой интерес запись последней речи Джона

Рида, произнесенной им на Первом съезде народов Востока, происходившем в Баку 1—8 сентября 1920 года.

На съезде присутствовало около двух тысяч делегатов от тридцати семи стран Востока. Чтобы попасть на съезд, им пришлось преодолеть бесчисленные опасности и препятствия: в Черном море патрулировали английские военные суда, пытавшиеся перехватить делегатов; на рейде в Энзели над парходом, с которым ехали делегаты, появились самолеты и сбросили бомбы. Два делегата было убито, несколько десятков ранено. Многие были убиты на обратном пути со съезда и брошены в тюрьмы по возвращении на родину.

Съезд заседал в здании оперного театра. Вид его был совершенно необычен. Большинство делегатов было одето в национальные костюмы, рядом с красными фесками пестрели тубетейки и белели чалмы, некоторые делегатки-женщины были закутаны в чадру или паранджу. Помню, как после оглашения заключительной резолюции весь зал поднялся и, потрясая обнаженными саблями и кинжалами, дал клятву бороться до последней капли крови за освобождение Востока от ига империализма. В эту минуту многие женщины сбросили паранджу, закрывавшую их лица.

Самым замечательным был дух интернационального единства, царивший на съезде. Здесь встретились представители народов, которые правящие классы и иноземные работодатели на протяжении веков натравливали друг на друга, — встретились как братья, как товарищи в общей борьбе.

Особое место занял на съезде вопрос о судьбе Армении, находившейся в тот момент под властью контрреволюционных дашнаков. Видя, что армянский народ стремится к воссоединению с Советской Россией, дашнаки стали заигрывать с «дядей Сэмом», с тем чтобы отдать Армению под «протекторат» США. Заокеанский «дядюшка» охотно откликнулся на эти заигрывания. Американский империализм стремился создать опорные пункты во всех частях света и осо-

бенно вблизи нефтяных месторождений. Выгребая со своих складов залежавшийся маргарин и банки со сгущенным молоком и свиной тушенкой, он со смиренно-христианской миной протягивал руки к Армении и Ближнему и Среднему Востоку. О том, что скрывалось за этой миной, сказал в своей речи Джон Рид.

Эта речь вошла в стенографический отчет съезда народов Востока, давно уже ставший библиографической редкостью. Пра-

вда, запись эта дает слабое представление о самой речи—Рид был замечательным оратором, глубоко убежденным и темпераментным. К тому же Рид, как я помню, говорил по-английски, а стенографировался русский устный перевод. Но, несмотря на все это, речь Рида и по сегодня не потеряла интереса и полностью подтверждает характеристику Рида, данную Н. С. Хрущевым: «Джон Рид был большой умницей».

Е. ДРАБКИНА.

## ДЖОН РИД



### РЕЧЬ НА I СЪЕЗДЕ НАРОДОВ ВОСТОКА

Баку, 1—8 сентября 1920 года

Я представляю здесь революционных рабочих одной из великих империалистических держав, Соединенных Штатов Америки, которая эксплуатирует и угнетает народы колоний.

Вы, народы Востока, народы Азии, еще не испытывали на себе власти Америки. Вы знаете и ненавидите английских, французских и итальянских империалистов и, вероятно, думаете, что «свободная Америка» будет лучше управлять, освободит народы колоний, будет их кормить и защищать.

Нет. Рабочие и крестьяне Филиппин, народы Центральной Америки, островов Карибского моря—они знают, что значит жить под властью «свободной Америки».

Например, народы Филиппин. В 1898 году филиппинцы восстали против жестокого колониального испанского нравительства и американцы помогли им. Но когда испанцы были выгнаны, американцы не захотели уйти.

Тогда филиппинцы поднялись против американцев, и на сей раз «освободители» стали убивать их, их жен и детей, пытали их и, наконец, победили их. Захватили их земли и заставили их работать и доставлять прибыль американским капиталистам.

Американцы обещали филиппинцам независимость. Вскоре будет объявлена независимая филиппинская республика. Но это не значит, что американские капиталисты уйдут оттуда, или что филиппинцы не будут продолжать работать, создавая для них прибыль. Ибо американские капиталисты дали филиппинским вождям часть прибыли—они дали им государственные посты,

земли и денег,—они создали филиппинский капиталистический класс, который тоже живет от прибыли, создаваемой рабочими. И чей интерес состоит в том, чтобы держать филиппинцев в рабстве?

Это уже имело место на Кубе, которая была освобождена от испанского господства при помощи американцев. И сейчас она является независимой республикой; но американские миллионеры и тресты владеют всеми сахарными плантациями за исключением маленьких участков, которые они предоставляют капиталистам Кубы, которые и управляют страной. И как только рабочие Кубы пытаются избрать правительство, которое не в интересах американских капиталистов, Соединенные Штаты Америки посылают солдат на Кубу, чтобы заставить народ голосовать за своих угнетателей.

Или возьмем пример республик Гаити и Сан-Доминго, где народы завоевали свободу сто лет назад. Так как этот остров был плодороден и народ там мог быть использован американскими капиталистами, правительство Соединенных Штатов послало туда солдат и матросов под предлогом поддержания порядка и раздавило эти две республики, создав на их месте военную диктатуру, которая хуже тиранов англичан.

Мексика—другая богатая страна, которая близка к Соединенным Штатам Америки. В Мексике—народ отсталый, который в течение столетий был поработан, вначале испанцами, а затем иностранными капиталистами. Там, после многих лет гражданской войны, народ создал свое правительство, не пролетарское правительство,

а демократическое правительство, которое желало сохранить богатство Мексики для мексиканцев, обложить налогом иностранных капиталистов. Американские капиталисты не заботились о том, чтоб послать хлеб голодающим мексиканцам. Нет, они создали контрреволюцию в Мексике, в которой Мадеро, первый революционный президент, был убит. А затем, после трехлетней борьбы, революционный режим был восстановлен с Каранцой как президентом. Американские капиталисты сделали новую контрреволюцию и убили Каранцу, создав опять правительство, дружелюбное американским капиталистам.

В самой Северной Америке — десять миллионов негров, не обладающих ни политическими, ни гражданскими правами, несмотря на то, что на основании законов они — равноправные граждане. С целью отвлечь внимание американских рабочих от капиталистов-эксплуататоров их натравливают на негров, провоцируют войну между белой и черной расой. Негры, которых безнаказанно сжигают заживо, начинают видеть, что их единственная надежда на вооруженное сопротивление белым бандитам.

Американские капиталисты в настоящее время обращаются к народам Ближнего Востока с дружескими словами, с обещанием помощи и продовольствия. Это особенно относится к Армении. Миллионы долларов были собраны американскими миллионерами, чтобы послать хлеб голодающим армянам. И много армян теперь ожидают помощи от дяди Сэма.

Эти же самые американские капиталисты натравливают американских рабочих и крестьян друг на друга: они морят голодом и эксплуатируют народы Кубы и Филиппинских островов, они зверски убивают и сжигают заживо американских негров; а в самой Америке американские рабочие вынуждены работать при ужасных условиях, получая низкую заработную плату при длинном рабочем дне; когда они истощены, тогда их выбрасывают на улицу, где они умирают с голоду.

Тот же самый господин, который ведает делом помощи голодающим армянам, господин Кливланд-Додж, который пишет с пафосом статьи о том, как турки выгнали армян в пустыню, является собственником больших рудников меди, где тысячи американских рабочих эксплуатируются, и когда рабочие осмелились забастовать, стража,

охраняющая рудники господина Доджа, штыками выгнала этих рабочих в пустыню — точно так же, как было поступлено с армянами.

Многие армяне благодарны Америке за ее отношение к армянам, страдавшим от зверства турок во время войны. Но что Америка сделала для армян помимо голословных деклараций? Ничего. Я находился в Константинополе в то время, в 1915 году, и знаю, что миссионеры отказывались серьезно протестовать против зверств, говоря, что у них очень много имущества и собственности в Турции и не желают поэтому обижать турок. Американский посланник господин Штраус, сам миллионер, который эксплуатирует в Америке тысячи рабочих в его предприятиях, предложил послать весь армянский народ в Америку и сам дал довольно крупную сумму, чтобы осуществить этот проект, но его план состоял в том, чтобы заставить армян работать на американских фабриках и доставить дешевый труд с целью увеличения прибыли господину Штраусу и его друзьям.

Но почему американские капиталисты обещают помощь и продовольствие Армении? Есть ли это чистая филантропия? Если это так, пусть накормят народы Центральной Америки и помогут неграм Америки.

Нет. Главная причина — в том, что в Армении минеральные богатства и она является большим резервуаром дешевого труда, который может быть эксплуатируем американскими капиталистами.

Американские капиталисты желают заручиться доверием армян с целью наложить свою лапу на Армению и поработить армянскую нацию. Именно с этой целью американские миссионеры создали школы на Ближнем Востоке.

Но есть еще и другая, очень важная причина. Американские капиталисты вместе с другими капиталистическими нациями объединены в Лиге Наций и боятся, что рабочие и крестьяне Армении последуют примеру Советской России и Советского Азербайджана, возьмут власть и свои богатства в свои руки и будут работать для себя, создав единый фронт с рабочими и крестьянами всего мира против мирового империализма. Американские капиталисты боятся революции на Востоке.

Обещать продовольствие голодающим народам и в то же время устраивать блокаду



Советских Республик — такова политика Соединенных Штатов Северной Америки. Блокада Советской России заморила голодом тысячи русских женщин и детей. Этот же метод блокады был применен с целью восстановить венгерский народ против их Советского правительства. Та же тактика принята теперь с целью увлечь народ белой Венгрии в войну против Советской России. Этим методом пользуются и маленькие страны, окружающие Россию, — Финляндия, Эстония, Латвия. Но в настоящее время все маленькие страны вынуждены заключить мир с Советской Россией: они обанкротились, голодают. Теперь американское правительство не предлагает им больше продовольствия, они уже больше не нужны Америке, и их народы могут голодать.

Американские капиталисты обещают хлеб Армении. Это старое жульничество. Они обещают хлеб, но никогда не дадут его. Получила Венгрия хлеб после падения Советского правительства? Нет. Венгерский народ голодает и по настоящее время. Получили ли балтийские страны хлеб? Нет. В то время, когда голодающие эстонцы не имели ничего, кроме картофеля, американские капиталисты послали им пароходы с гнилым картофелем, который не мог быть продан с прибылью в Америке. Нет, товарищи, дядя Сэм никогда не дает чего бы то ни было даром. Он вяляется с мешком, набитым соломой, в одной руке и с кнутом в другой. Кто принимает обещания дяди

Сэма за чистую монету, тот вынужден будет платить за них потом и кровью. Американские рабочие требуют все большую и большую долю продуктов своего труда; с целью помешать революции у себя дома американские капиталисты вынуждены искать колониальные народы, чтобы их эксплуатировать, народы, которые доставят достаточно прибыли, чтобы держать американских рабочих в повиновении и таким образом сделать их участниками в эксплуатации армян. Я представляю тысячи революционных американских рабочих, которые сознают это, которые понимают, что, действуя совместно с армянскими рабочими и крестьянами, с трудящимися массами всего мира, они свергнут капитализм. Мировой капитализм будет уничтожен, и все народы будут свободны.

Мы понимаем необходимость солидарности всех угнетенных и трудящихся народов, объединения революционных рабочих всех стран Европы и Америки под руководством русских большевиков в Коммунистическом Интернационале. И мы говорим вам, народы Востока: «Не верьте обещаниям американских капиталистов!»

Есть только один путь к свободе. Объединяйтесь с русскими рабочими и крестьянами, которые свергли своих капиталистов и чья Красная Армия победила иностранных империалистов! Следуйте за красной звездой Коммунистического Интернационала!

\* \* \*

Кроме этой речи, Джон Рид выступил на открытии съезда с приветствием, которое сохранилось в публикуемом ниже сокращенном изложении.

...Что собой представляет Баку? Баку — это нефть, а американский капитализм стремится установить мировую монополию на нефть. Из-за нефти проливается кровь. Из-за нефти происходит борьба, и американские банкиры, и американские капиталисты стараются всюду захватить те места, поработить те народы, где есть нефть. Но в Баку нет больше капиталистов и эта нефть больше не принадлежит капиталистам. Если это возможно в Баку, в России, то почему же нельзя добиться такого

общественного строя также и в Америке и во всем мире? (*Аплодисменты*). Восток поможет нам сбросить капитализм Западной Европы и Америки, основы которых зиждутся на эксплуатации Востока. Как только восточные народы восстанут, то уже последние основы капитализма рухнут. и тогда народы будут стремиться к тому, чтобы создать такой общественный строй, при котором не только нефть, но все, созданное руками человечества, будет принадлежать трудящимся. (*Аплодисменты*).

(Печатается по тексту книги: «Первый съезд народов Востока». Баку. 1—8 сентября 1920 г. Стенографический отчет. Издательство Коммунистического Интернационала. Петроград. 1920.)



## КОРОТКО О КНИГАХ

★

**А. Д. КУЗНЕЦОВ.** Трудовые ресурсы СССР и их использование. Соцэкгиз. М. 1960. 176 стр. Цена 3 р. 15 к.

Автор поставил перед собой задачу осветить очень важную, но сравнительно мало исследованную проблему рационального использования трудовых ресурсов для развития экономической мощи страны. В книге анализируются такие вопросы, как движение численности населения, его занятость, изменения структуры населения, территориальное размещение трудовых ресурсов вообще и кадров высокой квалификации в частности.

Вот один пример. Западная Сибирь превосходит Украину по запасам угля и гидроэнергии в шесть раз, леса имеет в десятки раз больше, площади плодородных земель в Западной Сибири в два-три раза, а общий земельный фонд примерно в четыре раза больше, чем на Украине. Однако в Западной Сибири в 1956 году проживало около двенадцати миллионов человек, а на Украине — более сорока миллионов. Отсюда автор делает вывод о необходимости перемещения части населения с запада на восток.

Автор высказывает ряд соображений, которые должны способствовать решению этой и ряда других проблем и которые вытекают из соответствующих решений партии и правительства.

**М. С. ЛЬВОВ, А. А. КЕЛЛЕР.** Нефтяная и газовая промышленность СССР в семилетке. Госпланиздат. М. 1960. 88 стр. Цена 1 р. 50 к.

Нефти и газу принадлежит ведущая роль в топливном балансе Советской страны. В книге приведены подробные сведения об общем направлении развития нефтяной и газовой промышленности в 1959—1960 годах. К концу семилетия добыча нефти увеличится в два с лишним раза по сравнению с 1958 годом, а добыча и производство газа — в пять раз. Сто пятьдесят миллиардов кубических метров газа, которые получит наша страна в 1965 году, будут равноценны по тепловому эффекту углю, добываемому в настоящее время в Донцком, Печорском и Подмосковном угольных бассейнах, вместе взятых.

Авторы знакомят с интенсивными геолого-разведочными работами, ведущимися в различных районах страны, с вновь открытыми

нефтяными и газовыми залежами. Потенциальные запасы газа в СССР вдвое выше, чем в США, и являются поистине неисчерпаемыми.

Большое внимание уделено в книге вопросам внедрения в нефтяную и газовую промышленность новой техники.

**Т. И. АРЕФЬЕВ, М. Н. ЕЛАГИН.** Экономика свеклосеющих колхозов. Сельхозгиз. М. 1960. 174 стр. Цена 2 р. 35 к.

Что дает гектар сахарной свеклы колхозу, государству и колхозникам? Авторы отвечают на этот вопрос в начале своей книжки. Колхоз «Путь к коммунизму» Киевской области получил девятнадцать тысяч рублей дохода с гектара свеклы, колхозники, ее обрабатывавшие, — три тысячи рублей, а государство — почти шесть тонн сахара. Не много найдется сельскохозяйственных культур, которые приносили бы такие выгоды.

Нашей стране принадлежит, как известно, первое в мире место по производству сахарной свеклы. Особенно большой рост ее посевов отмечен за последние шесть лет. За это время площадь под свеклой увеличилась почти на полторы тысячи гектаров. Семилетним планом предусмотрено дальнейшее увеличение производства сахарной свеклы в два с лишним раза.

Эта давняя культура Украины и Центрального Черноземья широко уже возделывается на Кубани и Дальнем Востоке, в Сибири и Казахстане. Для этих районов опыт производства сахарной свеклы на Украине имеет огромное практическое значение. Вот почему авторы большую часть книжки посвящают экономике украинского свеклосеяния. В одной из заключительных глав они приводят любопытные данные. При росте всех доходов свеклосеющих колхозов Украины более чем втрое денежные поступления за сахарную свеклу увеличились за последнее пятилетие почти в шесть раз.

**С. А. ЭФИРОВ.** От Гегеля к... Дженаро. Соцэкгиз. М. 1960. 88 стр. Цена 1 р. 10 к.

С некоторых пор часть буржуазных философов вновь повернулась к диалектике. «Это — в высшей степени живое слово, мы не в состоянии более его отвергать», — объясняет международный философский журнал «Диалектика», созданный в Швейцарии уже в послевоенное время.

Какая же сила выдвинула понятие «диалектика» — правда, в сильно трансформированном виде — в ряд наиболее часто употребляемых и даже модных философских терминов на Западе? Во имя чего напрягают свои усилия буржуазные мыслители?

Читатель узнает об этом, ознакомившись с брошюрой С. Эфирова. Автор широко показывает кризисное состояние буржуазной философской мысли.

В попытках ниспровергнуть философию марксизма буржуазные идеологи выдвигают различные идеалистические теории «диалектики». Философы буржуазии, говорится в книжке, всячески стараются сделать диалектику субъективистской, превратить ее в религиозную теорию, в «служанку богословия». Дело доходит до откровенного солипсизма, рьяным сторонником которого смело объявляет себя, например, итальянский философ Э. Дженнаро.

В своей работе С. Эфиров не ограничивается разоблачением всех этих «теорий». Значительное место в его брошюре уделено стремлениям некоторых ученых буржуазного Запада найти путь к подлинно научной теории диалектики.

**Я. ЭТИНГЕР. Бонн рвется в Африку.** Соцэкгиз. М. 1960. 108 стр. Цена 1 р. 30 к.

Волна национально-освободительного движения после второй мировой войны охватила и Африку. Одно за другим на ее карте появляются новые независимые государства. Но около двух третей «Черного континента» остается пока в цепях колониализма; империалисты делают все возможное, чтобы удержать в своей власти сказочные богатства африканских недр. На смену слабшему господству английских и французских колонизаторов ринулись бизнесмены США и западногерманские монополии. Старинный враг африканских народов — германский империализм — устами бывшего вице-канцлера Блюхера заявил: «Позиция ФРГ по отношению к Африке ясна — германская торговля и промышленность считают ее для себя целью номер один».

В книге «Бонн рвется в Африку» подробно рассмотрен весь комплекс вопросов, касающихся проникновения германского империализма на второй по величине континент мира. Автор показывает, как шаг за шагом возрождался германский колониализм, как вновь возникали — по плану неизвестного Шахта — различные колониальные общества, разрывавшие наступление западногерманских концернов.

Большой интерес представляет глава «Союз монополистов ФРГ и США против африканских народов». Одной из движущих пружин этого объединения являются сильные позиции, которые занимает американский капитал в западногерманской промышленности. Автор вскрывает общность экономических и политических интересов Бонна и Южно-Африканского Союза, производящего дикий расистский террор по отношению к коренному африканскому населению.

**ЗАХАР СОРОКИН. В небе Заполярья.** Издательство ДОСААФ. М. 1960. 144 стр. Цена 2 р. 25 к.

Все знают имя Алексея Маресьева — человека несравненного мужества, легендарной силы духа, героя повести Б. Полевого. Но не всем известно, что такой же поразительный подвиг совершили и другие советские летчики, и в их числе Захар Сорокин, автор книги «В небе Заполярья». Просто и искренне описывает он свою жизнь, и при всей авторской скромности это описание превращается в ту же волнующую повесть о настоящем человеке, о настоящем советском характере.

Заполярье и небо над ним были ареной ожесточенных сражений с гитлеровцами, рвавшимися к Кольскому заливу, к Мурманску. Самолеты со свастикой упорно охотились за транспортными, направлявшимися в советские северные порты. Сорокин — участник многих воздушных боев. Уже в первом бою он уничтожил «мессершмитт». Всего Сорокин сбил более десяти самолетов противника.

В главе «Вынужденная посадка» рассказывается о шестидневных скитаниях раненого, теряющего последние силы летчика по безлюдной тундре. Сорокину ампутируют обе отмороженные ступни. Но, преодолев все преграды, летчик вернулся в родной полк и над Баренцевым морем вновь скрестил оружие с врагом. За новые победы Сорокин был удостоен звания Героя Советского Союза.

**И. ШЕВЦОВ. Особое задание (Вспоминания о деятельности причерноморских партизан в 1919—1920 гг.).** Литературная запись Т. Леонтьевой. Госполитиздат. М. 1960. Цена 1 р. 35 к. Л

Автор книги, Иван Борисович Шевцов, — старый коммунист, герой гражданской войны. Осенью 1919 года он с группой товарищей выехал по партийному заданию в Причерноморье, в тыл денкинской армии. Им предстояло объединить разрозненные отряды «красно-зеленых» партизан и слиться с Красной Армией.

Опираясь на богатые личные воспоминания, а также на некоторые военные и архивные документы, автор рисует трудную обстановку, сложившуюся в ту пору в Закавказье, рассказывает о зверствах отступающих денкинцев, о происках интервентов, о трусливом соглашательском поведении грузинских меньшевиков. Мы знакомимся с боевыми эпизодами, сражениями, в ходе которых крепили силы партизан, объединившихся в «Красную Армию Черноморья».

С особым интересом читаются страницы о встрече партизан с Первой Конной в оставленном белыми Майкопе.

Читатель расстается с героями книжки в тот момент, когда уже окончилась гражданская война. Они отправляются на фронт труда — и у каждого новое задание.

**ЕВГЕНИЙ ШВАРЦ.** Сказки, пьесы, песни. Детгиз. Л. 1980. 360 стр. Цена 9 р. 25 к.

Послесловие к этой книге написал драматург Л. Рахманов. Он говорит о пьесах и сказках Е. Шварца: «Их помнят долгие годы, помнят в них все, вплоть до мельчайших подробностей и отдельных словечек, помнят — и с наслаждением смотрят, читают еще и еще раз».

Это правда. Пьесы-сказки Е. Шварца неизменно трогают зрителя, потому что в них всегда можно уловить голос современника, по-новому осмысливающего вечные понятия добра и зла.

В книге собраны три сказки, три повести и три пьесы Е. Шварца. И хотя это лишь часть написанного им для детей, книга представляет собой наиболее полное из вышедших до сих пор изданий.

Из вошедших в сборник произведений широко известны театралю зрителью драматическая сказка в четырех действиях на андерсеновские темы «Снежная королева», а кинозрителю — повесть «Первоклассница». Отличная сказка в прозе «Два брата» давно не переиздавалась. Теперь читатель Детгиза может с ней познакомиться. Впрочем, она интересна не только детям. Ведь Е. Шварцу, как всякому умному сказочнику, удается в одной и той же сказке поговорить и со взрослыми и с детьми — с каждым по-своему.

**ГЕОРГИЙ ГУРЕВИЧ.** Рождение шестого океана. Профтехиздат. М. 1960. 460 стр. Цена 6 р.

Г. Гуревич, автор научно-фантастических повестей «Подземная непогода», «Иней на пальмах», «Приключения машины», «Тюль стремительный» и других, написал новую книгу — «Рождение шестого океана». Шестым океаном писатель называет фантастический всемирный электрический океан, громадный резервуар энергии, который герои его романа создают в ионосфере. В романе затронут большой круг научно-технических проблем: использование энергии солнца, энергии приливов, утилитаризация подземного тепла, электропередача без проводов. Место действия романа — вся планета. Герои его — жители разных стран, разных континентов. Тут и советские люди, и обитатели стран капитала, и граждане далекой южной страны, недавно завоевавшие и с трудом отстаивающие свою независимость.

В победе мирного труда человечества — пафос романа «Рождение шестого океана».

**В. ХЛЕБНИКОВ.** Стихотворения и поэмы. «Библиотека поэта». «Советский писатель». Л. 1960. 400 стр. Цена 5 р. 20 к.

Литературное наследие Велемира Хлебникова занимает в истории советской поэзии не совсем обычное место. Как художник Хлебников всегда стремился к словотворчеству, эксперименту. И это в значительной степени сделало его «поэтом для поэтов».

Николай Асеев двадцать пять лет назад писал, что знакомство с Хлебниковым не-

искушенному читателю нужно начинать с таких произведений, как «Ночь перед Советами» и «Почной обыск». «Имя, да, пожалуй, еще «Разинным», — отмечал Н. Асеев, — и собранием отдельных мелких стихотворений и должен быть ограничен тот том, который бы вошел в обиход библиотек... для того, чтобы люди полюбили и узнали Хлебникова».

Таким изданием и является сборник стихотворений Велемира Хлебникова, изданный «Советским писателем» в малой серии «Библиотеки поэта». Отбор стихов в сборнике произведен с таким расчетом, чтобы представить творчество Хлебникова наиболее законченными и характерными произведениями.

Из ранних дореволюционных произведений Хлебникова, с их сказочными мотивами, стилизацией древнерусского фольклора, в сборнике публикуется лишь несколько вещей: поэмы «Зверинец» и «Шаман и Венсра», ряд небольших стихотворений. Широко представлено в сборнике послереволюционное творчество поэта («Ночь перед Советами», «Настоящее», «Город будущего», «Праздник труда»), восторженно приветствовавшего революцию вдохновенными стихами:

Свобода приходит нагая,  
Бросая на сердце цветы,  
И мы, с нею в ногу шагая,  
Беседуем с небом на ты...

**ЯСНОПОЛЯНСКИЙ СБОРНИК.** Статьи и материалы. Год 1960-й. Тульское книжное издательство. 1960. 232 стр. Цена 8 р. 65 к.

Сборник подготовлен Музеем-усадьбой Л. Н. Толстого «Ясная Поляна». Сборник состоит из трех разделов. В первом разделе, «Толстой-художник», помещены статьи, посвященные различным проблемам творчества и деятельности Л. Н. Толстого. Здесь находим статьи Е. Лебедевой о работе великого писателя над «Азбукой» и книгами для чтения; Э. Зайденинур об отражении фольклора народов Востока в творчестве Толстого; Ф. Попова о романе «Семейное счастье» и другие.

Во втором разделе, «Толстой и его современники», помещены статьи И. Трофимова — «Толстой и Салтыков-Щедрин», Н. Гусева — «Толстой и Достоевский», А. Бабореко — «Бунин о Толстом», Т. Архангельской — «Толстой и Шолом-Алейхем» и т. д.

В третьем разделе помещены публикации вновь найденного письма Толстого к П. С. Алексею, писем Т. А. Кузьминской к С. А. Толстой и сообщения о различных других толстовских материалах. В этом же разделе напечатана статья английского писателя Бернарда Шоу о творчестве Толстого.

**Т. ВАНОВСКАЯ.** Юлиус Фучик. Очерк жизни и творчества. «Советский писатель». Л. 1960. 244 стр. Цена 5 р. 65 к.

О Юлиусе Фучике у нас до сего времени не было написано ни одной более или менее полной монографии. Были

опубликованы интересные и живые «Рассказы о Юлиусе Фучике» И. Радволиной и работа о Фучике Н. Николасовой в журнале «Новый мир», выходили книги Р. Кузнецовой «Юлиус Фучик», И. Абдурахмановой «Юлиус Фучик в Средней Азии», А. Каппметова «Юлиус Фучик в Советском Киргизстане», печатались отдельные статьи, посвященные главным образом его знаменитой книге «Репортаж с петлей на шее»; но попытки последовательного литературного анализа его творчества в целом не предпринимались. Фучик, как известно, кроме «Репортажа с петлей на шее», оставил после себя еще несколько книг; две из них — «В стране, где наше завтра стало уже вчерашним днем» и «В стране любимой» — посвящены Советскому Союзу. Фучик является автором статей о рабочем движении, об искусстве и литературе, до сих пор не утраченных своего теоретического значения.

Т. Вановская рассматривает жизненный и творческий путь Ю. Фучика в неразрывной связи со временем, эпохой. «Биография писателя выбрала в себя многочисленные политические факты, тесно перепелась с революционным движением рабочего класса, сама стала частью отечественной истории», — пишет автор очерка.

Главы книги «Начало пути», «Боевая публицистика», «Становление художника», «В стране любимой», «В борьбе за социалистическое искусство», «Мы любим свой народ» дают читателю представление о формировании личности Фучика — писателя и человека, о его журналистской, общественной, литературно-критической деятельности, о его поездках в СССР и очерках, посвященных Советскому Союзу. В специальной главе «Поколение до Петра» дается анализ одноименному роману писателя, задуманному Фучиком как своеобразная «исповедь сына века», но, к сожалению, неоконченному. И, наконец, в последней главе автор рассказывает о «Репортаже с петлей на шее» и о тех нечеловеческих условиях, в которых была создана эта бессмертная книга.

**А. БУШМИН.** Сказки Салтыкова-Щедрина. Гослитиздат. М.—Л. 1960. 230 стр. Цена 6 р. 85 к.

Монография посвящена наиболее популярным произведениям М. Е. Салтыкова-Щедрина — его сказкам. Они примечательны богатством идей и образов, резкостью сатирической обрисовки социальных типов, оригинальностью стиля, совершенством художественной формы. Со времени

появления в свет щедринских сказки не перестают привлекать к себе внимание исследователей как произведения, имеющие принципиальное значение для изучения наследия великого сатирика, для характеристики его как мыслителя, общественного деятеля и художника.

В монографии А. С. Бушмина рассматриваются вопросы становления жанра сказки в творчестве сатирика, идейного содержания сказок и их общественного значения, дается анализ художественного своеобразия сказок и соотношения их с фольклорной и литературной традицией. Здесь же критик стремится определить место сказок в творчестве сатирика и роль их в последующей литературной традиции.

Книга имеет целью ориентировать широкий круг читателей в идейно-художественном богатстве щедринских сказок.

**А. ФЕДОРОВА. И. А. Куратов. Очерк жизни и творчества. Коми книжное издательство. Сыктывкар. 1960. 152 стр. Цена 5 р. 30 к.**

Книга является научно-популярной монографией о жизни и деятельности основоположника коми литературы, поэта и ученого Ивана Алексеевича Куратова (1839—1875).

В тяжелых условиях царского времени, когда беспощадно подавлялись самобытные национальные культуры малых народов, И. А. Куратов был лишен возможности широко и всесторонне проявить свое дарование. Достаточно сказать, что ни одно из многочисленных произведений поэта при его жизни не увидело света. Лишь только после Великой Октябрьской социалистической революции произошло как бы второе рождение поэта. Его художественные и научные произведения были впервые широко выявлены и обнародованы на родном языке в 1939 году, к столетию со дня его рождения. Стихи первого поэта коми в русском переводе издавались двумя сборниками в Москве. В 1958 году вышел наиболее полный сборник избранных произведений И. А. Куратова на русском языке.

И. А. Куратов занимает видное место в славной плеяде просветителей, которая выросла в шестидесятые годы прошлого века под непосредственным влиянием русских революционеров-демократов.

Книга А. Федоровой знакомит читателя не только с этапами жизни И. А. Куратова, но и основными мотивами его художественного и научного творчества.



## КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

### ГОСПОЛИТИЗДАТ

**Н. С. Хрущев.** Созидательным трудом крепить дело мира, обеспечить победу в экономическом соревновании с капитализмом! Выступление на Всесоюзном совещании передовиков соревнования бригад и ударников коммунистического труда 28 мая 1960 г. 64 стр. Цена 60 к.

**Э. Я. Брегель.** Ревизионизм и реформизм в теории обнищания. 208 стр. Цена 2 р. 60 к.

**Внешняя политика России XIX и начала XX вена.** Серия I. Том I. Документы Российского министерства иностранных дел. 800 стр. Цена 24 р.

**Вал. Зорин.** Американец, монополии, налоги. 48 стр. Цена 60 к.

**С. И. Ковалев, М. М. Кубланов.** Находки в Иудейской пустыне (Открытия в районе Мертвого моря и вопросы происхождения христианства). 96 стр. Цена 1 р.

**Начало рабочего движения и распространение марксизма в России (1883—1894 годы).** Документы и материалы. 372 стр. Цена 6 р. 60 к.

**А. Е. Пробст.** Экономическая эффективность новой техники (Методология определения). 216 стр. Цена 3 р. 50 к.

**В. А. Радус-Зенькович.** Страницы героического прошлого. Воспоминания и статьи. 144 стр. Цена 1 р. 80 к.

**З. Ровенский, А. Уемов, Е. Уемова.** Машина и мысль (Философский очерк о кибернетике). 144 стр. Цена 1 р. 75 к.

**Н. А. Семашко.** Прожитое и пережитое. 120 стр. Цена 1 р. 35 к.

**Словарь семилетки.** От А до Я. 400 стр. Цена 7 р. 50 к.

**Эрнст Фишер.** Сигнал. Борьба Димитрова против поджигателей войны. 176 стр. Цена 2 р. 10 к.

### СОЦЭГГИЗ

**Дюбуа Уильям Эдуард Бургарт.** Джон Браун. 496 стр. Цена 10 р. 20 к.

**П. И. Климов.** Революционная деятельность рабочих в деревне в 1905—1907 гг. 248 стр. Цена 6 р. 50 к.

**И. А. Колосков, Н. Г. Цырульников.** Народ Франции в борьбе против фашизма (Из истории освободительного движения во Франции в 1939—1944 гг.). 408 стр. Цена 14 р. 30 к.

**А. К. Лаврентьев.** Тайная война против Империализма. 96 стр. Цена 1 р. 25 к.

**Д. Лонк.** Избранные философские произведения. В двух томах. Том I. 734 стр. Цена 28 р. 35 к.

**А. С. Пухов.** Петроград не сдавать! Коммунисты во главе обороны Петрограда в 1919 г. 432 стр. Цена 10 р.

**С. Г. Струмилин.** Очерки экономической истории России. 548 стр. Цена 19 р. 60 к.

**В. А. Шишаков.** Поговорим о религии. 112 стр. Цена 1 р. 35 к.

**С. В. Шостанович.** Дипломатическая деятельность А. С. Грибоедова. 226 стр. Цена 8 р. 40 к.

### «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

**И. Авижюс.** Река и берега. Повести и рассказы. Перевод с литовского. 536 стр. Цена 8 р. 60 к.

**А. Аджаматов.** Простые слова. Стихи и поэмы. Перевод с кумыкского. 96 стр. Цена 1 р. 10 к.

**Г. Борян.** Две драмы. Перевод с армянского. 144 стр. Цена 4 р. 10 к.

**Д. Волькенштейн.** Заря. Роман. Перевод с еврейского. 260 стр. Цена 4 р. 75 к.

**А. Герман.** Повести и рассказы. Перевод с цыганского. 244 стр. Цена 3 р.

**Ю. Гойда.** Избранное. Перевод с украинского. 208 стр. Цена 3 р.

**К. Донелайтис.** Времена года. Поэма. Васьни. Перевод с литовского. 232 стр. Цена 2 р. 80 к.

**А. Ивич.** Воспитание поколений. Сборник статей о советской литературе для детей. 392 стр. Цена 9 р.

**Р. Казанова.** Там, где ты. Стихи. 144 стр. Цена 1 р. 60 к.

**Л. Киачели.** Гвади Бигва. Роман. Перевод с грузинского. 224 стр. Цена 4 р. 30 к.

**П. Ковалев.** Рассказы. Перевод с белорусского. 156 стр. Цена 2 р. 10 к.

**В. Лацис.** Каменный путь. Роман. Перевод с латышского. 288 стр. Цена 5 р.

**Г. Ленобль.** История и литература. Сборник статей. 388 стр. Цена 9 р. 30 к.

**В. Лузгин.** Земля родная. Стихи. 108 стр. Цена 1 р. 30 к.

**Д. Мулдагалиев.** Песня не умирает. Стихи и поэмы. Перевод с казахского. 96 стр. Цена 1 р. 45 к.

**И. Нехода.** Память о французской земле. Стихи. Перевод с украинского. 96 стр. Цена 1 р. 80 к.

**Низами.** Поэмы и стихотворения. 492 стр. Цена 4 р. 75 к.

**Б. Олевский.** В ясном рассвете. Стихи. Перевод с еврейского. 104 стр. Цена 1 р. 30 к.

**Л. Первомайский.** Рассказы разных лет. Перевод с украинского. 380 стр. Цена 6 р. 20 к.

**Р. Погосян.** Разные люди. Стихи. Перевод с армянского. 76 стр. Цена 1 р.

**Е. Полонская.** Стихотворения и поэмы. 152 стр. Цена 2 р. 50 к.

**В. Соколов.** На берегу Ишима. Поэма. Перевод с украинского. 88 стр. Цена 80 к.

**А. Старцев.** Раднищев в годы «Путешествия». 268 стр. Цена 7 р. 40 к.

**П. Топер.** Арнольд Цвейг. Критико-биографический очерк. 276 стр. Цена 7 р. 50 к.

**Х. Уяр.** Тенета. Роман. Перевод с чувашского. 320 стр. Цена 5 р. 80 к.

**С. Федорченко.** Юность Семигорова. Роман. 508 стр. Цена 8 р. 10 к.

**Д. Холендро.** Раннее утро. Рассказы. 272 стр. Цена 3 р.

**Н. Четунова.** В спорах о прекрасном. Статьи. 384 стр. Цена 8 р. 70 к.

## ГОСЛИТИЗДАТ

**В. Афанасьев.** Александр Иванович Куприн. Критико-биографический очерк. 207 стр. Цена 4 р. 30 к.  
**Платон Воронько.** Стихи и поэмы. Перевод с украинского. 223 стр. Цена 3 р. 90 к.  
**Маргарет Гарнесс.** Городская девушка. Реалистическая повесть. Перевод с английского. 151 стр. Цена 1 р. 50 к.  
**Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, и другие его сочинения.** 480 стр. Цена 11 р. 30 к.  
**Аветик Исаакян.** Стихотворения и поэмы. Перевод с армянского. 392 стр. Цена 5 р. 10 к.  
**Валдис Лунс.** Стихи. Перевод с латышского. 240 стр. Цена 4 р.  
**Молла-Непес.** Сказание о Зохре и Тахире. Перевод с туркменского. 252 стр. Цена 6 р. 45 к.  
**А. И. Эртель.** Гарденины, их дворня, приверженцы и враги. Роман. 628 стр. Цена 10 р. 90 к.

## «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

**Александр Андреев.** Грачи прилетели. Роман. 288 стр. Цена 5 р. 75 к.  
**Владимир Великанов.** Стригуни. Повесть. 254 стр. Цена 5 р. 15 к.  
**И. Ганзелка, М. Зикмунд.** Через Кордильеры. 351 стр. Цена 10 р. 80 к.  
**Виктор Генке.** Ровесники века. Повесть. 272 стр. Цена 5 р. 50 к.  
**Дмитрий Голубов.** Влюбленность. Стихи. 88 стр. Цена 2 р. 45 к.  
**Мехти Гусейн.** Черные скалы. Роман. 352 стр. Цена 6 р. 70 к.  
**Н. Дементьев.** Иду в жизнь. Повесть. 224 стр. Цена 4 р. 75 к.  
**Владимир Жуков.** Эхо. Поэма и стихи. 175 стр. Цена 3 р. 55 к.  
**Владимир Красильников.** Иначе нельзя. Повесть. 143 стр. Цена 1 р. 30 к.  
**В. Логинов.** Алкино море. Повесть и рассказы. 144 стр. Цена 2 р. 10 к.  
**Владимир Орлов.** Дорога длиною в семь сантиметров. 128 стр. Цена 1 р. 75 к.  
**В. Прокофьев.** Андрей Желябов. 384 стр. Цена 7 р. 75 к.  
**А. Таланов.** Нансен. 304 стр. Цена 6 р. 40 к.  
**Дм. Холендро.** Опасный мыс. Повесть. 144 стр. Цена 2 р. 25 к.  
**Е. Яковлев.** Повесть, написанная под диктовку. 96 стр. Цена 1 р. 45 к.

## ДЕТГИЗ

**И. Багмут.** Голубой плес. Повесть. Перевод с украинского. 128 стр. Цена 2 р. 60 к.  
**В. Баныкин.** Мачеха. Повести. 168 стр. Цена 3 р. 25 к.  
**Г. Белев.** Невзгоды одного мальчишки. Роман. Перевод с болгарского. 144 стр. Цена 2 р. 95 к.

**В. Грабовский.** На исходе ночи. Записки сельского учителя. 288 стр. Цена 5 р. 55 к.  
**Л. Гумилевский.** Создатели двигателей. Очерки. 384 стр. Цена 7 р. 15 к.  
**М. Ефетов.** Улица Порт-Саида. 64 стр. Цена 1 р. 10 к.  
**Ю. Ильинский.** Опаленная юность. Повесть. 200 стр. Цена 4 р. 40 к.  
**Н. Ирмаев (Никул Эрнай).** Алешка. Повесть. Перевод с эрзя-мордовского. 96 стр. Цена 2 р. 25 к.  
**С. Катаяма.** Дети зари. Повесть. Перевод с японского. 160 стр. Цена 3 р. 60 к.  
**Н. Кондратьев.** Легендарный комбриг. Рассказы о Яне Фабрициусе. 176 стр. Цена 3 р. 65 к.  
**Н. Надеждина.** «Моревизор» уходит в плавание, или Путешествие в глубь океана и пяти морей экипажа загадочного корабля «М-5а». 192 стр. Цена 6 р. 5 к.  
**И. Панькин.** Начало одной жизни. Повесть. 240 стр. Цена 4 р. 10 к.  
**С. Сарганов.** Горный ветер. Повесть-дневник. 224 стр. Цена 4 р. 40 к.  
**А. Упит.** Пареньки села Замшелого. Повесть. 176 стр. Цена 3 р. 60 к.  
**С. Ханим.** Дневник беспокойной души. Стихи. Перевод с татарского. 128 стр. Цена 2 р. 15 к.

## ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

**Г. А. Авенариус.** Чарльз Спенсер Чаплин. 264 стр. Цена 20 р.  
**Автоматическое управление.** 432 стр. Цена 18 р. 80 к.  
**Г. Б. Ардаев.** Национализация в Австрии. 304 стр. Цена 10 р. 30 к.  
**В. М. Бузуев, В. П. Павличенко.** Пагуош это мир (Международное движение ученых за предотвращение ядерной войны). 91 стр. Цена 1 р. 35 к.  
**С. Н. Иконников.** Организация и деятельность РКИ в 1920—1925 гг. 216 стр. Цена 8 р. 50 к.  
**Б. И. Никитин.** Гидростанции в единой энергетической системе. 148 стр. Цена 9 р.  
**Очерки новой и новейшей истории США.** В двух томах. Том I. 632 стр. Цена 27 р.  
**Развитие производительных сил Восточной Сибири.** Геология и минерально-сырьевая база. Недрные полезные ископаемые. 144 стр. Цена 9 р. 10 к.  
**Развитие производительных сил Восточной Сибири.** Химическая промышленность. 138 стр. Цена 12 р.

## ГЕОГРАФГИЗ

**Г. Н. Витвицкий.** Климаты зарубежной Азии. 398 стр. Цена 13 р. 35 к.  
**Н. Крыленко.** По неисследованному Памиру. 348 стр. Цена 7 р. 60 к.  
**А. Кулешов.** 500 000 километров в пути. 264 стр. Цена 4 р. 15 к.  
**Б. К. Москаленко.** Путешествие на Анабару. 128 стр. Цена 2 р.

Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

**Е. Н. Герасимов, С. Н. Голубов, А. Г. Дементьев** (зам. главного редактора), **Б. Г. Закс** (ответственный секретарь), **А. М. Марьямов, В. В. Овечкин, К. А. Федин**

Р е д а к ц и я: Москва-Центр, Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).  
 Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К 5-76-97.

Рукописи объемом до одного авторского листа не возвращаются.

Сдано в набор 24/VI 1960 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 20/VII 1960 г.  
 А 04191. Формат бумаги 70×108<sup>1/16</sup>. 9 бум. л.—24,66 печ. л. Тираж 90.200.  
 Зак. № 1170.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.



Цена 7 руб.